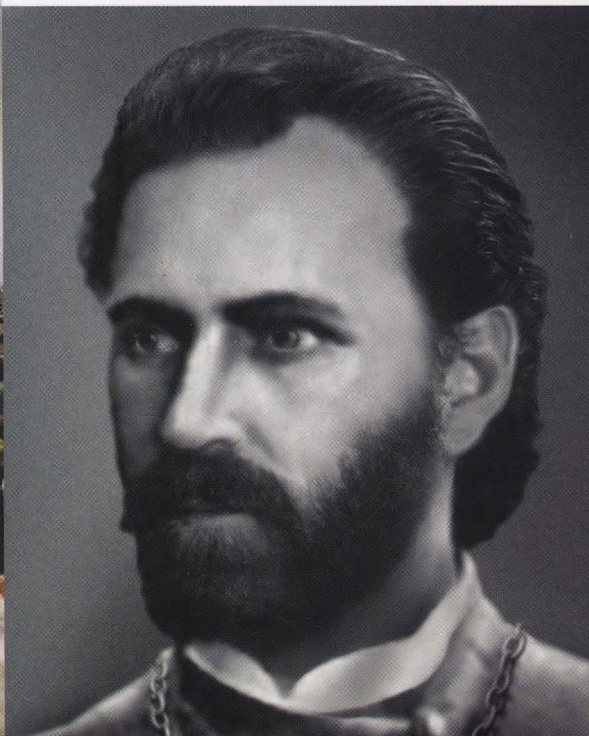


ГА П О Н



Валерий
Шубинский



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ



ЖИЗНЬ®
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ

Серия биографий

Основана в 1890 году
Ф. Павленковым
и продолжена в 1933 году
М. Горьким



ВЫПУСК

1661

(1461)

Валерий Шубинский

ГАПОН



МОСКВА
МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ
2014

УДК 94(47)(092)“19”
ББК 63.3(2)531-421
Ш 95

знак информационной
продукции **16+**

ISBN 978-5-235-03690-1

© Шубинский В И , 2014
© Издательство АО «Молодая гвардия»,
художественное оформление, 2014

ПРЕДИСЛОВИЕ

Начнем с цитаты.

«Еще в 1904 году, до путиловской стачки, полиция создала при помощи провокатора попа Гапона свою организацию среди рабочих — “Собрание русских фабрично-заводских рабочих”. Эта организация имела свои отделения во всех районах Петербурга. Когда началась стачка, поп Гапон на собраниях своего общества предложил провокаторский план: 9 января пусть соберутся все рабочие и в мирном шествии с хоругвями и царскими портретами пойдут к Зимнему дворцу и подадут царю петицию (просьбу) о своих нуждах. Царь, дескать, выйдет к народу, выслушает и удовлетворит его требования. Гапон взялся помочь царской охранке: вызвать расстрел рабочих и в крови потопить рабочее движение».

Источник вполне одиозный: «Краткий курс истории ВКП(б)» (1938) под редакцией И. В. Сталина. Вряд ли кому-нибудь, кроме закоренелых фанатиков, сегодня придет в голову мысль черпать историческую информацию из этого сочинения. А между тем, что большинство наших современников помнят о демонстрации 9 января 1905 года и о ее организаторе? Вот именно то, что только что процитировано.

Разумеется, даже в пропагандистских текстах тоталитарных режимов не всё — ложь с начала до конца. Но в данном случае картина событий очень далека от истины, и, в общем, даже в конце советской эпохи это признавалось. Достаточно заглянуть в Большую советскую энциклопедию 1970-х и сравнить то, что написано там о Гапоне и Кровавом воскресенье, с версией «Краткого курса». А уж в до-, ранне- и постсоветские времена об этих событиях написано и издано немало литературы, научной, мемуарной, популярной, как правило, более или менее корректной по фактам и адекватной по тону.

И все-таки в массовом сознании имя «Гапон» и слово «гапоновщина» устойчиво связываются с кровавой политической провокацией массового размаха. А не, скажем, с зарождением

в России профсоюзного движения, хотя для этого есть все основания.

Что поделать, исторические мифологемы живут своей жизнью. Например, понятие «потемкинские деревни» прочно вошло в русский язык и обозначает конкретные и, увы, неистребимые в нашей стране обычаи, хотя рассказ о «деревнях, нарисованных на куске холста», которыми пытались обмануть Екатерину, посещавшую Новороссию, — почти наверняка клевета.

То же самое с «гапоновщиной». История знает немало попыток, удачных и не вполне удачных, использовать возбужденные массы «втемную», спровоцировать большое кровопролитие — в личных интересах или в интересах человечества, как их представляет себе данный деятель. Виновен ли Гапон в чем-то подобном? Во всяком случае — меньше, чем многие другие. Но он олицетворяет явление.

То, что в народной памяти ему выпала эта незавидная роль, — парадоксально. Ведь в жизни этого харизматического народного вождя было несколько месяцев, когда он был любимцем прогрессивной России, живым олицетворением Революции...

Впрочем, обо всем по порядку.

A decorative rectangular frame with rounded corners and ornate flourishes at the top and bottom. The text is centered within the frame.

ЧАСТЬ
ПЕРВАЯ

ЗАЛПЫ

Первый залп был дан в половине двенадцатого у Нарвских ворот.

У заставы, у тяжеловесно-прекрасной арки (ее воздвигли на месте другой, деревянной, через которую вступали в столицу усталые от походов и навидавшиеся вольностей победители Бонапарта), выставлены были конно-гренадерский эскадрон и две роты 93-го Иркутского полка.

Сколько скуластых краснолицых мужчин в дешевых пальто и шубейках, в ушанках и кепках, тревожных, но трезвых, сколько бабенок в платках шло сюда со стороны Петергофской дороги, так и осталось туманным, называемые цифры разнятся в 10, 15 раз, как обычно случается на демонстрациях и уличных шествиях. Словом – тысячи.

Впереди шли самые главные, те, кто затевал дело: Васильев, Кузин, Иноземцев, товарищ Мартын – и в головах он, чернявый красавец в рясе. Они и ближние к ним ряды шли с непокрытыми головами и пели «Спаси, Господи, люди твоя».

Хоругви, иконы, царские портреты. Ни одного красного флага. Это было оговорено. Пока – ни одного. Сзади – как бы на всякий случай – транспарант: «Солдаты, не стреляйте в народ».

Местная, заставская полиция была доброжелательна до неправдоподобия. Пристав поручик Жолткевич и надзиратель Шорников шли перед колонной, расчищая путь. Городовые крестились и отдавали честь.

Толпа все не останавливалась – казалось, она идет прямо на караулы, на огромных конно-гренадеров и их огромных коней.

Наконец был отдан – кем-то – первый приказ. Отряд гренадеров отделился от полка и направил коней в толпу.

По уставу, перед тем как пустить в ход огнестрельное оружие, следовало – предупредить. Конно-гренадеры так предупреджали.

Дальше все было предсказуемо. Крик тех, кому досталось нагайкой или шашкой плашмя. Кто-то бил солдат по ногам. Взводный удостоился удара крестом. Где-то в покорной толпе раздалось как будто два выстрела (были наготове?). Конно-гренадеры, описав круг, вернулись к своим — и сразу же раздался сигнальный рожок: дать первый залп.

Колонна не останавливалась — даже во время предупредительного рейда. Могли ли шедшие впереди задержать ее движение? В любом случае — не попытались.

Потом в официальных отчетах значилось, что еще до кавалерийского рейда пристав Заенчковский, командир местной полиции, выезжал навстречу колонне и пытался вступить в разговор. Никто этого не заметил. Кто жлет?

С первым выстрелом все упали на землю, но сразу же встали — и красавец-поп захрипел совсем не по-поповски: «Вперед, товарищи, свобода или смерть!»

Шорников закричал: «Нехристи! Как смеете стрелять в крестный ход?» Кажется, это были его последние слова: следующим залпом он был убит.

Падали и вставали трижды, на четвертом залпе разбежались.

Но все только начиналось: такие же точно колонны шли со всех окраин, из всех заводских слобод, некоторые из которых были совсем близко к центру.

Через полчаса после залпа у Нарвских ворот толпа подошла к Троицкому мосту (справа — крепость, через Неву — Летний сад). Эти — приостановились. Трое головных пошли к машущему руками офицеру — договариваться. Залп был дан прежде, чем успели что-то сказать: он как будто соревновался с прозвучавшим почти одновременно полдневым выстрелом петропавловской пушки. Разбегавшихся догоняли, били шашками — чтобы снова не собрались скопом.

Это был Павловский полк.

В это же время на Сампсониевском колонна была рассеяна без залпа, одним холодным оружием.

На Васильевском все пошло совсем бурно. Там были Карелины и еще кое-кто из центрального руководства «Собрания». Шли по 4-й — 5-й линии к Академии художеств, к сфинксам, к Неве. При виде войск (Финляндский полк) никто не остановился, но передние вышли и протянули вперед распакнутые ладони: дескать, безоружны. Дальше все было как на Нарвской: кавалерийский рейд, потом залп. Толпа продолжала идти, передние распахивали пальто, подставляясь под пули. Больше залпов не делали (потом говорили: солдаты отказались стрелять). Пехота раздалась, снова появились кавалерия,

казаки, но на сей раз они не предупреждали, а рубились всерьез. Толпа (полторы тысячи человек), однако, не рассеялась, а отступила к Среднему проспекту.

Васильевский был местом серьезным и опасным: там был университет.

Сразу же — через считанные минуты! — появились агитаторы (эздеки). Часть демонстрантов разошлась, часть — без хоругвей и икон — пыталась перебраться через Неву, к дворцу, часть — тоже без хоругвей, но уже с красными флагами — двинулась на 15-ю линию к оружейной мастерской Шаффа. По дороге нападали на городских. У Шаффа, разгромив мастерскую, вооружились. До вечера на острове строились баррикады — строились и разрушались полицией. Жертвы были с обеих сторон. Солдат закидывали камнями, баррикадного оратора подняли на штыки. Здесь уже шла революция.

На Шлиссельбургском тракте стоял Атаманский полк, офицеры которого проявили, в противоположность финляндцам и павловцам, либерализм чрезвычайный. Залпов не было; в ответ на невнятную казачью атаку и предупредительные выстрелы толпа взломала (чуть не просто отодвинула) заграждения и пошла ко дворцу невским льдом. Никто не мешал. Впрочем, председателя Невского отдела Николая Петрова во главе колонны уже не было: его помяла казачья лошадь, и он остался у заставы.

Подоспевшим позже колпинцам казачий офицер уже и сам намекнул, что данный ему приказ распространяется только на берег: Нева не в его власти. На Калашниковском демонстрантов так же спокойно пустили обратно на сушу — при условии, что они пойдут врассыпную. Часть из них к двум часам дня попала через набережную и Миллионную улицу на Дворцовую, часть пошла, вероятно, через Знаменскую площадь и еще была на Невском.

Туда же подтягивались немногие прорвавшиеся через заставы, возбужденные, негодующие, мешающие правду с нервными преувеличениями люди со всего города. Говорили о дикой бойне у застав — впрочем, выстрелы с Васильевского и Троицкой уже слышал весь город. Вожди исчезли. Только у колпинцев был на руках текст петиции. Набежало, как обычно в таких случаях, много бесстрашных зевак.

Кавалеристов, пытавшихся оттеснить толпу к Александровскому саду, окружали кольцом. Сад заперли — там осталось немало народу. Многие пытались перелезть в ту или другую сторону через высокую и острую чугунную ограду. Подошли преображенцы. Офицер трижды предупредил: будем стрелять. Не расходились. Когда раздался сигнальный рожок, старики

сняли шапки, но никто не уходил. Стали разбегаться со второго залпа, дальше площадь и Адмиралтейский проспект расчищали врукопашную.

Звуки выстрелов слышны были на Невском. Многотысячная толпа, уже три часа заполнявшая его, мгновенно превратилась в яростного, орущего многоголового зверя. Солдат бранили, швыряли в них камнями. Офицеров вытаскивали из саней и избивали. Генерал-майора Эльриха ранили в висок ножом. Жгли киоски. Появились красные флаги, непременные пламенные ораторы на перекрестках. Рабочие здесь были уже густо разбавлены студентами, мещанами, чистой публикой разного сорта. Главная улица на два часа вышла из повиновения. Кое-где из толпы начали постреливать.

В четыре часа полковник Семеновского полка Риман дал два залпа у Полицейского моста. После этого Невский успокоился. Праздная публика разбежалась. Рабочие двинулись к окраинам.

Город повторял одно имя. Слух о гибели этого человека, пронесшийся сперва среди толпы у Александровского сада, был уже к ночи кем-то опровергнут. Но где он, никто не знал.

Этого человека, чернявого красавца в священнической рясе, звали Георгий Гапон.

БЕЛИКИ, ПОЛТАВЩИНА, МАЛОРОССИЯ

Жизнь Гапона-политика, Гапона-вождя известна в деталях, особенно последние полтора года (хотя часто свидетельства противоречат друг другу, а многие документы еще ждут публикации).

О частной жизни Гапона сказать этого нельзя. В сущности, о том, что происходило с ним до тридцати лет, мы знаем по большей части с его слов. А он о многом, конечно, умолчал, что-то перепутал, а об ином забыл сообщить.

Фамилия «Гапон» — от украинского варианта имени «Агафон». Есть Гапоновы, Гапоненко. В метрическом свидетельстве будущего отца Георгия фамилия его отца — Гапонов. Писали, видимо, и так и эдак, но впоследствии закрепился усеченный вариант.

Аполлон Федорович Гапон, или Гапонов, служил по выборам волостным писарем. Семья жила в местечке Белики Кобелякского уезда Полтавской губернии. Там и появился на свет 5 (17) февраля 1870 года Георгий Аполлонович. Отцу было тогда 38 лет, матери, Ирине Михайловне*, — примерно двад-

* ГАРФ. Ф. 478. Оп. 1. Д. 1.

цать пять. Кроме Георгия у Аполлона Федоровича и его супруги родилось еще по меньшей мере три дочери и сын Яков, который был младше Георгия лет на двадцать.

Полтавская губерния исторически относится к Гетманщине. В сравнении с соседней Слобожанщиной, которой соответствуют современные Харьковская и Сумская области, это, если так можно сказать, более украинская Украина. Полтавский диалект украинского языка лег в основу его литературного варианта.

Этот язык был для Гапона родным. На нем говорил он с родителями и товарищами по играм. Он любил и хорошо знал поэзию Шевченко, любил украинские песни. Несмотря на обучение в семинарии и многие годы жизни в столице, у него сохранился отчетливый южный, «хохлацкий» выговор — и он не упускал случая, встретив земляка, сказать хотя бы несколько фраз на *рідной мові*. По мнению близких знакомых, «темперамент о. Георгия был типично малорусский: впечатлительный, особенно к красотам природы, мягкий, нежный и в то же время пылкий, решительный, увлекающийся и гордый». Впрочем, как раз национальный характер — вещь зыбкая и трудноопределимая. В конце концов, великороссы тоже часто впечатлительны, а порой и пылки.

Иное дело — бытовые впечатления детства, эмоциональный и вещный фон. От этого никуда не деться. Дело не столько в беленых глинобитных хатках, варениках и кулеше или в природе, «заслужившей Украине название “русской Италии”»* (это мы уже цитируем самого Гапона), сколько в «хохлацкой» индивидуалистической хозяйственности, противоположной великорусскому общинному духу — духу, на который уповали народники и эсеры, в общей устойчивости и — как говорится — церемонности сельского быта.

Полтавская губерния была глубоко аграрной. За год до рождения будущего вождя петербургского промышленного пролетариата 87 процентов двухмиллионного населения его родной Полтавщины принадлежало к «сельским сословиям» (крестьяне, государственные и бывшие помещичьи, и колонисты). По вере почти все православные, по национальному самоопределению — малороссы. Самым заметным национально-религиозным меньшинством были евреи (Полтавская губерния входила в черту оседлости), но и они составляли лишь около двух процентов населения (в городах, конечно, гораз-

* Цитируемые здесь и далее мемуары Гапона «История моей жизни» (1905) надиктованы им для английского перевода, а уж потом — с английского — кое-как, без участия самого Гапона, обратно переведены на русский. Некоторые ошибки, в том числе в именах, могут объясняться этим.

до больше). Немного (от тысячи до трех тысяч) проживало на Полтавской земле католиков, протестантов, старообрядцев-единоверцев, по полсотни караимов и мусульман, одна армянская чета.

С Полтавщиной связано много громких имен, но два, пожалуй, первыми приходят на ум: Николай Гоголь и Иван Мазепа. В имперской памяти — прославленный гений и ославленный изменник. Человек, который уехал из Полтавщины в холодный Петербург, на величие и на гибель, променяв малороссийскую участь на всероссийскую. И человек, который во имя некой славной цели (в его случае — независимости Украины), нераздельно связанной в его сознании с собственными властолюбивыми помыслами, имел дело с двумя великими державами, пытался их использовать, предавал друг другу — и проиграл в этой игре... В обеих судьбах — некая странная параллель с судьбой Гапона. Параллель, о которой сам он едва ли думал...

В местечке (особая форма поселения, характерная для Польши, Украины и Белоруссии: скорее город по занятиям населения, скорее деревня по размерам) Белики в конце XIX века жило 3400 человек. Статус местечка Белики получили в 1765 году, но сам топоним известен и прежде — в XVII столетии Беликов брод считался важным стратегическим пунктом; здесь одно время находилась крепость Белополь, а рядом — имение генерального судьи Кочубея (того самого, недруга Мазепы). В екатерининское время в местечке поселены были казаки Полтавского полка. Но десять лет спустя полк был расформирован вместе со всем Запорожским войском. Дальнейшая судьба запорожцев была различна: часть их, простившая Екатерине обиду и сохранившая верность, была переселена на Северный Кавказ под именем Черноморского войска (оно составило основу кубанского казачества). Другая часть ушла к туркам, образовала так называемую Задунайскую Сечь, а потом все же вернулась на русскую службу, составив Азовское казачье войско. Так или иначе, на Украине от казаков (точнее, от козаков — по местной орфографии) осталась одна память — но память прочная. Сам Аполлон Федорович в некоторых документах (в том числе метрическом свидетельстве его сына*) именуется казаком. Был он им не по формальной сошловной принадлежности или служебному статусу, но по самоощущению, по семейной памяти: Гапоны вели свой род от славного атамана Гапона-Быдака, о котором сохранились предания и «думы». Сам Георгий слышал их в детстве. Аристократический, рыцарский опыт: слушать баллады о своем предке.

Но наряду с этим был опыт совсем другой — приходилось

* ГАРФ. Ф. 478. Оп. 1. Д. 1.

пасти свиней, телят, гусей. У Гапонов было крепкое хозяйство, семья жила не на жалованье писаря (а взятки Аполлон Федорович, как специально подчеркивает его сын, не брал, хотя должность считалась доходной), а на труде всех членов семьи. И этот «грязный» труд был далеко не худшим из того, что приходилось испытывать в России XIX века — даже в пореформенные годы! — «мужику». Благодаря отцовской службе Гапон познакомился с системой местного самоуправления в сельской России, с земством, но услышал и о тех унижениях, которым совсем недавно мог подвергнуть крестьян, в том числе и земских гласных, любой чиновник. Однажды какие-то гапоновские односельчане были приговорены к телесному наказанию, к порке. Это уже было необычным случаем, вменялось в большой позор, но еще практиковалось.

Самого Георгия (или Юрия — так звали его в семье), его братьев и сестер никогда не секли. Что лишний раз подчеркивает необычность семьи — необычность для крестьянской среды. Несомненно, это было связано с личностью отца. По свидетельству сына, Аполлон Федорович был человек начитанный в своем роде, «исключительной и педантичной честности, необыкновенно ровного характера, добрый и приветливый ко всякому». К сыну он «относился... как к другу, никогда не был суров и даже не проявлял снисходительности старшего к младшему». Все это далеко от патриархальных нравов.

Мать была совсем иного склада: почти неграмотная, чрезвычайно благочестивая, добрая, когда дело касалось помощи соседям-беднякам, довольно суровая к своим детям, которых заставляла строго держать посты и петь на клиросе.

Отец ее, дед Георгия, проводил время в чтении церковных книг, особенно житий святых, которые охотно пересказывал внуку. На того они производили сильное впечатление. Особенно — история про путешествие Иоанна Новгородского на чёрте в Иерусалим. «...Я заплакал, но в то же время желал, чтобы и мне представился такой же случай поймать чёрта», — серьезно вспоминал взрослый Георгий Гапон.

«Поймать чёрта», заставить его служить себе — такова ли мечта, вынесенная этим человеком, соотечественником кузнеца Вакулы, из мирного полтавского детства?

«БОГОСЛОВ»

Жил в России в конце XIX века странный человек по имени Иван Михайлович Трегубов. Странность заключалась, между прочим, в том, что был он, с одной стороны, вольным бого-

искателем, к тридцати годам успокоившимся душой на толстовстве, с другой же — допущен к преподаванию в низших духовных учебных заведениях, а сам некоторое время проходил курс в Духовной академии.

В середине 1880-х Трегубов преподавал в Полтавском духовном училище. Среди учеников его был Георгий Гапон.

В феврале 1905 года, когда Гапон пребывал в зените своей революционной славы, Трегубов напечатал в парижской газете «Освобождение» краткую заметку о своем с ним общении:

«Это был юноша умный, серьезный, вдумчивый, хотя очень живой. Он всегда был одним из первых учеников, отличался исполнительностью и большой любознательностью. Он читал очень много и интересовался всякими вопросами. Я давал ему разные книги, кроме тех, которые имелись в училищной библиотеке, и между прочим запрещенные сочинения Льва Толстого, ходившие тогда в рукописях, которые я усердно распространял, несмотря на запрещение, среди моих учеников и семинаристов, посещавших меня, и которые производили, как на меня, так и на них, сильное впечатление».

Богословские сочинения Толстого Трегубов открыл для себя как раз в это время и усиленно потчевал ими своих учеников. Как и на многих русских провинциальных интеллигентов, идеи яснополянского мудреца произвели на него сильное впечатление. Толстой был одним из немногих, кто призывал начать переустройство мира с собственной жизни, а не с общественной системы. Это было внове. При этом его рекомендации были настолько просты, что даже ученики Полтавского духовного училища могли их усвоить.

Конечно, еретические увлечения предусматривали «двойную жизнь» — Трегубов вспоминает об этом так:

«...Я не верил уже в православие, но тем не менее я ходил с учениками в церковь, говел и причащался. То же самое делали и мои молодые друзья, которые тоже уже не верили в православие. Некоторые из них, не престаивая в душе отрицать православие, поделались потом даже священниками для того, чтобы, под прикрытием священнического сана, успешнее разрушать православие и проповедовать усвоенный ими христианский идеал.

Я уверен, что этот самый идеал и соединенный с ним иезуитский принцип были усвоены и Гапоном, и эта-то смесь божеского с дьявольским и погубила его».

Это было написано в 1909 году, когда судьба Георгия Гапона уже свершилась, а сам Иван Михайлович стал исповедовать свою новую веру открыто и последовательно: вкладывал в свой паспорт бумажку с изъяснением, что-де не считает себя

ни православным, ни потомственным почетным гражданином (ибо люди равны)*.

Но почему Георгий Гапон поступил в духовное училище (это произошло, видимо, в 1883 году)?

Сам он так говорит об этом — не без юмора:

«Два обстоятельства решили этот вопрос. Первое — это поговорка: “Поп — золотой сноп”, второе — то, что если я сделаюсь священником, то не только попаду на небо, но и всем своим помогу попасть туда».

На самом деле все было, видимо, чуть сложнее. Очевидно, что Аполлон Гапон, состоятельный крестьянин и земский служащий, не прочь бы был дать своему сыну образование, возможность выбиться в люди, тем более что в церковно-приходской школе Георгий учился отлично. Как человек практический, он не мог не думать и о том, что семинарский аттестат открывает, в конце концов, разные пути не только в церковном ведомстве. Выпускников семинарий принимали на государственную службу с классным чином — самым низшим, коллежского регистратора, но и это что-то значило. До 1879 года, отучившись четыре года в семинарии (из шести), можно было поступать в университет. Такой привилегией не пользовались ни «реалисты» (которым требовалось сдавать дополнительные экзамены по древним языкам), ни тем более выпускники прогимназий, технических и коммерческих училищ — только гимназисты и семинарские. Правда, испуганные массовым уходом лучших четвероклассников церковные власти изменили порядок: право поступления в светские высшие учебные заведения теперь имели лишь лица, окончившие полный курс семинарии и лишь с дипломом первой степени, причем и им требовалось сдать (с разрешения церковного начальства) дополнительный экзамен в гимназии. Исключение составлял Томский университет, основанный в 1887 году и имевший поначалу лишь медицинский факультет. Туда семинаристы, окончившие по первому разряду, принимались без дополнительных испытаний и даже имели льготы при поступлении. Эти изменения оказали на судьбу Гапона важное влияние.

Достоин внимания: выходцев из иных сословий, кроме духовного, как правило, принимали в церковные учебные заведения *на своем коште*. Другими словами, за обучение полагалось платить, и по крестьянским меркам очень нема-

* К характеристике любого дореволюционного российского человека много служит его судьба после 1917 года. Трегубов мирно служил в Наркомземе, но в 1929 году, когда ему было уже за семьдесят, снабдил своей сопроводительной запиской письмо в ЦК некоего самородка — с предложениями о повышении урожайности. Вместе с самородком Трегубов угодил в ссылку, где и закончил свои дни.

до — 40 рублей в год. Но Георгия, видимо, удалось устроить на казенный кошт — может быть, благодаря содействию великского приходского попа, доброжелательно относившегося к способному сельскому школьнику. Подготовлен сын Аполлона Федоровича был хорошо: его приняли сразу во второй класс.

Среди сыновей священников и дьяконов (в крайнем случае дьячков, псаломщиков) мальчик «в крестьянской одежде, с мужицкими манерами» сперва ощущал себя чужаком, ему приходилось защищать себя «обычным мальчишеским способом». Можно лишь гадать, какое влияние оказали на характер самолюбивого и привыкшего к первенству Гапона унижения, пережитые на первых порах в бурсе. Но вскоре отношения с соучениками наладились.

Бурсацкие драки и грубые шалости (самая, должно быть, невинная — походы за яблоками в соседский сад, о которых Георгий Аполлонович нежно вспоминает в своих мемуарах) вполне сочетались и с той довольно глубокой, на юношеский лад, умственной жизнью, о которой пишет Трегубов, и с драматичными человеческими переживаниями. В 1886 году (как раз примерно в это время преподаватель-вольнодумец знакомит Георгия с толстовством) в Беликах одиннадцати лет от роду умирает младшая сестра, к которой Георгий был очень привязан. Это стало первой в жизни Георгия Гапона важной утратой.

Год спустя Гапон перешел из училища в Полтавскую духовную семинарию.

Семинария в Полтаве — так получилось — трижды основывалась и дважды закрывалась. Та, о которой идет речь, была основана в 1738 году преосвященным Антонием Берлом в уездном городе Переяславле по образу и подобию Киево-Могилянской академии, с 1803 года именовалась официально Полтавской, хотя на самом деле в губернский город перенесена была лишь в 1862-м. В семинарии в разные годы учились и преподавали довольно многие видные церковные деятели; из светских стоит упомянуть Ивана Семеновича Нечуй-Левицкого, украинского писателя, и украинского же политического деятеля Симона Петлюру (последний, правда, из семинарии был исключен, как и его тифлисский сверстник Иосиф Джугашвили).

В духовном училище кроме общеобразовательных предметов (географии, арифметики) преподавали древние языки (церковнославянский, первые начала латыни и греческого), церковный устав, катехизис, нотное пение, Священную историю: круг знаний, необходимый для исполнения дьяконской службы.

В семинарии перечень предметов был намного шире.

Можно разделить их на три категории.

Во-первых, специальные знания и навыки, необходимые священнику. Сюда относятся нравственное богословие, догматическое богословие, гомилевтика (искусство составления проповеди), литургика, пасхалия, изъяснение Ветхого и Нового Завета.

Во-вторых, общеобразовательные знания (алгебра, геометрия, тригонометрия, физика, космография, русская и мировая история) — в рамках примерно гимназического курса. Языков учили больше, чем в гимназиях. Там, как правило, преподавали три языка (два древних и один новый или один древний и два новых), в семинарии же были обязательны латынь и греческий, французский и немецкий, а факультативно изучался еврейский*. Другое дело — глубина изучения. В живых иноземных наречиях семинаристы традиционно не были сильны — даже в сравнении с гимназистами. А как раз Гапону потом иностранные языки очень пригодились бы.

Третья категория знаний — логика, психология, обзор философских учений. Знания, которые выходили за круг нужных для аттестата зрелости, и не так уж жизненно необходимые приходскому священнику, но позволяющие ему свободно ориентироваться в современном мире и, что называется, «работать с людьми».

Некогда в российском образованном обществе принято было смеяться над невежеством попов. Если в эпоху Ломоносова или даже в начале XIX века для таких насмешек были основания, то к концу столетия, казалось бы, положение изменилось: даже простой сельский священник был человеком по любым критериям довольно просвещенным и книжным, «превзошедшим науки». Ядро разночинной интеллигенции не зря ведь составили именно поповичи, выпускники семинарий. И все-таки влияние государственной и господствующей церкви на светскую культуру (а иной, не светской, культуры давно, в сущности, не было) оставалось скромным и скорее убывало, чем увеличивалось, а место ее представителей в интеллектуальном диалоге эпохи было маргинальным. О причинах этого можно рассуждать долго.

Вернемся покамест к отроку Георгию. Учился он хорошо. Согласно записи в журнале педагогического собрания правления Полтавской духовной семинарии от 9 (22) июня 1893 года, «происходя из казаков и не отличаясь природною благовоспитанностью, он нередко обнаруживал этот недостаток и в

* Естественно, здесь везде по умолчанию идет речь о древнегреческом и древнееврейском — языках Нового и Ветхого Завета.

присутствии своих воспитателей и преподавателей, но на его выходки не всегда обращалось должное внимание, вероятно, потому, что их извиняли средою, в которой он вырос и проводил неучебное время, а также и потому, что по успехам принадлежал к числу лучших учеников». Но духовные интересы уводили его все дальше от церкви.

В семинарские годы Гапон сблизился еще с одним, кроме Трегубова, видным толстовцем — Исааком Борисовичем Фейнерманом (Гапон в воспоминаниях называет его «Файерман»). Фейнерман был в то время, в конце 1880-х, еще совсем молодым человеком, но успел лично познакомиться с Учителем и даже входил в его тесное окружение. Одно время он преподавал в яснополянской школе, но не был утвержден попечителем учебного округа — и стал пастухом, как истинный толстовец. Выдворенный из Тульской губернии, он поселился почти в родных краях, Полтаве, а потом Елисаветграде (сам был из Кременчуга), зарабатывая на жизнь столярным ремеслом и неустанно распространяя толстовские идеи среди местной молодежи. С Толстым он вел переписку и иногда публиковал полученные от него письма в газетах. (Впоследствии Исаак Борисович получил диплом зубного врача, вернувшись, таким образом, в мир респектабельных обывателей, — и одновременно стал плодовитым публицистом, под псевдонимом Тенеромо; еще позже он сделался одним из первых в России профессиональных киносценаристов; по его сценарию, между прочим, снят фильм Протазанова «Уход великого старца».)

К Гапону Фейнерман был ближе по возрасту, чем Трегубов, и не был связан с ним официальными отношениями педагога и школьника. Правда, тот был «жидом», хотя и крещеным, — чужаком для крестьянского мальчика и семинариста. Тем не менее сумел оказать на него влияние.

Толстовские идеи «опрощения» едва ли могли увлечь юношу Георгия. Это могло впечатлить потомственного горожанина, выходца из дворян, торговцев, чиновников, но не крестьянского сына, в детстве пасшего гусей. Для него-то, наоборот, естественно стремиться «вверх», к высотам книжной и бытовой культуры. Скорее полтавскому семинаристу могло понравиться рациональное, сведенное к чистой этике толкование Евангелия — без мистики, без догматической казуистики. В духе века, в согласии с прогрессом. Хотя сам Толстой идею прогресса совсем, как известно, не жаловал.

Кроме толстовцев Гапон, по некоторым сведениям, общался в эти годы со штундистами (родственное баптизму протестантское учение, зародившееся в России среди немецких колонистов, затем распространившееся среди велико- и мало-

россов). В самом конце жизни он, тоскуя по утраченному священническому статусу, мечтал стать баптистским или штундистским проповедником. Значит — видел этих людей вблизи, имел о них представление.

По собственному утверждению Гапона, он пытался проповедовать толстовские идеи в семинарии — «разоблачать окружающее лицемерие». Закончилось это (опять же — по словам Гапона!) плохо: «Один из священников и один из наставников... донесли на меня семинарскому начальству, что я развращаю товарищей, насаждая семена ереси. В результате последовала угроза лишить меня правительственной стипендии, на что я ответил, что и сам не желаю ее получать». По документам все выглядит несколько иначе. Согласно выписке из журнала педагогического совета Полтавской духовной семинарии, «до последнего класса Гапон жил в общежитии и пользовался казенным содержанием; в начале же настоящего учебного года он пожелал выйти на частную квартиру и просил дать ему пособие из суммы, жертвующейся духовенством на беднейших учеников... Впоследствии ему назначено было пособие в количестве двадцати рублей и выдано в марте месяце сего года».

Так или иначе, Георгию пришлось зарабатывать частными уроками, главным образом в семьях священников. Летом он часто жил у своих учеников, что дало ему возможность «познакомиться с внутренней жизнью русского духовенства», которая его разочаровала (пьянство, своекорыстие...).

Еще одним эпизодом семинарского периода стала болезнь: тиф, перешедший в менингит. («Я болел долго, и когда отец приехал навестить меня в лазарете, то сначала не узнал меня».) Ей Гапон придает важное, рубежное значение в своей духовной жизни.

Вообще мемуары Гапона — автобиография действующего (и находящегося в зените известности) общественно-политического деятеля. Жанр особый, со своими законами. Так что неудивительно, что Георгий Аполлонович всем своим действиям с самой ранней молодости дает идеологическую мотивацию, все превратности, случившиеся с ним, рисует как гонения за правду, а все житейские наблюдения сводит к «народным страданиям».

Не всегда можно проверить эти утверждения — например, о том, что юноша, в ущерб учебным занятиям, посвящал свое время «больным и босякам», беседуя с ними об их нуждах (чем он, сам безденежный, мог бы им помочь?). Не приходится, конечно, сомневаться, что Гапон-семинарист читал — может быть, не очень обильно, но сочувственно и увлеченно — ба-

зовые тексты начинающего «передового интеллигента»: инструктивную критику Белинского—Чернышевского—Добролюбова—Писарева, стихи Некрасова и его эпигонов, ну, и заодно избранные произведения Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Тургенева и пр., воспринятые через призму «передовой критики». Но в этом отношении он едва ли серьезно отличался от многих своих товарищей. Русская левая интеллигенция была тоже церковью своего рода: со своим священным писанием, своими святыми и мучениками. Семинарские выпускники, которым учение этой «церкви» оказывалось ближе православия, естественно входили в ее «клир», взяв с собой из прежней жизни не только приличные по объему знания (об этом мы уже упоминали), но и особый (догматический, грубо говоря) навык отношения к текстам и идеям.

Нет сомнения: к старшим курсам семинарии Гапон уже не стремился к духовной карьере. Выбор был, казалось бы, сделан в пользу интеллигентских ценностей. Толстовство было закономерным этапом на пути к этому выбору.

Однако судьба распорядилась иначе.

Гапон описывает эти события так:

«Когда, по окончании семинарии, возник вопрос о моем поступлении в духовную академию, я сказал, что предпочитаю поступить в университет, но когда я получил свой аттестат, то увидел, что поведение мое аттестовано так дурно, что о поступлении в университет нечего было и думать».

И на сей раз документы позволяют скорректировать рассказ Гапона. Гапон — всего лишь! — получил по поведению «4», а не «5». Суть, однако же, была в том, что он был признан окончившим семинарию не по первому, а по второму разряду. «Перворазрядники» именовались «студентами семинарии», «второразрядники» — «богословами». Последние могли преподавать в духовных училищах, могли быть рукоположены в дьяконы, в принципе — и в священники. Но права продолжать обучение ни в духовных, ни в светских учебных заведениях у них не было.

За что же такая обида?

Гапона, кажется, подвело как раз страстное желание во что бы то ни стало получить диплом первого разряда.

Он и на старших курсах (несмотря на болезни и отнимавшие его время уроки) хорошо успевал по всем предметам, кроме трех: церковного пения (хотя петь он любил), алгебры и — догматического богословия. Склад ума, чуждый абстракций, или отголоски толстовских увлечений? Если верить Гапону, он спорил с преподавателем догматического богословия В. П. Щегловым «о естестве Христа». Педагогу это, конечно, понравиться не могло.

И вот накануне экзамена семинарист явился к преподавателю и прямо спросил его: «Какие вы мне годовые баллы поставите по догматическому и нравственному богословию?»

Дальше разговор (согласно докладу ректора, протоиерея Ивана Христофоровича Пичеты педагогическому совету семинарии) шел так:

«Озадаченный преподаватель ответил: “какие следует”. Тогда Гапон сказал: “если вы мне не выставите 4 и я не попаду в первый разряд, то погублю и себя и вас”. Когда преподаватель сообщил мне о дерзкой выходке Гапона, я не считал нужным входить с ним ни в какие объяснения, но дал заметить в присутствии всего класса, что неблагоприятные поступки и грубые выходки не останутся без должного взыскания. Я надеялся, что он загладит свою вину и, сознавшись в грубости и дерзости, извинится пред г. Щегловым. Но что-же он сделал? 7-го мая, в день экзамена по догматическому богословию, мне принесли от него письмо, в котором извещает, что “к сожалению не могу сегодня держать экзамен по догматике вследствие разстройств и физических и душевных сил”. Однако на все последующие экзамены он являлся и не обнаруживал болезненного вида; не показался он таковым и на экзамене по догматическому богословию, который произведен был ему в моем присутствии и который оказался только удовлетворительным. В промежутке между экзаменами он спрашивал меня, какие ему годовые баллы будут выставлены по догматическому и нравственному богословию, и просил, чтобы я “помирил его с г. Щегловым”, который якобы неправильно понял его слова, не заключавшие в себе никакой угрозы. Я поговорил серьезно с Гапоном о неблагоприятности его поведения и сказал ему, что он сам должен позаботиться о испрошении прощения у оскорбленного им преподавателя, но он не постеснялся сказать мне, что ему самолюбие не позволяет это сделать. Был ли Гапон у г. Щеглова и в какой форме извинялся — я не знаю; знаю только, что он не имеет расположения к духовному званию и домогается первого разряда для поступления в Томский университет».

Поведение Гапона в ходе этой истории кажется странно инфантильным: словно ему не 23, а в лучшем случае 15 лет.

Запись в журнале учебного комитета Духовной академии от 14 июля 1898 года вносит в сюжет дополнительные краски. Пичету возмутило, в числе прочего, то, что письмо ему было написано не по форме: пропущено обращение «его высокопреподобию», подписано «уважающий Вас Ваш воспитанник и сын» вместо «Вашего высокопреподобия нижайший послушник». Такое презрение к формально-ритуальной стороне

дела было присуще Гапону и в его зрелой жизни. Но сейчас оно усугубило раздражение начальства.

Не сумев договориться с семинарским начальством, Гапон написал письмо епископу Полтавскому Илариону.

Иларион (в миру Иван Ефимович Юшенов) был личностью весьма примечательной. Священником он был смолоду, а монашество принял поздно, почти пятидесяти лет, овдовев и потеряв двоих детей. В течение восьми лет он был настоятелем Киево-Печерской лавры. В 1893 году ему уже было под семьдесят.

Иларион Юшенов считался (и действительно был) человеком, близким к обер-прокурору Святейшего синода Константину Петровичу Победоносцеву. Но трудно представить себе более разных людей.

Обер-прокурор, наставник и советник двух последних императоров, сухощавый, некрасивый, странный, но по-своему величественный человек, похожий на старую птицу (знаменитые блоковские «совиные крыла» порождены зрительной ассоциацией), воплощал строгую и печальную охранительную мудрость. За его утопическим стремлением «подморозить Россию» (в том числе и через ограничение доступа к образованию для представителей низших классов) лежало выстраданное презрение к человеческой суете — но и к самому человеку тоже.

Иларион же Полтавский отличался простотой в обхождении, доброжелательностью, практической энергией (когда дело касалось благотворительных проектов), незаносчивостью, терпимостью. Как вспоминает журналист Д. М. Иваненко, «подготавливая осуществление какого-нибудь общественного начинания, епископ Иларион привлекал и призывал принять участие и содействовать ему в хлопотах и заботах решительно всех, без различия национальностей, вероисповедания, сословия, общественного и иного положения. И потому на подготовительных организационных собраниях, обыкновенно в архиерейских покаях, среди собравшихся можно было видеть, кроме православных, и евреев, католиков, лютеран, — не говоря уже о том, что рядом с генеральским мундиром и шелковой рясой часто сидела рабочая поддевка, пиджак и скромная ряса деревенского диакона. Всех Владыка встречал самолично, с одинаковым приветом и благодушием».

Он часто присутствовал на экзаменах в семинарии. По словам того же Иваненко, «одно присутствие Владыки, затем его манеры — все действовало необыкновенно ободряюще и успокаивающе на отвечающих — а уж щедрее Епископа Илариона никто не ставил баллов, — по его оценке все отвечали на пять

и редко кто, в самом худшем случае, срезывался на четверку». Таким образом познакомился он, видно, и с Гапоном.

В письме епископу Георгий чистосердечно признается, что принимать священнический сан не хочет, а собирается действительно поступать на медицинский факультет Томского университета и уже предпринял к тому некие шаги.

Иларион написал Пичете записку с просьбой проявить снисхождение к пылкому юноше. Два купца (у которых Гапон, может быть, был репетитором) тоже ходили просить за него — тщетно. Пичета был непреклонен. С мыслью о поступлении в университет пришлось распрощаться — по крайней мере на время.

А если бы мечты юноши осуществились? Представим себе на мгновение *доктора Гапона*. Наверняка он не затерялся бы в истории, может, даже сыграл бы какую-то важную роль. Но она была бы совершенно иной.

ОТЕЦ ГЕОРГИЙ

Гапон остался в Полтаве и устроился статистиком в земство. Служба скромнейшая, но по критериям и правилам интеллигентского сословия достойная: все равно что прапорщик или подпоручик в армии. Разумеется, знакомство со статистическими данными еще больше уверило его в народных страданиях. Подрабатывал он частными уроками — и все собирался, коли с первым разрядом в семинарии вышла такая незадача, сдать экстерном на гимназический аттестат. Это практиковалось очень широко — многие молодые люди, окончившие обычное городское или земское училище или, к примеру, хедер (еврейскую традиционную школу), позанимавшись пару лет, успешно сдавали экзамен. А уж человеку, фактически имевшему полное среднее образование, казалось бы, это не должно было составить труда. Но дело так и не сдвинулось с места, а тем временем личные обстоятельства молодого Георгия Аполлоновича изменились — вполне предсказуемым и тривиальным образом.

«Дочь одного из состоятельных полтавцев, в доме которого я давал уроки, была дружна с одной хохлушкой, дочерью местного купца. Она окончила гимназию, была очень умна от природы, красива, мила, хорошо воспитана. Я сразу обратил на нее внимание, и постепенно мы сходились все ближе и ближе на почве взаимных занятий и желания служить народу...»

Родители девушки, однако, встретили ее нового друга очень нелюбезно. А как в купеческой семье могли отнестись

к такому потенциальному жениху — без профессии, без прочного заработка, с перспективой шестилетнего студенчества — и то лишь по сдаче экзамена на аттестат?

Но девушка, *умная от природы*, без труда сумела внушить влюбленному молодому человеку, что в роли священника он сможет служить народу еще гораздо лучше, чем в качестве врача, а его идейные разногласия с церковью не имеют никакого значения, поскольку «идеал служения человечеству» выше любых догматов и обрядов.

Гапон пошел к Илариону и попросил у него содействия.

Теперь Георгий просил его помочь пройти рукоположение и получить приход в губернии — если можно, в Беликах или неподалеку.

Иларион сделал больше. Он лично поговорил с родителями гапоновской возлюбленной, убедил их не препятствовать счастью молодых, а будущему зятю их пообещал свое покровительство.

Свадьбу сыграли сразу же, а священником Гапон стал год спустя — это время он должен был прослужить дьячком, видимо, при самом епископе. Когда пришло время, Георгий был рукоположен в дьяконы, а на следующий день — в священники. Иларион привязался к юноше (впрочем, тому было уже лет двадцать пять). Может быть, сыграла роль память об умершем сыне, а может, дело в самом Гапоне, который долго, до зрелых лет, вызывал у многих желание покровительствовать ему. Так или иначе, Иларион не захотел расставаться со своим протеже и предложил ему священническое место не в губернии, а в городе: в бесприходной кладбищенской церкви Всех Святых.

В церкви этой Гапон прослужил около трех лет. Службой он вскоре увлекся. Толстовское отвращение к обрядам ушло («Во время принесения св. Даров на литургии, когда меня охватывало сознание истинного значения жертвы, принесенной Христом, мной овладевал священный восторг»). Но главное — Гапон впервые сумел проявить свои ораторские и организационные способности. Его проповеди собирали в церкви многочисленную публику; он завел «доброхотную кассу для помощи бедным», и она не пустовала. Все это, однако, породило конкуренцию со вторым священником этой церкви и священниками окрестных храмов. Служба при кладбище и так считалась доходной — по понятным причинам. А тут прихожане соседних храмов стали обращаться к отцу Георгию с просьбой совершить ту или иную потребу — мимо своих приходских батюшек. Гапон не отказывал, более того, брал за крещение или панихиду меньше, чем «соседи», и дело доходило до публичных скандалов или штрафов от консистории. Не понравилась

и его попытка устроить чтения церковной литературы в Кобищанах — одном из полтавских предместий, пользовавшемся дурной славой. (Опять же — чужой приход...).

Тем временем у Гапона родилась дочь Мария, затем, через два года, сын Алексей. После рождения сына жена Георгия Аполлоновича (имени этой женщины, так повлиявшей на судьбу своего мужа и — неосознанно — на российскую историю, мы так и не знаем) заболела и вскоре — видимо, в начале 1898 года — умерла.

Потеря эта настолько потрясла молодого священника, что семь лет спустя, в своих мемуарных записках, которые должны были создать у читателя образ несгибаемого борца за народное дело, он уделяет целый абзац глубинным и интимным переживаниям той поры:

«...За месяц до своей кончины, жена моя видела, или ей казалось, что она видела сон, как ее хоронят. Проснувшись, она немедленно рассказала мне все подробно, кто что говорил, кто служил, как я себя вел, и буквально все сбылось. Затем однажды, заработавшись до часу ночи, я прилег и думаю, что не спал. Вдруг я вижу, что моя покойная жена входит в комнату, наклоняется ко мне, как бы намереваясь поцеловать меня. Я вскочил, сбросил одеяло и в это время увидел в конце коридора тень. Я бросился туда и увидел, что горит занавеска в соседней комнате. Очевидно, вследствие небрежности прислуги, лопнула лампадка перед образами и зажгла занавеску. Стояло лето, дом был деревянный, и, если бы я не пришел вовремя, случилось бы большое несчастье. Затем я видел сон, что меня преследует и хватает кто-то, и этот кто-то, как я чувствовал, была моя судьба. С тех пор я поверил в предопределение и некоторую связь между живыми и умершими».

У отца Георгия оставалось двое маленьких детей. Он мог посвятить себя их воспитанию. Но, судя по всему, он был слишком сосредоточен на своем горе. Мог принять постриг, как многие вдовые священники, — ведь второй брак для священнослужителей запрещен, «одна у попа жинка». Но, видно, это было чуждо его характеру. Служить и жить рядом со свежей могилой жены было ему тяжело. Недоброжелатели Гапона вспоминали, что после смерти жены он пристрастился к картежной игре. Но это и понятно — человек ищет забвения, разрядки...

Он собирался проситься на другой приход, вопрос вроде бы решился, но тут Иларион неожиданно предложил Гапону поступить в Санкт-Петербургскую духовную академию. Казалось бы, именно этот путь был перед ним наглухо закрыт; но Иларион обещал помочь — и снова помог.

АКАДЕМИЯ

Епископ взялся за дело со всей решительностью.

Он предложил Гапону написать ходатайство о поступлении в академию, которое сопроводил собственным отзывом («<...> Как о пастыре искренно-благоговейном, ревностном в проповеди слова Божия, назидательном и учительном на внебогослужебных собеседованиях, собиравших множество слушателей...»). Ходатайство и отзыв, с приложением семинарских документов Гапона, были отправлены в Синод не обычным порядком, а через Победоносцева. Вероятно, обер-прокурору Синода (фактически — одному из трех-четырех главных лиц в империи) Иларион написал и частным образом.

Одновременно Гапон воспользовался помощью некой своей покровительницы — богатой полтавской дамы, владевшей домом в Петербурге, ни больше ни меньше, как на Адмиралтейской набережной (то есть между пролетами Адмиралтейства). Характерная в будущем черта Георгия Аполлоновича: не класть все яйца в одну корзину и по возможности пользоваться всеми предоставляющимися возможностями сразу. Дама хорошо знала Саблера — помощника Победоносцева, его правую руку. Владимир Карлович Саблер, православный сын офицера-лютеранина, был человек вполне светский, карьерист без особых идей. (Впоследствии, в 1911—1915 годах, он сам стал обер-прокурором Синода; считался протеже Распутина.)

Гапон отправился в Петербург, по пути ненадолго остановившись в Москве. Там его застало известие, что через два дня его прошение о допуске к академическим вступительным экзаменам будет рассматриваться Учебным комитетом при Синоде.

«Вид Петербурга очень поразил меня. Я ожидал увидеть большой мрачный город, окутанный дымом и туманом, населенный бледными, худыми, нервными, благодаря их нездоровой и неестественной жизни, людьми. Но стоял июль; день выдался светлый, солнечный; город показался мне в самом лучшем виде; всюду слышался веселый шум и кипела оживленная деятельность. Народ, который я встречал, вовсе не казался мне угнетенным, мрачным; напротив того, он был энергичнее, здоровее, чем обитатели моей мирной и поэтической Полтавы. Зато дома показались мне однообразной архитектурой и походили на большие казармы».

Увы, петербургский амбир не вдохновил украинца, привыкшего к южным «домикам-пряникам». Узкие московские улочки понравились ему больше. Зато деятельный дух столицы сразу был им учуян. Здесь и ему предстояло развернуться.

Пока что Гапон остановился в особняке своей загадочной покровительницы, с царственным видом на Неву. Саблер принял его, был любезен, пригласил провинциала к завтраку, но дал тому понять, что про его «плохое поведение» в семинарские годы не вовсе забыто. Затем, уже по совету Саблера, Гапон пошел к протоиерею Петру Алексеевичу Смирнову, настоятелю Исаакиевского собора, председательствовавшему в Учебном комитете при Синоде. Тот — «толстый, чванливый» — оказался менее благожелателен; он дружил с Щегловым (уже к тому времени покойным) и знал злополучную семинарскую историю с его слов. Протоиерей кисло заметил: «Должен признаться, что мое сердце полно недоумения при мысли о вашем поступлении в академию...»

Несколько обескураженный, Гапон наконец решил посетить Победоносцева. Обер-прокурор жил в летнее время в Царском Селе. Гапон наудачу отправился туда. Победоносцев в Царском принимал неохотно, но Гапону несколько минут уделил: по протекции какого-то чиновника (прежде бывавшего в Полтаве и знавшего Илариона), с которым Гапон успел за полчаса познакомиться в поезде из Петербурга.

Эта историческая встреча описана Георгием Аполлоновичем красочно:

«— Что вам угодно? — внезапно раздался сзади меня голос.

Я оглянулся и увидел “великого инквизитора”, подкрававшегося ко мне через потайную дверь, замаскированную занавескою. Он был среднего роста, тощий, слегка сгорбленный и одет в черный сюртук.

— Я пришел к вашему превосходительству просить разрешения держать конкурсный экзамен в академию, — сказал я.

Победоносцев пытливо посмотрел на меня:

— Кто ваш отец? Вы женаты? Есть у вас дети? — Вопросы сыпались на меня, причем голос его звучал резко и сухо.

Я ответил, что у меня двое детей.

— А, — воскликнул он, — мне это не нравится; какой из вас будет монах, когда у вас дети? Плохой монах, я ничего не могу для вас сделать, — сказал он и быстро отошел от меня. Его манера говорить, мысль, что все мои надежды рушатся, вызвали во мне негодование и протест.

— Но, ваше превосходительство, — крикнул я, — вы должны меня выслушать, это для меня вопрос жизни. Единственное, что мне теперь остается — это затеряться в науке, чтобы научиться помогать народу. Я не могу примириться с отказом.

Очевидно, в моем голосе было что-то, что остановило его. Он повернулся ко мне, с удивлением слушая меня, и, пристально глядя мне в глаза, вдруг сделался милостив ко мне.

— Да, епископ Иларион говорил мне о вас; хорошо, идите к отцу Смирнову на дом — он живет теперь в Царском Селе — и скажите ему от меня, что он должен прислать благоприятный доклад в Святейший Синод. — Затем он исчез».

Так все решилось. Гапону еще пришлось пережить несколько неприятных минут у председателя Синода, выжившего из ума митрополита Палладия, который с чего-то стал кричать на него и топтать ногами, но распоряжение Победоносцева было сильнее иных мнений и настроений.

Интересно, что Гапон (или помогавший ему в работе над мемуарами журналист Соскис?) употребляет выражение «великий инквизитор». Автор «Братьев Карамазовых» как раз в период работы над этим романом был, как известно, в дружеских отношениях с Победоносцевым. Известно и то, что будущий обер-прокурор с настороженностью воспринял «Повесть о великом инквизиторе», увидев в ней нечто большее, чем антикатолический памфлет. Отождествление Победоносцева с инквизитором было в иных интеллигентских кругах общим местом.

Для самого «инквизитора» помощь молодому священнику, рекомендованному полтавским архиереем, была эпизодом ничтожным и, видимо, тут же забытым. Обер-прокурору было за семьдесят, голова у него была занята более важными делами, к тому же он торопился во дворец (на обед в честь болгарского царя). А получилось так, что человек, четверть века положивший на то, чтобы остановить, предотвратить, задержать революцию, сам способствовал переселению в столицу человека, которому суждено было нажать спусковой крючок...

Учебный комитет при Синоде рекомендовал допустить Гапона до экзаменов, Синод принял решение, экзамены были сданы успешно (хотя для этого пришлось заниматься по 18 часов в сутки). Полтавчанин занял шестнадцатое место среди шестидесяти семи экзаменующихся (результат не то чтобы «блестящий», как пишет он сам в мемуарах, но весьма достойный) и получил стипендию Марии и Василия Чубинских. Он стал одним из пятидесяти девяти академистов, одним из девяти частных стипендиатов и одним из одиннадцати пансионеров на своем курсе (а курса было четыре).

Санкт-Петербургская духовная академия официально вела свою летопись с 1809 года, когда церковные учебные заведения были приведены в строгий бюрократический порядок. Но в действительности история ее началась почти веком раньше — со «словенской школы», основанной при Александро-Невской лавре в 1721 году, еще при Петре. С 1725 года школа именовалась семинарией, с 1788-го — «главной семинарией», а в

1797 году получила титул академии и была приравнена, таким образом, к более старым московской Славяно-греко-латинской и Киево-Могилевской академиям. Среди выпускников сего учебного заведения было множество достойных архиереев (академический диплом открывал ворота к высшим степеням церковной иерархии, доступным лишь черному духовенству, — потому Победоносцев и поминал о принятии монашества), немало и лиц, небезызвестных на иных поприщах — начиная с поэта Ивана Баркова, именно из Александро-Невской семинарии взятого в студенты Академического университета.

Одновременно с Гапоном в академии учились люди разного возраста — одним было чуть за двадцать, другим за сорок — и разного опыта, часто совсем непохожие на «учащуюся молодежь». Все же церковные власти боялись обычных в ту пору студенческих беспорядков, а потому в постоянно выходивших отдельной брошюрой «Правилах для студентов» категорически предостерегали от сходок и собраний по любым поводам, от составления общих писем и выборов «депутатов»; заявлять о своих нуждах и предъявлять жалобы позволялось только через назначенных начальством дежурных. Причем в принципе опасения были не напрасны: в 1905—1907 годах в духовных академиях (Московской, Петербургской и Киевской) волной пошли конспиративные собрания, политические заявления и пр. — по лучшим университетским образцам. Как и в университетах, борьба за «свободу» и «народное благо» связывалась с движением за академическую автономию, за выборность ректората и вообще за собственные студенческие права.

Но в 1898 году до этого было далеко. Академисты еще сидели тихо.

Студенты, проживавшие в общежитии, теоретически должны были подчиняться строгому распорядку: подъем в восемь, молитва, чай (не завтрак!) до девяти, лекции до двух, обед, самостоятельные занятия, ужин, отбой в одиннадцать... На практике этот школьнический режим соблюдался уж во всяком случае не всегда и не всеми. Приключения самого Гапона в академические годы — лучшее тому подтверждение. То же самое с обязательным посещением богослужений. В Киевской академии в 1908 году из 197 студентов к вечерне являлось не больше дюжины. Вряд ли в Петербурге в 1898 году дело обстоит иначе.

Жили студенты в комнатах по 10—15 человек. Но Гапон, по свидетельству одного из однокурсников, священника Михаила Степановича Попова, всякий раз ухитрялся устроить себе отдельное жилище. То он выселял служителя канцелярии, донеся начальству, что тот без дозволения живет в академии, то

притворялся больным и получал отдельную палату в лазарете. Товарищам эта мелкая ловкость не нравилась.

Тот же Попов (личность, кстати, примечательная, видный церковный историк, а в 1920-е годы — деятель «обновленческой» церкви*) свидетельствует, что Гапон редко посещал лекции. На самом деле все было сложнее. Сначала он был увлечен учением, но быстро разочаровался. Характерная история: «В первом сочинении я изложил как можно яснее свои мысли и получил за то строгий выговор от профессора. “Вы не должны иметь собственных суждений об Евангелии, — сказал он, — студенты должны лишь изучать то, что говорили св. отцы”». Очевидно, что человек, жалующийся на своих преподавателей, что они не позволили ему на первом курсе излагать собственные ценные идеи, а вместо этого заставляют копаться в тонких отличиях между взглядами Тертуллиана и Оригена, не имеет склонности не только к богословию, но и вообще ни к какой гуманитарной науке. Не надо, впрочем, думать, что у всех однокашников Гапона такая склонность была. Многие поступали в академию ради церковной карьеры... или ради диплома о высшем образовании, который давал возможность служить по гражданскому ведомству в более высоких чинах.

Курс академии включал конечно же изрядное количество предметов — и специально-церковных (библейская история и археология, патристика, общая церковная история, история и разбор западных вероисповеданий, история и обличение русского раскола и т. д.), и общегуманитарных (психология, древняя и новая история, теория словесности, история философии и пр.). Преподаватели делились на две категории: «рясофоры» (духовные лица) и «фрачники». Между этими группами был некоторый антогонизм. Но и те и другие имели духовно-академическое, а не университетское образование. Церковная наука развивалась отдельно от светской, и хотя некоторые из профессоров Духовной академии (например, историк Николай Никонорович Глубоковский) имели звание членов-корреспондентов Академии наук, а иные параллельно преподавали в университетах (правда, не в Петербурге), все-таки в академическом сообществе они были на особом положении. Гапона, впрочем, впечатлил лишь один из них — Василий Васильевич Болотов, специалист по истории церкви периода первых соборов, эрудит и полиглот, аскет в частном быту, да-

* «Обновленцы», иначе Живая церковь, выступали за модернизацию церковных уставов и церковного быта, притом были более чем «Патриаршая церковь», сервильны по отношению к советской власти и до поры до времени ею поддерживались. В конце 1920-х утратили влияние. В 1946 году объединились с «патриаршей» церковью.

лекций от ортодоксии в богословских взглядах, действительно едва ли не самый крупный ученый, преподававший тогда в академии. Впрочем, Болотов умер уже в апреле 1900 года, а до того долго болел: Гапон недолго мог слушать его лекции.

Живые иностранные языки преподавали их носители. Надо было учить один из них — по выбору (Гапон выбрал почему-то сравнительно малопопулярный в то время английский). Об уровне преподавания, к примеру, русской литературы свидетельствует литографированный конспект курса лекций, посвященных Достоевскому и Тургеневу (до отлученного Толстого дело, видимо, не доходило), изданный в 1902 году. Уровень достойный, не уступающий какому-нибудь провинциальному университету, — хотя романы Тургенева предмет для богословов явно непрофильный.

Другими словами, образование, полученное Гапоном, было вполне качественным и глубоким — при том даже, что учился он без особого увлечения. Тем не менее — как-то учился, писал ежегодные сочинения, сдавал экзамены... Хотя не всегда академическая жизнь его шла гладко.

«МЯТУЩАЯСЯ ДУША»

Первый «сбой» случился уже в 1898/99 учебном году. В середине года Гапон ушел в отпуск по болезни, засвидетельствованной академическим врачом Д. Пахомовым (о чем есть запись в Журнале Духовной академии от 9—10 июня 1899 года), и не сдавал никаких экзаменов.

О болезни Гапона известно мало. Судя по тому, что он отправился в Крым (деньги собрали по подписке), это было что-то легочное, может быть, простудного происхождения (южанин в Петербурге!).

В Крыму отец Георгий сперва жил в Ялте, потом — благодаря содействию епископа Таврического Николая (позднее видного черносотенца) — в балаклавском Георгиевском монастыре. Монастырь был полон отдыхающих, и монахи увлеченно занимались, так сказать, «туристическим бизнесом», в то время как (строго замечает Гапон) «2 тысячи десятин великолепных виноградников, принадлежащих монастырю и могущих давать по 200 руб. с десятины, оставались... заброшенными». Крестьянский сын не мог спокойно смотреть на такую бесхозяйственность (не говоря уже о далеком от аскезы образе жизни молодых монахов).

В Балаклаве завязались примечательные знакомства.

Среди тех, кто одновременно с Гапоном жил в Георгиев-

ском монастыре, были известный либеральный публицист Георгий Аветович Джаншиев, литератор-толстовец (еще один!) Петр Алексеевич Сергеенко и прославленный художник Василий Васильевич Верещагин. Сергеенко оставил воспоминания о пиитическом времяпрепровождении этой почтенной компании. Например, о том, как, глядя на крымские сказы, отдыхающие «угадывали» в них разные образы. Лирически настроенный Джаншиев видел голову из «Руслана и Людмилы». Баталист Верещагин – Наполеона. Что виделось Гапону?

Между Гапоном и Верещагиным происходили сцены, забавлявшие окружающих.

«Гапон высоко чтит Верещагина как художника, но когда Верещагин проявлял какой-нибудь знак невнимания к Гапону, пылко-нервный батюшка заносил это полностью в счет и при первой же okazji демонстративно предьявлял его Василию Васильевичу.

Его при встрече «не заметил» Верещагин. Он при встрече «не заметил» Верещагина. И невозможно было смотреть без улыбки, когда эти два завзятых казака по природе встречались неожиданно после какого-нибудь неулаженного конфликта между ними. Точно два насторожившихся петуха. Обыкновенно кончалось тем, что «неприятели» расходились и делали вид в течение нескольких дней, что «не замечают» друг друга, или, молодецки рассмеявшись, начинали с увлечением беседовать, как ни в чем не бывало».

Сам Гапон тоже уделяет Верещагину несколько фраз в своих воспоминаниях. Между прочим, передает состоявшийся между ними разговор о картине Иванова «Явление Христа народу». Верещагин предьявлял к ней претензии, характерные для живописца-натуралиста конца XIX века: «Как мог кто-нибудь... возвращаться из пустыни с гладко причесанными волосами?»

Гапон попал в компанию светских интеллигентов, да при том из самой верхушки. А кем был он сам? «Патриархальный священник», как позднее задним числом назвал его добрый знакомец, В. И. Ульянов-Ленин? Ученый церковный человек, насаждение коих было целью Духовной академии? Или – полуинтеллигент из губернского города, земский статистик? И как подействовали на него летние встречи?

В пятом номере «Русской мысли» за 1907 год напечатана переписка Гапона с еще одним знакомым по Крыму, неким Г. И. (по-видимому, это упомянутый в гапоновских мемуарах «Михайлов», «старый идеалист сороковых годов») и, предположительно, его супругой, обозначенной литерами А. К. Ниже – некоторые выдержки из писем 1899 года с комментариями.

«Или — покориться своей судьбе, выражаясь словами Никитина: “Мне, видно, нет иной дороги — она лежит.. иди вперед, тащись, куда служат ноги, впереди — что Бог пошлет...” , или же с гордыми и смелыми словами (на устах) любимого вами стихотворения перейти Рубикон» (15 октября 1899 года).

«Любимое стихотворение» — это «Море» Петра Вейнберга, которого ныне помнят за другое произведение, одно-единственное — романс «Он был титулярный советник», и еще за многочисленные переводы с разных языков. Современники, однако, с восторгом повторяли:

Бесконечной пеленою
Развернулось предо мною
Старый друг мой — море.
Сколько силы благодатной
В этой шири необъятной,
В царственном просторе...

Еще Мандельштам непочтительно вспоминал, как 75-летний Петр Исаевич Вейнберг, «настоящий козёл с пледом», декламировал в середине 1900-х эти строки перед учениками Тенишевского училища.

А что за Рубикон, который Гапон решился было перейти, — это становится ясным дальше, из следующего письма, посланного 7 ноября.

«Со 2-го ноября я в Петербурге. Не заезжал до своего батюки и няньки потому, что, отдав 22 руб. долга о. Петру, едва-едва достиг столицы. В академии приняли очень хорошо, отвели комнату и засчитали сочинение. Признаюсь, всякое участие со стороны академии болезненно отзывается в моем сердце. Но что же делать? Бедность! А жить в Петербурге приходится ради хлопот по своему делу. Ректор историко-филологического факультета*, с семейством которого я знаком, сообщил, что поступить в университет можно двумя путями: 1) держать экзамен на аттестат зрелости 2) поступить пока вольнослушателем; держать же экзамен через год, два... Только вопрос, можно ли поступить до Рождества Христова».

Про жилищные дела Гапона в академии мы уже писали. Отдельная комната вернувшемуся из академического отпуска студенту — это был знак особенного благоволения. Официальное решение об освобождении Гапона от первого семестрового сочинения («...принимая во внимание болезненное состояние... а также то, что он написал удовлетворительно первое

* Деканом (не ректором, конечно) этого факультета был в то время И. В. Помяловский, известный в том числе работами по истории Церкви и связанный с Духовной академией

семестровое сочинение в минувшем учебном году...») датируется 2 декабря, но, видимо, решение принято было раньше.

Однако Гапон, хлопоча об этой поблажке, думал тем временем об уходе из академии и поступлении в университет — на сей раз на историко-филологический факультет, а не медицинский. Мысли эти были внушены ему новыми крымскими друзьями — Михайловым и Верещагиным. Оба призывали молодого человека «снять рясю», чтобы самореализоваться и, само собой, «служить народу».

Но дальше намерений дело и в этот раз не пошло.

30 ноября Гапон пишет Г. И.:

«Бывают драгоценные минуты, когда человеческое сердце вдруг раскрывается для глубокого восприятия какой-либо высокой идеи, когда последняя мгновенно пронзает мятущуюся душу, глубоко западает на дне ее и начинает, подобно прекрасной закваске, действовать в жизни известного человека. В одну из таких минут нашел отклик в моем сердце благородный призыв, вышедший искренно от благородного и убежденного человека.

Но получил два письма от честного и любимого отца... где он открывает горе, долго скрываемое от меня: болезнь тяжелая “неньки”, слабость его и вообще расстройство семьи. Неужели не долг мой пожертвовать собой, своим собственным “я” для блага и успокоения тех, которые меня вскормили и возрастили?»

Речь шла не только о деньгах. Надежде Константиновне Крупской Гапон позднее так описывал свои тогдашние переживания: «...Подумал я: сейчас на селе родителей уважают, отец — старшина, ото всех почет, а тогда станут все в глаза бросать: сын — расстрига». Впоследствии Гапон не задумался о чувствах и нуждах родителей, впутываясь в большую политику. Но в 1899 году эти соображения сыграли свою роль.

Впрочем, уже в следующем письме к Г. И. несколько театральную жертвенность сменяет энтузиазм. Началась та деятельность, которая принесла Гапону славу и гибель.

ФАБРИЧНЫЕ

Еще до болезни, осенью 1898 года, в жизни Гапона произошло важное событие: будущий рабочий лидер впервые познакомился с представителями рабочего класса.

Петербургский митрополит Вениамин (знавший о Гапоне все от того же Илариона) пригласил его участвовать в миссионерских беседах в Покровской церкви на Боровой улице. Ве-

ниамин, в то время — энергичный сорокалетний архипастырь, прославился много позднее, уже в советское время, как первоиерарх уже поминавшейся «обновленческой» церкви (примечательно все же, какое количество исторических личностей успел встретить отец Георгий до тридцати лет!).

Как же подошел к делу Гапон?

«На следующем собрании миссионеров, где обсуждался дальнейший ход работы, я высказал свое мнение, что для укрепления работы миссии необходимо организовать рабочих для взаимной поддержки и кооперации, чтобы они могли улучшить экономический быт своей жизни, что я и считал необходимой предварительной стадией для их нравственного и религиозного воспитания...»

На сей раз талант социального организатора не был востребован (вскоре батюшка заболел), но эпизод нельзя не признать символичным.

Для Гапона слово «народ» до сих пор означало крестьян. Для части тогдашнего образованного сословия (в том числе для части революционеров) русские рабочие, фабричные, мастеровые люди и были оторванными от корней, от земли, от сельской общины крестьянами. Для других именно промышленный пролетариат был залогом победы грядущей революции, главным ее участником. Но Гапон в 1898 году об этих спорах не знал ничего.

На рубеже веков в России насчитывалось 14 миллионов наемных рабочих (десятая часть населения страны), из которых, однако, в промышленности работали только три миллиона. Остальные — строители, грузчики, землекопы, сельские батраки, подручные ремесленников и кустарей. Но в Петербурге было полтора (по другому счету — 200) тысяч настоящих индустриальных пролетариев — 12 или 15 процентов населения города, что уже немало. Питер, впрочем, еще при основателе своем был городом мануфактур и верфей, а не только дворцов и канцелярий.

Фабричные к началу правления Николая II уже были особым сословием, с собственной психикой, даже с узнаваемым внешним обликом. Инженер А. Г. Голгофский писал в 1896 году (в докладе Российскому торгово-промышленному обществу):

«Проезжая по любой нашей железной дороге и окидывая взглядом публику на станциях, на многих из них невольно обращает на себя ваше внимание группа людей, выделяющихся из обычной станционной публики и носящих на себе какой-то особый отпечаток. Это, во-первых, люди, одетые на особый лад: брюки по-европейски, рубашка цветная навыпуск,

поверх рубашки — жилетка и неизменный пиджак; на голове суконная фуражка; затем это люди большею частью тощие со слабо развитой грудью, с бескровным цветом лица, с нервно бегающими глазами, с беспечно ироническим на все взглядом и манерами людей, которым море по колено и нраву которых не препятствуй. Незнакомые с окрестностями места и не зная его этнографии, вы безошибочно заключите, что где-то около этого места есть фабрика».

Полудеревенские люди, еще помнящие о своих корнях, но уже втянутые в городскую цивилизацию. Рубашка цветная на-выпуск — и пиджак, жилетка... Петербург всегда был полон сезонных гостей, ремесленников и торговцев, приезжавших из деревень на зиму — питерщиков, но те приходили, уходили, сменялись, а фабричные оседали в Питере надолго, часто навсегда. У них была уже своя субкультура: частушки (новшество на рубеже веков — доселе не существовавший фольклорный жанр), песенки вроде знаменитой баллады про отравившуюся девушку:

Уж вечер вечереет,
Все с фабрики идут,
А бедную Марусю
На кладбище несут.

Но это была вершина айсберга. Мастерские раннеиндустриальной поры еще хранили особую ремесленную культуру, культуру отношения к вещи, орудию, материалу, прежде не находившую выражения ни в письменной словесности, ни в фольклоре. В XX веке эта культура вдохновляла одного из величайших русских писателей, Андрея Платонова, выходца из фабрично-заводских людей конца петербургской эпохи.

Уровень и качество жизни рабочего человека в предреволюционной России — привычная тема идеологически окрашенных спекуляций. Обратимся к сухим цифрам.

Прежде всего — сама работа.

Закон 1897 года (за год до того, как Гапон пришел в Покровскую церковь) ограничил рабочий день одиннадцатью с половиной часами (в предпраздничные дни и для женщин — десять часов; несколько больше, чем в Англии и Германии, но в общем в пределах тогдашних европейских стандартов), а рабочий год — 295 с половиной днями. Другими словами, мужчина проводил у станка около 3200 часов в год (в наше время — примерно 1800 часов). Притом рабочий не находился конечно же в цеху 11 или 12 часов непрерывно. Часто он отработывал шестичасовую смену (с четырех до десяти утра), потом шесть часов отдыхал, а потом опять шел к своим станкам. Такой порядок распространен

был в легкой промышленности. На других заводах одиннадцати-, двенадцатичасовой рабочий день прерывался долгим, часа на два, обеденным перерывом. Вроде бы это делалось для блага, для отдыха самих рабочих, а в результате у людей, занятых тяжелым физическим трудом, не оставалось времени на нормальный ночной сон.

Подростки с двенадцати до пятнадцати лет работали по восемь часов в сутки с четырехчасовым перерывом (труд детей до двенадцати лет был запрещен еще в 1882 году). Закон обязывал фабрикантов учить их ремеслу.

Условия труда почти везде были, на нынешний взгляд, ужасны (спертый воздух, вредные испарения), травматизм огромен. Впрочем, в этом отношении на многих заводах ничего не изменилось по крайней мере до 1960-х годов.

Средняя зарплата рабочего в промышленности составляла примерно 16 рублей в месяц. На эти деньги мастеровой мог купить где-то 3 пуда и 12 фунтов (53 килограмма) свиной шейки, а нынешний (2013 год) российский рабочий на свои средне-статистические 22 тысячи может купить целых 88 килограммов этого продукта. Но не одной свиной шейкой жив человек! В эпоху Гапона не было ни всеобщей бесплатной медицины*, ни массового бесплатного образования (выше начального уровня — а в больших городах начальные училища были переполнены), ни квартир в личной собственности (хозяин был у дома, а апартаменты снимались — самая дешевая двух-, трехкомнатная квартира в Петербурге стоила 25—30 рублей в месяц; комната в меблирашке — 5—7 рублей). Были, правда, бесплатные казармы для рабочих — аналог нынешних «общаг», но не на всех заводах. Многие снимали «углы» — то есть жили по несколько семей в комнате.

Не забудем еще про штрафы за различные трудовые провинности (они, правда, поступали в особый фонд, который шел на общие нужды самих рабочих) и про отчисления в пенсионную кассу. (Но податей платить уже не нужно было: бюджет России с 1887 года наполнялся за счет косвенных налогов, входивших в цену товара.)

В общем, картина довольно суровая. Однако же важны нюансы. Среднестатистические цифры лукавы. Для России характерен был огромный разрыв в оплате и уровне жизни между чернорабочими, недавно приехавшими из деревни (и составлявшими абсолютное большинство рабочего класса), и «рабочей аристократией». Высоквалифицированный слесарь на хорошем заводе получал в среднем от 80 до 100 рублей в ме-

* Хотя на крупных предприятиях рабочим оказывали безвозмездно элементарную медицинскую помощь.

сяц — в четыре-пять раз больше, чем земский учитель, столько же, сколько офицер в чине капитана или ротмистра. Он жил вполне по стандартам «нижнего среднего класса», снимал квартиру из нескольких комнат (или имел собственный домик), мог отдать детей в реальное училище, а то и в гимназию. Зарботки электриков, наборщиков, железнодорожных машинистов бывали еще выше. Притом ядро «революционного пролетариата» составляли столичные металлисты и машиностроители — рабочие далеко не самые бедные. Впрочем, так всегда бывает.

Рабочие в большинстве своем (среди мужчин — шесть из десяти) были грамотны: контраст с крестьянской средой впечатляющий. При больших заводах обычно были школы, библиотеки. По выходным дням устраивались книжные чтения, давались спектакли. Тяга к знаниям у русских фабричных, в общем, была порой даже жадной. Ходасевич, Белый, Гумилев, преподававшие после революции в студиях Пролеткульта, ценили это качество рабочей молодежи. Но если после революции рабочих развращали и сбивали с толку марксистские идеологи, то в царской России у них просто не хватало времени и сил на самообразование. Одинокий рабочий в среднем тратил на книги, газеты, театр и прочие излишества такого рода около одного процента своих заработков, а семейный еще меньше. Между тем на спиртные напитки уходило пять—семь процентов. Конечно, ничего удивительного. Нравы фабричных слободок изысканностью не отличались, и не только в России.

После возвращения в Петербург, год спустя, Гапон снова был привлечен к миссионерской деятельности в рабочих районах — на сей раз Саблером.

По его предложению Гапон стал осенью 1899 года проводить нравственные беседы в церкви Всех Скорбящих в Галерной гавани — в западной, приморской части Васильевского острова, с давних времен страдавшей от наводнений. Именно там жила и погибла пушкинская Параша. Близ Галерной гавани со времен Елизаветы Петровны находились судоверфи, было много и других промышленных предприятий. Беседы организовывало Общество религиозно-нравственного просвещения, возглавляемое протоиереем Философом Орнатским (видный церковный деятель, впоследствии настоятель Казанского собора; убит в 1918 году во время красного террора, канонизирован как священикомученик).

Гапон быстро и ненадолго загорелся — как это часто с ним случалось.

Вот цитаты из писем Г. И.:

«Увлекаюсь беседами. Заметно массовое стечение народа,

так что подумываем с Галерной администрацией, во главе с Саблером (был у них 28), воспользоваться религиозно-нравственным подъемом и создать Общество. Так как я не хорошо изучил народонаселение Галерной гавани и вижу пока, что главные пороки здесь — пьянство и беспорядочное проведение праздничных (нерабочих) дней, то предлагаю создать Общество ревнителей разумно-христианского проведения праздничных дней с разделением района на 12 участков» (31 декабря 1899 г.).

«Дело проповеди в церкви “Милующей Божьей Матери, что на Галерной гавани”, процветает. В прошлое воскресенье здесь служил вечерню и слушал мою беседу о. архимандрит Сергей, инспектор духовной академии. В будущее воскресенье будет служить по приглашению Саблера преп. Вениамин...» (7 марта 1900 г.).

Какой там отказ от сана! Священство давало Гапону проявить себя так, как никакая другая деятельность не дала бы. Питерские рабочие слушали его так же увлеченно, как полтавские мешане, или еще увлеченнее. На проповедях-беседах бывало, если харизматический священник не преувеличивает, до двух тысяч человек. Приходили сектанты-пашковцы, особенные русские протестанты; иногда они вступали в теологические споры, из которых Гапон выходил победителем: его спасали не столько абстрактные богословские познания, сколько обаяние и пафос. Академическое начальство вполне одобряло внеучебные занятия студента. Инспектор Сергей, приходивший послушать его беседы, — это не кто иной, как Сергей Страгородский, будущий патриарх... и непримиримый противник обновленца Вениамина. В то время оба они были еще молоды — лишь несколькими годами старше Гапона. И, конечно, не могли представить себе, что в зрелые годы окажутся по разные стороны некой разделительной черты.

Но чистая дидактика не увлекала отца Георгия: его душа требовала организационной работы, а любезный карьерист Саблер не прочь был небрежно посядействовать.

Ничего, однако, не вышло. В устав Общества ревнителей разумно-христианского проведения праздничных дней Гапон включил пункт о создании рабочих касс взаимопомощи. Саблер не поддержал его, ответив, что общество взаимопомощи (на случай наводнений) в Гавани, собственно, уже есть. Но, как объясняет Гапон в своих мемуарах, общество это находилось «всецело в руках духовенства», а он предлагал самоорганизацию рабочих и для каждодневных нужд, а не только на случай разгула стихии. Никакой «политики» в этом конфликте не было — Гапон сам честно пишет, что собственно поли-

тическими вопросами в то время еще не интересовался — но бесконтрольного хождения даже самых скромных денежных средств власти старались не допускать: мало ли что.

Так или иначе, взаимопонимания с духовным начальством больше не было, и молодой священник прекратил душеспасительные беседы в церкви Всех Скорбящих, увлекшись новыми проектами.

«НА КОЛЕНИ ВСЕ!»

Известность Гапона в городе росла. В 1900 году он получил предложение постоянной службы, причем двойное. Речь шла о детских социальных учреждениях.

В Приюте трудолюбия Святой Ольги на Васильевском острове ему предложили место законоучителя, в приюте Синего Креста — священника и настоятеля церкви.

И ольгинские приюты, и Синий Крест — это были целые сети богоугодных заведений для бедных, больных, подвергающихся жестокому обращению детей.

Приюты Святой Ольги созданы были по инициативе правительства (указом Николая II от 10 ноября 1895 года, в ознаменование рождения старшей дочери Ольги Николаевны); казна учредила первый приют в Славянке, а новые создавались по образцу первого уже частными лицами. Дети-сироты без средств к существованию обучались здесь грамоте, счету, Закону Божию и несложным ремеслам. Это были не «рабочие дома» в диккенсовском духе: призреваемые дети должны были полностью обслуживать себя (прислуги не полагалось — сами выпускники приютов могли пополнить ряды прислуги!), они делали ремесленные поделки на продажу, но непосильным трудом и голодом их не морили. Хотя, вероятно, и не баловали особо.

Василеостровский приют был основан в 1896 году на средства, собранные А. А. Шварцем и Ф. П. Петроконино (две тысячи рублей частным образом пожертвовала императрица). В ноябре 1900 года приют разместился в здании, спроектированном (бесплатно!) архитекторами Гейслером и Гуслистым и считающемся ныне заметным памятником северного модерна (Средний проспект Васильевского острова, 80 / 23-я линия, 32). Здание рассчитано было на 25 мальчиков, 15 девочек и 10 малолетних питомцев. На практике преобладали отчего-то девочки, от четырех до семнадцати лет; учили их в основном шитью; способные получали аттестаты портних, другие — места горничных. Для мальчиков завели сперва сапожную и

слесарную мастерские, потом вместо них (как оказалось, трудных для детей и убыточных) открылась плетеночная. На освящение церкви в Ольгинском приюте был приглашен сам преподобный Иоанн Кронштадтский, всероссийски прославленный иерей, пользовавшийся репутацией чудотворца. Он служил вместе с Гапоном и еще одним священником.

Общество попечения о бедных и больных детях Синий Крест учреждено было в 1882 году; среди учредителей были люди разные — от священника Верховенского до зубного врача Вольфсона и от архитектора Руска до генеральши Тиц. К концу века в ведении общества были разные учреждения — ясли (в современном понимании детские сады) для детей рабочих, больницы и нечто вроде санаториев или здравниц, убежища для подвергающихся побоям. В сиротских приютах мальчиков до четырнадцати лет обучали ремеслам, девочек держали дольше и готовили в основном в прислуги; в общем, то же, что в Ольгинских домах.

Второй приют, только для девочек предназначенный (воспитаниц или призреваемых в нем было до полусотни), относился к Московско-Нарвскому отделению, но располагался тоже на Васильевском острове, на 22-й линии (дом 11), совсем рядышком с Ольгинским. Место особенное: рабочий район, однако близ центра города. Гапон получил при приюте квартиру и сразу же съехал из академии.

Вскоре среди соучеников полтавского священника пошли слухи о том невероятном эффекте, который имеют проповеди их однокурсника на Васильевском острове. Гапон сам исподволь, как бы случайно, не упускал случая похвалиться. Всё — даже многолюдные собрания в Гавани — меркло перед его новыми успехами.

В приютских церквях — и на 22-й, и на 23-й линии — собирались толпы приморских бедняков. В том числе, вероятно, и те, кто бывал на гаванских беседах — ведь это всего в нескольких кварталах.

Отец Георгий не был оратором в обычном смысле слова. Скорее, он обладал талантом режиссера. Важны были не слова, которые он говорит, а особые приемы, безошибочно воздействовавшие именно на этих, в этот час в этом месте собравшихся людей.

Слово отцу Михаилу Попову, не слишком доброжелательному, но достоверному свидетелю:

«...Например, произнеся проповедь перед плашаницей, вместо заключительных слов, он раз приказал молящимся: “На колени все!” Дети, стоявшие у амвона, разумеется, не могли не послушаться своего батюшку и стали на колени прежде

всех; за ними опустились на колени ребяташки, всегда подражавшие в подобных случаях дисциплинированным приютским детям; потом стали на колени дамы, мужчины, из приличия сделало то же и приютское начальство. Поставивши всех таким образом на колени, Гапон продолжал церковную службу среди недоумевающих, отчасти плачущих богомольцев...

Или, например, в большой праздник, по окончании службы, обращался к прихожанам с приветствием:

— С праздником поздравляю вас, братцы.

Толпа молчит. Гапон продолжает громче:

— Я говорю, с праздником поздравляю вас!

Голоса два-три отзываются: “Благодарим!” Тогда он еще громче говорит:

— Я вас искренно, от души поздравляю!

По толпе проносится трепетное оживление, и все гудят:

— Благодарим! Давай вам Бог!»

Но Гапон умел подойти не только к толпе, но и к отдельному человеку. Он вдруг заявлялся к бедняку-прихожанину пить чай — чай и сахар принеся с собой. Он отдавал другому бедняку свои новые сапоги, за 12 рублей, месячную зарплату разнорабочего, — а сам расхаживал в каких-то немыслимых женских туфлях. Он пел с приютскими девочками — не псалмы, а студенческие песни, предстывая в своем втором, интеллигентском обличе. Он рисовался своей физической силой, одной рукой поднимая стул. Можно представить себе, как смущал этот красивый, проникновенный, одинокий тридцатилетний мужчина сердца простеньких созревающих девиц. Это имело важные последствия.

Сам Гапон тоже любил их — не только девочек, но и того бедняка, которому жертвовал сапоги, и того, с которым пил чай, и всю свою паству. Любил по крайней мере в тот момент, когда говорил красивые слова или совершал красивые поступки. На лицемерии далеко не уедешь, даже в соединении с талантом.

Он любил, и его любили. Гапона обхаживали. Ему посылали в комнату цветы, вино, фрукты. Это было, со стороны приютского начальства, не просто проявлением сентиментальности: многолюдные проповеди Гапона способствовали привлечению доброхотных даяний. (Так же, видимо, обстояло дело и в Ольгинском приюте — о тамошней службе Гапона известно отчего-то гораздо меньше; в своих воспоминаниях он явно путает эти два приюта.)

Гапон, по своей инициативе, тоже устраивал сборы. Отчет Синего Креста за 1901 год с энтузиазмом сообщает, что «от-

цом Георгием Гапоном собраны и приобретены им для церкви массивный бронзовый семисвечник и запрестольный крест богатой работы, а также поставлена на углу 22 линии и Большого проспекта чугунная кружка-лампадка на фундаменте с иконою Св.Николая Чудотворца и с лампадою». Частично за все это, сказано в отчете, уже уплачено фабрикам Морозова и Сан-Галли, «а недостающая сумма... собирается и милостью доброхотных даятелей и радетелей благолепия храма, вероятно, скоро с избытком пополнится».

Сам Николай Милиеви́ч Аничков, в прошлом товарищ министра просвещения, ныне сенатор, гласный городской думы, член комитета попечительства о приютах и проч., принимал у себя Гапона, угощал его дорогими винами, притом во хмелю не стеснялся рассказывать, что вина эти позаимствованы в Зимнем дворце в свою пользу его родственником, Мирием Милиеви́чем, заведующим дворцовым хозяйством. Также не чинясь говорил он о думских аферах. Гапон мотал на ус, а в ответ откровенно рассказывал кое-что о своей жизни, делился своими суждениями по разным церковным и общественным вопросам. Аничков ласково слушал. Его маслянистые пьяные глазки были полны, казалось, искреннего доброжелательства. Недавнему полтавскому попу из государственных крестьян нравилась дружба с высокопоставленным, чиновным человеком.

Хорошая была жизнь. И сам Гапон всё разрушил.

БОСЯЦКИЙ ПРОЖЕКТ

Рядом с местом жительства и службы Гапона находилось так называемое Гаванское поле — большой пустырь, на нем свалка. Там постоянно толпились, валялись, ночевали бездомные, чем придется живущие люди: те, кого в Париже зовут клошарами, ныне в России — бомжами или бичами, а в те дни — босяками.

Слово «босяк» увековечил молодой Горький. В первые годы XX века он был одним из самых модных русских писателей. С его легкой руки босяки в сознании читателя-интеллигента окружены были романтическим ореолом. Правый публицист Михаил Меньшиков так парадоксально объяснял успех «босяцких» рассказов среди образованного класса: «Циническое мирозерцание голи — оно нам родно, оно наше... В самом деле, что такое босяки? Они — оторванный от народа класс, но и мы — оторванный; мы — сверху, они — снизу. Они потеряли связь с землею и живут случайными отхожими промыс-

лами — и мы также. Они не хозяева и всегда наемники, и мы также. Они бродят по всей стране из конца в конец, от Либавы до Самарканда, от Одессы до Владивостока — и мы также: наша чиновничья интеллигенция с бесперывными переводами, перемещениями бродит не менее золоторотцев, хоть и получая за это прогоны...»

Гапон, конечно, в 1902 году хоть чуть-чуть, а читал Горького (через два-три года судьба сведет этих людей!). Все читали. Но обитатели Гаванского поля, как и Девичьего поля, близ Забалканского (Московского) проспекта, где отцу Георгию тоже приходилось бывать, не походили на Челкаша и даже на Сатина. Это были грязные, оборванные, опухшие мужчины и женщины. Гапон часто останавливался и беседовал с ними. Он не испытывал к ним брезгливости — ему вообще чужда была брезгливость к людям, физиологическое отвращение к ним. Из него вышел бы, наверное, неплохой врач, обернись все десять лет назад иначе. Гапон видел, как иной босяк, зайдя в притвор церкви во время проповеди, мнетя, стесняется пойти дальше. Сейчас сам священник заговаривал с таким человеком. Бродягам это льстило. Они охотно рассказывали красавцу-попу свои истории, часто, конечно, привирая. Выходило, что многие босяки, золоторотцы, зимогоры, Спиридоны-повороты (как их только не называли!) — в прошлом благопристойные граждане, даже выходцы из аристократических семей иногда.

Заинтересовавшись вопросом, Гапон стал посещать ночлежки и работные дома, вникать в их устройство и подробности их работы. Он переодевался в лохмотья, чтобы не привлекать внимания. Потом приходил уже в рясе, устраивал богослужения, беседовал с золоторотцами.

Это вызвало вопросы у властей. Сам градоначальник Николай Васильевич Клейгельс вызвал странного священника в свою канцелярию и уделил несколько минут разговору с ним. Никаких вредных политических целей в занятиях Гапона в итоге не усмотрели. Клейгельс даже продемонстрировал к этим занятиям благосклонный интерес.

Георгий Аполлонович подходил к делу не как проповедник-моралист, а как организатор. Он умел заморозить толпу, был в этом качестве ценим и востребован — но ему этого было мало, он хотел другого. Беседа с Клейгельсом подтолкнула его к действиям.

Весной 1902 года Гапон составил проект, озаглавленный «К вопросу о мерах против босяцкого нищенства и тунеядства».

Начинает он с критического анализа существующего положения дел:

«Правительство и общество издавна стремились придти на

помощь бездомному, босяцкому люду. Но меры, предпринимаемые по соображениям политико-экономическим или по высоко-христианским побуждениям, до сих пор не дали желаемых результатов. Тунеядство и профессиональное нищенство здоровых физически людей все более и более увеличиваются... Зло и с политической, и с общественно-экономической точек зрения очевидно. Талантливо же проидеализированное и прикрытое литературной пеленой и крайне опасно».

Гапон разбирает всё, что делается для бездомных: всё оказывается бесполезным или вредным. Ночлежные приюты? «Негигиеничны в физическом отношении, в нравственном же — это школы разврата и порока». Беспорядочная милостыня? Только загоняет болезнь глубже. Административные высылки бродяг? Тяжким бременем ложатся на городской бюджет, создают всероссийский «водоворот» люмпенов, заражают столичными болезнями невинные еще деревни. Дома трудолюбия? Там босяки, «проводя целый день в непривычной для них обстановке, добывают крайне небольшие деньги и отправляются на ночь в том же оборванном виде в ту же душную и грязную ночлежку».

Что же предлагает Гапон?

Прежде всего он делит всех босяков на две категории: во-первых, «людей с прирожденными дурными наклонностями... с детства вставших на путь порока»; во-вторых, «выбывших из честной и трудовой колеи в более или менее зрелом возрасте». Вторых гораздо больше, и их, современным языком говоря, социализации Гапон уделяет основное внимание.

Для этих людей предлагается создать добровольные трудовые поселения или колонии, с обучением ремеслам, с грамотной организацией досуга, с лечебницей для алкоголиков. Колонии предполагается создавать в сельской местности. Каждой колонии выделяется 100 десятин земли, причем разной — пахотной, песчаной, торфяной, дабы каждый смог найти близкую себе работу.

Но главное — артельный принцип. «Только благодаря артельному началу у колониста, вследствие убеждения, что он живет и кормится трудовым заработком своим и своих товарищей, может явиться уважение к самому себе». В автобиографии Гапон прямо пишет, что эти колонии были бы «свободными кооперативными предприятиями». В 1902 году священник еще не подпал, казалось бы, под влияние революционных партий, но проект его был вполне в духе умеренного, «фабианского» социализма.

Гапон понимал, однако, что не все зимогоры готовы к кооперативному раю, и предусмотрел для отсталых босяков вто-

рой тип добровольных поселений — без артельного начала. Наконец, для склонных к преступлениям, «с детства ставших на путь порока», предлагались колонии с принудительным трудом. За хорошее поведение из этих полутюремных колоний босяки должны были переводиться в колонии добровольческие, а оттуда — в колонии-артели. За скверное — перевод в обратном направлении. В колониях для порочных бродяг на личный счет колониста должна поступать малая часть заработка, в добровольческих колониях — половина, в артельных — большая часть. Заработав 500, скажем, рублей, колонист должен был освободить место, но членом артели мог и остаться.

Поражает тщательная продуманность и четкость проекта... которая, конечно, стала бы разрушаться при малейшем соприкосновении с реальностью.

Гапон был увлечен новым делом — и совершенно забросил свои обязанности в приютах. Вдохновенных проповедей больше не было. Вместо того старшие девочки были привлечены к работе: они переписывали от руки творение своего любимого наставника для представления по инстанциям. Молодой священник почувствовал, что обрел свое призвание. Он повторял, что его ждет либо величие, либо каторга. Он становился — неожиданно для всех — робким и черствым. Как-то он, недавно без всякого страха бывавший в темных ночлежках, отказался причастить мальчика, больного тифом. Он берег себя для великих свершений.

Клейгельс доброжелательно отнесся к проекту и представил его на рассмотрение старому генералу от инфантерии Максимовичу, командиру 3-го гвардейского корпуса и члену Комитета попечения о раненых, по совместительству ведавшему благотворительными учреждениями, состоящими под покровительством императрицы. От него проект (специально отпечатанный в ограниченном количестве экземпляров) попал к гофмейстеру Танееву, отцу знаменитой впоследствии Вырубовой, одному из влиятельнейших людей при дворе, и, наконец, к самой Александре Федоровне, которая также была благосклонна.

На том, впрочем, всё остановилось. Рассмотрение проекта по существу все откладывалось. Между тем о священнике-филантропе пошли слухи в великосветских кругах. Парадокс: участие в заботе о самых убогих и угнетенных подданных империи все больше и больше сближало Гапона с людьми из высшего света и высшей администрации. Его стали приглашать к себе высокопоставленные дамы-благотворительницы — и вскоре они были очарованы молодым священником не меньше, чем приютские девочки. Гапон стал завсегдаем салона

Софьи Петровны Хитрово, «умной женщины», падчерицы А. К. Толстого и возлюбленной Владимира Соловьева. Елизавета Алексеевна Нарышкина, статс-дама и знаменитая филантропка, уже пожилая, рассказывала про молодого государя, которого знала с детства, про его благородное сердце, но и про его слабость, нерешительность. Гапон надеялся, что когда-нибудь Николай сможет проявить себя и осчастливит свой народ. И, может быть, именно ему, Георгию Гапону, суждено указать царю истинный путь?

Отношения с приютским начальством тем временем обострились до предела. Успехи Гапона раздражали. Недавно всеми любимый батюшка стал ненавистен. Гапон пожаловался своим покровительницам. Мария Августовна Лобанова-Ростовская, председательница Петербургского общества Красного Креста, предложила Гапону место у себя. Отец Георгий решил уйти и из Синего Креста, и из Ольгинского убежища, причем с шумом.

2 июля 1902 года он произнес в церкви на 22-й линии прощальную проповедь. Попов так передает ее суть:

«Братцы, меня отсюда выгоняют, но ничего. Я был здесь мучеником; но за все мои страдания Господь услышал мою молитву и послал место. Это недалеко отсюда. Приходите туда». Затем он закончил свою речь трогательным прощанием: «Прощай, святой престол, где я молился, прощайте стены, вмещавшие моих слушателей, святые иконы, прощайте и вы, теснившиеся ко мне, как пчелы к матке, прощай, решетка, сдерживавшая напор моих слушателей» и т. д.»

Этот заключительный пассаж Гапон заимствовал у Григория Богослова, христианского учителя IV века. Академическое образование зря не пропадало.

Через несколько дней священник в ожидании нового назначения уехал в Полтаву.

Но скандал только разгорался.

Восемнадцатилетняя сирота Александра Константиновна Уздалева, которая уже считалась «закончившей курс», но еще не была официально выпущена, самовольно покинула убежище. Вскоре выяснилось, что она отправилась в Полтаву вместе с Гапоном.

Важно было не то, что сделал отец Георгий, а то, как он это сделал. На некоторые вещи могли посмотреть сквозь пальцы. То, что священнику, овдовевшему во цвете лет, трудно дается обет безбрачия, вероятно, встретило бы снисхождение, соблюди он условности. Гапон мог, в конце концов, дожидаться, пока Александра получит «место», а там тихонько перенанять ее в качестве прислуги. Кто вникал бы в отношения между попом

и его работницей? Но Георгий Аполлонович демонстративно увел с собой девушку, которая полюбила его, и повез ее к себе на родину (где находились его родители и дети от первого брака). Впоследствии он так же демонстративно называл Уздалеву своей женой. Другими словами, он вел себя как светский интеллигент, а не как священник, в соответствии со светскими моральными представлениями начала XX века.

17 июля Гапон был официально смещен с кафедры настоятеля. На его место был назначен Попов. Вместе с Гапоном уволена была начальница Убежища Богданова, выдавшая Уздалеву паспорт без разрешения попечителей.

Собственно, отец Георгий и не хотел дальше работать в приюте, и не мог бы после своей проповеди. Но то, что его уволили решением попечительского совета, а не дали ему уйти хотя бы формально по собственному желанию (как из Ольгинского приюта), вызвало у него и его друзей (от дамблаготворительниц до василеостровских рабочих и мещан) крайнее негодование. Как сказано в отчете общества Синего Креста за 1902 год, «нашлись анонимные защитники уволенных должностных лиц, которые в письмах, обращенных как к деятелям Убежища, так и ко многим высокопоставленным и почтенным членам общества, всеми силами старались не только очернить, но изобразить прямо-таки в ужасающих красках деятельность некоторых членов и служащих Убежища». Родители девяти приходящих воспитанниц в августе—сентябре взяли их из Убежища. Ко всему еще выяснилось, что недостающие деньги за семисвечник и запрестольный крест так и не внесены и не собраны — их пришлось спешно возмещать.

По словам Гапона, важную роль в его увольнении сыграл Аничков, превратившийся из друга во врага. Возможно, он не без ревности относился к гапоновским светским успехам. Так или иначе, Николай Милюевич не удовольствовался увольнением строптивного священника с обоих мест прежней службы. Вероятно, жалобы «анонимных защитников» тоже сыграли обратную ожидаемую роль. Ответом стал доклад Иннокентию, епископу Нарвскому и vicарному Петербургскому, замещавшему в то время митрополита Антония. В результате Гапон потерял и новую службу в Красном Кресте. Более того, он был запрещен в служении и исключен из Духовной академии. Формальный повод для исключения был налицо — Гапон, увлеченный, с одной стороны, борьбой с попечительским советом, с другой — проектами обустройства зимогоров, с третьей — любовью к Александре, не сдал переходных экзаменов. Вероятно, он рассчитывал, что ему позволят сделать это осе-

нюю — или по крайней мере снова, как три года назад, оставят на второй год по состоянию здоровья.

Все, чего добился Георгий Аполлонович к тридцати двум годам — а добился он многого! — пошло прахом. Еще чуть — и пришлось бы, навсегда забыв про честолюбивые мечтания, возвращаться в земские статистики. Благо новая спутница его привыкла к скромной жизни.

Но Аничков же неожиданно для себя Гапона спас. Для верности он решил пожаловаться на него еще и в охранное отделение Департамента полиции, охранку, политическую полицию тогдашней России.

К Гапону послали Николая Николаевича Михайлова, чиновника особых поручений при Департаменте полиции, зубного врача по образованию, в прошлом — секретного сотрудника, разоблаченного и сменившего негласную службу на гласную. В любых интеллигентских кругах — сколь угодно правых — господин вроде Михайлова встретили бы с некоторой осторожностью, если не безразличностью. Но Гапон был эмоционально открыт людям, любим людям. А Михайлов, человек опытный и тонкий, всю жизнь работавший не с простодушными бомбистами, а с образованными болтунами, сумел оценить этого энергичного харизматика и возможности его использования в охранительном деле. Николай Николаевич пустил в ход расхожие приемы, общие для всех спецслужб мира: отнесся к собеседнику «с большим вниманием и дружелюбием, высказав при этом свое сочувствие освободительному движению».

Михайлов посоветовал Гапону сходить на прием к митрополиту Антонию, вернувшемуся в Петербург. И — о чудо! — всё отыгралось назад. Судя по всему, митрополит получил совет, которому не мог не последовать. Гапон был восстановлен в сане и смог вернуться в академию. Но это уже отдельный разговор.

ГАПОН И КНИЖКА

С академией было так.

3 сентября 1902 года Гапон подал прошение об оставлении на второй год на третьем курсе, представив свидетельства о болезни. На сей раз начальство не расположено было идти навстречу, и студент постановлением педагогического комитета от 16 сентября был отчислен.

Видимо, примерно в это время и состоялся визит к Гапону Михайлова.

В официальном ходатайстве Антонию, поданном уже в ок-

тябре, Гапон просит разрешения «додержать этой весной экзамены по нескольким предметам третьего курса» и в следующем году пройти четвертый курс. «Додерживать же экзамены и проходить 4 курс в этом году для меня нет разумных оснований: я уже не успею более или менее обстоятельно справиться со своей темой по священному писанию».

Антоний решил по-другому: 16 октября он разрешает Гапону додержать экзамены в течение месяца, с тем чтобы окончить академию в этом году. Судя по всему, послать василеостровского харизматика на все четыре стороны митрополит не мог (одно влиятельное светское ведомство настоятельно попросило его этого не делать), но хотел расстаться с ним как можно скорее.

Гапон не стал спорить. Экзамены он выдержал более или менее успешно: по пастырскому богословию — 4,75 балла, по истории и разбору западных вероисповеданий — 3,75, по остальным предметам (патристика, история и обличение русского раскола, русская церковная история, Ветхий Завет) — 4 балла. На четвертый курс он был переведен тридцать пятым из пятидесяти двух студентов: лучше, чем со второго на третий.

Диплом Гапон выбрал в конечном итоге не на тему из Библии, а по близкой ему административно-правовой части: «Современное положение прихода в православных церквях, греческой и русской». Толчком для него послужила книга церковного историка и публициста А. А. Папкова «О благоустройстве православного прихода» (1902). Папков видел путь возрождения церкви в восстановлении самостоятельности, которой, по его изысканиям, пользовались приходы Русской церкви в Средние века. Идеи Папкова вдохновили довольно многих священников и мирян, стремившихся к обновлению церкви. Другим источником для Гапона послужила монография иеромонаха Михаила (до монашества Павла Васильевича) Семенова «Собрание церковных уставов Константинопольского патриархата», тоже вышедшая в 1902 году (в Казани). Семенов, в то время доцент академии, был на три года моложе Гапона, но за его плечами было несколько фундаментальных ученых трудов. Карьера его развивалась блестяще. Он считался «серым кардиналом» при митрополите Антонии, автором его речей и проповедей. Трудно было предположить в то время, что через несколько лет этот респектабельный церковный правовед и историк, блестящий педагог, трудоголик и эрудит (сын выкреста-кантониста, на что не забывали обратить внимание его многочисленные завистники и недоброжелатели) окажется в лагере революции, среди так называемых «Голгофских христиан», а потом и вовсе перейдет к старообрядцам. (Впрочем, и

там судьба его сложилась более чем драматично: он был рукоположен в епископы Канадские, до Америки не добрался, был запрещен в служении, три года просидел в тюрьме и умер при страшных и нелепых обстоятельствах в больнице для бедных перед самой революцией.)

Семенову и доверили отрецензировать работу Гапона. Так как текст самого дипломного сочинения не сохранился, содержание его известно нам только из этого отзыва. По словам иеромонаха Михаила, «сочинение о. Гапона, небольшое по размерам, состоит из трех отделов — изложенных в двух главах: вторая глава делится на два отдела. Первая часть (с. 6—23) О приходе в греческой церкви. Эта часть ни в фактическом материале, ни в выводах не оригинальна: она повторяет нашу работу».

Вторая глава, посвященная Русской церкви, состояла из двух «отделов». В первом Гапон излагал идеи Папкова и, основываясь главным образом на работах Папкова же, «трактовал о старо-русском приходе».

«Гораздо более интересен и самостоятелен третий отдел (отдел 2, 2 главы, стр. 40—70). Он трактует об учреждении церковных попечительств; об их претензиях на управление церковной собственностью, о церковных старостах и наличном управлении церковными суммами...»

О сущности идей Гапона в этой области известно немного. Очевидно, он основывался на собственном, драматичном и конфликтном опыте службы в Полтаве и на Васильевском острове. По словам иеромонаха Михаила, Гапон «...оспаривает мысль Папкова — необходимости признания прав юридического лица за приходом — утверждая, что в настоящее время церковь, как собственник, вполне представляет собой приход... В проектах возрождения прихода он видит много бюрократических наростов и формализма, которым менее всего места в приходской организации: “приход есть организация духовная”... Недурны далее рассуждения о выборе священника приходом. Сам автор возлагает все надежды... на церковные попечительства».

Семенов считал еще необходимым подчеркнуть «красивый и чистый» язык сочинения. Вообще видно, что отец Георгий и его дипломная работа (которую иной педант считал бы халтурной) вызывают у него симпатию. Вряд ли общение двух священников было особенно близким, но понравиться друг другу они могли. Была у них общая черта — пылкость, порывистость характера. Про отца Михаила говорили, что даже движения у него резкие, как у персонажа кукольного театра. Не случайно стихия истории понесла их в одном и том же направлении.

Тема работы Гапона также была иеромонаху Михаилу близка. Свой переход к старообрядцам он позднее объяснял тем, что «церковь, созданная для народа, должна быть близка с народом, открыта для него, и пастырь обязан общаться с прихожанами, а прихожане — участвовать в решениях и действиях церкви»*, а в православии, как и в католицизме, этого нет.

Так или иначе, Гапон удостоился диплома второго разряда, дающего степень кандидата богословия. (Диплом первой степени давал право получения степени магистра без дополнительного устного испытания, просто по подаче соответствующего сочинения.) Таким образом, крестьянский сын из Беликов получил наконец официальное высшее образование. Вопрос же о том, насколько он был образован на самом деле, сложен.

Люди революционного лагеря, близко знавшие Гапона, например Петр (Пинхус) Рутенберг (мы впервые произносим это имя — имя другого выдающегося человека, чья судьба роковым и трагическим образом переплелась с судьбой нашего героя), категорически называли Гапона «невежественным». Виктор Чернов, лидер партии социалистов-революционеров, даже писал: «Гапон и книжка — это было что-то несовместимое». Но письма Гапона к Г. И. не создают такого впечатления. Особым эрудитом он не был, но среднеинтеллектуальным набором гуманитарных знаний худо или бедно обладал и стремился свои сведения пополнить. Судя по всему, он был равнодушен и невосприимчив к «книжкам» лишь строго определенного рода — к абстрактной политической теории, к партийной казуистике, которая была от него еще дальше, чем казуистика богословская. Чтобы социальные идеи нашли отклик в его сердце, они должны были быть просты, согреты поэтическим чувством — и недалеко от практики. Точнее, они должны были помочь задним числом обосновать — для себя и для других — избранную тактику.

В 1900 году он читал Алексея Хомякова. Именно у этого мыслителя середины XIX века, вождя славянофильства (его левого крыла), он мог почерпнуть идею союза царя и народа через голову бюрократии и против нее, идею всесословной монархии, юридически самодержавной, но опирающейся на народное самоуправление. Для провинциала, воспитанного на обязательном «революционно-демократическом» коктейле в густой смеси с казенным православием, это было что-то новое и увлекательное. В сущности, славянофильская социальная утопия была идеологической подкладкой (в том смысле, о котором мы только что говорили) гапоновских начинаний —

* Шагинян М. Человек и время // Собрание сочинений: В 9 т. М., 1986. Т. 1. С. 423.

вплоть до сближения с революционерами. Отчасти — вплоть до 9 января.

Два года спустя Гапон — в первый и последний раз в жизни — соприкасается с миром модернистской культуры, миром символистов, «декадентов», с ранним этапом того, что позднее назовут Серебряным веком. Иные люди из его академического окружения были к этому миру ближе. Одновременно с Гапоном другой выпускник защищал диплом на тему «Анти-религиозные и антихристианские идеи некоторых новейших философических писателей, в особенности Ницше». Этого выпускника академии звали Константин Тренев — впоследствии, в 1920-е годы, он прославился как драматург-соцреалист, автор имевшей огромную сценическую историю драмы «Любовь Яровая». Отец Михаил Семенов также считался знатоком новейшей, в том числе «декадентской» словесности, даже вращался в кругу писателей-символистов. Но это были конечно же исключения.

Однако в конце 1901-го — начале 1903 года студенты Духовной академии получили возможность близко увидеть людей из чуждого им мира — декадентов-богоискателей и даже таких людей, как Александр Бенуа или Сергей Дягилев. Речь идет о Религиозно-философских собраниях, возникших по инициативе Дмитрия Мережковского, Зинаиды Гиппиус, Дмитрия Filosofova, Василия Розанова. В то же время в них участвовали и многие широкомыслящие церковники. Председателем собраний стал Сергей Страгородский, к тому времени уже не инспектор, а ректор академии. (Антоний и Победоносцев до поры до времени не препятствовали.) Формально заседания были открыты только для членов собраний, фактически допускались все. Молодые академики зачастили на собрания, где можно было послушать, например, доклады Мережковского о духовных исканиях Толстого и Гоголя. Заходила речь и о близкой Гапону теме — социальной доктрине церкви, точнее, ее отсутствии. Сезон 1902/03 года открылся докладом отца Михаила Семенова о таинстве брака. Вслух критиковалось законодательство Российской империи в области религии, отстаивалась неограниченная свобода совести. Как вспоминала впоследствии Гиппиус, «ничего даже приближающегося к тому... что и как было говорено на Собраниях, не могло быть тогда сказано в России, в публичной зале, вмещающей 200 слушателей. Недаром наши Собрания скоро стали называться “единственным приютом свободного слова”».

Неизвестно, сколько раз бывал на собраниях Георгий Гапон. Но в любом случае он смог погрузиться в атмосферу самых серьезных интеллектуальных и духовных споров своего

времени. В его мемуарах упоминаются Розанов* и Минский; Гапон запомнил, как ставили в тупик духовных особ вопросы этих «декадентов».

У большинства лидеров революционного, рабочего и даже либерально-демократического движения такого опыта не было. На собраниях не бывали ни записные социалисты, ни записные либералы. Как, впрочем, и черносотенцы: Владимир Грингмут, редактор «Московских ведомостей», один из будущих основателей Союза русского народа, попросился в члены собраний — ему отказали.

5 апреля 1903 года собрания были запрещены. Во время разговора с Мережковским, связанного с этим запрещением, Победоносцев произнес свои знаменитые слова: «Россия — ледяная пустыня, по которой ходит лихой человек». Перед этим Религиозно-философские собрания и журнал «Новый путь», в котором публиковались их протоколы, были резко осуждены в проповеди Иоанна Кронштадтского.

От Гапона все это было к тому времени уже далеко — началась новая фаза его практической деятельности. В сущности, та фаза, которая закончилась ружейными залпами на улицах Петербурга два года спустя.

«РУЗВЕЛЬТ» ИЗ ОХРАНКИ

Еще летом 1902 года Гапон, что называется, «попал в разработку». Это не могло не получить продолжения. На его счет были определенные планы, и вскоре они начали осуществляться.

Уже спустя пару месяцев после первой встречи Михайлов навестил Гапона в общежитии академии и пригласил съездить с ним в Департамент полиции.

Учреждение располагалось в доме 16 на Фонтанке, близ Цепного моста, в здании, где прежде располагалось Третье отделение. «...На вид весьма красивый дом, своим известным праведным судом» — по ироническому выражению А. К. Толстого. Дом в самом деле красивый, строил его не кто-нибудь, а сам Огюст Монферран для графа Кочубея.

Михайлов и Гапон проследовали мимо черных ящиков, в которых хранились досье на неблагонадежных, в кабинет Зубатова, начальника Особого отдела.

Тут стоит пояснить структуру имперских органов политического сыска — весьма, надо сказать, мудреную.

Особые учреждения для «государева слова и дела» сущест-

* Розанов, кстати, много лет спустя о Гапоне размышлял и писал.

вовали в России с петровских времен — Тайная канцелярия, потом Тайная экспедиция при Сенате, с 1826 по 1880 год знаменитое Третье отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии с прикрепленным к нему корпусом жандармов. Параллельно существовало Министерство внутренних дел с подведомственной ему «обычной» полицией. Соперничество этих ведомств сказывалось на расследовании политических дел, в частности, дела Петрашевского (отчасти этим соперничеством и объясняется непомерно жестокая расправа над прекраснодушными недозаговорщиками).

В 1880 году, в период «диктатуры сердца» Лорис-Меликова, Третье отделение было упразднено и в составе МВД создан Департамент государственной полиции, объединивший политический и общеуголовный сыск. При нем, однако, создавались в крупных городах отделения по охранению общественной безопасности и порядка, в просторечии охранные отделения, та самая знаменитая царская охранка. Охранные отделения находились в двойном подчинении — градоначальнику и Департаменту государственной полиции. Координировало их деятельность так называемое «третье делопроизводство» департамента. Все же это не была единая организация, с четкой структурой и собственной иерархией, как Тайная канцелярия или позднее ЧК-ОГПУ.

При этом отдельный корпус жандармов (правда, теперь включенный в состав МВД и подчинявшийся начальнику Департамента государственной полиции) никуда не девался, и граница между задачами охраны и жандармерии была весьма зыбкой. Первая должна была заниматься розыском политических преступников, вторая — дознанием, но где же кончался розыск и начиналось дознание?

В 1898 году из состава «третьего делопроизводства» был вычленен Особый отдел, своего рода интеллектуальный штаб сыска. Функции Особого отдела опять-таки во многом дублировали задачи охранных отделений (руководство внутренней и зарубежной агентурой, розыск политических преступников и т. д.). Но кое-что было совершенно новым и особенным — прежде всего мониторинг общественных настроений (главным образом в сфере внимания «особистов» оказывались рабочий класс и учащаяся молодежь).

Несогласованность различных управлений и отделов накладывалась временами на патриархальную простоту организации (Гапона ведут мимо ящиков с документами государственной важности, и он знает, что в этих ящиках, потому что все это знают!) и низкий моральный и интеллектуальный уровень сотрудников. Сыскная служба была непочетна. В охранку

или жандармерию шли чаще всего люди не высшего разбора... Так что неудивительно, что полиции-охранке-жандармерии при всех ее огромных ресурсах не всегда удавалось справиться с набравшимся опыта революционным подпольем.

Хотя, конечно, бывали и в политическом сыскном деле люди действительно незаурядные и субъективно честные. Человек, которого в тот осенний день 1902 года впервые увидел Гапон, был одним из самых честных — и, возможно, самым незаурядным.

«Мы вошли в великолепную приемную комнату, и я был представлен Сергею Васильевичу Зубатову, мужчине около 40 лет, крепко сложенному, с каштановыми волосами, чарующими глазами и простыми манерами...»

Зубатов, сын отставного обер-офицера, управляющего доходным домом, был отчислен из седьмого класса гимназии (по желанию отца, которого бесило изобилие евреев в дружеском окружении сына). Продолжать обучение без аттестата он не мог, устроился канцеляристом в Московское дворянское собрание, а подрабатывал в частной публичной библиотеке подруги своего детства Анны Николаевны Михиной. В то время содержание таких библиотек было респектабельным интеллигентским заработком: считалось, что, давая свои книги почитать за деньги, представители и представительницы образованного сословия не только поддерживают свое благосостояние, но и несут культуру в массы. Вскоре Зубатов (которому было едва за двадцать) женился на Михиной и разделял ее труды уже на правах совладельца библиотеки.

В то время власти, испуганные первоапрельским царевубийством и окрыленные последующим разгромом «Народной воли», внесли в список запрещенных книг Дарвина, Маркса, «Что делать?» Чернышевского и еще кое-что из интеллигентского «святого писания». Книги, свободно изданные в прежние годы, никуда, конечно, не девались, они ходили по рукам, но казенные библиотеки их не выдавали, да и многие частные выдавать боялись, а Зубатов с Михиной — нет. В библиотеку стала стекаться масса «передовой молодежи». В какой-то момент (летом 1886 года) этим собранием заинтересовалась полиция. Оказалось, что одна из конспиративных групп, возникших на развалинах «Народной воли», использовала библиотеку на Тверской в качестве явочной квартиры, не ставя о том в известность ее хозяев и «втемную» подставляя их под удар.

Зубатов пришел в ярость и «дал себе клятву бороться впредь всеми силами с этой вредной категорией людей, отвечая на конспирацию контр-конспирацией, зуб за зуб, вышибая клин

клином». Полиция тут же предложила молодому человеку способ борьбы с коварными конспираторами: попросту говоря, осведомительство. Сергей Васильевич подумал и согласился.

Несколькими годами раньше Достоевский признавался издателю Суворину, что не рискнул бы донести полиции на террористов, готовящих взрыв Зимнего дворца: испугался бы общественного мнения. Достоевский, уже европейски знаменитый писатель, пожилой человек, убежденный монархист и консерватор! (Причем, как указывают биографы, Федор Михайлович не зря затевал разговор на эту тему: на одной лестничной площадке с его квартирой находилась явка «Народной воли», и писатель мог заподозрить что-то неладное.) А тут — 22-летний юнец, поклонник Писарева и Бокля, «по принципиальным соображениям» идет в полицейские агенты, «секретные сотрудники», осведомители. Что это было: безмерный цинизм или безмерная нравственная независимость? И где граница между вторым и первым?

Зубатов был внедрен к подпольщикам. За год он выдал около двадцати человек, среди которых впоследствии знаменитый этнограф В. Г. Богораз (он еще будет действовать в нашей книге). Зубатов признавал 20 лет спустя, что в это время «имело место два-три случая, очень тяжелых для моего нравственного существа». Можно себе представить. Будем, однако, справедливы: крови на Зубатове-осведомителе нет — никто из выданных им людей не успел совершить ничего такого, за что по имперским законам полагалась бы смертная казнь или даже каторга. Все отправились в ссылку, как правило, не очень далекую. Сам Зубатов рисковал большим: после «разоблачения» его одно время собирались убить. Со своей стороны, полиция сотрудниками не разбрасывалась. Сергею Васильевичу, как и другим людям в таком же положении, предложили официальную штатную службу. Зубатов согласился — теперь у него уже не было выбора. Обратный путь в мир левых интеллигентов был закрыт навсегда.

Сергей Васильевич стал чиновником для особых поручений при Московском охранном отделении. Непосредственно в его ведении была секретная агентура. Способности он проявил чрезвычайные. Множество революционеров он завербовал, склонил к сотрудничеству или по меньшей мере отвратил от антиправительственной деятельности. Этому предшествовали долгие беседы за чашкой чая. Горячие юнцы и юницы, готовые презрительно противостоять чиновнику-обскуранту, видели вместо него человека «из своих», говорящего одним с ними языком, понимающего, если не разделяющего, их ценности... и терялись. Тех, кто оставлял революцию, больше не

преследовали, их дела закрывали. По крайней мере, Зубатов старался закрыть их, поскольку это от него зависело.

Можно было видеть во всем этом мудрость и благородство, а можно — полицейскую хитрость: это уж как посмотреть. В любом случае нельзя судить Зубатова той же меркой, что какого-нибудь офицера Пятого управления КГБ в 1970—1980-е годы (о сталинской эпохе не говоря). Зубатову противостояли не просто инакомыслящие интеллигенты, а молодые террористы, если еще не убийцы, то ученики и поклонники убийц, в лучшем случае — пропагандисты кровавого мятежа.

А каковы были его собственные взгляды? В разные годы он говорил об этом по-разному. Вероятно, откровеннее всего — в письме публицисту В. Л. Бурцеву в 1907 году:

«...Я верил и верю, что правильно понятая монархическая идея может дать все нужное стране при развязанности общественных сил... Какая гарантия того, что, не изжив вполне одной политической идеи, люди не испакостят и другой (демократической, республиканской)? По существу обе идеи равноценны. Не в них, следовательно, дело, а в самих людях».

Другими словами, Зубатов в зрелости стал консерватором не по идеологии, а по инстинкту. Он стремился спасти (модифицировав в рамках существующих институтов) то государство, которое есть, потому что следующее будет не лучше, а путь к нему лежит через кровь и разрушение. Если бы он служил республике, он защищал бы ее от монархистов.

В 1894 году Зубатов стал заместителем начальника Московского охранного отделения, в 1896-м — начальником. Здесь он опять-таки проявил себя как чиновник исключительных способностей. Преобразование всей техники сыска по последнему европейскому слову, подготовка целой гвардии перво-классных филеров... Однако Сергей Васильевич понимал, что только такими методами с революцией не справиться. Уже не справиться.

Год спустя, в 1897 году, он подал на имя московского градоначальника великого князя Сергея Александровича доклад, с которого началась история так называемой «зубатовщины».

«Современная Россия, — писал Зубатов, — переживает в своей внутренней жизни период пышного расцвета теории и практики социализма... Революционеры, присоединив рабочих к противоправительственным мероприятиям, получают в свое распоряжение такую массовую силу, с которой правительству придется серьезно считаться»*.

Новому, «четвертому сословию» Зубатов придавал огромное значение, видел за ним будущее. Пятнадцать лет спустя

* ГАРФ. Ф. 1695. Оп. 1. Ед. хр. 26.

в неопубликованной статье, которой он подводил итог своей деятельности, он так объяснял это:

«Рабочий класс — коллектив такой мощности, каким, в качестве боевого средства, революционеры не располагали ни во времена декабристов, ни в период хождения в народ, ни во время массовых студенческих волнений. Чисто количественная его величина усугублялась в своем значении тем, что в его руках обреталась вся техника страны, а сам он, все более объединенный процессом производства, опирался внизу на крестьянство, к сынам которого принадлежал; вверху же, нуждаясь в требуемых знаниях по специальности, необходимо соприкасался с интеллигентным слоем населения...»

Зубатов внимательно изучал историю рабочего движения в Российской империи. Да, конечно, еще в 1870-е годы появлялись отдельные революционеры из рабочих, такие как Петр Алексеев или знаменитый народоволец Степан Халтурин, были небольшие рабочие кружки. Значение их было чисто локальным. Тогдашние русские революционеры ставили на крестьянскую массу. Но в последние годы все изменилось.

«Теория социализма нашла, наконец, способ действительного преобразования реальных жизненных отношений в духе и направлении своих требований. Изобретательницей такого стремления стала германская социал-демократия, сумевшая связать цепью постепенных сделок свои идеальные устремления с текущими, наиболее насущными потребностями рабочей массы».

Вслед за немцами и русские подпольщики-марксисты (Зубатов имел в виду, в частности, разгромленный в 1895 году Союз борьбы за освобождение рабочего класса, созданный молодым Владимиром Ульяновым) изменили тактику. Они перешли от глобальных требований к «непрерывной агитации среди рабочих на почве существующих мелких нужд и требований...». А это уже не политические абстракции. «Выпущенная на подобных основаниях прокламация настолько оказывалась близкой и понятной рабочему, что достаточно было пустить ее в нескольких экземплярах среди недовольных, чтобы фабрика или завод встали».

Полицейский чиновник напоминает, в частности, о грандиозных (и успешно завершившихся) стачках, происходивших в 1890-е годы в Петербурге и Иваново-Вознесенске — всероссийском центре текстильной промышленности. Понятно, что для революционеров эти стачки не были самоцелью. «Успех в борьбе приносит рабочему веру в свои силы; научает его практическим приемам борьбы... делает более восприимчивым к принятию идей социализма». Таким образом и трениру-

ются кадры... для чего? Для глобальной политической и социальной революции, само собой.

Что же в этой ситуации делать защитникам существующего строя?

Ответ на этот вопрос подсказали Зубатову сами социалисты. Внимательно читая свежую политическую литературу, он обнаружил новые политические течения: фабианцев в Англии, марксистов-ревизионистов в Германии. Идеология этих течений была довольно сложной (и разной), но на практике сводилась к следующему: не стремиться к разрушению существующего общества, а использовать его институты для улучшения положения рабочих. Речь шла о демократических институтах европейских стран. Но с точки зрения Зубатова, российское самодержавие было в этом смысле ничуть не хуже.

«Если мелкие нужды и требования рабочих, — писал Зубатов, — используются революционерами для... антиправительственных целей, то не следует ли правительству как можно скорее вырвать это благодарное для революционера орудие из его рук и взять исполнение всей задачи на себя».

Бернштейн, идеолог ревизионизма, и супруги Вебб, теоретики фабианства (и их российские последователи, «экономисты», с которыми так яростно воевал Ленин), оставались социалистами, только путь к бесклассовому обществу виделся им очень постепенным и очень долгим*. Зубатов же негодовал, когда его теорию и практику именовали «полицейским социализмом». «С социализмом она боролась, защищая принципы частной собственности в экономической жизни страны, и экономической ее программой был прогрессирующий капитализм, осуществляющийся в формах все более культурных и демократических». Все это очень напоминает идеи Ф. Д. Рузвельта. Сходство усиливается еще и тем, что осуществлять свои эксперименты Сергею Васильевичу пришлось в условиях серьезного кризиса, поразившего российское (и мировое) хозяйство в 1898—1902 годах.

Зубатов был все же политиком-практиком. Глобальным идеологическим обоснованием проекта занимался другой человек с радикальным прошлым. И каким! Лев Александрович Тихомиров, один из вождей народовольцев-террористов, в 1888 году, в эмиграции, выступил с текстом под названием «Почему я перестал быть революционером». Тихомиров перестал быть не только революционером — он отрекся от социа-

* Ирония судьбы: в те же годы, когда молодой Владимир Ульянов воевал с ревизионистами и «экономистами», он для заработка переводил вместе с Крупской в Шушенском супругов Вебб, а устроил им этот заработок легальный марксист, будущий правый либерал Петр Бернгардович Струве.

лизма, от республики, от демократии в западном понимании, стал сторонником просвещенного самодержавия (не путать с абсолютизмом!), опирающегося на народное представительство (но не ограниченного им!) и ведущего страну к прогрессу. Его простили, разрешили вернуться в Россию, не потребовав никаких сведений о подполье, никакой практической помощи полиции (впрочем, того подполья, в котором когда-то состоял Тихомиров, давно уже не было), но и на службу никакую не взяв. Бывшему террористу оставалась чистая публицистика. Но его работы были востребованы некоторыми людьми, определявшими государственную политику. Много писал он и по рабочему вопросу. Рабочий, доказывал Тихомиров, должен ощущать себя «гражданином, а не пролетарием», связывать свои классовые интересы с интересами общества в целом.

Еще один человек помогал, покровительствовал Зубатову, продвигая его проекты. Это был непосредственный начальник Сергея Васильевича, московский обер-полицмейстер Дмитрий Федорович Трепов. Об этом противоречивом государственном деятеле, чья историческая репутация не во всем соответствует истине, нам придется говорить еще не раз.

В мае 1901 года было зарегистрировано Московское общество взаимного вспоможения рабочих в механическом производстве. Вслед за тем подали документы на регистрацию и другие профсоюзы. Профессора-социологи и экономисты — Озеров, Ден, Езерский и другие — читали в Историческом музее рабочим лекции по трудовому законодательству разных стран, по производственной гигиене и другим актуальным вопросам.

Само собой, этим дело не ограничивалось. Рабочие начали предъявлять требования к своим работодателям. Свежесозданные рабочие союзы организовывали стачки, блокировали наем штрейкбрехеров (недавно набранных в деревне рабочих «угovarивали» вернуться домой и даже оплачивали им обратную дорогу) — в общем, немедленно воплощали знания, полученные на лекциях в Историческом музее, на практике. В случае же, если фабричная администрация не шла на компромисс, рабочие напрямую обращались в полицию и требовали воздействовать на своих обидчиков. Так произошло, например, весной 1902 года во время большой забастовки на заводе французского подданного Гужона. Полицейские власти грозили фабриканту высылкой из России. Тогда он пожаловался в Министерство финансов. Трудовой конфликт вылился в разбирательство между правительственными ведомствами. Интересно, что фабричная инспекция — тот орган, который как раз должен был контролировать выполнение трудового за-

конодательства и защищать интересы рабочих, — из этой торговли выпадала.

Предприниматели крайне негативно относились к зубатовским инициативам. Деловые круги России вообще не готовы были иметь дело с профсоюзами, как, впрочем, и капиталисты многих других стран (заметим, что в США профобъединения были легализованы лишь в 1933 году тем же Рузвельтом, после нелегкой борьбы). Российский капитализм переживал эпоху «бури и натиска». Русские предприниматели были по большей части властными и напористыми (притом часто очень талантливыми!) нуворищами. Они охотно и щедро жертвовали часть прибыли на прогрессивную культуру и даже на прогрессивную политику, могли от души вложиться в благотворительный проект, но считаться с самоорганизацией наемных работников — это было для них унижительно. На своих фабриках они хотели абсолютизма — как Николай в своем государстве. А для иностранцев Россия представляла интерес прежде всего как страна с дешевой рабочей силой — ее удорожание лишало производство всякого смысла. И добро бы еще сами рабочие бунтовали — а тут они получают поддержку государственной власти.

Документ под названием «Справка: к чему сводятся разговоры среди предпринимателей о московском рабочем движении»* дает выразительную картину: «Охранное отделение в видах соображений особой важности взяло в свои руки руководство рабочими громадами, заняв место разных подпольных агитаторов в надежде справиться с этими громадами даже в том случае, если бы началась пугачевщина. Но доверять этому нельзя, так как элементы, призванные к этому Охранным отделением, не заслуживают доверия... Пугачевщина не была организованной, а обученные толпы могут сделать пугачевщину организованной... Многие склонны прекратить действия своих фабрик, иные временно, другие навсегда». Встреча Зубатова с предпринимателями 26 июля 1902 года в трактире Тестова не привела ни к чему хорошему. Надменный чиновник заявил капиталистам, что общество видит в них «мошенников» и что они должны быть благодарны полиции за то, что та взяла рабочее движение под свой контроль и тем спасает их от народного гнева. По крайней мере, так его поняли — и, конечно, оскорбились.

Тем временем министром внутренних дел стал Вячеслав Константинович Плеве — деятель яркий и противоречивый, для либералов и революционеров начала века такой же жупел, как Трепов. Плеве был сильнейшим сыщиком. В свое время он сыграл одну из ведущих ролей в раскрытии и разгроме «На-

* ГАРФ. Ф. 1695 Оп. 1. Д. 28.

родной воли». Но, как с горечью писал один из его сподвижников, Л. А. Ратаев, «на беду, он не верил в Революцию». Для Плеве революционеры были просто заговорщиками, которых можно было победить обычными полицейскими средствами. Сложные затеи Зубатова вызывали у него смешанное чувство. До поры до времени министр терпел и даже отчасти поощрял их — но уже в период пребывания Зубатова в Москве его проекты начали выхолащиваться: либеральная профессура была отстранена от воспитания рабочих и заменена «духовной интеллигенцией» (то есть священниками с академическими дипломами), уставы профсоюзов «цензурировались». И в итоге главным достижением, которое Зубатов смог упомянуть в беседе с Гапоном, стало всенародное возложение цветов к памятнику Александру II 19 февраля 1902 года; Зубатов придавал этой акции большое значение как «смотру»: 50 тысяч рабочих в идеальном порядке собрались в одном месте и продемонстрировали свою политическую лояльность. А Гапон, по его словам, подумал, что деньги и силы можно было бы потратить на что-нибудь практически полезное.

Сам Зубатов, похоже, не чувствовал наступившего кризиса. Тщеславие сыграло с этим талантливым человеком злую шутку. Лесть нахлебников, прилипших к проекту, явно доставляла ему удовольствие. В его архиве сохранилось стихотворение «Контр-мина», творение некоего Ф. А. Слепова:

...Пусть в подпольной печати бездарность
О вас пишет пустые статьи,
Мы же шлем от души благодарность
За все то, что нам сделали вы.
Эти люди, что вас ненавидят,
Они также не любят и нас,
И отраду как будто бы видят
В тяжелой жизни трудящихся масс.
На словах они счастья желают
Чуть не для всех бедняков,
А на деле их в тюрьмы сажают
И доводят порой до оков...

Принимая в 1902 году новую, более высокую должность в столице, Зубатов взял с собой часть своих любимых сотрудников. Он рассчитывал, что московские организации будут успешно существовать и без его непосредственного руководства, но они были плохо к тому приспособлены.

Одновременно с московским бурно развивался другой зубатовский проект. Причем проект достаточно неожиданный.

Еще в своей записке 1897 года Зубатов отмечал: «Среди евреев противоправительственные организации всегда нахо-

дили наиболее энергичных и даровитых пособников, особенно в период террористических предприятий». В том же году был основан Бунд — Всеобщий еврейский рабочий союз в Литве, Польше и России, ставший одной из самых массовых социалистических организаций империи. Казалось бы, от интересов московской полиции это было далеко (в Первопрестольной иудеям низших сословий жить не дозволялось) — но созданная Зубатовым система сыска действовала зачастую за сотни километров от его формальной «юрисдикции». В 1900 году в Москву привезли 70 арестованных бундистов из Западного края. Среди них была юная, 21-летняя барышня по имени Маня Вильбушевич. Личность, прямо скажем, неординарная: достаточно сказать, что по окончании гимназии она, начитавшись Толстого, пошла работать на завод — на завод, принадлежавший ее брату. И не кем-нибудь, а плотником («— Женщины и мужчины равны», — объяснила она при аресте). Зубатову удалось увлечь Маню и нескольких ее товарищей (Генриха Шаевича, Юдея Волина и пр.) своими идеями. В его отношениях с прекрасной плотницей присутствовал, кажется, даже романтический оттенок.

В 1901 году, одновременно с московскими рабочими союзами, была создана Еврейская независимая рабочая партия, поставившая своей целью «создание рабочих союзов для пробуждения классового сознания у масс... независимо от той или иной формы правления». Отделения ее действовали в Одессе, Минске, Вильно; вскоре она стала серьезной соперницей Бунда.

Уже публицистов 1920-х годов это ставило в тупик: как смогли Зубатов и его агенты убедить именно еврейских рабочих (не говоря уже о ремесленниках-кустарях), что самодержавие — не враг их, а союзник в классовой борьбе? Причиной бедственного положения большинства евреев России были в первую очередь имперские законы, ограничивавшие лиц иудейского вероисповедания в выборе местожительства, профессии, получении образования и т. д. К тому же большинство еврейских рабочих трудились на небольших предприятиях, хозяева которых тоже были евреями и сами были небогаты. Но, видимо, еврейская беднота устала ждать всероссийских преобразований для решения своих проблем. Да и соблазн с помощью полиции содрать с хозяина лишний рубль был слишком силен. Так что и в Западном крае «зубатовщина» активно развивалась.

А вот в Петербурге пока ничего не было. Для этого Зубатову и понадобился Гапон.

НАЧАЛО ИГРЫ

Разговоры в доме у Цепного моста — своего рода рубеж в жизни Гапона, начало участия в Большой Истории. Каким же предстает Гапон к этому дню на основании не столь уж многочисленных и не столь уж многословных источников — свидетельств, документов?

Тридцать два года. Малороссийский, южный красавец. Сильный, но болезненный. Любимец детей и девушек. Харизматический «батюшка», умеющий возбуждать толпу. Сам нервно возбудимый, беспокойный (харизматики часто такими бывают). Склонный к актерству и порой «заигрывающийся». Не чуждый пафоса, иногда безвкусного. Легко расстающийся с деньгами и необходимыми вещами, не собственник, но иногда по-детски падкий на какую-нибудь бесполезную мелочь (в дни своих светских успехов купил казацкую бекешу и шеголял в ней — потомок Быдака!). Искренне любопытный и небрезгливый к людям любого состояния. Читающий книги, но в меру. Презирующий абстрактные умствования. Умеющий находить покровителей и использовать их. По-крестьянски хитрый. По-казацки простодушный. Нежный к своей семье (старикам-родителям и малолетним детям), но издалека. Властный. Тщеславный. Тянущийся к любой организационной работе. Способный быть очень храбрым и очень трусливым.

Образ противоречивый? Да, как любой человек. Но примечательно: к этому портрету ничего не придется добавлять. К началу своей деятельности Гапон вполне проявил свои черты. Дальше он, кажется, существенно не менялся. Только окружающие видели его в новом свете. А главное — неумная Большая История ставила его все в новые положения. Как и других игралищ неведомой игры.

А что знал о Гапоне Зубатов к моменту их первой встречи? Если верить его воспоминаниям — немного. Он даже не прочитал босяцкий проект. (Ему было неинтересно: ведь босяки не были и не могли стать серьезным отрядом революции. В этом было коренное отличие Зубатова от Гапона: первый был государственным деятелем, второй — общественным. У Сергея Васильевича была одна цель: спасти державу от потрясений. В сущности, его не так уж интересовало, как живут московские металлисты, минские портные или одесские портовые грузчики. Он только не хотел, чтобы их бедственным положением воспользовались социалисты.) «Местная администрация» рекомендовала Зубатову полезного человека, он и пригласил его к себе.

Свое общение Гапон и Зубатов описывают по-разному. Неудивительно: Георгий Аполлонович, находившийся в революционной фазе, всячески старался показать, что его отношение к полиции с самого начала было враждебным, что он шел в дом у Цепного моста только для того, чтобы обмануть саграпов и использовать их в интересах рабочего класса. А Зубатов видел в Гапоне человека, который овладел созданным им, Зубатовым, делом, присвоил его и погубил.

Так или иначе, с первого взгляда священник и сыщик, очевидно, понравились друг другу. Общение продлилось на другой день. Зубатов пустил в ход свои привычные демагогические ходы, назвавшись, между прочим, «конституционалистом». А вот Тихомиров, по его словам, — за самодержавие (кстати, он дал Гапону почитать знаменитое сочинение Тихомирова «Как я перестал быть революционером»).

Гапона Зубатов свел со своим, из Москвы привезенным помощником, Ильей Сергеевичем Соколовым. Эта парочка — Гапон и Соколов — ежедневно в утренние часы, до службы, являлась к Зубатову и делилась с ним своими теоретическими разногласиями. Полицейский гуру разрешал их споры, и Гапон, как верный ученик, записывал его слова. В теории рабочего движения студент Духовной академии был совсем не подкован. Зубатов давал ему книги, в том числе «свеженькую нелегальшину», до которой батюшка был лаком. Во вторую же встречу он, по собственному признанию, выпросил у Зубатова номер «Революционной России» с сочинениями Кропоткина и всю ночь читал их. Разумеется, в качестве противоядия полагался Бернштейн, которым несколькими годами раньше Зубатов привлек на свою сторону юных бундистов.

Со своей стороны Гапон мог предложить то, чего у москвичей не было, — живые связи в рабочей среде, сохранившиеся с василеостровских дней. Как брюзгливо замечал Зубатов, «простота его поведения с рабочими доходила до неприятного». Гапон катался с ними на лодке, пел песни, плясал, подоткнув рясу. Чиновник презирал... но и завидовал отчасти, возможно. Он бы так не мог.

Тем временем зубатовская деятельность в столице первоначально разворачивалась по московским лекалам. Уже 10 ноября в трактире «Выборг» на Финляндском проспекте состоялось первое собрание рабочих (с участием Соколова), а 13 ноября на имя градоначальника было подано ходатайство о разрешении основать Общество взаимного вспомоществования рабочим механического производства г. Санкт-Петербурга.

Эти собрания выразительно описаны в воспоминаниях одного из их участников, Н. М. Варнашёва. Между прочим, он

дает портрет Соколова: «Шатен. Серьезное, сосредоточенное, умное и, пожалуй, характерно-красивое лицо. Общее впечатление, что это человек, который знает, чего хочет и что делает». Не в пример другим ораторам, в том числе председателю В. И. Пикунову, соратник Зубатова говорил кратко, логично и по существу. Выступал и представитель московской организации, некто Красивский: «Как оратор, он произвел не только на меня, но и на собрание громадное впечатление».

На первом собрании Гапон появился лишь в качестве гостя, «знакомого Соколова». Но он знакомился с рабочими, вступал с ними в беседы, обменивался адресами.

В конце декабря, видимо, сразу после Рождества, Гапон был командирован в Москву для изучения тамошнего передового опыта. Председатель московского общества, рабочий Михаил Афанасьевич Афанасьев, жил, по словам Гапона, «в роскошных апартаментах», и слуга его (слуга!) заставил Гапона долго ждать. После этого энтузиастические рассказы Афанасьева об успехах союза («Мы имеем теперь не только механиков, но и красильщики и текстильщики поступают в большом количестве») не вызвали у петербуржца большого энтузиазма. Московская интеллигенция, с представителями которой Гапон тоже встретился, не скрывала своего разочарования. Жаловались на установившуюся в союзе атмосферу доношительств, на то, что полиция без церемоний арестовывает «наиболее интеллигентных и передовых» участников собраний. 6 января, на Крещение, он присутствовал на богослужении в Вознесенском соборе, где были Трепов и другие высшие чины. Служба не понравилась ему своей помпезностью.

По результатам поездки Гапон написал отчеты на имя Зубатова, градоначальника Клейгельса и митрополита Антония. По словам самого Гапона, в этих докладах говорилось, что «единственный путь, который может действительно улучшить условия рабочего класса, есть тот, который усвоен в Англии, т. е. создание организации совершенно независимых и свободных союзов». Проверить эти слова невозможно — доклады не сохранились. Едва ли эти слова, *в такой форме сказанные*, понравились бы кому-то из начальства.

Но... кто был начальством? Кто командировал отца Георгия в Москву? На кого он работал? Пока оставим этот вопрос без ответа.

Тем временем Клейгельс все больше проявлял недовольство Зубатовым и его деятельностью.

3 января градоначальник в разговоре с главным фабричным инспектором раздраженно заметил, что рабочие организации нужны, но «вопрос необходимо обсудить с представите-

лями всех ведомств. Нельзя допустить в этом деле руководства со стороны одного какого-нибудь административного органа, особенно со стороны Департамента полиции, деятельность которого в силу особых условий, ему присущих, может вызвать в обществе совершенно незаслуженные инсинуации».

Не прошло и недели, как разгорелся первый большой скандал — в том же духе, что прежде в Москве. К фабричному инспектору Якимову явились 30 подручных Невской бумагопрядильной мануфактуры. Они требовали поднять жалованье подручного с 50 до 75 процентов от жалованья квалифицированного рабочего. Растерянный инспектор через свое начальство обратился к градоначальнику. Тот пытался выяснить, «идет ли движение на Невской мануфактуре от союза», то есть от полиции, но Зубатов не взял телефонную трубку.

Капиталисты жаловались, как в Москве, в Министерство финансов. Витте, раздраженный неумной деятельностью Зубатова, списывался с Плеве. Плеве сам все меньше благоволил к своему подчиненному, и тот пытался через голову министра внутренних дел найти общий язык с Витте. В марте Зубатов попросил Гапона написать доклад Витте о рабочих собраниях — причем он «должен быть написан так, как будто сами рабочие его составляли».

У Гапона это не очень получилось. Доклад (он сохранился и опубликован) начинается следующим пассажем: «Мы убеждены в полной возможности, не сходя с законной почвы, серьезно улучшить положение наших товарищей путем развития среди них сословной самодеятельности и взаимной помощи...»

Витте, которому доклад представили несколько рабочих, спросил их:

«— Это вы писали, братцы?»

— Да, — отвечали они.

— В таком случае, вам бы сделаться журналистами, — сказал Витте и откланялся депутации».

За работу над докладом Зубатов предложил Гапону 200 рублей; Гапон, по его словам, скромно ограничился сотней. Зубатов утверждает, что платил священнику по 100 рублей ежемесячно. Если это и преувеличение, то, скорее всего, деньги, полученные за доклад, были не последними. Но наверняка — первыми: до марта Гапону просто не за что было платить; первые пять месяцев он участвовал в зубатовской деятельности только как наблюдатель.

Зубатов пишет, что помогать Гапону деньгами он решил по просьбе рабочих, рассказавших ему о бедственном положении батюшки. Позднее он узнал, что столько же Гапон получал и от Михайлова — за слезку за Зубатовым, причем на сей раз

уже, видимо, с самого начала — с осени. Цинизм впечатляющий (если только полицейские чины не оговорили задним числом Гапона перед Зубатовым — это тоже теоретически возможно). Но отца Георгия, видимо, не смущало положение «слуги двух господ», ибо на самом деле служить никому из них он не собирался. К тому же деньги, полученные (по двум каналам?) в полиции, он тратил не только на себя лично. Что-то, конечно, уходило в Полтаву, детям и, видимо, остававшейся пока что там Александре. Сам Гапон по окончании академии снимал комнату на 19-й линии Васильевского острова за 9 рублей и жил если не на хлебе и воде, то во всяком случае без излишеств. Зато он регулярно жертвовал в рабочие кассы и, видимо, без объявления тоже расходовал свои (полицейские) деньги для дела. А если для дела, то и не стыдно.

Дело как таковое началось весной. К этому времени Гапон все для себя обдумал и определил свою цель: создать легальную, но независимую рабочую организацию, под полицейским прикрытием, но без полицейского участия.

К этому времени зубатовский проект в Петербурге переживал кризис. Организация не росла; чтения собирали мало народа. Как пишет Гапон, «некоторые из профессоров, обещавших читать лекции рабочим, отказались как из боязни общественного осуждения, так и потому, что члены революционных партий, приходя на эти лекции, предлагали докучливые вопросы лекторам». Петербургская интеллигенция помогать Зубатову не спешила, городское начальство не доверяло, фабриканты, как и в Москве, ворчали.

Дело решили двинуть по-другому.

В апреле было подано заявление о регистрации «Собрания русских фабрично-заводских рабочих Петербурга», членство в котором было открыто лишь лицам «русского происхождения и православного вероисповедания». Подавляющее большинство петербургских рабочих удовлетворяло этим требованиям (если понимать слово «русский» по-тогдашнему, включая украинцев и белорусов). Но сам принцип организации радикально изменился: с традиционного для мирового рабочего движения профессионального — к национально-вероисповедному. Вместо программного *отсутствия* идеологии Зубатов теперь пытался противопоставить революционному социализму альтернативную идеологию, религиозно-националистическую. Здесь чувствовалось влияние Тихомирова.

Именно такую, истинно русскую, православную организацию и должен был, по мысли Зубатова, возглавить кандидат богословия Гапон. Парадокс в том, что Зубатов чуть ли не в первую очередь познакомил его — в порядке обмена опы-

том? — с еврейскими рабочими лидерами, с Вильбушевич, с Шаевичем. Встреча состоялась на обеде у Е. П. Медникова, одного из ближайших помощников Зубатова. Были там также сионист И. Б. Сапир и надворный советник Михаил Иванович Гурович, полицейский чиновник из разоблаченных осведомителей (как и сам Зубатов, как и Михайлов), тоже еврей по происхождению (но, конечно, крещеный).

Маня, впрочем, уже встречалась с Гапоном. Их первая встреча произошла на улице.

«Она сопровождала свою сестру, которая должна была выполнить ряд поручений. Сестра вошла в магазин, а Маня осталась ждать ее на улице. Стояла и разглядывала прохожих. Вдруг она услышала крик и увидела, как городской пытается задержать старика-еврея. В тот же самый момент откуда-то появившийся молодой священник схватил городского за руку и попытался воспрепятствовать этому. Когда городской гневно заявил, что это еврей, а евреи не имеют права свободно разгуливать по столице, священник пришел в ярость и назвал стража порядка антихристом, поскольку Господь создал мир для всех людей. Предъявив городскому паспорт, священник сказал, что берет старика под свою персональную ответственность. Растерявшийся полицейский отпустил еврея, а освободитель, взяв того под руку, пошел вместе с ним своей дорогой...»

Что это было — проявление благородных чувств или эффектный спектакль, разыгранный на глазах у барышни? В случае Гапона однозначного ответа на этот вопрос дать нельзя. И то и другое — так вернее. Через несколько дней Маня познакомилась с отцом Георгием, который, как ей показалось, «воплощал само благородство, чистоту и честность».

Восторженное отношение к личности отца Георгия сохранилось у Мани Вильбушевич на всю жизнь. В мемуарах она так пишет о нем:

«...Красивый внешне. Аскет и эстет. В чертах благородство и аристократизм. Сильный, как кремль, характер. Одухотворенный мечтатель и поразительно одаренный организатор. Глубоко верующий и веротерпимый, он был полон жалости и любви к ближнему своему. Имел колоссальное влияние на народные массы, они шли за ним со слепой верой. И были готовы идти за ним в огонь и воду».

Парадокс в том, что Мане пришлось долгие годы работать вместе с убийцей Гапона, с Пинхусом Рутенбергом. Естественно, она испытывала к нему плохо прикрытую ненависть.

Окончательное решение заняться делами «Собрания» Гапон принимает в мае, после совещаний со своими приятеле-

лями-рабочими, которые все эти месяцы участвовали в зубатовском движении и держали «батюшку» в курсе дела. 8 мая пять рабочих (одним из них был 23-летний ткач Иван Васильевич Васильев — впоследствии единственный из руководителей «Собрания», погибший 9 января) посетили отца Георгия в академии. На следующий день переговоры продолжились на квартире у одного из рабочих. Затем Гапон сообщил Зубатову о своем согласии — на известных условиях: в частности, что никто из «его людей» не будет арестован, как это случалось в Москве.

Отец Георгий начал с организации собственного «актива», ядра организации. Этому он уделял огромное внимание. Постепенно сложился круг людей, достаточно способных, бойких, грамотных, честных, но безраздельно преданных ему, Гапону, и готовых идти за ним — в самом деле — в огонь и воду. К июлю—августу таких «апостолов» было 17 человек.

Вербовал он их в разных местах. С одним из своих ближайших сподвижников, Александром Карелиным, он, например, познакомился в чайной Общества трезвости* на Васильевском острове. Гапон, в числе других священников, иногда посещал ее и проводил душевспасительные беседы. Печатник Карелин, эсдек, большевик, участник одного из первых марксистских кружков в России (кружок Бруснева, 1887 год — Гапон тогда только поступил в семинарию!), приходил сюда «спорить с попами». Гапону пришлось, видимо, приложить немало усилий, чтобы печатник-марксист убедился: «этот поп — не такой, как другие». 9 мая Карелин уже участвовал в собрании гапоновцев, но, чтобы окончательно сделать его своим человеком, потребовался целый год. Зато мало кто был так верен Гапону — и при жизни его (несмотря на случавшиеся тактические разногласия, порой достаточно острые), и после смерти.

Вторая цель, которую с самого начала поставил перед собой Гапон, — это организация собственной чайной, которая стала бы постоянным местом встреч и в то же время источником оборотных средств. Но к осуществлению этой идеи Гапон и его сподвижники приступили лишь в середине лета. К тому времени ситуация изменилась самым неожиданным образом.

Гапон точно почувствовал момент, когда надо было начать свою собственную игру. И он не ошибся.

* Рабочие чайные на практике представляли собой по большей части питьевые заведения. В чайных Общества трезвости действительно не отпускали ничего крепче чая.

БЕЗ ЗУБАТОВА

В Москве зубатовские организации, оставшись без хозяйской опеки, потихоньку увядали. В Минске из-за конфликта между губернатором и жандармерией контроль над «независимцами» был утрачен и они развернули бурную стачечную деятельность (а надо понимать, что это были за стачки: бастовали не рабочие на крупных заводах, а приказчики в магазинах, портновские подмастерья и т. д. — все это впрямую ударило по обывателям). В конце концов деятельность Еврейской независимой рабочей партии в Минске была запрещена.

Оставалась Одесса, которую избрал местом своей активности Генрих Шаевич. Там дела шли до поры до времени бойко. Довольный собой Шаевич сообщал Зубатову: «Мне приходится разрываться в истинном смысле этого слова на части, чтобы удовлетворить спрос на меня... Величина и рост организации предъявляют к нам слишком много требований»*. Зубатовскому эмиссару уже тесно было в национальных рамках. В его окружении были и христиане, для которых он, по собственному уверению, «являлся образцом». Он явно уже видел себя в роли лидера всего рабочего движения юго-запада, а не только еврейского. Вильбушевич, кстати, остерегала его от «возни» с рабочими-иноверцами.

Шаевич даже позволял себе спорить с Зубатовым, отставив необходимость небольших стачек и даже «избиения штрейкбрехеров». По воспоминаниям Гапона, об этом же шла речь на обеде у Медникова.

Между тем вскоре произошли события, поставившие именно еврейскую часть зубатовских проектов под удар.

На Пасху 1903 года юго-западные губернии охватили слухи о готовящемся погроме. В Одессе загодя стали организовывать отряд самообороны. Всем еще памятли были погромы 1881 года, последовавшие за убийством Александра II. «Народная воля», кстати, тогда приветствовала это ею же спровоцированное «стихийное проявление народного гнева» особой прокламацией. Не только потому, что среди ее участников были как евреи, так и юдофобы (к числу последних принадлежал главный народовольческий вождь Андрей Желябов). Народовольцы ожидали после царубийства народного (то есть крестьянского) восстания против эксплуататоров. Единственным выступлением народных масс стали погромы: пришлось довольствоваться тем, что есть.

Теперь, в 1903 году, самым безопасным местом для организационного собрания самообороны стала штаб-квартира

* ГАРФ. Ф. 1695. Оп. 1. Ед. хр. 12.

ЕНРП. Полиция туда не совалась. Владимир Жаботинский, выдающийся еврейский политик и прекрасный русский писатель, описал это собрание в своих мемуарах (кратко) и в романе «Пятеро» (более подробно). Среди активистов самообороны были разные люди — от адвокатов, врачей, студентов до портовых налетчиков. Шаевич в разговорах не участвовал — просто предоставил помещение и ушел в другую комнату. Вот как описывает Жаботинский свое с ним прощание:

«Он долго жал мне руку и сказал:

— Не благодарите: я сам так рад помочь делу, о котором нет споров, чистое оно или грязное...

В глазах у него было при этом выражение, которое надолго мне запомнилось: у меня так самого бы тосковали глаза, если бы заставила меня судьба — или своя вера — пройти по улице с клеймом отщепенца на лбу, и вокруг бы люди сторонились и отворачивались. Кто его знает, может быть, и хороший был человек».

Это — художественная литература, и это субъективный взгляд. Но если Шаевич и в самом деле ощущал это «клеймо отщепенца» — значит, за считанные недели в настроении этого «может быть, и хорошего» человека, еще недавно такого хвастливого и самопоуоенного, произошли разительные перемены.

Погрома в Одессе не случилось (но оружие, розданное студентам и налетчикам, так у них и осталось и потом не раз выстрелило). Погром случился 6—7 (19—20) апреля в Кишиневе. Он был спровоцирован слухами о ритуальном убийстве, которые систематически воспроизводились в газете «Бессарабец» (поддерживавшейся властями). Погибло полсотни человек, пострадало шестьсот. Местные евреи, лишённые черноморской закалки, повели себя довольно робко, серьезного отпора не дали, за что были заклеены еврейским национальным поэтом Х. Н. Бяликом в его поэме «Сказание о погроме». Полиция, со своей стороны, вмешалась в происходящее только на вторые сутки. Это вызвало негодование во всех левых и либеральных кругах России. В «Таймс» была напечатана телеграмма, якобы посланная Плеве в Кишинев, с приказом не открывать огня по погромщикам. Это была фальшивка (так считают современные историки), но убедить в этом общество было уже невозможно. Правда заключалась в том, что в полиции и в администрации на всех уровнях существовали люди, сочувствовавшие погромам, помогавшие их провоцировать и саботировавшие их разгон. Никакой министр внутренних дел (пусть даже с большей, чем Плеве, симпатией относящийся к жертвам насилия) ничего не мог с этим поделать. Это стало

очевидно через два года. В контексте биографии Гапона нам еще придется этой теме коснуться.

После этого популярность проправительственного и связанного с полицией рабочего движения в еврейской среде не могла не упасть. Шаевичу надо было «реабилитироваться». И, вероятно, он попытался это сделать.

В начале июля 1903 года грандиозная забастовка, начавшаяся в Баку, охватила все причерноморские города, включая Одессу. Здесь к ней примкнули матросы, кочегары, рабочие мастерских Русского общества мореходства и торговли — без различия национальности и религии. Главным организатором и оратором выступил именно Шаевич. Судя по всему, он не предвидел, какой масштаб примет стачка, и на каком-то этапе потерял контроль над событиями. 18 июля, на второй день всеобщей забастовки, он приказал прекратить ее, но даже члены его собственной организации не выполнили распоряжения.

Реакция Плеве была простой и ожидаемой: Зубатову приказано было ликвидировать Еврейскую независимую рабочую партию.

Досаду Сергея Васильевича можно понять: всё, созданное им на протяжении двух лет, постепенно разрушалось. Гапон вспоминает, что при известии о бунтарской деятельности Шаевича Зубатов пришел в ярость и воскликнул: «Убить их всех, мерзавцев!» Тем удивительнее, что перед начальством — и тогда, и годы спустя — он настойчиво защищал своего одесского эмиссара, выдавая его за жертву внешних обстоятельств.

Отчаявшись переубедить «Орла» (как называли в министерстве Плеве), Зубатов попытался пойти по тому же пути, который он уже неудачно опробовал в марте: сыграть на вражде между Витте и Плеве и настроить в свою пользу министра финансов. В дело был вовлечен и князь В. П. Мещерский, редактор газеты «Гражданин», видный консервативный публицист, уже немолодой человек (64 лет), не занимавший никаких должностей, но оказывавший важное влияние на государственную жизнь благодаря дружеским связям с императорским домом. Личностью он был колоритной, талантливой в своем роде, не без скандальности (в том числе из-за гомосексуальной ориентации, которую он практически не скрывал). По одной из версий, Витте и Зубатов обсуждали планы смещения Плеве в доме у Мещерского. Предполагалось, что Зубатов изготавит письмо, компрометирующее Плеве и якобы попавшее к нему при перлюстрации, а Мещерский передаст его царю. Зубатов рассказал об этом плане Гуровичу — и ближайший сотрудник предал его. По другим источникам, предателем оказался сам Мещерский.

После этого судьба Зубатова была предreshена. 19 августа он был вызван к Плеве, который в очень жесткой форме потребовал от него отчета о деятельности ЕНРП. Разговор происходил в присутствии фон Валя, начальника конкурирующей структуры — корпуса жандармов, что было еще для Сергея Васильевича обиднее. Затем Зубатову предъявлено было его письмо Шаевичу (изъятое у последнего при обыске). Плеве картинно возмущался как «сентиментальным» тоном, роняющим, с его точки зрения, достоинство полицейского чиновника, так и содержанием. В частности, его возмутили приведенные в письме слова Николая II: «Богатого еврейства не распускайте, а бедноте жить давайте». «Государь это сказал мне, — возмущался Плеве, — я передал директору Департамента полиции, последний своему чиновнику Зубатову; г же Зубатов позволил себе сообщить слова государя своему агенту, жидюге Шаевичу, но за это я его и передам суду».

(Понятно, что письмо Шаевичу стало лишь поводом для расправы. Но раздражение Плеве из-за передачи «жидюге» слов царя, вероятно, не было деланным: дело в том, что эти слова были во многом противоположны его собственной позиции. Плеве считал, что опасность для империи представляет не богатое и образованное еврейство, которое рано или поздно ассимилируется, а нищая местечковая масса, с которой Зубатов через свою организацию и заигрывал.)

Зубатов был уволен в отставку, ему приказано было выехать в Москву. На вокзале его провожали всего несколько человек, среди них Гапон. Поскольку Зубатов не примирился с допущенной в отношении него «несправедливостью» и требовал «реабилитации», в ноябре он был отправлен еще дальше — во Владимир, где оставался вплоть до убийства Плеве. Ждать пришлось, правда, недолго — до июля 1904 года. Потом Зубатову назначили пенсию, звали его вернуться на службу.. Он отказывался. Его любимый проект был разрушен, а просто ловить и сажать крамольников ему было неинтересно. К тому же у него вырос сын, поступил в университет — и Сергею Васильевичу не хотелось, чтобы товарищи подвергали его остракизму из-за отца-полицейского. Он помнил, как когда-то его отец сломал ему жизнь, и своему сыну не хотел повредить ничем. Он выступал как публицист, писал мемуары (они не сохранились). 3 марта 1917 года, при известии об отречении Николая II и великого князя Михаила Александровича, он молча вышел в соседнюю комнату и застрелился. Смерть, достойная самурая!

Шаевич был сослан в Восточную Сибирь. Из Иркутска он с горечью писал Зубатову: «К глубокому сожалению, дорогой

Сергей Васильевич, Ваши сотрудники не оказались на высоте своего призвания; замутив чистую идею склонностью к политическому авантюризму, трудно или невозможно было плыть без этого компаса, без риска потонуть, и потонули... Меня страшно коробит от того, что ничто, кроме бессмысленных репрессий, не будет противопоставляться их (революционеров. — В. Ш.) разрушительной бессмысленной работе»*.

Писал Зубатову и Гапон. Вот фрагмент письма, относящегося к концу августа:

«Вас, своего учителя, не забываем — помним. И недавно, в одном из кружковых собраний, когда был поднят вопрос о вас, — смело, удивительно смело и горячо выступили за вас и вашу идею. Впечатление получилось очень хорошее, одним словом — не скрываем, что идея своеобразного рабочего движения — ваша идея, но подчеркиваем, что теперь связь с полицией порвана (так оно на самом деле и есть), что наше дело правое, открытое, что полиция только может контролировать нас, но не держать на привязи... Повторяю, скучно без вас. Не теряю надежды вас видеть; как только соберусь с деньжонками, непременно приеду к вам. Вас же все с благодарностью вспоминают. Верьте, Сергей Васильевич, что хорошая память о вас у всех, кто имел счастье вас узнать, никогда не умрет в сердцах их».

Письмо это должно было вызвать у Зубатова двойственные чувства. С одной стороны, ему, опальному, выражали верность и признательность. И хотя он уже отчасти знал о двойной игре Гапона, он не мог не ощущать благодарности. Но в то же время он видел, как движение уводит в направлении, которое ему самому казалось «еретическим», опасным. От Зубатова конечно же не были секретом особые взгляды Гапона на взаимоотношения полиции и рабочих кружков. Но прежде, пока он был на месте, он мог пресекать эту «ересь», а теперь?

«Рабочие не в силах быть самостоятельны: они тут же попадают под чужое влияние... В том, чтобы быть с администрацией в связи, для рабочих нет ничего постыдного: ведаются же с ней предприниматели и не чувствуют себя от этого в убытке. Ложное чувство стыда навеяно здесь, несомненно, их радикальными традициями, и с ними надо покончить в первую голову. Разобрались ставить рабочее движение легально. Вместо этого Гапон... принимает на себя... роль какого-то потустороннего благодетеля рабочих и, проповедуя рабочим о независимости от полиции, потихоньку от них бежит к последней с докладами».

Эти резкие и ревнивые слова Зубатова относятся уже к более позднему времени, когда деятельность Гапона развернулась.

* ГАРФ. Ф. 1695. Оп. 1. Ед. хр. 12.

Серьезное начало этой деятельности относится к осени 1903 года. К этому времени, кстати, определилось и официальное положение новоявленного кандидата богословия (в процитированном выше письме Зубатову Гапон упоминает о «кандидатском значке», который теперь носит, что тоже должно было вызвать у Сергея Васильевича раздражение и ревность — он, человек более начитанный и «книжный», чем Гапон, формально не имел даже среднего образования). Отклонив настойчивое предложение о принятии монашества, отказавшись от должности семинарского преподавателя в провинции, Гапон некоторое время оставался без места и жалованья. Он даже (в очередной раз) подумывал об отказе от сана, но это затруднило бы его общение с рабочими: он был востребован именно в качестве «батюшки».

Наконец он получил место священника в церкви Святого Михаила Черниговского при пересыльной тюрьме (на Константиградской улице, рядом с Александро-Невской лаврой — ныне это территория НПО ЦКТИ им. Ползунова). Там содержались заключенные накануне отправки в ссылку или перед административной высылкой по месту жительства. Состав их часто менялся, политических среди них практически не было. В тюрьме царил образцовый порядок, директор (Андрей Иванович Штрандман) был человеком честным и деловым; заключенные содержались и питались хорошо и могли перед отправкой из столицы подзаработать и скопить немного денег. Гапон проводил нравственные беседы, завел «волшебный фонарь» (демонстрацию диафильмов), но все это как-то без особого увлечения. Впрочем, жалованье (две тысячи рублей в год) обеспечивало его хлебом насущным и давало возможность жертвовать деньги «на дело»*.

На дело, которое теперь всецело занимало мысли Гапона.

1 августа 18 человек, Гапон и его товарищи, сняли помещение под чайную на Выборгской стороне. Торговое имя было зарегистрировано на рабочего С. Устюжанина (который и в самом деле заведовал, так сказать, буфетной частью). Стартовый капитал составил 360 рублей, «пожертвованных» неизвестным лицом. Может быть, это сам Гапон так распорядился деньгами, полученными от Зубатова и от Михайлова за слежку за Зубатовым?

По словам Варнашёва, «...помещение требовалось отремонтировать и приобрести какую-либо обстановку. Среди учредителей нашлись маляр, столяр и слесарь, а помощников сколько угодно, и дело быстро пошло вперед. С обстановкою

* Есть любопытные воспоминания революционерки Л. Громозовой о тюремной службе Гапона (Ленинградская правда 1927. 22 января).

же было несколько сложнее, но и это затруднение преодолели — один тащил пару стульев, другой стол, третий шкаф, четвертый картину и т. д. ... Пианино взяли в рассрочку, а купили, кажется, только куб для кипятка и доски для устройства скамеек и столов».

30 августа чайная приступила к работе. Открывалась она в будние дни в шесть вечера, по воскресеньям и праздникам — в два часа дня и была открыта до полуночи. Квартира, в которой она располагалась, состояла из нескольких комнат и большого зала для собраний. В буфете подавались чай и минеральные воды. По средам и субботам проводились беседы о рабочем движении. Их проводил сам Гапон, пересказывавший недавно прочтенные книжки: для приглашения сторонних лекторов требовалось специальное разрешение, которого пока не было.

В чайной был музыкальный кружок, и Гапон ходатайствовал о разрешении устраивать платные танцевальные вечера, с тем чтобы собрать таким образом деньги на библиотеку. Пока что маленькую библиотечку составили в складчину: учредители пожертвовали кое-что из своих (тоже очень скромных, конечно) домашних собраний.

Но организация досуга не была главной целью. Чайная должна была стать базой для крупной рабочей организации, существующей не на полицейские деньги (даже если они послужили «стартовым капиталом») и не для жалоб полиции на хозяев.

Ядро этой организации составлял кружок из тридцати человек, участвовавших во внесении арендной платы за чайную. Их собрания происходили по субботам в половине девятого. Формально председательствовал на них Варнашёв, должность секретаря исполнял Васильев. На собраниях этих подводился итог порайонных собраний предыдущей недели и определялась повестка следующих порайонных собраний, которые происходили с двух часов дня в воскресенье. Вход на порайонные собрания был открыт всем желающим, но за плату (20 копеек). Таким образом Гапону удалось «с нуля» создать систему, вовлекавшую в свою работу (без формального членства) по меньшей мере сотни человек. Для начала только на Выборгской стороне, но там была сосредоточена немалая часть столичной индустрии.

Пока что дело сводилось к обсуждению общих нужд: у организации не было денег. Но постепенно ее касса наполнялась. Было решено, что 25 процентов выручки от чайной составляет «оборотный капитал», а 75 процентов — неприкосновенный «основной»; когда последний достигнет 500 рублей, 25 про-

центов дальнейших поступлений в него будет употребляться в помощь нуждающимся. До тех пор для этого устраивали специальные сборы. На практике к ноябрю (судя по письму Гапона Зубатову) в кассе, за вычетом текущих расходов, оказалось 213 рублей, из которых большая часть была направлена на дооборудование чайной, а 100 рублей положено в сберегательную кассу.

Сведения о структуре организации в 1903 году почерпнуты из отчета, направленного Гапоном директору Департамента полиции А. А. Лопухину 14 октября. Отчет этот выглядит необычно: о своем детище Гапон сообщает как будто «со стороны», словно и не имеет к нему прямого отношения. Хотя и адресат письма, и все прикосновенные лица знали, что это не так.

«Официально разрешенные Его превосходительством С.-Петербургским градоначальником еще в конце прошлого года общие собрания петербургских фабрично-заводских рабочих для выяснения и разумно-трезвого обсуждения последними своих нужд... в настоящее время вылились в своеобразную и, по-видимому, довольно симпатичную чайную-клуб...»

Помимо деловой части, интересны те фрагменты доклада, в которых речь заходит о «руководящей коренной идее» собраний:

«Сущность ее... заключается в постепенном и осмотрительном, но неуклонном созидании среди фабрично-заводских рабочих разумного и благожелательного элемента с русским самосознанием, который, добиваясь мирным законным путем действительного улучшения в духовном и материальном быту рабочих, не поступался бы драгоценным достоянием нашего отечества — коренными русскими началами, не продавал бы последних за чечевичную похлебку врагам России». Эта деятельность противопоставляется проискам «мнимых благожелателей нашей родины и в частности — рабочих, между прочим, большею частью не русского происхождения».

Гапон умело использует официозно-националистическую фразеологию, апеллирует к убеждениям и предубеждениям собеседников. Не так уж важно, что как раз Лопухину эти убеждения и предубеждения были совершенно чужды. Лично директор Департамента полиции мог быть либералом и европейцем, а по должности обязан был опираться на «благожелательный элемент с русским самосознанием».

А Гапон? Были ли с его стороны эти риторические упражнения чистой демагогией? И да и нет. Разумеется, с Карелиным или с Маней Вильбушевич он говорил другое и другим языком. Скорее всего, никакие глобальные политические

идеи Гапона в тот момент не волновали. Его задачей было создать легальную независимую рабочую организацию. С ним, Гапоном, во главе — это молчаливо подразумевалось. Ради этого стоило проявить некоторую эластичность. Другое дело, что, говоря что бы то ни было, отец Георгий сам вдохновлялся своими словами, отождествлялся с ними.

И, конечно, революционером в 1903 году он не был, деятельность революционных партий в целом скорее не одобрял. Если бы его спросили, что он имеет в виду под «коренными русскими началами», то он, вероятно, ответил бы, что речь идет об идее самодержавия-арбитра, о царе, заключающем союз с народом через голову чиновничества. По Хомякову. По Тихомирову. Но мы знаем, что Зубатову удалось увлечь этими идеями и некоторых евреев. Довольно многочисленные сторонники их были, конечно, и среди других российских инородцев. Тогда. В 1903 году. Полтора-два года спустя — уже нет.

От общих слов Гапон переходит к вещам более конкретным. Необходимо было убедить начальство, что неудача зубатовских затей не доказывает порочности проекта. Точнее, что порочность проекта — не в том, в чем склонны были усматривать ее чиновники. «Если правительственная (полицейская) власть якобы искусственно действительно вызвала своеобразное рабочее движение (например, в Москве), то в этом случае она сыграла только роль курицы, пробивающей скорлупу яйца, в котором уже сформировался цыпленок...» Но из-за прямой полицейской опеки дело в Москве приобрело «шумно-показной характер». Зубатов и его помощники принялись организовывать многолюдные союзы, «не образовав кружка преданных идее и уразумевших ее людей». В обществе, подчеркивает Гапон, «все еще существует облако предубеждений против полиции». А значит, «полиция для пользы дела, приняв на себя даже роль ревнивого наблюдателя и строгого контролера, должна отойти в сторону, уступив место общественной самодеятельности...».

Еще раньше Гапон докладывал о своей чайной Клейгельсу. Тот принял его и был с ним весьма любезен, обсуждал, в частности, устав «Собрания». Удостоился Гапон аудиенции и у Лопухина. Начальник Департамента полиции так далеко пошел в своем благоволении, что распорядился выделить «Собранию» 60 рублей на формирование библиотеки — с распоряжением подписываться только на консервативные газеты. Книги, разумеется, тоже должны были соответствовать критериям благонамеренности — но закупку их доверили самому Гапону. И пусть Гапон наивно уверял своих читателей, что принял полицейские деньги «с отвращением», это едва ли верно передает

его чувства в 1903 году. Ему поверили! У него были основания для торжества.

Доверяй, но проверяй. Полицейские филеры посещали собрания в чайной и в районах и представляли отчеты. Ничего неожиданного и крамольного: обсуждали хранение средств, полученных от взносов, распределение прибыли чайной-клуба, выдачу пособий, работу музыкального и певческого кружков. «Несколько рабочих вышли на задний двор и начали упражняться в водкопитии (принесли с собой). Неблаговидный поступок был доведен до сведения общего собрания и подвергся порицанию».

Зубатовцы (Соколов, Пикунов, Ушаков и Красивцев) оставались в центральном кружке до ноября, а потом были удалены. Судя по сообщениям филеров, полиция отнеслась к этому маленькому перевороту спокойно: все, связанное с именем недавнего начальника Особого отдела, вызывало у министра раздражение.

Тем временем Варнашёв на одном из собраний разговорился с женщиной, «внешний вид которой не давал повода думать, что она рабочая». Это была Вера Карелина, с чьим мужем Гапон уже был знаком. Карелина рассказала про группу, собирающуюся у них дома. Все эти люди – Дмитрий Кузин, Иван Харитонов, Василий Князев, Василий Иноземцев – с поздней осени стали, наряду с самими супругами Карелиными, завсегдатаями гапоновских собраний. Все они были убежденными социалистами, но, как правило, державшимися вне партий или, так сказать, на их обочине. К Гапону они сперва шли как «разведчики». Сам Карелин колебался: он уже подпал под обаяние отца Георгия, но еще не готов был поверить ему до конца. Карелин осенью 1903 года говорил о Гапоне своему другу Ивану Павлову: «Держится он таким образом, что разгадать его нет никакой возможности. Говорят, что он в душе революционер, и революционер яростный. Но говорят также, что заведомые зубатовцы (Ушаков, Пикунов и др.) тоже считают его своим...»

Так или иначе, карелинцы, к которым примкнули Варнашёв* и Васильев, составили оппозицию политически индифферентному (или прямо консервативному), сосредоточенному на чисто экономических, трудовых вопросах ядру организации.

А Гапон вел себя так, чтобы и социалисты подозревали в нем своего, и верноподанные старые рабочие вроде Ф. М. Горба-

* По свидетельству Варнашева, его переходу на революционные позиции немало способствовала печатная нелегальщина, которой его – и других активистов – успел снабдить Зубатов

чева, который в первые же дни работы чайной специально озаботился тем, чтобы украсить ее стены царским портретом, не сомневались в благонамеренности батюшки...

И полиция ухитрилась всего этого не заметить!

Тем временем отец Георгий активно дорабатывал устав. Главным новшеством стало введение должности со странным названием «представитель Собрания». Представитель избирался на первое трехлетие кружком, а затем — общим собранием *из интеллигентных лиц духовного или светского звания* (то есть — не из рабочих) и утверждался в должности градоначальником. Права этого человека были огромны. Он был уполномоченным по всем делам (с властями и работодателями), председательствовал на собрании, вел переписку, осуществлял контрольные функции. Все понимали, конечно, кто именно является единственным претендентом на эту диктаторскую должность со скромным названием.

В этом виде устав был в октябре представлен в министерство. 15 (28) февраля он был утвержден П. Н. Дурново, товарищем министра внутренних дел, с ведома и одобрения самого Плеве.

ПРОГРАММА ПЯТИ

Официальное открытие «Собрания» состоялось 11 апреля — через два месяца без четырех дней.

Для Гапона это было время непростое. С одной стороны, ему приходилось целыми днями околачивать пороги разного начальства. Как ни парадоксально, путь к той независимости, о которой он мечтал, проходил через общение с различными администраторами — полицейскими и гражданскими, светскими и духовными.

Он сохранял полицейские связи времен зубатовщины. Уже однажды поминавшийся Евстратий Медников, ближайший к Зубатову чиновник, приехавший с тем из Москвы, официально курировал Гапона по удалении своего шефа. Человек он был простой, вороватый, отменный начальник над уличными филерами, и ничего больше; от него «Собранию» не было ни вреда, ни пользы.

Но Гапон для себя еще общался с Александром Спиридоновичем Скуратовским, чиновником для особых поручений при Плеве (в генеральском чине) и Михаилом Гуровичем, который выдал Плеве заговор своего друга Зубатова. Это уже были полезные знакомства.

Скуратовский и Гурович рекомендовали его новому градо-

начальнику, сменившему в феврале 1902 года Клейгельса, — Ивану Александровичу Фуллону. Фуллон, бывший армейский интендант, потом варшавский полицмейстер, лишившийся места за излишний либерализм, был просвещен, но прост, благожелателен и мягок, лишен властной суровости и полицейской хитрости. Витте язвительно писал, что-де ему бы заведовать столичными училищами. Гапон нового градоначальника очаровал, хотя и не с первого раза.

Фуллон только опасался, что на собрания рабочих будут приходить революционеры и использовать их как поле для пропаганды. И пусть приходят, отвечал Гапон, поспорим с ними. Так все и происходило. Причем пока речь шла не о высоких идеологических материях, а о житейской прозе, отец Георгий и его знающие жизнь товарищи легко побеждали партийных теоретиков.

Другое дело, что в самой организации, как мы видим, образовалась революционная «пятая колонна». В начале года, когда обсуждались организационные вопросы, она все чаще подавала голос.

Например, заходила речь о печати организации. На ней предполагалось изобразить молот с наковальней, клещи, угольник (символы разных производств) — и крест. Варнашёв выступил против креста. Гапон произнес страстную речь — в итоге Варнашёва поддержал при голосовании один Карелин. Но страсти накалились настолько, что священник пожелал своему сподвижнику «легкой смерти».

Другой спор касался приглашения на церемонию открытия организации Иоанна Кронштадтского. Предложение исходило от пожилого кузнеца Якова Петровича Федулina. На сей раз отец Георгий держал нейтралитет. Он хорошо лично знал знаменитого священника, считавшегося чудотворцем. Отец Иоанн Сергиев часто бывал в Духовной академии, где пользовался, как и везде, всеобщим обожанием. Весной 1900 года он вместе с Гапоном служил на открытии Ольгинского приюта. Летом 1902 года они снова служили вместе в церкви Красного Креста, по предложению княгини Лобановой-Ростовской. В промежутке, в период своих светских успехов, Гапон имел еще несколько случаев посмотреть на отца Иоанна с близкого расстояния. Впечатление было противоречивым. Один харизматический церковный оратор отдавал должное другому, но формы, которые принимал культ Иоанна Кронштадтского, Гапона коробили — все-таки он был человек с какой-никакой интеллигентской закваской. Вот характерная сцена в его описании: «...Нас пригласили к столу, и отец Иоанн и я сели, а толпа стала кругом нас на колени. Иоанн ел и пил с большим

аппетитом, нисколько не стесняясь. Я также был голоден, но мое внимание было вскоре отвлечено тем, что, окончив тарелку или выпив стакан, отец Иоанн снова наполнял их и передавал их ближайшему к нему лицу, которое, благоговейно попробовав, передавало его следующему; таким образом тарелки и стаканы отца Иоанна обходили всю комнату». Главное же — Гапон осуждал Иоанна за то, что тот позволил использовать себя как орудие в руках власти, не отстоял своей независимости. По крайней мере ему, Гапону, так казалось. Так что решенные собрания, на котором «левые», никакого Иоанна категорически не хотевшие, оказались в большинстве, он принял почти с удовлетворением.

Сам он желал бы пригласить Сергея Страгородского. Но для этого нужно было согласие митрополита Антония, а тот не одобрил профсоюзной деятельности Гапона и не дал благословения на участие ректора академии в богослужении. Смутили митрополита музыкальные вечера с танцами. Впрочем, скорее всего, то был лишь предлог: что-то неблагоприятное, авантюрное, на взгляд уважаемого церковного иерарха, исходило и от самого Гапона, и от всех его затей. На всякий случай стоило держаться от этого подальше. С другой стороны, и рабочие в большей своей части, по словам Гапона, «не желали дальнейшего вмешательства духовенства, исключая меня», и самому ему не нужны были соперники.

Так или иначе, в «Собрании» начались напряженные споры как по практическим, так и по глобальным, идейным вопросам. И трудно сказать, как далеко зашли бы они, если бы не те неформальные отношения, которые сложились у Гапона с первооснователями его «Собрания» — будь то простодушные старые мастеровые или начитанные леваки из наборщиков или слесарей.

Варнашёв вспоминает:

«...Достаточно было Гапону иметь свободное время, встретить интересовавших его 2—3 человек, и он, закончив дела в “Собрании”, тащил их к себе чай пить. Но в субботу на воскресенье у него собиралось человек 10—15. Обыкновенно по окончании собрания ответственного кружка, часов в 10 вечера, приглашенные направлялись на Церковную улицу. Две небольшие комнаты переполнялись народом. Жара. Душно. Накурено. Кто пьет чай, кто закусывает, а большая часть, едва перевалив порог, завязывает спор с непременным участием Гапона. Темой дебатов в большей части служила организация рабочих и вытекающие из нее возможности, но вернее будет сказать, что определенная тема отсутствовала. Сейчас загорается спор о каком-либо предмете из научной области. Затем

пересказывают на какой-либо эпизод из истории Революции и незаметно переходят на значение учения Христа в общем прогрессе, пока всех не покроет могучий баритон Павлова, земляка Гапона, арией из “Демона”».

Этот Иван Ильич Павлов, которого мы уже упоминали и о котором еще не раз пойдет речь дальше, был особенной фигурой в гапоновском кругу. Выходец из рабочих, обладатель оперного баритона, он в зрелом возрасте стал актером. В буржуазной среде ему было, по собственным воспоминаниям, скучно — его тянуло к «своим», хотя они уже далеко не во всем были своими. В 1901—1902 годах он подружился с семьей Карелиных. С Гапоном у него тоже возникло что-то вроде дружбы — не только потому, что Павлов (великоросс по семейным корням) вырос на Украине, знал украинский язык и нравы. Оперный певец был единственным, кроме «батьки», человеком со стороны в пролетарской среде. Он был затронут интеллигентской рефлексией, говорил грамотным языком. Ему Гапон мог рассказать кое-что интимное, непоказное.

Почему Гапон переехал с Васильевского острова именно на Церковную улицу (ныне Блохина), на северо-западной оконечности Петербургской стороны, далеко и от места службы, и от Выборгской стороны, где начиналась деятельность «Собрания», — сказать трудно. По крайней мере, в конце 1904 года он жил там уже не один: Александра Уздалева вернулась из Полтавы в Петербург. Павлова Гапон познакомил со своей невенчанной женой, но — не сразу. По свидетельству журналиста А. Филиппова, общавшегося с Гапоном в самом конце 1904-го — начале 1905 года, «побочная жена» Гапона «просиживала целые дни, запершись в маленьком чуланчике-комнатенке», не участвуя в общих разговорах и не выходя к гостям.

Членам «оппозиции» казалось, что они, пользуясь неприужденной атмосферой субботних сборищ, склоняют батюшку к себе, «обрабатывают» его. Но Гапон был слишком себе на уме. Тактик в нем был сильнее стратега. В один из мартовских дней 1904 года он делает ход, который тактически был почти гениален, а вот стратегически... Об этом можно долго спорить.

Позвав домой к себе Васильева, Карелина, Варнашёва и Дмитрия Кузина, Гапон зачитал текст, который позднее почти без изменений вошел в знаменитую петицию 9 января. В январской редакции эти пункты звучали так:

«I. Меры против невежества и бесправия русского народа: 1) свобода и неприкосновенность личности, свобода слова, печати, свобода собраний, свобода совести в деле религии; 2) общее и обязательное народное образование на государ-

ственный счет; 3) ответственность министров пред народом и гарантия законности управления; 4) равенство перед законом всех без исключения; 5) немедленное возвращение всех пострадавших за убеждения.

II. Меры против нищеты народа: 1) отмена косвенных налогов и замена их прямым, прогрессивным и подоходным налогом; 2) отмена выкупных платежей, дешевый кредит и постепенная передача земель народу.

III. Меры против гнета капитала над трудом: 1) охрана труда законом; 2) свобода потребительно-производительных и профессиональных рабочих союзов; 3) 8-часовой рабочий день и нормировка сверхурочных работ; 4) свобода борьбы труда с капиталом; 5) участие представителей рабочего класса в выработке законопроекта о государственном страховании рабочих; 6) нормальная заработная плата».

Сейчас, в марте, это должно было составить «тайную» программу «Собрания» — «программу пяти», от остальных членов правления скрытую. Членам пятерки предлагалось распространять перечисленные идеи, не называя источника. Что до тактики, то предлагалось создавать как можно больше ячеек организации в Петербурге и других городах, чтобы когда-нибудь, в час общего кризиса, предъявить свои требования.

Рабочие-социалисты отныне не были в оппозиции. Теперь они считали, что принадлежат к политической, революционной, освободительной организации, причем составляют ее верхушку, знают ее тайные цели. С тем большей охотой включились они в ее деятельность, вербуя, в частности, новых членов. Карелин привел к Гапону всю литографию Маркуса, где сам работал. Социал-демократы Карелин (большевик) и Кузин (меньшевик) поговорили с руководителями партийных организаций. Революционные партии свернули агитацию против Гапона — если не полностью, то в очень заметной степени. В конце концов, им было выгодно существование легальной организации, на открытых собраниях которой можно было, пусть в смягченной форме, проповедовать партийную программу. Причем — совершенно безопасно. За слова, сказанные на гапоновских собраниях, никто за полтора года не был арестован — не то что в Москве у зубатовцев.

Но сам Гапон — каковы все же были его воззрения? Он обманывал Карелина и других социалистов? Или прежде обманывал полицию? Или за полгода перешел на противоположные позиции? Каждый ответ, может быть, отчасти верен, и ни один не верен до конца.

Чтобы нейтрализовать две борющиеся силы, каждая из которых посягала на независимость рабочего движения, надо

было, чтобы с обеих сторон его, Гапона, считали единомышленником. Но, входя в образ, он искренне увлекался, тем более что и правые, и левые идеи оказывались какой-то проекцией его собственных взглядов. Разве он был против свободы печати, свободы совести, обязательного образования, равенства (или упразднения) сословий? Конечно нет! И разве все это — вкупе с «ответственностью министров перед народом» (при сохранении царской власти) нельзя было записать в «коренные русские начала»? При желании — можно. У всего можно отыскать национальные корни.

Что же до конкретных экономических требований, то с ними согласились бы и самые набожные и верноподданные старики-мастеровые, и самые темные и нищие чернорабочие. Конечно, восьмичасовой рабочий день — это была отдаленная мечта, как и земельный передел (который лично Гапона, все-таки крестьянина-малоросса по рождению, занимал, судя по всему, даже больше, чем многих рабочих). А вот реформа налогообложения — это было очень актуально. Акцизы, косвенные налоги — это было несколько лучше подушной подати, но все равно падало на бедные слои населения. Нищий и миллионер съедали в год, к примеру, почти одинаковое количество соли, и значит, платили одинаковые деньги в казну.

Итак, пользуясь установившимся хрупким единством, Гапон сумел официально открыть организацию. На церемонию приехал Фуллон. Фабричный инспектор Литвинов-Фальинский произнес прочувствованную речь. В конце заседания была послана телеграмма министру внутренних дел с почтительнейшей просьбой повергнуть к стопам обожаемого монарха всеподданнейшие чувства и пр., и пр. Никто не возражал. Все хором, включая Карелина и других социалистов, с чувством спели гимн. Может быть, скрестив пальцы.

Гапон, как и ожидалось, был избран «представителем». Председателем правления стал Васильев, Кузин — секретарем (некоторые мемуаристы называют его «личным секретарем Гапона» — это не совсем точно; Кузин был человек сравнительно грамотный — судя по всему, бывший учитель начальной школы, сменивший полуинтеллигентский статус на тяжелое, но более доходное слесарное ремесло), Карелин — казначеем. Варнашёв, который на время утратил доверие Гапона, стал простым членом правления. В состав правления вошла одна женщина — Вера Карелина, отвечавшая как раз за привлечение женщин-работниц. Гапон считал, что в «Собрание» рабочие должны вступать целыми семьями, чтобы жены не корили мужей за то, что те пренебрегают домашним очагом ради встреч в чайных. Но на собраниях женщин обычно третировали

ли, права голоса они не имели, в руководство их (кроме Карелиной) не выбирали. В итоге женщины-работницы стали устраивать свои особые собрания, на которых выбирали «своего» председателя, секретаря, казначея — и такие параллельные организации возникали потом в каждом районе города. В числе активисток были жены Иноземцева, Васильева, Усанова. Бывали, впрочем, и общие «смешанные» собрания, где встречались две половины союза — «мужская» и «женская». В библиотечных, лекционных, музыкальных комиссиях мужчины и женщины работали вместе.

«Собрание» продолжало расти. Только в день официально открытия в него вступило 73 человека. К концу апреля число членов — регулярных, платящих взносы — перевалило за триста. И это было только начало.

1904 ГОД

В день, когда министр Плеве должен был повергнуть к стопам обожаемого монарха всеподданнейшие чувства Гапона и его товарищей, сам обожаемый монарх Николай Александрович записывает в дневнике:

«Утром лил летний проливной дождь, тем не менее вышел в сад. За обедней Татьяна приобщилась Св. Тайн.

После завтрака погода прояснилась и мы отправились на острова. Гулял на Елагине рядом с коляской. Воздух был чудный. Вернулись домой в 3½. Пошел снова в сад. Занимался до 8 ч. У Мама был фамильный обед.

Милица, Николаша и Петюша провели с нами вечер».

11 апреля — это по новому стилю 24-е; конец апреля в Петербурге всегда хорош.

Петюша и Милица — это троюродный дядя, великий князь Петр Николаевич и его жена Милица Черногорская. Оккультистка Милица знакомила Николая и Александрю с разного рода мистиками и ясновидящими; в том числе и Распутин попал ко двору через нее — но не в 1904 году, а тремя годами позже... Николаша — это, само собой, Николай Николаевич (Младший), будущий главнокомандующий и претендент на престол. Но — все это позже, позже, между двух революций, после всех революций, а пока что у нас на дворе прекрасная весна 1904 года. Царь, еще молодой, 36-летний царь дышит чудным воздухом на Елагине острове, забывая про все горести и тревоги.

А основания для горестей и тревог все же есть. В Порт-Артуре десять дней назад взорвался броненосец «Петропавловск»

со всей командой. В числе погибших — знаменитый флотоводец и изобретатель адмирал Макаров и художник-баталист Верещагин (да, он! — приятель Гапона). Чудом спасся великий князь Кирилл Владимирович, тоже будущий претендент на престол.

Ну, и у Алекс простуда. Что еще огорчительнее. Шутки в сторону: императрица на шестом месяце беременности. Пятая беременность 32-летней женщины. Пол плода определять еще не умеют, но все надеются: наконец-то мальчик, наследник.

Эти две темы были определяющими в повестке дня первой половины года: война и ожидание наследника. Долгожданный мальчик появился на свет 30 июля. О его неизлечимой болезни стало известно в октябре.

К тому же времени стало ясно, что война с Японией, начавшаяся из-за столкновения колониальных амбиций в Маньчжурии и в Корее, идет как-то не очень успешно. Россия многократно превосходила Японию по численности населения и армии. Но к востоку от Байкала она обладала всего одним миллионом жителей и полусотней тысяч солдат. Противник был новым, природа и окружение — непривычными. К тому же война началась после очень долгой мирной передышки. Двадцать три года, с Ахал-Текинского похода 1881 года — никогда прежде промежуток между войнами в России не был так продолжителен. Войско расслабилось, дух общества смягчилось. Патриотического задора хватило ненадолго.

В конце января, сразу же после объявления войны, члены Союза освобождения — только что созданной полулегальной партии либералов-конституционалистов, приняли решение не бороться с властью до победы над внешним врагом. В это время молодежь — еще недавно левая — в порыве энтузиазма записывалась в царское войско. Однако уже весной не кто иной, как Антон Павлович Чехов говорил своему шурину Виктору Книпперу, что победа России — очень нежелательна, так как она укрепит самодержавие и отсрочит революцию. В своей интеллигентской ипостаси великий писатель договаривал до конца то, что другие думали. Почти никто не признавался себе, что хочет неудачи самодержавному отечеству, хочет гибели русским солдатам и матросам — но с известного момента всякий просчет командования на Дальнем Востоке шел в строку и использовался в антиправительственной пропаганде.

Тем временем революционные партии — социал-демократы и социалисты-революционеры, эсдеки и эсеры, образовавшиеся в последние годы, не предавались праздности. Марксисты-эсдеки делали упор на пропаганду среди рабочих, эсеры же, наследники «Народной воли», воссоздали террористиче-

скую организацию. Первым ее лидером был Григорий Андреевич Гершуни. В апреле 1903 года этот «художник террора», на счету которого был, между прочим, министр Сипягин, предшественник Плеве, был арестован. Но террор продолжался. 15 июля 1904 года Плеве последовал за Сипягиным: он пал от бомбы эсера Егора Сазонова.

Пять лет спустя, в 1909 году, и полиция, и эсеры пережили подлинный шок: почтенный инженер-электротехник Евгений Филиппович Азеф*, многолетний ценнейший агент полиции Раскин и легендарный вождь боевой организации эсеров Иван Николаевич**, сподвижник Гершуни, занявший его место, оказались одним и тем же лицом. Человек, чьи подробные и точные донесения так ценили в ведомстве Плеве, организовал убийство этого министра. Глава террористов выдавал своих «подчиненных» полиции — не всех, с разбором, но очень многих.

Имя «Азеф» и слово «provokator» стали синонимами. Но что такое provokator? В контексте биографии Георгия Гапона особенно стоит задуматься над этим вопросом. Вот цитата из речи П. А. Столыпина, посвященной «делу Азефа»:

«По революционной терминологии, всякое лицо, доставляющее сведения правительству, есть provokator... А между тем, правительство должно совершенно открыто заявить, что оно считает provokatorом только такое лицо, которое само принимает на себя инициативу преступления, вовлекая в это преступление третьих лиц, которые вступили на этот путь по побуждению агента-provokatora».

Отстаивая свое (и правительственное) понимание термина, Столыпин был конечно же по существу прав. Беда в том, что дальше он пытается доказать: Азеф был «честным агентом», революционеры клеветают, приписывая ему участие в терактах и руководство ими. Точно так же несколькими месяцами раньше эсеры отбивались от разоблачений Владимира Бурцева, доказывая, что Азеф — честный и заслуженный революционер, оклеветанный полицией. Слишком трудно было обеим сторонам признаться в том, что они обмануты. К тому же — обману-

* Неблагозвучное на русский слух паспортное еврейское имя-отчество Азефа — Евно Фишелевич — стало упоминаться только после его «разоблачения». Двойной агент был исторгнут из лона русской интеллигенции и недостоин более носить благородное имя. В то время как, скажем, Гершуни для «общества» до смерти оставался Григорием и лишь для полиции был Гершем-Исааком. Часто «славянизировалась» и фамилия Азефа — он становился «Азевым». Но все это только до разоблачения!

** У Евно Фишелевича, Евгения Филипповича, Ивана Николаевича было еще и четвертое имя-отчество — Валентин Кузьмич, употреблявшееся эсерами в особо секретных случаях.

ты малосимпатичным человеком, изначально не внушавшим доверия, неопрятным толстяком с низким щекастым лицом, щетинистыми усами, огромными чувственными губами, глазами навывкате, похожим на людоеда из сказки. Что такой человек, все пороки которого были, казалось бы, написаны на его физиономии, сумел внушить им безусловное доверие к себе. И что своими успехами, которыми каждая из сторон привыкла гордиться, обе они обязаны двойной игре гениального афериста.

Что делал Азеф — более или менее ясно, если не закрывать глаза на очевидные свидетельства*. Гораздо важнее понять — почему. Что заставило рядового и — действительно — до поры вполне добросовестного агента полиции в 1903 году начать тайную от своих работодателей революционную карьеру, вылившуюся в грандиозную двойную игру? Деньги? Да, через руки Азефа проходили огромные партийные суммы, что-то к этим рукам прилипало — но, право слово, бывает заработок побезопаснее. Хватило бы, в конце концов, и одних полицейских денег, не говоря уже о жалованье инженера в солидной транснациональной компании. Власть, возможность втайне манипулировать людьми? А может быть, и еврейская обида? Не стоит списывать со счетов свидетельство Л. А. Ратаева, полицейского начальника Азефа, о том, что Евно-Евгений-Иван был до глубины души оскорблен кишиневским погромом. Может быть, в этом был вызов Азефа: принять на себя роль корыстолюбивого «жида»-предателя из самых низменных и расхожих антисемитских клише и тем отомстить всем, и власти и революции, за обиды своего народа? Но среди революционеров, выданных Азефом, были и евреи, а сам он, после разоблачения, никогда не пытался объяснить свои действия национальными мотивами. Впрочем, он вообще никак не пытался их объяснить...

Так или иначе, после смерти Плеве, 26 августа, министром внутренних дел был назначен Петр Дмитриевич Святополк-Мирский — человек совсем иного рода, убежденный либерал. Впрочем, в случае этого человека стоило бы скорее говорить не про убеждения, а про инстинкты. Он был мягок, доброжелателен, прекраснодушен, ни с кем не хотел ссориться — ни с земцами-прогрессистами, ни с придворными консерваторами. В общем, это был «добрый барин».

При вступлении в должность Мирский провозгласил но-

* Как это делают А. И. Солженицын и А. Е. Гейфман, пытающиеся — из преклонения перед Столыпиным? — «обелить» Азефа в качестве правительственного агента. Попыток представить его честным революционером, кажется, не было.

вую политику, основанную на «искренно благожелательном и истинно доверчивом отношении к общественным и сословным учреждениям». Началась так называемая «весна» (впоследствии в таких случаях употребляли слово «оттепель») — весна среди осени.

Воспрянувшие «освобожденцы» воспользовались ситуацией. 6—9 ноября в Петербурге фактически легально состоялся земский съезд. Официальная его резолюция ничего особенно крамольного не содержала, но меньшинство (27 человек из 98), собравшись в доме одного из своих лидеров, Владимира Дмитриевича Набокова, том самом знаменитом набоковском доме на Морской улице, который так выразительно описан в «Других берегах», приняло отдельную резолюцию — а там уже речь прямо шла об «участии народного представительства, как особого выборного учреждения, в осуществлении законодательной власти, в установлении государственной росписи доходов и расходов и в контроле за законностью действий администрации». То есть — о созыве парламента и превращении самодержавной монархии в конституционную.

За съездом последовала «банкетная кампания» по всем сколько-нибудь крупным городам России. В ходе «банкетов» либеральная интеллигенция и просвещенная буржуазия обсуждали земские резолюции и высказывались в поддержку радикальных требований меньшинства. Формальным поводом для торжеств было сорокалетие судебной реформы Александра II. Встревоженные монархисты сравнивали происходящее с Генеральными штатами, созыв которых в 1789 году предшествовал революции. Мирский пытался «всех примирить, все сгладить» — и на полшага отставал от событий. Предложенный им проект реформ, включавший введение в Государственный совет представителей земств, был отвергнут под давлением Победоносцева и царских дядюшек — великих князей Владимира, Алексея и Сергея Александровичей, без совета с которыми Николай не делал ничего важного. Даже Витте, занимавший с 1904 года пост председателя Совета министров, не высказался в его пользу. 12 декабря был опубликован урезанный и выхолощенный манифест о преобразованиях в управлении; одновременно правительством было объявлено, что противозаконные сборища отныне дозволяться не будут, а земствам обсуждать политические вопросы запрещено.

Надо сказать, что умеренные, лояльные либералы-конституционалисты не видели врагов в эсерах и эсдеках. Осенью 1904 года революционеры и либералы собрались на общую «конференцию освободительных сил» в Париже. Эсеров там, кстати, представлял Азеф. В сущности, это парадокс: в социо-

культурном смысле у В. Д. Набокова или князей-близнецов Долгоруких было несравнимо больше общего с тем же Святополк-Мирским или главнокомандующим дальневосточной армией генералом Куропаткиным, чем с каким-нибудь немтым террористом из «вечных студентов» или провинциальным провизором вроде Гершуни. Набоков-отец и дружил с Куропаткиным, что в тех же «Других берегах» упоминается, — но политически Куропаткин был ему врагом, а эсер — союзником. То же самое было по другую сторону баррикад. «Весна» сорвалась, борьба возобновилась, разделительная черта между сторонниками и противниками правительства снова стала важнее всех остальных — и в конечном счете союзниками Мирского или Лопухина в борьбе с такими же, как они, добрыми баррами оказывались злобные и малограмотные черносотенцы... Если же это кому-то не нравилось, можно было только выйти из игры — но и так, как показывает драматичная судьба Лопухина, получалось далеко не всегда.

Между тем на Востоке дела шли все хуже. В августе и сентябре состоялись сражения при Ляояне и при Шахе — кровопролитные и бесполезные. Еще в июле был блокирован Порт-Артур, и надежд на его вызволение было все меньше. Правительство было сильным, но раненым зверем; его уступчивость возбуждала оппозицию, попытки проявить жесткость возбуждали еще больше. Но у либералов одних не хватало сил для решительного выступления. У революционеров — тоже.

Таков был фон, на котором протекала деятельность Гапона в 1904 году.

НАРВСКАЯ ЗАСТАВА, ДАЛЕЕ ВЕЗДЕ

Профсоюз на Выборгской стороне с несколькими сотнями членов — это было, по замыслу Гапона, только начало, ядро по-настоящему массовой организации. Теперь предстояло организовывать отделы. Петербург был велик, промышленных слобод в нем было много. Но главное внимание Гапона привлекала Нарвская сторона. Здесь было к чему приложить силы.

У Нарвской заставы было несколько крупных предприятий, но прежде всего там располагался главный индустриальный гигант Петербурга — Путиловский металлургический и механический завод.

Начало ему было положено в 1789 году, когда небольшое чугунолитейное предприятие было основано в Кронштадте. В 1801 году оно — по соображениям безопасности — пере-

дено было на Петергофскую дорогу, на седьмую версту от города.

В то время это предместье было вполне аристократическим — Петергофская дорога вела в одну из главных царских резиденций. Вдоль тракта располагались усадьбы царедворцев. Сохранились несколько: Кирьяново, принадлежавшее княгине Дашковой, Александрино — дворец и парк Чернышевых. В основном же об усадьбах Шереметевых, Волконских и других аристократов напоминают разве что старые деревья, кругом стоящие у пруда в каком-нибудь школьном дворе. Трудно даже представить сейчас, как выглядел лет двести назад этот ныне промышленный район.

История завода складывалась так: он сильно пострадал от наводнения в 1824 году, некоторое время стоял заброшенным, безуспешно выставлялся на торги, а в 1842 году был дан в аренду, а затем подарен некоему Огареву — не свободолюбивому поэту, а совсем напротив, племяннику графа Клейнмихеля. Потом сменились еще несколько владельцев, и, наконец, 12 января 1868 года хозяином завода стал Николай Иванович Путилов, один из титанов русского промышленного капитализма, его первой, героической эпохи.

Инженер Путилов прославился во время Крымской войны, когда по поручению великого князя Константина Николаевича в кратчайшие сроки сконструировал и построил канонерки, защищавшие Кронштадт. Из Ржева привезли прядильщиков, оставшихся из-за войны без работы, посадили на канонерки — и из них вышли заправские моряки.

Путилов попал в струю. В России шло массовое железнодорожное строительство. Братья Поляковы и фон Мекк брали подряды, прокладывали тысячи верст с такой скоростью, которая графу Клейнмихелю и не снилась. Путилов делал стальные рельсы — делал по собственной технологии. Привозные рельсы лопались в холодные зимы, не выдерживали русских морозов. Железнодорожные концессионеры стали покупать хладоустойчивые рельсы Путилова.

Дела стремительно шли в гору. В 1869 году на заводе работало уже две тысячи человек, потом три, пять. Путилов знал их лично — не всех, но многих. Он обращался к рабочим по имени-отчеству, здоровался с ними за руку, разговаривал о домашних делах, о семьях, хозяйстве, скотине, оставшихся в деревне. Мог, если что не так, дать денег в долг.

Это было первое поколение индустриальных мастеровых, сплошь крестьянского происхождения. Путилов искренне любил этих людей, он любовался тем, как из них получают настоящие солдаты тяжелой промышленности. А он был ее

фельдмаршалом. Ее Наполеоном (ведь корсиканец тоже знал имена своих усачей-гренадеров и здоровался с ними за руку). Рабочие в поте лица трудились от зари до зари — но и сам он тоже. Каждый миллион пудов выплавленной стали отмечали все вместе — с факельными шествиями, катаниями с гор, тройками.

И, как Наполеон, Путилов во многом пал жертвой величия собственных замыслов. Его честолюбивая идея заключалась в том, чтобы перенести петербургский торговый порт с острова Котлин в устье Невы. Для этого необходимо было прорыть по дну Финского залива канал для крупнотоннажных судов. Над Путиловым издевались. Некрасов высмеял его (как, впрочем, и других ведущих российских капиталистов той эпохи) в своих «Современниках». И все-таки канал был дорыт — в 1884 году, через четыре года после смерти Николая Ивановича. Он и сегодня действует. Петербургский торговый порт и через столетие с гаком по-прежнему на Гутевском острове — там, где Путилов предназначил ему быть. Но какова была цена этого свершения! На Путиловском заводе начались трудности, рабочим задерживали зарплату, производство сокращалось, людей выбрасывали на улицу. Путилов умер ослабленным банкротом. В 1883 году Государственный банк продал заложенные в обеспечение долга акции Синдикату брянских и варшавских сталелитейных заводов — главному конкуренту Путилова. Это было типичное рейдерство. Председатель совета директоров синдиката князь Вячеслав Николаевич Тенишев (более известный как этнограф, археолог и основатель Тенишевского училища) стремился ослабить Путиловский завод, чтобы обеспечить выигрышные условия своим предприятиям на юге и западе страны. Через пару лет то, что оставалось от Путиловского, было вновь продано.

Но имя, оставленное основателем, его марка — это все-таки что-то значило. С началом бурного промышленного подъема России в 1890-х годах и Путиловский завод пережил новый взлет.

Новые акционеры завода (их было несколько, но наиболее активно путиловскими делами занимался А. Н. Ляский — путиловцы называли этого флегматичного тучного человека «хозяин Ляшка») набрали казенных и частных заказов — в основном паровозы и артиллерийские орудия. Железных дорог строили в то время еще больше, чем при Александре II, выплавка чугуна за десятилетие утроилась. Теперь по этим дорогам, выложенным русскими рельсами, ехали русские паровозы. Металлургический завод Путилова превращался в механический, машиностроительный. Директора купили собственные желез-

ные рудники в Финляндии и в Олонецкой губернии — больше они не зависели от привозной руды. Заводу нашли нового управляющего — Н. И. Данилевского, по деловитости, энергии, демократизму, простоте обращения и даже с виду напоминавшего покойного Путилова. На завод потянулись люди — этому немало способствовал страшный недород 1891 года. Ехали псковичи, новгородцы, ехали из Смоленской губернии — но больше всего почему-то из Тверской. Крестьяне везли курочек, гусей, окорока для мастеров. От родных они знали, кто какой подарок предпочитает. Задача была — попасть в нужный цех или мастерскую. Кто-то хотел в паровозную, кто-то в старомеханическую, а были и такие, что рвались на горячее плавленное производство. В горячем цеху неумелый, но физически крепкий парень мог зарабатывать как квалифицированный токарь или слесарь — рублей 40—50 в месяц (а средняя зарплата по заводу была в 1890-е годы рублей 30).

Завод пережил кризис 1899—1902 годов и снова воспрянул. Японская война стала «матерью родной» для оружейников и металлургов. Цеха не успевали исполнять казенные заказы. На заводе работало 13 тысяч человек — город, и не из самых маленьких. Вокруг завода, у заставы стремительно росла слобода. Разные улицы заселялись разных дел мастерами. «Аристократическими» местами были Петергофское шоссе, Огородный переулок, Ушаковская — тут снимали отдельные квартиры зажиточные слесари, токари, модельщики. На левой Тентелевке обитали химики, в Болдыревом переулке текстильщики. Многие, особенно недавно приехавшие из деревни, жили по углам. Рядом с Путиловским заводом было 15 тысяч «угловых» квартир, и их количество не уменьшалось. Людей здесь становилось все больше, жилось все теснее.

Здесь были свои рестораторы, свои купцы, своя (заводская — инженеры, врачи) интеллигенция. Был даже свой поэт, токарь-самородок Василий Шувалов:

...Трудись, как узник за стеной,
В суровой области металла.
Надзор строжающий за мной,
Я раб нужды и капитала.

Рядом со столицей империи у Нарвской заставы располагалась неудобная, трудная для жизни, но непрерывно растущая столица индустриальной России. В первые же недели существования «Собрания» Гапон послал сюда своих эмиссаров. В конце апреля 50 путиловцев явились к отцу Георгию и предложили создать у Нарвской заставы отдел организации. Гапон и его товарищи немедленно приступили к работе.

Нарвский отдел был открыт 30 мая в арендованном Гапоном и его «Собранием» трактире «Старый Ташкент» (Петергофское шоссе, ныне проспект Стачек, 42). Когда-то на этом месте была одна из усадеб, примыкавшая к Петергофскому тракту, несколько раз менявшая хозяев. В последней трети XIX века, когда началась новая история Нарвской заставы, здесь расположился трактир; в 1892 году его арендовало Общество трезвости, а 12 лет спустя помещение было снято Гапоном со товарищи. Помещение с залом на две тысячи человек, да еще с садом — просто роскошь!

К этому времени в кассу «Собрания» стали поступать частные пожертвования от сторонников и сочувствующих (в том числе от некоего А. Е. Михайлова из богатой купеческой семьи). Однако самый крупный взнос — по словам Гапона, примерно 400 рублей — был получен от *анонимного дарителя*. На самом деле этим дарителем, как честно признается отец Георгий, была полиция. Официальная справка Департамента полиции (Красная летопись. 1922. № 1), в свою очередь, гласит, что на оборудование чайной в Нарвской части выделено 360 рублей, из них 150 рублей были даны особым отделом, а 210 рублей — Петербургским охранным отделением*.

«Впоследствии я слышал, — пишет Гапон. — что русский посол во Франции упрекал меня в том, что я брал деньги от правительства и эти же деньги употреблял против него. Он, очевидно, забывал, что эти деньги были взяты из народного кармана и я их только возвращал тому, кому они принадлежали». Подобный подход к источникам финансирования был присущ и революционерам: беря деньги у Саввы Морозова или получая помощь германского Генерального штаба, Ленин не считал себя связанным какими бы то ни было обязательствами перед Морозовыми или перед Людендорфом. Все деньги принадлежат народу, а потому могут использоваться на благо народа — по усмотрению получившего их лица.

На открытие нового отделения был приглашен Фуллон — к радости Гапона, он принял приглашение, вместе с отцом Георгием председательствовал на собрании и, по свидетельству Гапона, произнес следующую речь:

— Я счастлив видеть вас на этом дружеском и разумном собрании. Я солдат. В настоящее время родина переживает тяжелое время благодаря войне с далеким и лукавым врагом на далекой окраине. Чтобы с честью выйти из этого испытания,

* Общая цифра, однако, странно совпадает со взносом, сделанным тоже «неизвестным лицом» и послужившим базовым капиталом первой чайной лотом 1903 года

вся Россия должна объединиться и напрячь все свои силы. В единении сила.

Гапон хорошо запомнил эти слова, поскольку при открытии следующих отделов Фуллон дословно повторял ту же самую речь — вплоть до декабря.

Получив такое замечательное помещение в районе, где и должна-то была пойти главная работа, Гапон произвел «рокировку» — снял с себя обязанности *представителя* основной организации и стал представителем Нарвского отдела. Тем самым филиал становился основной организацией, и наоборот. Председателем же Нарвского отдела избран был В. А. Иноземцев. Вот как описывает его Варнашѐв: «Человек далеко недюжинный, умница во всех отношениях, он обладал особой способностью располагать к себе массу манерой говорить. Грубоватый на вид, производя впечатление человека рубящего правду с плеча, он начинал и все время слабировал свою речь крепкими словцами, с такими иллюстрациями из жизни, которые женщинам иногда неудобно было слушать». В Нарвский отдел сразу же по учреждении вступило 700 рабочих — вдвое больше, чем в Выборгский.

Практически одновременно с Нарвским был открыт Василеостровский отдел на 4-й линии. Его возглавили Карелин и Усанов. В этот отдел сразу вступило две тысячи человек (благодаря многочисленным связям и знакомствам Карелиных), но перспективы роста здесь были меньше, чем за Нарвской заставой.

До конца года было открыто еще восемь отделов: Коломенский, Рождественский — на Песках, Петербургский — в Геслеровском переулке, на Петербургской стороне, Невский отдел — за Невской заставой, в Ново-Прогонном переулке, близ Шлиссельбургского проспекта, Московский — за Московской заставой, Гаванский, Колпинский и еще один на Обводном канале (на Дровяной улице). Охвачены были все индустриальные районы столицы.

И это при том, что по уставу никаких отделов вообще не полагалось! По собственному признанию, «при открытии отделов он брал попросту нахальством... нанимал помещение, приличное, с электрическим освещением и паркетным полом и приглашал на освящение градоначальника... затем посылал в полицейский участок бумажку о разрешении; там устава не читали, но знали, что “сам” был на освящении, и этого было достаточно, разрешали без всяких разговоров».

Общая численность организации к концу года достигла восьми-девяти тысяч человек (а потом за десять дней удвоилась). Зубатову подобное и не снилось, революционерам — тоже. Гапоновский «тред-юнион» за считанные месяцы завоевал столицу.

При этом Гапон не пользовался для рекламы своей организации прессой — наоборот, он стремился, чтобы в газеты попадало как можно меньше информации о происходящем в «Собрании»: это могло затруднить его двойную игру. Рабочие из уст в уста передавали известие о новом союзе и возглавляющем его чудесном батюшке.

В чем же, собственно говоря, заключалась деятельность этого союза?

СВЕРШЕНИЯ И ЗАМЫСЛЫ

В чем же заключалась, собственно, деятельность «Собрания»?

Прежде всего, средством обеспечения организации должны были стать доходы от чайных и платные литературно-музыкальные (и танцевальные) вечера. Эти вечера, разрешения на устройство которых долго добивался Гапон, начались еще в декабре 1903 года. Они были главной заботой Ивана Павлова, который привлек к делу коллег-артистов. (Впрочем, Карелин восторженно вспоминает, что по большей части организационные усилия падали на него: «Он (Павлов. — *В. Ш.*) давал письма, записочки к артистам, не так уж знаменитым, а средней руки, вот я и бегал по целым вечерам, больше все по субботам, упрашивал, приглашал их».) Большим успехом пользовался, в частности, отставной полковник Коротков, чтец-декламатор. Такие концерты устраивались два раза в месяц, иногда и чаще — всего, по словам Павлова, прошло около сорока вечеров. Выручка от продажи билетов и от буфета с избытком покрывала организационные расходы «Собрания». Избыток шел, видимо, на кассу взаимопомощи.

Лекции начались весной. Если зубатовские лекции в Москве касались в основном специальных вопросов, связанных с рабочим законодательством и рабочим движением, то Гапон попытался организовать полноценный лекторий. Правда, из крупных ученых среди лекторов можно назвать только Павла Ивановича Преображенского — молодого в то время геолога, позднее товарища министра народного просвещения при Керенском, министра у Колчака, как ни странно, помилованного красными и мирно профессорствовавшего до естественной кончины в 1944 году. Лекции Преображенского, по свидетельству Карелина, особенно нравились пролетариату: «Рабочие ведь ничего не знали, как и что и откуда земля, мир, а в лекциях все это разъяснялось и указывались причины». По истории культуры и общим экономическим вопросам лекции чи-

тал помощник присяжного поверенного Марк Александрович (по паспорту Мордехай Айзекович) Финкель; он же был юрисконсультом «Собрания». По словам того же Карелина, «тот еле поспевал, так много приходилось ему читать разных лекций и вести разговоров». Финкель касался вопросов, особенно важных для рабочих: о заработной плате, о профессиональных болезнях, и его лекции легко переходили в живые словопрепятия. Он был человеком отчетливо социалистических взглядов. В свое время, в 1897 году, в Москве он был за свою околореволюционную деятельность арестован, прошел через ласковые руки Зубатова, не поддавался, видимо, его улаживаниям и несколько лет провел в административной ссылке. Историю литературы преподавал — «очень доходчиво» — Федор Николаевич Малинин, редактор «Тюремного вестника». С ним Гапон, вероятно, познакомился по своей службе в тюремной церкви.

Рабочие учились охотно. В немногие свободные часы, свидетельствует Карелин, увлеченно занимались всем, от иностранных языков до гимнастики (кто-то, значит, и языки преподавал, и гимнастику?). Правда, все это — лишь до осени. До святополковой весны. Осенью стали читать только газеты.

Сам Гапон читал лекции о рабочем движении — здесь он считал себя уже специалистом. Представления о его «курсе» дает протокол собрания Нарвского отдела 6 июня 1904 года.

«Собрание открылось пением молитвы “Царю небесный”. Представитель читал ответ е. и. в. государя императора на посланную телеграмму при открытии собрания на Выборгской стороне 11 апреля, причем со стороны членов последовало восторженное троекратное “ура”. Далее представитель высказал соболезнование о несвоевременной кончине генерал-губернатора Бобрикова, проводившего идею самосознания и развития русских людей и погибшего от руки иноверца, причем несвоеременно погибшему генерал-губернатору Бобрикову была пропета всем собранием “вечная память”. Представитель просил всех товарищей, ничем не смущаясь, идти по намеченной цели и, соединяясь вместе, иметь оборону от иноверцев, всячески старающихся вредить русскому единению. Далее представитель говорил о корне происхождения рабочего вопроса, взяв ту эпоху, то время, когда не существовало орудий производства и существовали патриархальные отношения между рабочим и хозяином, но, со времени введения новейших орудий производства, труд рабочего стал обесцениваться, и отношения изменились, благодаря спросу и предложению на труд. Вопрос небезопасности рабочего сопряжен также с конкуренцией женщин и детей в труде, и благодаря разным бедственным положениям и неожиданным толчкам... рабочие

сами побуждаются... свое существование, которое только... при общем единении. Затем представителем объяснены некоторые направления... так, напр., индивидуалистическое направление, бывшее в Англии, которое стоило больших жертв, и рабочие не могли все-таки без помощи правительства улучшить свое положение. В России, ранее правительство было, взявши на себя все заботы и попечения о рабочих, но это, как видно, отозвалось необеспеченно (?). В Германии взято направление такое, что рабочие развиваются и обеспечивают себя, идя вместе и под руководством правительства, что дало уже теперь прекрасные плоды. После обмена мыслей о необходимости солидарности и единения, “Собрание” закрылось пением молитвы Господней».

Отдел только создан, рабочие — новички, Гапон начинает «с азов». Многое то ли он путает, то ли (это скорее) путает конспектирующий. С другой стороны, в свежей, неизученной аудитории необходимо лишний раз подчеркнуть свою лояльность. Хороший повод для этого дает убийство финско-шведским националистом Евгением Шауманом генерал-губернатора Финляндии Николая Ивановича Бобрикова, делавшего всё, чтобы уничтожить автономию этой имперской провинции и действовавший в ней конституционный режим. Имперский шовинист Бобриков в национальной памяти финнов остался настоящим воплощением зла. Но — как почти всегда — реальность сложнее мифа. В своей борьбе со шведоязычной по преимуществу элитой Великого герцогства Финляндского Бобриков пытался опереться на низы, на безземельных арендаторов-торпарей. Гапон мог об этом знать. Бобриков мог воплощать для него не только русификаторскую политику (едва ли он, украинец, искренне ей сочувствовал), но и заботу власти о бедноте, о «простом человеке», в ущерб наследственной элите. Так что и сервильные жесты оказываются двусмысленными.

Одной из забот Гапона было создание потребительских кооперативных лавок. Сторонники мирного перехода к социализму придавали потребительской кооперации большое значение; работа в этой области считалась важной формой интеллигентского служения. В. А. Поссе, впоследствии недолгое время соратник Гапона, а потом его враг, писал в своей книге «Идеалы кооперации»: «Улучшая и удешевляя продукты, кооперативы в то же время улучшают и положение производящих и продающих эти продукты. Кооперативы обыкновенно держатся условий, устанавливаемых профессиональными союзами, и даже поддерживают эти союзы в борьбе за улучшение условий труда. Постепенно развиваясь, они передают в

руки трудящихся все производство предметов первой необходимости и усиливают экономическую мощь пролетариата».

Между тем потребительская кооперация на заводах была грубым извращением идеи. Предприниматели некогда выплачивали рабочим часть зарплаты продуктами из фабричных лавок — втридорога; потом это было запрещено. Тогда лавки стали маскировать под потребительские товарищества, а вычеты из зарплат — под взносы в эти товарищества. Мечтой Гапона было создание настоящих рабочих потребкооперативов. Следующим этапом должны были стать кооперативы производственные. Идея кооперативных, артельных предприятий (своего рода «кибуцев», если искать аналогии в последующей хозяйственной практике XX века) преследовала его со времен босяцкого проекта и до последнего дня жизни — собственно, она присутствовала в последнем, роковом, стоившем Гапону жизни разговоре.

Что до потребкооперативов, то к их созданию удалось, по словам Гапона, приступить через шесть месяцев после создания организации. Если считать от официального открытия — в октябре. Поздновато: времени совсем не оставалось... Впрочем, фактически гапоновская организация действовала с лета 1903 года.

Наконец, самое главное: трудовые конфликты. Основного орудия, которым располагают в этом смысле профсоюзы — права на забастовку, — гапоновская организация была лишена. Устав запрещал даже выплачивать пособия в случае стачки. Нарушать этот пункт Гапон пока не решался: это помешало бы распространению организации. А потому все конфликты разрешались так же, как в зубатовские времена: через переговоры рабочих с властями, которые, в свою очередь, могли *приказать* работодателю воздержаться от увольнений или повысить зарплату. Переговоры вел Гапон напрямую с Фуллоном. Иногда успешно. Неудивительно, что квартира на Церковной улице превратилась в место паломничества пролетариев со всего города.

Для части рабочих и такого рода самоорганизация была подарком судьбы. Они радовались возможности просто собираться, обсуждать свои нужды, держать кассу взаимопомощи и слушать бесплатные лекции и даже испытывали по этому поводу своего рода эйфорию. Эти чувства выразил путиловский бард Шувалов:

...Хвала тебе, родимая держава,
Что это право мирно нам дала!
И что с трудом на Западе дается,
За что восстания велись всегда,

У нас так просто это достается,
Невольно подивисься иногда!

Благоволение властей, их готовность снисходить до фабричных людей и их нужд смиренным, малограмотным, старым людям казались чудом. Был случай, когда рабочие на открытии одного из отделов бросились целовать руки приехавшему Фуллону; Гапон после строго выговорил им за то, что они роняют свое достоинство. Этот выговор вызвал еще большее умиление. Классово сознательная рабочая элита смотрела, конечно же, на вещи иначе. Но до поры до времени равновесие удавалось поддерживать.

В июне 1904 года Скандраков известил Гапона, что с ним желает встретиться приехавший в столицу Грингмут. Гапон долго разговаривал с этим «высоким стариком с вкрадчивыми манерами» (Грингмуту было всего 53 года), объясняя (в благонамеренно-националистической интерпретации, конечно, как в прошлогоднем докладе Лопухину) свою тактику. В ходе разговора он заметил, что «если он желает успеха московскому обществу, то все полицейские агенты должны быть немедленно удалены, а один из моих рабочих поставлен во главе». Заинтересованный Грингмут вежливо пригласил Гапона посетить Москву — а тот в июле не преминул воспользоваться приглашением.

В Москве Гапон встретился с Тихомировым, показавшимся ему «жалким». Зубатовскую организацию он застал при последнем издыхании. 19 июня Гапон выступал в народных домах на Грузинской и Немецкой площадях перед зубатовскими активистами. Гапон рассказывал о своих успехах, предлагал москвичам создать общество такого же типа, «независимое от администрации», выбрать «представителя»-интеллигента для контактов с властями, обещал содействовать утверждению устава этого нового московского общества в Министерстве внутренних дел. Все это вызвало раздражение великого князя Сергея Александровича и Трепова. Московские власти шокировал уже тот факт, что Гапон *не испросил предварительного разрешения* на выступление перед рабочими. (Одно это демонстрировало все бесправие зубатовских организаций: Гапон, не испрашивая никаких разрешений, приглашал к себе в «Собрание» тех, кого считал нужным.) В Петербург, к Плеве, отправилась раздраженная депеша. Но Плеве отреагировать на нее не успел. Письмо было отправлено 6 июля, а через девять дней министр был убит.

Гапон к тому времени уже давно покинул Москву. Посещение Киева и Харькова убедило его в том, что пытаться орга-

низывать филиалы за пределами Петербурга рано. Направлялся он, собственно говоря, на родину, в Полтаву, по личным делам. Он хотел, вероятно, повидаться с детьми и позаботиться об их дальнейшем образовании. Подросшим Маше и Алеше, круглым сиротам при живом и любящем, но по горло занятом своими общественными делами отце, требовалась гувернантка. Но денег у Гапона тоже не было: все заработки съедало «Собрание». Точнее, он щедро отдавал туда свое жалованье, а потом, оставшись без копейки, брал деньги из кассы обратно, на что казначей Карелин закрывал глаза. Гапон просто не отделял «Собрание» от себя — в том числе в денежном смысле.

В любом случае средств на гувернантку не было. Пришлось просить отца-крестьянина заложить участок. Отец согласился. Гапон получил 750 рублей. Были ли эти деньги возвращены престарелому Аполлону Федоровичу? У Гапона в 1905 году бывали большие заработки, но как-то все разлеталось...

Между тем в Киеве Гапон успел наделать ошибок, которые могли стать роковыми. Общаясь с местными властями, он заявил, что действует по поручению Лопухина. Начальник Киевского охранного отделения А. И. Спиридович (впоследствии известный историк и мемуарист) не поленился проверить эти сведения. Лопухин возмутился «наглостью» и самозванством Гапона. Это прибавилось к московским неприятностям, так что отца Георгия в столице ничего хорошего не ждало бы, если бы гибель Плеве не отвлекла от него внимание.

Гапон, видимо, в тот момент не до конца осознавал, что случайность спасла его. Напротив, узнав о смерти Плеве, он огорчился: он как раз через министра хлопотал о правительственной ссуде для «Собрания». Так или иначе, он спешно вернулся в Петербург (возможно, вместе с Сашей Уздалевой). По возвращении он обнаружил, что между руководителями отделений начались противоречия.

И немудрено: с возникновением отделений структура «Собрания» усложнилась, усложнились и денежные счета. Зачастую на собраниях велись бурные споры, разрешить которые помогал только авторитет «представителя». Однако сами «передовые рабочие», входившие в руководство — Карелины, Васильев, Харитонов, Иноземцев, Варнашёв и другие, — не всегда до конца осознавали его истинную роль. Они понимали, что только Гапон был способен вести дела с властями. Но им казалось, что уж внутренние-то свои вопросы они могут уладить сами. Нет, не могли. Не могли договориться по практическим, денежным вопросам, а главное — не находили общего языка с «отсталыми рабочими».

Мы сегодня даже не отдаем себе отчета, какой социально разнородной была «та» Россия — столетней давности, как отличались по языку, по менталитету, по культуре представители даже ближайших друг к другу социальных страт: например, образованные «добрые баре» от чиновничества и от интеллигенции, интеллигенция от полуинтеллигенции, полуинтеллигенция от мешанства и от «рабочей аристократии», «рабочая аристократия» от пролетарских масс с деревенскими корнями. В сравнении с советской и особенно постсоветской Россией культурные отличия были выражены гораздо отчетливее. Достаточно сравнить мемуары Павлова с мемуарами Карелина или Варнашѐва — настолько различен язык и взгляд на мир!

Потому-то в особой цене были люди, для которых сословных границ не существовало. Именно таким был Гапон. Он умел говорить со светской дамой и с босяком, с толпой — и с каждым человеком в ней по отдельности. Когда в семь вечера открывались чайные «Собрания» и Гапон появлялся в одной из них (обычно за Нарвской заставой), всё оживало. Гапон подходил то к одному, то к другому столику, подолгу по-семейному беседовал с рабочими, обменивался папиросами, шутил — и эти беседы «держали» организацию лучше, чем любые формальные скрепы. Стоило ему уехать на несколько недель, и всё начинало рассыпаться.

Гапон приложил усилия к восстановлению единства. Символом его стало общее собрание, которое было устроено 19 сентября в большом зале в доме А. И. Павловой на Троицкой (ныне Рубинштейна) улице. По словам Гапона, «собрание открылось многочисленными речами, посвященными делу союза; на столе лежали чертежи и отчетные книги, чтобы каждый мог сам убедиться в честности и целесообразности делопроизводства...». Если у кого-то и возникали сомнения, то эйфория от самой возможности публичной встречи «в великолепном зале, в центре города» глушила их у подавляющего большинства. Само собой, был приглашен Фуллон — и принял приглашение. После официальной части состоялся концерт. Вместо второразрядных актеров из числа знакомых Павлова Гапон привлек Веру Линскую-Неметти, хозяйку музыкального театра, находившегося на Петербургской стороне, на Демидовской улице. Это была оперетка прогрессивная, «с идеями» (хитом репертуара была пьеса «Черные вороны» — о темных сторонах монастырского быта) и довольно популярная. Здесь играл одно время (на закате своей карьеры) сам Мамонт Дальский. При этом театр пользовался благоволением городских властей.

Привлечение Неметти осложнило отношения с ревнивым Павловым. Но Гапон дорожил образовавшейся дружбой с ан-

трепренершей, поскольку рассчитывал с ее помощью собрать средства на постройку Рабочего дома — постоянного общегородского клуба для фабричных людей. Первоначально он рассчитывал «оттягать» у Общества попечительства о народной трезвости Народный дом в Александровском саду на Петербургской стороне, но это была слишком смелая мысль, и от нее пришлось отказаться.

С другой стороны, и времени на постройку Рабочего дома не было. Грандиозное действо на Троицкой позволило восстановить единство. Но начинались новые времена. Убийство Плеве сдвинуло какие-то подземные пласты. Действовать по прежнему плану уже не удавалось. Логика событий оказывалась сильнее чьей-то личной воли.

ЧЬЯ ЖЕНА КОНСТИТУЦИЯ?

Осенью Гапон остро почувствовал давление с двух сторон.

С одной стороны Владимир Петрович Литвинов-Фалинский, главный фабричный инспектор Петербурга, довольно известный писатель по экономическим вопросам, позднее — видный чиновник Министерства промышленности и торговли (выделенного из Министерства финансов), который присутствовал при открытии «Собрания» и говорил пылкую речь, изменил свое отношение к гапоновской организации и приступил к созданию собственного рабочего движения. Руководителями основанного в октябре 1904 года Санкт-Петербургского общества взаимопомощи механических рабочих стали М. А. Ушаков, Д. В. Старожилов, В. И. Пикунев — исключенные еще год назад из гапоновского кружка «зубатовцы». Инициатива создания этого «желтого профсоюза» исходила от работодателей, стремившихся подорвать позиции Гапона. Но она — вне всякого сомнения! — была одобрена полицией. И, вероятно, Фуллоном, который начал побаиваться неумной энергии отца Георгия. Новая рабочая организация была малочисленной, и, вероятно, всего того, что могло предложить рабочим гапоновское «Собрание» (лекции, чайные, потребительские кооперативы), там не водилось; зато бывшие «зубатовцы» привлекали рабочих простотой разрешения трудовых споров: предприниматели и фабричная инспекция подчеркнуто доброжелательно встречали их ходатайства, с Гапоном же стали неуступчивы.

6 декабря открывался Невский отдел «Собрания». Во главе отдела был поставлен, по рекомендации Кузина, слесарь сидянского завода Николай Петрович Петров. (Роль этого чело-

века в судьбе Гапона и гапоновской организации впоследствии оказалась во многом роковой.) Как всегда, приехал Фуллон — приехал и выступил. Но речь его была непохожа на прежние. По свидетельству Петрова, он сказал следующее:

«Братцы-рабочие, поздравляю вас с открытием собрания, собирайтесь сюда мирно. Братцы-рабочие, не делайте стачек, приходите ко мне, и я вам все устрою. Нет, братцы, ко мне не ходите, лучше идите к фабричному инспектору, он хороший человек и вам все устроит, в чем вы только будете нуждаться, а стачек не делайте».

Это было что-то новое: градоначальник призывал профсоюз воздержаться от стачек (но Гапон их до сих пор и не устраивал!), а притом и сам отказывался от той роли посредника в трудовых спорах, которую играл несколько месяцев. Он передавал разрешение этих споров в руки фабричной инспекции, уже заведомо недоброжелательной. Слово «стачки» было произнесено именно начальством. Гапона как будто специально подталкивали в эту сторону.

Дальнейшее только подтверждает это впечатление:

«Уезжая, он (Фуллон. — *В. Ш.*) обратился к Гапону: “Какое у вас тут прекрасное место, садик, все это удобно, я летом непременно приеду к вам чайку попить в саду”. Гапон лукаво поддакивал и просил не забывать нас. “Да, да я и то частенько не забываю вас: что у кого болит, тот про то и говорит”, — сказал Фуллон. Гапон просил его посодействовать, чтобы администрация завода Сан-Галли выдала получку рабочим к празднику, и дал ему письмо рабочих. Фуллон взял письмо, но тут же сказал, что лучше устроить взаимопомощь, и с этим уехал».

Это — со стороны властей.

С другой стороны, на Гапона с каждым днем все большее давление оказывали его товарищи — те из них, кто считал себя «посвященными». В обстановке, когда все общество заговорило о конституции, о реформах, когда оживилось движение земцев, «программа пяти» приобрела неожиданную актуальность. Левое крыло организации хотело бы начать открытые действия, по меньшей мере — открытую пропаганду.

Лидером «оппозиционеров» неожиданно стала Вера Карелина. Гапон всегда гипнотически действовал на женщин — светских дам, романтических революционерок, приютских девочек, темных работниц... Но Вера Марковна была женщиной особенной. Выросла она в приюте, с ранних лет работала на ткацкой фабрике — а начитанностью превосходила, кажется, и своего мужа, и его друзей. Жена Ивана Павлова, происходившая из профессорской семьи, дружила с Карелиной на равных. Гапон относился к ней с искренним уважением, вос-

хищался тем, как организовала она женскую часть «Собрания»; сама она, по свидетельству Павлова, воспринимала его лидерство в «Собрании» как неизбежность — но спорили они горячо. Варнашёв был на стороне Карелиных. Кузин и Васильев, лично преданные отцу Георгию, во всем с ним соглашались. Но зато и на них стали смотреть искоса, особенно на Кузина, в котором видели гапоновского наушника.

Гапон отстаивал статус-кво, но понимал необходимость уступок — раскол и открытый конфликт с революционными партиями ослабили бы его организацию еще больше, чем появление покровительствуемых властями конкурентов. Отчасти он и сам заражался внезапно изменившимся духом времени. Только что были тишина, спокойствие — время для неторопливых малых дел просвещения и милосердия, для бесконечной фронды, для взрывающих тишину одиночных терактов и погромов — уж кто для чего создан... И вдруг все зашевелилось. Важно было в новой ситуации успеть получить свое.

В ноябре «Собрание» полуофициально отказалось от национальных и вероисповедных ограничений, прописанных в уставе. Если раньше рабочего-инородца или инославного, пришедшего на собрание, порой просили уйти*, то теперь Гапон призвал не просто допускать, а привлекать в «Собрание» финнов, поляков, эстонцев, евреев. Последних среди петербургских рабочих было очень мало (за пределы черты оседлости, тем более в столицу, допускались лишь состоятельные и образованные лица иудейского вероисповедания), зато в Петербурге отчасти находилось руководство Бунда. Гапон готов был к диалогу с ним — правда, через считанные недели его настроение изменилось.

Изменился круг лекционных чтений. Вместо гимнастики, французского языка и естествознания рабочие хотели обсуждать насущные политические вопросы. К чтению лекций стали привлекаться публицисты-радикалы. Одним из них был Сергей Яковлевич Стечкин (фамилия его писалась через мягкий знак; в следующем поколении он исчез, и внук Сергея Яковлевича, знаменитый конструктор стрелкового оружия, известен как Стечкин).

У Стечкина было два псевдонима — С. Соломин (так подписывал он свои научно-фантастические и нравоописательные повести) и Н. Строев. В качестве Строева он начиная с сентября 1904 года помещал в «Русской газете» (стоившей очень дешево и рассчитанной на демократического читателя)

* Был скандальный случай, когда Варнашёв пытался удалить с собрания старого и очень уважаемого рабочего-немца; Гапону пришлось осадить своего сподвижника.

«беседы», писанные «простым народным языком». Несчастливая судьба женщины «из простых», доведенной до воровства, злоупотребления гласных городской думы в Саратове, борьба с попытками обложить налогом рабочие чайные — ну и так далее. Последовательная критика мелких российских неустойств с элементарным рецептом их исправления: «Иностранцы каждому делу учатся и в науку верят. А у нас думают, что все само собой делается. Ну, и ждут у моря погоды».

Стечкин (вот ведь бывают странные сближения!) учился в гимназии вместе с Зубатовым, дружил с ним, а потом был в числе читателей библиотеки Михиных. В 1886 году именно он ввел Зубатова (уже секретного сотрудника полиции) в народнический кружок, а потом, арестованный по докладам своего друга, провел три года в distinguished городе Холмогоры. Зная о зубатовских корнях гапоновского союза, он относился к нему скептически и критиковал его в печати. Но Гапон и его сподвижники (прежде всего Васильев, который в этот период был официальным председателем «Собрания») высоко оценили «беседы» Строева-Стечкина и постарались привлечь его в свою организацию. В декабре он становится ее постоянным гостем. Впоследствии, давая показания полиции, Сергей Яковлевич утверждал, что попросту удовлетворял свое журналистское любопытство. Но это явно не так. Есть свидетельства, что он читал лекции «по текущим вопросам дня». А начиная с 20-х чисел декабря именно в «Русской газете» за подписью Строева появляется подробная хроника событий, закончившихся Кровавым воскресеньем. Впрочем, об этом — ниже.

В ноябре Гапон устанавливает связи с лидерами либералов-земцев. В начале ноября состоялась встреча либералов и гапоновцев. С одной стороны присутствовали Екатерина Дмитриевна Кускова, публицист и общественный деятель правосоциалистической или леволиберальной направленности (позднее занимала позиции между меньшевиками и кадетами), ее муж, экономист Сергей Николаевич Прокопович, а также легальный марксист, масон, позже соредактор Бурцева по «Былому» Василий Яковлевич Богучарский «и еще две дамы»; с другой — Гапон, Кузин, Васильев, Варнашёв и Карелин, все подписанты «программы пятерых».

Разговор шел о том, как рабочие могут принять участие в движении. Прокопович посоветовал им взять на вооружение социал-демократическую программу. Ему ответили, что рабочие этой программы не примут, и зачитали «программу пяти». Земцы были приятно удивлены и всецело одобрили тайные идеи гапоновцев. Однако, по словам Карелина, «они нам ничего не посоветовали, как и что делать нам, мы от них ни-

чего не добились. Они оказались в сетях...» Можно предположить, что отца Георгия это вполне устроило. Он предпочитал действовать по собственному плану. А план заключался в этот момент, по всей видимости, в том, чтобы как можно дольше оттянуть решительное выступление, продолжая, сколько это возможно, легальную и лояльную властям деятельность «Собрания» и извлекая из этого положения максимум того, что еще можно было извлечь.

А на дворе, напомним, ноябрь: земский съезд, набоковская петиция, «банкетная кампания». 28 ноября у Казанского разгоняют студенческую демонстрацию (не первую и не последнюю). В этот день Гапон, выдержав паузу, начинает действовать.

Создав «расширенное руководство» (32 человека — центральный совет и руководство отделов со «штабами»), Гапон объявляет: да, собственную петицию подавать надо. Основа петиции — «программа пяти», которая впервые была доведена если не до рядовых членов организации, то до активистов. Но если просто подать петицию, она затеряется в ряду других, объяснял отец Георгий, и ничего не даст. Нет, надо дождаться правильного часа (какого? — ну, например, новых поражений на Дальнем Востоке... сейчас вот вышла к берегам Кореи эскадра Рожественского, вот когда и если ее разгромят... или Порт-Артур падет...). И подумать о том, в какой форме подать нашу петицию, чтобы она действительно дошла до верховной власти... То есть — до царя. И потом, надо подготовить малограмотные, аполитичные рабочие массы. Да и сам текст петиции еще не написан.

Часть собравшихся это не устроило: левое крыло хотело действовать немедленно. Но Гапону удалось одержать верх. Решено было поручить отцу Георгию подготовить текст петиции, факт собрания держать втайне — и ждать. Гапон получил отсрочку — несколько недель по меньшей мере. Вероятно, он рассчитывал, что до тех пор «либо шах умрет, либо ишак» — кризис как-то сам рассосется. А может быть, наоборот: правительство ослабеет настолько, что разным общественным силам, в том числе и рабочим союзам, удастся без особого риска склонить его к уступкам. Наконец, он всерьез надеялся на то, что Николай как-то покажет себя. Для Гапона в 1904 году идея монархии не была чем-то враждебным, не была и пустым звуком. Он еще верил, что царь может стать не главой бюрократии, а союзником борцов с ней. И вот в этот-то момент, когда царь сам повернется к народу, и надо будет к нему обратиться.

Но отсрочка оказалась очень недолгой. В дело вмешались другие люди.

12 декабря (в тот день, когда правительство опубликовало урезанную программу реформ, вызвавшую всеобщее разочарование) старый друг гапоновцев, Марк Александрович Финкель, может быть, знавший о встрече 28 ноября, а может, и не знавший, пришел на общее собрание активистов организации на квартире Гапона и стал призывать их немедленно подать петицию в поддержку петиций, уже поданных другими сословиями, — иначе-де голос рабочего класса не будет услышан и рабочие от грядущих преобразований не получат своей доли. Ему возражали, что это может привести к закрытию «Собрания» и аресту активистов. Не беда, отвечал Финкель, зато позиция рабочих будет услышана, замечена...

Как ни странно, эти слова не вызвали отпора. Наоборот, левое крыло, «карелинцы», подхватили их. Как будто они хотели, чтобы дело, которому они отдали полтора года, пошло прахом, а самим им не терпелось попасть на тюремные нары. Общественная горячка захватила их так же, как и интеллигентов. Гапон повел себя осторожно: не спорил, но и не соглашался. Почувствовав отклик, Финкель пришел на собрание еще раз, через три дня, со своей сестрой. Свои лекции он тоже использовал для агитации за немедленное вступление в борьбу...

Мемуаристы, описывающие конфликт между Финкелем и Гапоном, противоречат друг другу. Восстановить его с точностью до дня невозможно. Но то, что конфликт был, — несомненно. В какой-то момент Финкель прекратил лекции, и Гапон искал, кем его заменить. Именно с этим связано приглашение Стечкина и переговоры (ни к чему не приведшие) с журналистом А. Филипповым.

Сам Гапон пытался как-то нейтрализовать агитацию Финкеля. Если во время его выступления он промолчал, то потом, разговаривая с рабочими, уже не стеснялся в выражениях. Он говорил им, что интеллигенты вроде Финкеля хотят использовать рабочих в своих целях, «а после и сядут на нашу шею и на мужика; он уверял, что это будет хуже самодержавия». Не обходилось дело и без антисемитских выпадов. Причем отец Георгий не просто использовал предрассудки рабочих — нет, это шло от души. В разговоре с Филипповым Гапон «проявил столько ненависти к еврейству и его способностям все захватить и использовать», что последний принял самого Гапона (смуглого и горбоносого южанина) за комплексующего выкреста-самоненавистника.

Этой теме нам придется коснуться чуть подробнее: дальше это будет важно. По словам И. И. Павлова, «на еврейский вопрос Гапон смотрел... так, как подобает современному человеку и в особенности социалисту, но... лишь в теории, — а на прак-

тике он евреев не любил». Подобная раздвоенность не была невидалью среди интеллигентов той поры. Если учесть, что Гапон был уроженцем Украины, где национальные и религиозные отношения всегда были обострены, что он происходил из крестьян и получил духовное образование, удивляться тут тем более нечему. Когда отец Георгий защищал на улице старика-еврея от полицейского, когда он устанавливал контакты с Бундом или приглашал в качестве лектора того же Финкеля, он действовал в соответствии со своими взглядами «современного человека и социалиста». Но в иные моменты (особенно если дело доходило до серьезного спора или соперничества) выигрывало ретивое, пробуждались давние, из детства идущие убеждения.

Впрочем, на сей раз всплеск был недолгим. Конфликт носил отнюдь не национальный характер. Речь шла о взаимоотношениях с революционной и леволиберальной интеллигенцией. Год спустя Георгий Аполлонович, много за это время навидавшийся, несколько раз менявший свое политическое лицо, так говорил своему приятелю А. Грибовскому: «Для них рабочий служит как пушечное мясо для их целей... Им всем хотелось бы подымать и опускать рабочую массу по своему усмотрению...» Вряд ли сам герой 9 января имел право на подобные упреки. Но объективно доля истины в его словах была.

Финкель и его сподвижники относились к рабочим примерно так же, как декабристы — к солдатам, которых они вывели на Сенатскую площадь и которые считали, что Конституция — имя жены законного царя Константина. Да, интеллигенты-социалисты искренне желали трудящемуся человеку добра и искренне верили, что только низвержение самодержавия обеспечит социальную гармонию. Так ведь и декабристы желали солдатам добра: их программа включала сокращение срока службы, отмену телесных наказаний. Ради своих идеалов и декабристы, и многие интеллигенты начала XX века не колеблясь шли на каторгу и в ссылку. И — считали себя вправе подвергать опасности других людей, темных, зачастую плохо понимающих, что такое «конституция», «неприкосновенность личности» и «свобода собраний», использовать их, жертвовать их сиюминутными интересами. Во имя их же, этих людей, будущего блага...

Примечательно, что такого рода «декабристский» взгляд на программу новую пролетарскую массу присущ был и передовым рабочим вроде Карелиных. А Гапон? Гапон до поры до времени пытался этому противостоять. Но — ненадолго его хватило.

Впрочем, будем справедливы: с конца декабря он оказывается в очень сложной ситуации. С каждым днем — все более сложной.

СОРВАТЬ СТАВКУ

Сергунин, Субботин, Уколов и Федоров — кто помнит эти фамилии ныне?

Мастер Тетявкин — кому что-то говорит его имя?

А между тем этим малозначительным людям суждено было сыграть огромную историческую роль. Можно сказать, что их столкновение стало поводом к первой русской революции, как похищение Елены Парисом — поводом к Троянской войне.

Конечно, все случайное не случайно. Члены гапоновской организации были убеждены, что мастер не просто так уволил в течение декабря четырех их товарищей-путиловцев. (Или двух уволил, а двум пригрозил увольнением — толковали по-разному.) Ходили слухи о специальных собраниях работодателей, сговаривавшихся о жестких мерах против гапоновцев.

О том, что произошло на самом деле, известно из репортажей Стечкина-Строева в «Русской газете» от 30 декабря 1904-го (12 января 1905-го) и от 3(16) января 1905 года.

Строго говоря, по инициативе мастера Тетявкина уволен был всего один рабочий — Сергунин. Это был старый путиловец, 13 лет прослуживший на заводе, в том числе 11 — в лесообработочной мастерской. Долгое время он был старшим контролером, принимавшим готовую продукцию. Потом работал на строгальном станке, причем работал, по сведениям Строева, хорошо, почти в два раза превышая норму. А по версии дирекции завода Сергунин, напротив, работал на строгальном станке «крайне медленно»*, был поэтому переведен на ленточную пилу, но и там давал «крайне малый выход колесных косяков» — 120—125 в день при норме 300. За что и был уволен.

С другими рабочими дело обстояло так. Федорова не уволили, но предупредили об увольнении с января. Уколов прогулял полдня, был представлен к увольнению, но тоже еще не уволен. Наконец, с Субботиным всё и вовсе странно: 18 декабря, в субботу, он спросил у старшего рабочего, у которого он состоял в подручных, выходить ли ему на завод в воскресенье. Тот ответил отрицательно. Понедельник Субботин тоже пропустил — по нездоровью. Во вторник 21-го мастер набросил:

* Конкретнее в докладе фабричного инспектора Чижова: в первый месяц работы на станке Сергунин заработал (при сдельной оплате) 46 рублей, затем его заработок снизился до 28 рублей. Сам рабочий объяснял это тем, что ему давали бракованные заготовки. А Чижов указывает, что Сергунин «проводил много времени в чайной», где, как мы помним, пили отнюдь не только чай. Принятый на место Сергунина рабочий в первый же месяц заработал около 53 рублей.

ся на него за прогул двух дней, грозил увольнением и, между прочим, сказал: «Идите в свое “Собрание”, оно вас поддержит и прокормит». В конце концов он направил рабочего за справкой о болезни к врачу. Тот в справке отказал (хотя в понедельник Субботин обращался к нему за лекарством). Обиженный Субботин совсем перестал ходить на завод, за что и был 30 декабря окончательно уволен.

В общем, зауряднейшие трудовые конфликты. Но почему-то все они происходили в одном цеху и почему-то в них оказались вовлечены именно члены «Собрания»... Похоже, что Гапона дразнили. Может быть, намеренно, а может, и нет. Во всяком случае, проводилась определенная политика: гапоновцам — всякое лыко в строку. Никакого снисхождения. А тем временем, с одной стороны, разворачивало свою деятельность ушаковское «Общество», с другой — Финкель начал свою пропаганду, Карелины, Варнашёв и примкнувший к ним Петров рвались в бой...

Бездействие со стороны Гапона в этой ситуации было опасно: простые рабочие увидели бы, что Гапон не может их защитить, и потянулись бы к Ушакову. А продвинутые леваки бросили бы легальный профсоюз ради революционной борьбы в рядах эсдеков и эсеров.

19 декабря в Нарвском отделе состоялось собрание, посвященное в том числе увольнению. А на следующий день был сдан Порт-Артур. Отсрочка, которую выхлопотал себе Гапон, заканчивалась.

В двадцатых числах декабря Гапон сам ходил с четырьмя рабочими к фабричному инспектору С. П. Чижову. Разговор закончился ничем. Более того, Чижов пожаловался на Гапона Фуллому. Фуллому, который двумя неделями раньше на открытии Невского отдела остерегал рабочих от забастовок.

Наступили рождественские дни, но даже в праздничной обстановке люди не забывали о путиловских увольнениях. В отделениях проходили детские елки. Дети водили хороводы, получали подарки, а приведшие их родители толковали между собой и с подходившим к ним на минутку Гапоном только об одном: о мастере Тетявкине и его произволе.

Гапон приходил в отчаяние. Он понимал, что попал в ловушку, что над «Собранием» нависла опасность. Поезд шел с ускорением в сторону обрыва. Выскочить из паровоза, с места машиниста было нельзя, тем более — увести с собой десять тысяч пассажиров. Но еще можно было попытаться повернуть состав.

Решено было поручить Иноземцеву — человеку умеренному, аполитичному, беспартийному — выяснить, законно ли

уволены рабочие. Иноземцев, разумеется, нашел действия мастера Тетявкина неправомерными. А, собственно, что еще мог он, рабочий вождь, сказать, не роняя своего авторитета?

27-го состоялось собрание руководства «Собрания». На него — впервые! — были в качестве наблюдателей приглашены официальные представители РСДРП. Была и пресса.

Председательствовал Иноземцев. Левое крыло с опасением отнеслось к его кандидатуре — но он единственный знал, в чем суть дела. Карелины и их сторонники настаивали на немедленной всеобщей забастовке и подаче петиции. «Умеренные» сопротивлялись. Александр Карелин, который в последние месяцы терялся в тени своей энергичной жены, взял слово и сказал:

«<...> Зубатовцы оправданы теми забастовками, которые затем приняли политическую окраску; зубатовцы оправдали себя, смыли пятно, лежавшее на них. Нас тоже называют провокаторами, Гапона чуть ли не охранником, мы этой петицией своим незаслуженное пятно».

Так передавал сам он свои слова 17 лет спустя, и почти так же запомнили их другие.

Гапон боялся оказаться в том положении, в котором полтора годами раньше оказался Шаевич. Он не хотел, чтобы его дело пошло прахом, как дело Зубатова. А его ближайшие сподвижники — они, оказывается, только о том и мечтали. Лекции, кассы взаимопомощи, кооперативы, клубы — все эти вещи, делавшие жизнь рабочего человека чуть более человеческой, всё, создававшееся полтора года общими усилиями, — всё это больше не имело для них никакого значения. А имели значение косые взгляды недавних товарищей-эсдеков. И ради того, чтобы не «ходить по улице с клеймом отщепенца», они собирались с музыкой похоронить свою организацию.

Последнее слово было за Гапоном. Он был в роли Кутузова на совете в Филях. Авторитет его был сопоставим, но соотношение сил было иным. И, помолчав, отец Георгий произнес:

— Хотите сорвать ставку — срывайте!

Гапон — уступил. Он согласился защищать свою «Москву», понимая, что обрекает на гибель армию.

Почему?

Мирное и темное большинство рабочих верило Гапону, верило в Гапона. Эти люди готовы были по его приказу и бастовать, и подавать непонятную им петицию. Они дрогнули бы в одном случае — если бы оказалось, что Гапон не в силах защищать их от несправедливостей. Но как защищать их дальше, Гапон не знал.

А «сознательное» левое меньшинство — оно ушло бы, отко-

долось, не согласись отец Георгий с самоубийственными доводами Карелина. Ушло бы и увело немалую часть распропагандированных отделов — Выборгского, Василеостровского... Петицию все равно подали бы — без Гапона. Вопрос обсуждался. Отец Георгий знал это: было кому ему рассказать.

И с чем бы Гапон остался? С репутацией «охранника» и без поддержки властей? Вероятно, таким образом рассуждал он в то мгновение.

Так поезд миновал последнюю развилку перед обрывом.

Требования с самого начала предполагалось предъявить не только и не столько администрации завода, сколько государству.

Формулировки были удивительны. Первым пунктом предлагалось *довести до правительства через градоначальника*, что «отношения труда и капитала в России ненормальны, что особенно замечается в той чрезмерной власти, которой пользуется мастер над рабочими». Государственная власть же должна была «попросить» Путиловский завод, частное предприятие, вернуть уволенных рабочих, уволить мастера Тетявкина и «употребить свое влияние, чтобы впредь такие поступки не повторялись». А «если эти законные требования рабочих не будут удовлетворены, союз слагает с себя всякую ответственность в случае нарушения спокойствия в столице». Не на заводе, не у Нарвской заставы — во всей столице!

И это были не пустые слова. План был таков: в случае неудачи переговоров — забастовка на Путиловском. Еще два дня — стачка распространяется на все предприятия столицы. Стачка из-за одного уволенного рабочего. Или двух. Или даже четырех.

28 декабря многолюдное (три тысячи человек) общее собрание на Васильевском острове поддержало эту резолюцию.

На следующий день делегации «Собрания» отправились к директору Сергею Ивановичу Смирнову, к Чижову и к Фулону.

Смирнов принял делегатов во главе с Васильевым (присутствовал также корреспондент «Санкт-Петербургских ведомостей» В. Архангельский) нелюбезно, прерывал их, пытался объяснить им, что все зло идет от Гапона, который мутит воду и тянет «Собрание» в пропасть. Недоговорив и недослушав, рабочие ушли.

Суть ответа Чижова была проста: разговаривать он согласен только с самими уволенными. После этого Гапон самолично ходил к фабричному инспектору и беседовал с ним наедине. По утверждению Чижова, Гапон грозил ему, говорил, что он, инспектор Чижов, «навлек на себя негодование 6000 рабо-

чих». На инспектора священник-профорганизатор произвел впечатление заложника обстоятельств — человека, который уже не может повернуть назад. Так, конечно, и было. И все же инспектору стоило бы прислушаться к его словам.

30 декабря Смирнов и Чижов все-таки снизошли до письменных объяснений. Потом — даже до печатных (в том же самом номере «Русской газеты» от 3 января).

Есть разные пути выхода из кризисных ситуаций: можно упорствовать; можно идти на компромисс; можно уступать на словах и для вида, держась своего в главном и на деле... Хуже всего — на деле уступать, на словах играя в жестковость и оскорбляя партнера. Именно по такому пути пошли администрация Путиловского завода и фабричная инспекция.

Ведь, в сущности, они, судя по всему, в чем-то пошли на попятную — вместо четырех рабочих уволили всего двух. Про Федорова было сказано, что его и не собираются гнать с завода, а с Уколова взяли подписку, что больше прогулов не будет, и расчет был отменен. Но это не преподносилось как уступка, как шаг навстречу. Нет — «просто нас не так поняли». «Собранию» отказывали даже в статусе участника переговоров: администрация не готова была обсуждать свои действия с «учреждениями, посторонними заводу».

Смирнов, правда, стараясь подчеркнуть свое беспристрастие, упомянул в письме в газету, что в свое время он и Чижов сами вступили в «Собрание» в качестве членов-соревнователей и пожертвовали по 100 рублей. Строев ответил, что, если такое имело место, это противоречит уставу «Собрания» и смыслу его деятельности: профсоюз существует для защиты прав наемных работников, и в него не должны входить представители «противоположной стороны».

Таким образом, борьба принимала принципиальный характер. Как писал Строев, «здесь мы имеем налицо попытку упорядочить отношения труда и капитала, пользуясь окольными путями...». Но, продолжал он, «такая защита при недостатке правовых гарантий носит характер случайный и имеет под собой недостаточно твердую почву». Именно о «правовых гарантиях» шла в конечном итоге речь, отчасти именно поэтому гапоновцы обращались к правительству, а не к работодателям.

Любезнее всех принял 30 декабря делегацию «Собрания» как раз представитель власти — Фуллон. Сперва он долго беседовал с Гапоном наедине. Отец Георгий убедил градоначальника, что правительству ничего не стоит воздействовать на фабрикантов: достаточно отобрать или пригрозить отобрать казенные заказы у тех, кто не считается с интересами рабочих.

А на практике происходит противоположное: были случаи, когда фабриканты готовы были идти на уступки, но власти не давали им это делать, «боясь, что это поведет к еще большим требованиям и к забастовкам более грандиозных размеров».

Власть, власти... Ничего в России без них не решается.

Фуллон по обыкновению был беззащитен перед обаятельным профсоюзным вождем. Все же он обратил внимание на последнюю фразу резолюции: «Вы угрожаете?»

«Вовсе нет, — ответил я успокоительно, — мы и не думаем ни о каких угрозах. Рабочие просто хотят поддержать своих товарищей. Вы говорили, что будете им помогать в затруднениях, и вот вам представляется случай. Если рабочие не поддержат своих товарищей, то масса скажет, что наш союз фиктивный, предназначенный только для того, чтобы выжимать взносы от бедняков и держать их в безмолвии. Все рабочие столицы наблюдают за происходящим с возмущением, и, если наши требования не будут удовлетворены, спокойствие города будет безусловно нарушено...»

Фуллон, похоже, принял эту немудреную демагогию всерьез. Он допустил к себе делегатов и пообещал им «сделать все, что в его силах».

В последний день 1904 года Гапон пришел к Павлову, обиженному на него из-за истории с Неметти, — мириться.

Павлов стал расспрашивать отца Георгия о том, как он представляет себе развитие событий. Ответ Гапона поразил его. Иван Ильич не верил своим ушам: ему казалось, что перед ним не тот человек, которого он знал и с которым дружил больше года.

«—...Представьте себе, что наши требования не удовлетворят... Забастовка объявляется общая... Полиция до сих пор к нам не вмешивалась: я ее успокаивал, — иронически заметил Гапон, — но потом она, конечно, вмешается и крепко вмешается... Мы ей зададим такого жару, какого она отродясь не видывала: всю петербургскую полицию мы обезоружим в течение десяти минут...»

Ну, значит, появятся казаки, мы и с теми справимся, оружие раздобываем посредством конфискации у полиции и казаков, но его недостаточно... Страсти разгораются. Крик: “на баррикады!” — и 400—500 тысяч могли бы грозно двинуться... но где же взять оружие?.. Против нас солдаты с магазинками... Это, впрочем, не так страшно... Известное психологическое воздействие, и солдаты или часть их могут оказаться на нашей стороне... Но артиллерия!.. Вот где наша главная опасность!.. У нас тоже есть артиллерия — 8 бомб, на всякий случай, я раздобуду... Мне обещали... через неделю будет штук 30... Да что с вами-то?»

Гапон успокоил Павлова, признавшись ему, что никаких бомб на самом деле нет. Но баритону все равно было не по себе.

А между тем Гапон продолжал:

«... Я вам нарисовал одну картину, а теперь смотрите, вот вам другая.

Правительство поняло истинное положение, перепугалось, делает давление, и Путиловский завод, или, если это будет в более поздней стадии развития движения, то и все заводы сдаются. Мы выигрываем сражение. “Собрание” окрепает, и пролетариат открыто объединяется... Но я-то как буду? Вы думаете, что меня по головке за это погладят... Пока меня оставляют в покое, но ведь спустя некоторое время, когда все войдет в свою спокойную колею, меня непременно уберут...»

В умеренном, хитром, расчетливом тактике-оппортунисте жил авантюрист, игрок. До сих пор Гапон подчинял эти свои наклонности и умения интересам дела. Игра его была сложной, точной, продуманной. Преферанс своего рода или шахматы. Сейчас, перед лицом явного проигрыша, он готов был начать другую игру, азартную, с неопределенными правилами — только бы спасти свое дело. (Даже на собрании он употребил карточный термин: «сорвать ставку».)

Но и в этой игре спасение что-то не просматривалось...

Впрочем, будем справедливы — особого выбора у него и не было. События развивались во многом сами по себе. Можно было только уклониться от участия в них, от роли вождя. Но это тоже было бы поражение.

В этом смысле судьба Гапона отчасти напоминает судьбу другого харизматического деятеля революции 1905 года — капитана 2-го ранга Петра Шмидта, по недоразумению вошедшего в историю как «лейтенант Шмидт»*. «Социалист вне партий» Шмидт, полубезумный, несчастный во всех отношениях человек, возглавил мятеж, которого не хотел и в успех которого не верил. Он выбрал неизбежное поражение и гибель, но гибель, казавшуюся ему славной.

А Гапон поражения не хотел, не принимал. Он судорожно искал выигрышный ход. И это во многом объясняет дальнейшее.

2 января по старому стилю состоялось новое собрание общества. Присутствовало 600 рабочих, а также, согласно докла-

* Шмидт был уволен в отставку по болезни в 1898 году в чине лейтенанта и вновь поступил на службу в 1904 году. Адвокаты Шмидта на процессе о мятеже на «Очакове» доказывали, что повторный прием на службу человека, по состоянию здоровья к ней негодного, незаконен, следовательно, Шмидт юридически является штатским и не подлежит военному суду. Поэтому они упорно называли его «лейтенантом», игнорируя полученные после 1898 года чины.

ду начальника Петербургского охранного отделения Л. Н. Кременецкого Лопухину, «3 интеллигентных еврея и 3 еврейки»*.

Председательствующий Иноземцев доложил суть дела, Архангельский рассказал о переговорах с Сергеевым и Чижовым.

Дальше, докладывает Кременецкий, дело обстояло так:

«...Иноземцев предложил на открытое голосование: желают ли рабочие поддержать своих товарищей, на что все ответили: “желаем поддержать”, и собравшиеся перешли к обсуждению вопроса о форме поддержки. По предложению одного не выясненного рабочего лесобделочной мастерской, решено было завтра, 3 сего января, с утра, не приступая к работам, но отнюдь без крика и шума и, тем более, какого-либо насилия, собраться к заводской конторе и, вызвав директора завода, потребовать увольнения мастера Тетявкина и обратного приема уволенных рабочих. В это время один из присутствовавших на собрании евреев предложил идти заявлять свои требования с красными знаменами и притом добавить к вышеуказанным требованиям требование политической свободы. На это Иноземцев заявил, что необходимо держаться на чисто экономической почве, не затрагивая политических вопросов. Тогда тот же еврей попытался разбросать несколько штук каких-то прокламаций, но, ввиду общего протеста рабочих, сейчас же это оставил и был выгнан из собрания вместе с остальными евреями. Что же касается 3 евреек, то они были даже сначала задержаны рабочими, но затем, из опасения, что их могут обвинить в произволе, отпущены». При этом «известные Департаменту полиции» рабочие Ребрантов и Приклонский «старались подбить рабочих к более радикальному решению, т. е. чтобы рабочих, которые не пожелают добровольно принять участие в забастовке, принудить к тому силой».

Жребий был брошен.

СТАВКА: СТАЧКА

3 января забастовал Путиловский — почти в полном составе.

Утром рабочие собрались у заводской конторы и вызвали Смирнова. Поперекавшись с ним (безуспешно), мастерские разошлись по домам. Забастовало 12 500 человек. Завод встал.

С точки зрения организационной это был грандиозный успех гапоновцев. Остановить хотя бы на день крупнейший завод столицы, выполняющий государственные военные за-

* По-видимому, это были члены РСДРП Явич, Александр Харик, Юлия Жилевич и кто-то еще.

казы, — это было почти за гранью возможного. Никаким революционерам такое и не снилось.

В тот же день Фуллон говорил с Гапоном по телефону. Он был у Витте. Министерство финансов связалось с администрацией завода. Решение об увольнении еще одного рабочего было отменено. Оставался один (Сергунин?). Фуллон просил прекратить забастовку. «Поздно», — ответил Гапон. Даже восстановление всех четырех рабочих уже не поможет: теперь каждая мастерская предъявляет свои требования. Договорились, что администрации Путиловского завода предложат встретиться с председателями отделов «Собрания» и делегатами от забастовщиков. Фуллон гарантировал им неприкосновенность.

Так закончился первый день.

Утром 4-го, в семь часов, согласно записке прокурора Петербургской судебной палаты, «большое количество рабочих явилось на завод и, пройдя по мастерским, удалилось, не нарушив порядка». Очевидно, отслеживали штрейкбрехеров.

В тот же день, согласно предварительно продуманному плану, забастовало второе предприятие — Франко-русский судостроительный завод, тоже задействованный в военных заказах.

Днем Гапон имел объяснение с А. М. Стремоуховым, начальником главного тюремного управления. Тюремному священнику грозили потерей места. Как будто Гапон рисковал только этим!

В шесть часов состоялась встреча, о которой Гапон договорился с Фуллоном.

Пришло 40 человек. Гапон зачитал Смирнову новые требования. Теперь они выглядели так:

«1) Уволить мастера Тетявкина и принять обратно двух рабочих — Сергунина и Субботина.

2) Рабочий день 8 часов.

3) Расценка новых изделий после испытания должна устанавливаться мастером по добровольному соглашению с выборными рабочими из мастерской и затем должна считаться обязательной; что же касается старых расценок, то они должны быть вновь пересмотрены на том же основании.

4) Должна быть учреждена на Путиловском заводе постоянная комиссия из выборных рабочих, которая совместно с администрацией разбирала бы все претензии отдельных рабочих. Увольнение рабочего не может состояться иначе, как с постановления этой комиссии.

5) Нормальная плата для чернорабочего не должна быть ниже рубля.

6) Отмена сверхурочных работ. В случае их необходимости, один час за два.

7) За брак, не зависящий от рабочего, завод уплачивает сполна.

8) Женщинам-чернорабочим плата должна быть не ниже 70 коп., и для детей их должен быть устроен приют-ясли.

9) Медицинский персонал завода должен быть более внимателен к рабочим, особенно к раненым.

10) Улучшить санитарные условия некоторых мастерских, особенно кузнечной.

11) Никто не должен потерпеть от забастовки.

12) Время, в которое не производились работы, не должно считаться прогульным, и администрации предлагается уплатить по средней расценке заработной платы».

Отец Георгий говорил за всех, время от времени оглядываясь и спрашивая: «Не так ли, товарищи?» Товарищи согласно кивали.

Смирнов не дал положительного ответа ни по одному пункту. Выполнение любого из требований, объяснял он, разорит акционеров. Сейчас они получают семь процентов прибыли в год, но это благодаря особым условиям военного времени. Норма — четыре-пять процентов. Если она опустится ниже, это разрушит все дело. Завод нуждается в инвестициях... Кроме того, увеличение оплаты приведет к увеличению стоимости продукции, которое ляжет на плечи потребителей, «в первую очередь крестьян» (понятно, что директор пытался апеллировать к совести рабочих, у многих из которых оставались родственники в деревне, — но едва ли крестьяне были главными потребителями продукции металлургического и машиностроительного завода).

Экономические аргументы Смирнова не произвели никакого впечатления на «товарищей». Тем не менее они выразили желание продолжить переговоры с правлением совета акционеро-

В тот же день Смирнов вывесил обращение к рабочим, призывая их прекратить стачку, обещая, что никто из бастующих не будет уволен или оштрафован. «Если же рабочие не выйдут на работу более 3-х дней, я вынужден буду приступить к расчету всех рабочих (согласно пункта 1 статьи 105 устава о промышленности)».

Всех. Всего завода. Угроза вполне бессмысленная.

Путиловский завод был мертв. Вот как описывал корреспондент «Нового времени» некто В.-ский эту необычную картину (газета от 5 января):

«Громадные заводские здания Путиловского завода стоят неосвященными, мрачными. Не слышно обычных ударов молота, лязга стали, не видно дымка из заводских труб, не выле-

тают оттуда мириадами искры, не горят даже высокие электрические фонари по всей обширной территории завода...»

В этой ситуации директор мог бы подумать о компромиссе. Но сделать шаг навстречу забастовщикам — это означало взять на себя огромную ответственность. Причем не только перед акционерами, но и перед всем предпринимательским сообществом...

Между тем забастовку на второй день официально «заметили» столичные социал-демократы. 4 января они выступили со следующим заявлением:

«Общее оживление русской жизни отразилось и на так называемом “Собрании фабрично-заводских рабочих”. Как известно, это общество было основано слугами правительства для того, чтобы отвлечь доверчивых и малосознательных рабочих от действительной социал-демократической борьбы за свои интересы. И пока правительство было сильно, общество являлось его верным союзником. Теперь и оно подняло голову. Надеясь на слабость правительства, оно осмелилось говорить о забастовке и предъявить самые ничтожные требования...»

В противовес «ничтожным» требованиям гапоновцев, эсдеки выдвинули свои, смелые: от созыва Учредительного собрания до полуторакратного увеличения расценок. В тоне прокламации сквозила явная ревность: петербургская организация РСДРП, состоявшая примерно из трехсот человек, к тому же разделенных на большевистскую и меньшевистскую фракции, ощущала себя в эти дни бессильным карлой рядом с многотысячным и сплоченным «Собранием». Интеллигенты-революционеры пережили в эти дни величайшее унижение. Рабочий класс поднялся-таки на борьбу — но без них, не под их руководством.

Впрочем, прокламация отражала только позицию меньшевиков. Большевики выпустили свою, отдельную, выпадов против Гапона и его организации не содержащую.

Социал-демократы постоянно пытались проникнуть на собрания забастовщиков и выступить. Бывало, что «несознательные» массы, недолюбливающие «жидов» и «студентов», в грубой форме прогоняли их с собраний — и только вмешательство «сознательных» пролетариев предотвращало прямое насилие. Но некоторым эсдекам удавалось внушить к себе доверие — в тех случаях, когда им хватало ума не противопоставлять себя гапоновцам. «Многие, — вспоминал два года спустя меньшевик С. И. Сомов, — так и называют их “гапоновскими социал-демократами” и твердо убеждены, что при гапоновском отделе состоят особые должностные лица, называемые социал-демократами. Они кроме этого видят, что социал-демокра-

ты довольно сведущие, “умственные” гапоновские чиновники, и потому рабочие отдельных заводов обращаются к ним, когда приходится вырабатывать отдельные заводские требования своей заводской администрации... При выработке требований рабочие не только занимались будущими улучшениями, но также старались получить реванш за все свои прежние, давнишние долголетние обиды и злоупотребления... На одном собрании рабочий даже предложил мне вписать в листок требований, чтобы при введении восьмичасового рабочего дня рабочим выдали вознаграждение за неуплаченные им лишние ежедневные 2—3 часа работы в продолжение последних нескольких лет. И мне казалось, что во всех этих требованиях рабочие руководились не столько соображениями материального характера, сколько чисто моральным стремлением устроить все “по справедливому” и заставить хозяев искупить свои прежние грехи». Все это относится именно к первым дням забастовки, когда эсдеки и «Собрание» еще формально играли друг против друга. Но на практике, как видим, уже в эти дни все было несколько иначе.

Встреча Гапона и гапоновцев с правлением совета акционеров Путиловского завода состоялась 5 января в пять вечера. К тому времени бастовали: «Семянниковский» (Невский судостроительный и механический) завод (6500 рабочих), Невская бумагопрядильная мануфактура (2 тысячи рабочих), Невская ниточная мануфактура (2 тысячи рабочих), Екатеринбургская мануфактура (700 рабочих). Всего бастовало теперь 25 тысяч человек — население уездного города. Не все — добровольно: с Семянниковского завода гапоновцы во главе с Петровым вводили своих товарищей едва не силой: «Некоторых чуть не приходилось всовывать в пальто, а некоторые постоят одевшись и опять раздеваются. Чувствовалось не хорошо, слезы навертывались на глазах, присыхал язык к гортани от уговоров и убеждений». И все-таки штрейкбрехеров в запасе у предпринимателей не было.

Увеличение числа бастующих усложняло переговоры. К общим требованиям добавлялись новые, местные, иногда важные, иногда — частные и пустяшные. Например, на Франко-русском заводе рабочие требовали уволить расценщика Дмитриева и инструментального мастера Войценовича, а кассирше Беляевой сделать внушение за грубость.

Казалось бы, положение серьезное. Можно было рассчитывать на уступки — хотя бы знаковые, символические...

И тем не менее встреча прошла безрезультатно — хотя началась многообещающе. Гапон прибег к своей фирменной демагогии. Он попытался убедить акционеров в том, что «расценка

работ по добровольному соглашению с выбранными рабочими может вести только к обоюдной выгоде: работа будет распределяться равномерно между рабочими, не будет излюбленных мастерами лиц, получающих много работы по повышенной цене, не будет и сидящих без работы, правлению же будут представлены истинные цены, соответствующие работе, и не придется переплачивать...»

Председатель правления К. И. Шестаков согласился было с ним. Но коллеги не дали ему проявить торопливую уступчивость. В результате все требования бастующих были разделены членами правления на три части. Некоторые относились к ведению министерства (например, о длине рабочего дня) — их вообще отказывались обсуждать. Другие подлежали рассмотрению общего собрания акционеров, а оно соберется через месяц, не раньше. И, наконец, некоторые вопросы акционеры в принципе были готовы рассмотреть, но тоже не сразу..

Эта не ко времени осторожная и уклончивая позиция предпринимательского класса была, конечно, не случайной. Речь шла об известном сломе сознания — сломе, который во всех странах был сложным и болезненным. Капиталисты во всех странах медленно и постепенно учились видеть в союзах наемных работников равного партнера. Русские капиталисты так и не успели научиться. Директор Смирнов был растерзан рабочими во время Февральской революции. А там уже пошла совсем иная экономика и политика.

Но важную роль в те дни, 4 и 5 января 1905 года, сыграли и сигналы от правительства. Или их отсутствие. Власти не оказывали на фабрикантов ожидаемого Гапоном давления. В. Н. Коковцов, сменивший Витте в Министерстве финансов, в докладе на высочайшее имя в тот же день писал, что требования рабочих «представляются незаконными, а отчасти и невыполнимыми для заводчиков». Восьмичасовой рабочий день на предприятиях, выполняющих экстренные заказы для Маньчжурской армии, ударяет по государственным интересам. «Несомненно также, что рабочим никаким образом не может быть предоставлено право устанавливать для самих себя размер заработной платы и решать вопросы о правильности увольнения от службы тех или иных рабочих, ибо в таком случае рабочие сделаются хозяевами предприятия, а владельцы заводов, несущие на себе весь риск производства, лишались бы законного права распоряжаться своим собственным делом...» Коковцов собирался на следующий день встретиться с предпринимателями и «дать им соответствующие указания благоразумного, спокойного и беспристрастного рассмотрения всех предъявляемых рабочими требова-

ний». Но речь шла лишь о форме, в которой забастовщикам удобнее всего отказать.

Коковцов, как и Витте, принадлежал к наиболее «прогрессивной», наиболее здравомыслящей части тогдашнего правительства. Эти люди думали о развитии экономики, о процветании страны как целого. Действительно, в короткой перспективе от классовой борьбы рабочих экономике ничего хорошего не светило. Тем более что профсоюзная деятельность рассматривалась именно как *борьба труда с капиталом*, а не как коллективный торг на рынке рабочей силы. Теоретически правительственные финансисты, конечно, понимали, что рано или поздно придется легализовать какие-то формы рабочей самоорганизации. В недрах министерства даже обсуждались различные законопроекты на сей счет, но сиюминутные интересы индустрии и ее хозяев в конечном счете перевешивали. Особенно в условиях войны.

А другие люди во власти, те, что потупее, неповоротливее, — просто боялись любых смут... Так что надежды на благотворное вмешательство государственной бюрократии оказались тщетны. «Рузвельгов», подобных Зубатову, больше не нашлось.

Механизм политической стачки включился: экономическая была проиграна. У Гапона больше не оставалось выбора.

ПОВОРОТ

Вечером того же дня состоялось собрание в Нарвском районе.

Издававшийся П. Б. Струве в Швейцарии либеральный журнал «Освобождение» так передает речь Гапона:

«Товарищи, мы начали экономическую стачку для того, чтобы, действуя мирно, законным путем достигнуть удовлетворения своих справедливых требований. Но до сих пор мы достигли только того, что депутаты наши 4 часа простояли в передней градоначальника* и, в конце концов, должны были убедиться, что от бюрократического правительства нам нечего ожидать помощи в борьбе с эксплуататорами-предпринимателями. Отсюда ясно, что мы не можем дольше оставаться верными той лояльной формуле протеста, которая была нами выработана и которой мы держались до сих пор. Если существующее правительство отворачивается от нас в критический момент нашей жизни, если оно не только не помогает нам, но даже становится на сторону предпринимателей, то мы должны

* Когда это было? Видимо, в то время, когда сам Гапон ездил к акционерам.

требовать уничтожения такого политического строя, при котором на нашу долю выпадает только одно бесправие. И отныне да будет нашим лозунгом: “Долой чиновничье правительство!”».

Это звучало даже радикальнее, чем «программа пяти», радикальнее тех петиций, которые подавали либералы в декабре. Что произошло? Гапон сорвался, пришел в ярость? Или решил, что терять больше нечего?

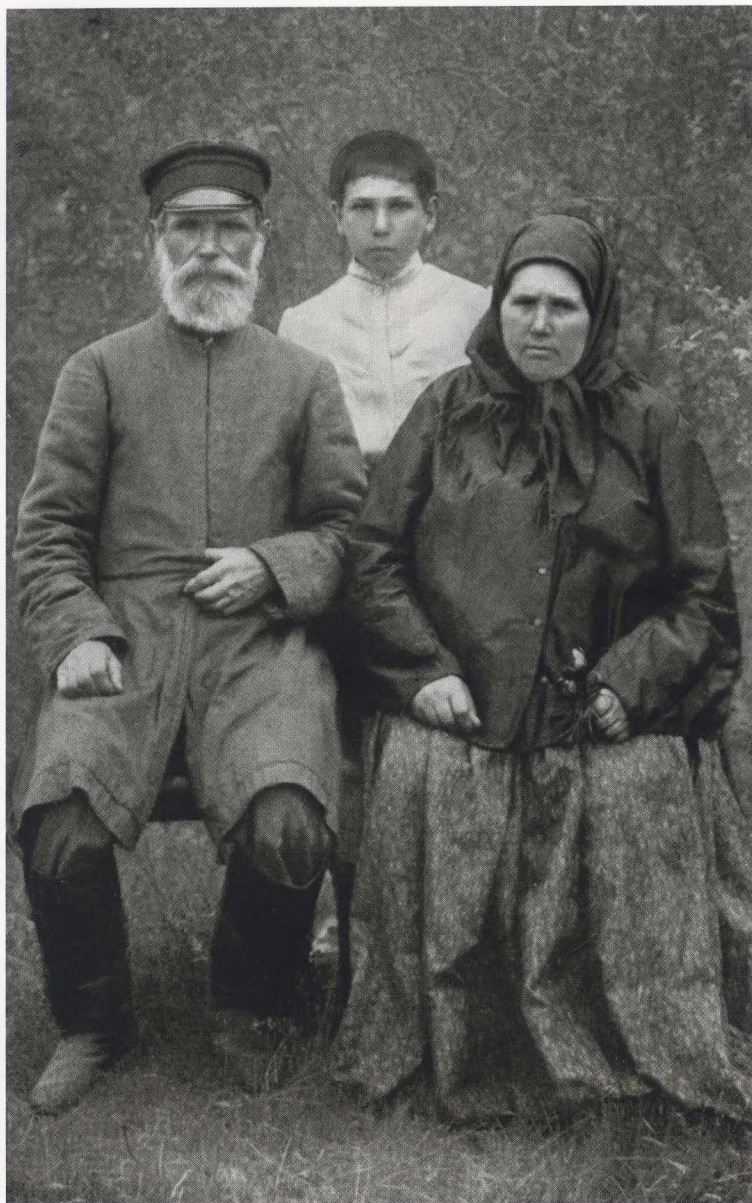
Терять действительно было нечего. В жесткости работодателей на самом-то деле была своя логика. Происходило своего рода «стояние на Угре», соревнование в выдержке. И преимущество здесь было не на стороне забастовщиков. Разрастание стачки создавало у ее инициаторов проблемы — не только из-за трудностей координации, из-за невозможности управления человеческой стихией. Забастовка тоже стоит денег. Промышленники и государство несли громадные убытки, но положение каждой рабочей семьи было тяжелее. В первые дни в потребительской лавке Путиловского завода еще выдавали продукты в кредит, но вечно это продолжаться не могло. Сбережания ломались от забастовщиков, спешно снимавших свои сбережения — но таковые были только у квалифицированных мастеровых. «Собрание» лишь 6 января начало выплату пособий семейным забастовщикам — 70 копеек в день. Легко посчитать, что при выплате такой суммы всего лишь одной тысяче рабочих касса профсоюза опустела бы за несколько дней (это если бы даже власти не догадались арестовать банковские счета). А потом стачка схлынула бы сама собой. Началась бы апатия. *Несознательное* (и бедное) большинство вернулось бы в цеха. *Сознательное* (и более состоятельное, то есть способное дольше бастовать) меньшинство начало бы где-нибудь на Васильевском острове строить баррикады — вместе со «студентами». Для ликвидации этих баррикад хватило бы нескольких казачьих разъездов (как ни похвалялся Гапон в декабрьском разговоре с Павловым, а в глубине души должен же он был это понимать). Ну а еще через день-другой руководство «Собрания» в полном составе отправилось бы — в лучшем случае — в дальнюю административную ссылку. Так было в 1903 году в Одессе, так было бы в 1905-м в Петербурге.

Значит, надо было во что бы то ни стало возглавить политическое движение самому. И постараться вовлечь в него как можно больше народу. Чтобы властям *действительно* трудно было с ним справиться. По крайней мере, это была отсрочка поражения, все равно неизбежного.

Такой была объективная логика действий Гапона. Но это не значит, что он проговаривал все это у себя в голове. Нет, он



Господи! Творца



Родители и брат Георгия Гапона —
Аполлон Федорович, Ирина Михайловна и Яков Аполлонович Гапона.
Фото 1905 г.

Первая жена Гапона
(слева).
Имя ее забыто



Дом семьи Гапонов
в Беликах.
Фото 1905 г.



СВИДѢТЕЛЬСТВО.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, дано сіе свидѣтельство изъ Полтавской Духовной Консисторіи за надлежащего подписью и приложеніемъ казенной печати вои-



манннику 24 класса Полтавской Духовной Семинаріи Георгію Францевичу Гапону согласно его прошенію азъ тожъ, что въ метрической книгѣ, хранящейся въ архивѣ Консисторіи Кобелякской гряды М. Покровскій Покровскій церкви за тысяча восемьсотъ семьдесятъ и 5 (1870) году подъ № 45 записано такъ: Родился 6^{го} числа у козачка съпомощи Воеводы Гапона въ законной женѣ ея Протвѣ Михайловѣ, православной, родившя сынъ Георгій. Крестился священникомъ Григоріемъ Родченковъ въ притворѣ Родина 6^{го} числа. Просвѣщеніемъ двои: козачка Иванъ Михайловъ Родина и козачка Матвія Григорьевъ Шапурова. 1893 году 5 мая 8 дня. По сему горьковѣ събѣ уличенъ. Слѣдъ Консисторіи, Грамотами Полтавы Киреевскій



Секретарь Воевода

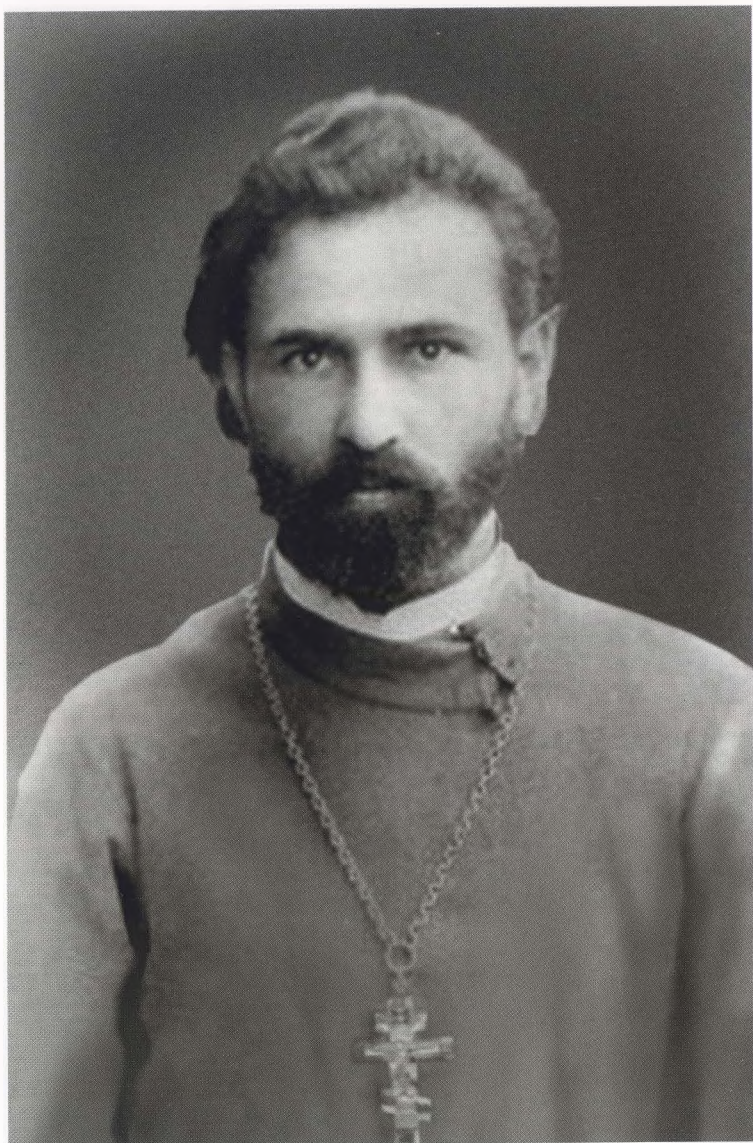
Слѣдъ Консисторіи, Грамотами Полтавы Киреевскій



Духовная семинария в Полтаве. Фото 1905 г.

Кладбищенская церковь в Полтаве, где служил Гапон. Фото 1905 г.



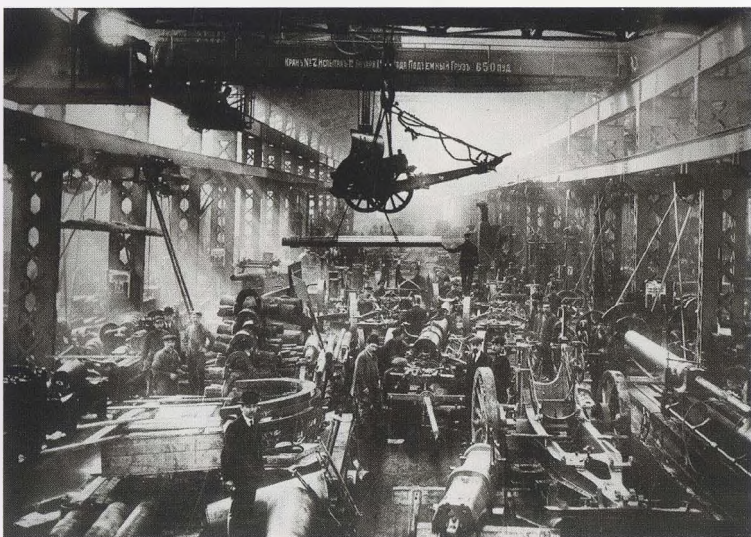


Священник Г. А. Гапон



За Нарвской заставой. Фото начала XX в.

Цех Путиловского завода. Фото К. Буллы. 1909 г.





ПАСПОРТНАЯ КНИЖКА.

Безвзносная

№ 10.

Выдана изъ Главнаго Морскаго
Управленія Министер-
ства Юстиціи Мъ-
сяга Февраля

четвертлаго года

Маия мѣсяца 20 дня

и посылается священнику
иерееви С. Петербургской
Пересольной торгово-
вой части Георгію Гого-
лу.

Цѣна книжки **копѣекъ.**

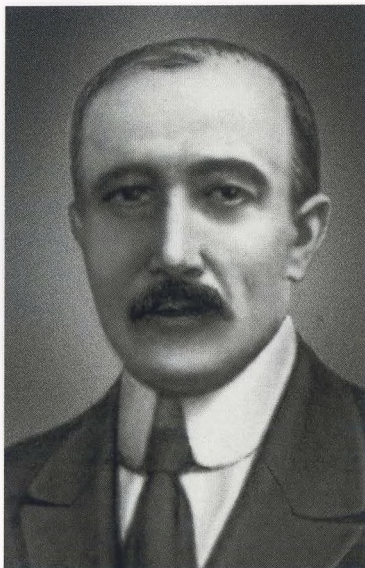
15



Ночлежный дом в Петербурге. Фото К. Буллы. 1913 г.

Г. А. Гапон и И. А. Фуллон в окружении рабочих. Фото 1904 г.





Б. В. Савинков



Е. Ф. Азеф

В. М. Чернов



А. В. Герасимов





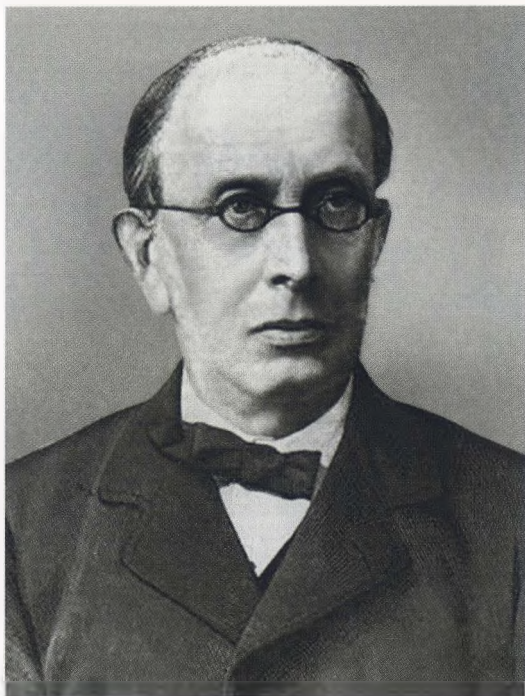
Гапон
(во втором ряду
в центре) в кругу
руководителей
«Собрания русских
фабрично-заводских
рабочих Петербурга».
Лето 1904 г.



П. И. Рачковский
(справа).
Один
из организаторов
русского
политического
сыска



Члены
Святейшего синода.
Начало XX в.

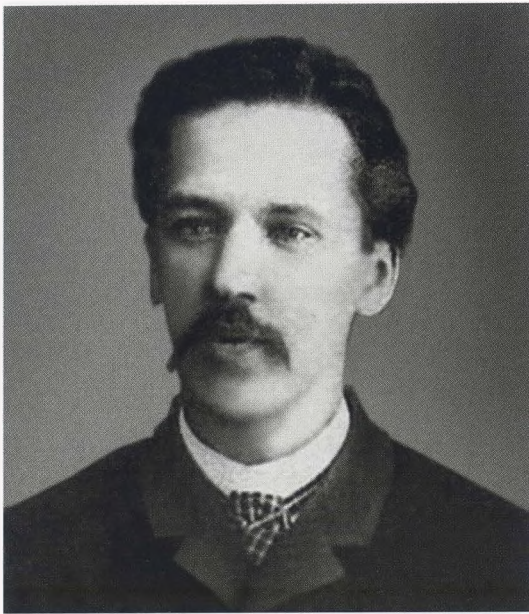


К. П. Победоносцев



В. Н. КОКОВЛОВ

С. В. Зубатов



П. М. Рутенберг

Д. Ф. Трепов



Н. В. Клейгельс



С. Ю. Витте

был не холодным политиком, а артистом своего рода — артистом в высоком смысле слова. Им двигал не хладный расчет, а инстинкт народного вождя. В эти дни он в самом деле был им. Он был охмелен (мало кто не охмелел бы в такой ситуации) и заражал других своим хмелем. Впрочем, тех, кто был рядом с ним, и заражать не надо было.

А кто был рядом?

Сподвижники-рабочие Кузин, Васильев? Недавние «оппозиционеры» Карелины, Варнашёв? Их разногласия с Гапоном были в прошлом. Они добились всего, чего хотели. Если чувство опасности было притуплено у них в ноябре—декабре, то сейчас они и вовсе потеряли голову. «Умеренные» вроде Иноземцева? Но он сам признавался три недели спустя: «Мое спокойное отношение к делу, когда я сопротивлялся революционному влиянию на рабочих, было утеряно, и я действовал почти бессознательно».

Интеллигенты, революционеры?

Теперь представители революционных и леволиберальных сил, агитаторы, «студенты» автоматически становились союзниками Гапона, а он из врага и конкурента превращался в их защитника... а порой и в их «рупор». Интеллигенции был открыт широкий доступ на все собрания: это было обеспечено авторитетом «батюшки». С другой стороны, сами эсеры и эсдеки к третьему-четвертому дню забастовки поняли, что, действуя без Гапона и против него, ничего не добьются. Уже вечером 5 января официальные представители партий дружелюбно обсуждали с гапоновцами дальнейшие планы. Они были заодно, в одной лодке.

Одним из этих партийных людей был Петр Моисеевич Рутенберг, инженер. Теперь он, со второй попытки, действительно появляется в нашей книге.

Итак: Пинхас, сын Моше Рутенберга, купца второй гильдии, уроженец города Ромны Полтавской (внимание — земляк!) губернии. В описываемые дни ему 26 лет без трех недель (или 27 — в документах расхождение; выглядит гораздо старше). Окончил Петербургский технологический институт. В студенческие годы крестился для женитьбы на православной, стал Петром. Под паспортным именем (Петр Моисеевич) живет, так сказать, в миру, служит на Путиловском заводе (директор инструментальной мастерской — уволился в конце 1904 года). В партии же (он эсер) известен как товарищ Мартын, или Мартын Иванович.

Дальнейшая жизнь Рутенберга была так богата событиями, и такими необычными, что образ его подвергся некоторой мифологизации. Владимир Хазан, автор двухтомной биогра-

фии этого инженера и политика, немалую часть своей энергии тратит на разоблачение красивых легенд. Рутенберг не проходил через средневековый обряд бичевания, возвращаясь в иудаизм, — он просто ходатайствовал об изменении соответствующей записи в паспорте (переход из православия в иудаизм в России был запрещен, но возвращение ранее крестившегося лица в свою первоначальную веру с 1905 года допускалось). Он не был последним человеком, с пистолетом наперевес защищавшим Зимний от революционных рабочих и матросов 25 октября 1917 года, — но он действительно возглавлял городское хозяйство Петрограда накануне большевистского переворота. И без эффектных домыслов в его судьбе немало впечатляющего и поучительного. А уж последние два десятилетия жизни Пинхаса Рутенберга, ставшего из русского революционера убежденным сионистом и достигшего немалых высот в своей инженерной профессии, — это особый сюжет... Не имеющий на первый взгляд прямого отношения ни к Гапону, ни к российской истории.

Хотя как сказать. Рутенбергу отдавали должное многие, в том числе идейные противники. Один из вождей черносотенного движения, полковник Ф. В. Винберг, познакомившийся с Рутенбергом в большевистской тюрьме, писал он не так:

«...Меньшей узостью мысли, большей терпимостью к чужим мнениям, твердою выдержкой воли и характера, гордостью (но не тщеславием) и решительностью нрава он составляет исключение из общего шаблона безнадежной пошлости, мелочности и сектантской отупелости остальных. Орел среди воронья, он намного выше всех своих соучастников...»

Уважение врага — высшая честь. Но зато у некоторых своих соратников (по российскому освободительному движению или по сионистской борьбе) Рутенберг вызывал раздражение, почти ненависть. И не в последнюю очередь — именно в связи с гапоновской эпопеей. Среди этих людей была Маня Вильбушевич-Шохат, чьи восторженные отзывы о Гапоне мы уже имели случай цитировать... Прошлое до конца преследовало бывшего путиловского инженера. До последних дней ему приходилось возвращаться мыслями к запутанной, авантюрной, почти детективной истории длиной в год и два месяца, нераздельно связавшей имена этих двух уроженцев Полтавской губернии.

Рутенберг бывал на заседаниях забастовщиков и до 5 января (у него сохранились старые связи с путиловцами). Но на этом поворотном собрании он был представлен самому Гапону. Так получилось, что именно в этот день, когда Гапоном приня-

ты были решения, повернувшие российскую историю, состоялась самая драматическая и роковая встреча в его жизни.

Собрание завершилось принятием резолюции. В считанные часы распространилась она по городу. Одна из самых поразительных особенностей этих дней – стремительность, с которой информация доходила от одной заставы до другой. Нам трудно представить сейчас даже мир, в котором мы сами жили 15–20 лет назад, мир без Интернета, без социальных сетей, без мобильной связи. Но в 1905 году и обычный телефон был почти роскошью – рабочие пользоваться им едва ли могли. Был «пневматик», быстрая почта, работающая на воздушных струях, – но и это из быта среднего класса. В том же слове, о котором мы говорим, движение слов обеспечивалось физическим движением людей – из конца в конец столицы, которая была ненамного меньше, чем сейчас. Без метро, почти без автомобилей... Сам Гапон двигался едва ли не быстрее всех. За вечер он успевал произнести несколько речей в точках, которые разделяло 10–15 верст. Часть его популярности была связана именно с этой мобильностью. Он казался вездесущим.

Итак, резолюция. Несколько цитат.

«<...> Современное положение рабочего класса в России является совершенно необеспеченным ни законом, ни свободными правами личности, которые дали бы возможность рабочим отстаивать свои интересы самостоятельно. Рабочие, как и все русские граждане, лишены свободы слова, совести, печати и собраний, а потому всяким дозволенным организациям, в том числе и “Собранию русских фабрично-заводских рабочих”, невозможно достигнуть намеченных целей, и они всегда находятся под угрозой закрытия, если выйдут из пределов устава и выступят на действительную защиту своих членов.

Фабричная инспекция совершенно не удовлетворяет своему назначению. Во всех тех случаях, когда рабочие обращаются к фабричным инспекторам, они не находят никакого удовлетворения своим претензиям и получают в ответ ничего не значащие объяснения. Во время крупных столкновений рабочих с заводской или фабричной администрацией инспекторы явно становятся на сторону капиталистов, в защиту интересов которых, сверх того, вызывается полицейская и военная помощь. <...>

События на Дальнем Востоке вызвали усиленную деятельность казенных и частных заводов. Капиталисты получают значительный доход от этих заказов. Строители судов и заводская администрация получают официально большие премии и награды, а неофициально – с каждого построенного судна

имеют незаконный доход. Постройка судов, являющихся, по мнению правительства, мощной морской силой, происходит на глазах рабочих, и они ясно видят, как целая шайка, от начальников заводов казенных и директоров заводов частных вплоть до подмастерьев и низших служащих, грабит народные деньги и заставляет рабочих строить суда, явно негодные для дальнего плавания, с свинцовыми заклепками и шпаклевками швов вместо чеканки. Заработок рабочих от обильных казенных заказов несколько не увеличился, и гнусная эксплуатация бесправной массы производится самым возмутительным образом.

<...> Рабочие, как наиболее мыслящие представители угнетенных классов, убеждаются каждый день, что правительство не опирается на доверие к народу и ничего не делает для подъема его экономического благосостояния и умственного развития. Борьба с капиталом путем стачек и забастовок, если за последнее время и не вызывает со стороны правительственной власти тех крутых мер, которые еще недавно являлись излюбленными в кровавое правление Плеве, то, во всяком случае, борьба эта не достигает цели, давая в результате временные и незначительные уступки, которые обыкновенно потом не выполняются. Руководители стачек, если их не арестовывает и не высылает полиция, подвергаются преследованиям капиталистов и безнаказанно изгоняются с фабрик и заводов.

Внести коренное улучшение в положение трудящегося народа может только передача земель, фабрик, заводов и прочих средств производства в руки народа. Но и при настоящем капиталистическом строе русский рабочий мог бы улучшить свое положение...» (Дальше идут уже заявленные прежде экономические требования бастующих.) «...Таковы те требования, которые могли бы быть удовлетворены теперь же, при существовании капиталистического производства. Но для этого необходимо, чтобы страной правили не чиновники, которые держат руку капиталистов и угнетают рабочий класс, а сам народ...»

В этом месте заканчивается экономика и начинается политика: «...созыв учредительного собрания из представителей всего русского народа, избранных всеобщим, равным, прямым и тайным голосованием», уравнивание в правах сословий и вероисповеданий, гражданские свободы, освобождение политзаключенных.

Однако помимо принятого текста на голосование ставился и другой проект, отличавшийся не столько по идеологии, сколько по языку и структуре. По существу он воспроизводил «программу пяти» — с несколькими изменениями. Третий пункт первого раздела выглядел так:

«Народный лист для царя (с ограничением расходов по дворцовому ведомству и министерству уделов), ответственность министров, гарантия законности правления (конституционное с неперменным участием в должном количестве представителей от рабочих и народа, выбранных свободно самими рабочими и народом), всеобщее равное, тайное и прямое избирательное право».

Четвертый пункт:

«Равенство перед законом (всесловная земская единица)».

Имеется в виду, конечно, что любой гражданин России, вне зависимости от сословия, — рядовой избиратель. Но как это сформулировано!

В числе «мер против нищеты народной» была и такая:

«Прогрессивный налог на землю, доходы и наследство (установление нормы материального обеспечения, как критерия для свободы от налога)».

Кто же был автором обеих резолюций, первой и второй?

Первую, по ряду свидетельств, написал Стечкин. Написал днем 5 января, когда еще шли переговоры на Михайловской площади. «Свинцовые заклепки вместо чеканки» на боевых кораблях и ряд других подробностей — это его круг интересов, в общем-то чуждый рабочей массе.

Вторая — плод скороспелого творчества самого Гапона, одобившего уже готовую программу понаслышке воспринятыми политическими идеями и терминами. Писалось явно «на коленке». Гапон вынужден был на сей раз уступить загодя подготовившему текст профессионалу. Но составить текст петиции поручили, конечно, именно ему, вождю. И, конечно, за основу он решил принять свой набросок.

Проект текста ждали наутро 6-го. В этот день раньше предполагалось устроить многолюдный митинг. Его перенесли — не ко времени. Переход к открытому столкновению с властью означал своего рода «военное положение». У дома Гапона дежурила охрана — человек 20—30. Впрочем, сам отец Георгий предпочел провести ночь в другом месте, «чтобы не подвергнуться случайности». Утром он снова явился на Церковную.

ВСЕМ МИРОМ

В полдень Варнашëв, которого Гапон 5 января вытащил больного из постели («не время хворать, Центр без вожака»), ехал на извозчике на Церковную за петицией. Путь проходил через Дворцовый мост. На невском льду как раз шла церемо-

ния водосвятия. Военные в парадных мундирах, царская палатка под штандартом, церемониальные холостые выстрелы. Вдруг раздался *особенный* звук — и люди на льду забегали, засуетились. Одна из пушек выстрелила боевыми патронами — и прямо в сторону царской палатки. Унтер-офицера охраны по фамилии — ирония судьбы! — Романов легко ранило.

Потом оказалось, что это нелепая случайность, недосмотр; десяток офицеров и солдат судили за халатность, дали сравнительно небольшие сроки (от полугода до двух лет заключения или арестантских рот). Но в первый момент паника была объяснима: дед государя был убит террористами с восьмой попытки, на отца покушались, сам он в бытность наследником перенес нападение придурковатого японского патриота, наконец, совсем недавно от эсеровских пуль пало подряд два министра внутренних дел: отчетливый сигнал о возобновлении большого террора. Да еще в столице творится черт знает что. Николай спешно уехал в Царское Село. Это роковым образом повлияло на дальнейшее развитие событий.

У Гапона на Церковной Варнашёв встретил «троих интеллигентов». Первым был Владимир Германович Богораз, он же Н. А. Тан (литературный псевдоним; Натаном Богораза звали в детстве, до крещения). С того времени, когда арестованный по докладу осведомителя Зубатова студент-естественник Богораз оказался в Петропавловской крепости, а потом на поселении на Колыме, прошло 19 лет. Там началась его карьера ученого-этнографа, специалиста по чукчам и другим коренным народам Северо-Восточной Азии. В 1898 году 33-летний Богораз приехал в Петербург по ходатайству и приглашению Академии наук — и пережил триумф. Потом была еще одна экспедиция, два года в Америке, десятки блестящих научных публикаций, а для отдыха — плохонькие стихи и рассказы. Но едва началось революционное брожение, Богораз потерял голову, забросил науку и с головой окунулся в политическую суету. Которой и предавался в этот момент, 6 января 1905 года в квартире на Церковной улице.

Второй интеллигент, Василий Богучарский, осенью встречался с гапоновцами вместе с Кусковой и Прокоповичем. Третьего Варнашёв не знал. Вероятно, это был Александр Иванович Матюшенский. Этому человеку, чья роль в дальнейших событиях тоже будет немалой, было в начале 1905-го 42 года (чуть меньше, чем Богучарскому, чуть больше, чем Богоразу). Достоверно восстановить его прошлое было почти невозможно: он рассказывал всякий раз разное. Как будто из духовного сословия, из семинарских. Учился в университете, но окончил ли? Был в ссылке по какому-то политическому делу, но

по какому, когда, как долго? Будто бы *ходил в народ*, «работал, как чернорабочий, и на крестьянских полях, и в шахтах золотых приисков, и на полотне железной дороги, и на крупчатной мельнице, и на пристанях Волги при нагрузке судов, точил веретена, шил сапоги, строил глинобитные крестьянские избы, учил грамоте крестьянских ребятишек». Этого тоже никто не видел. Точно было известно, что последние лет пятнадцать Александр Иванович занимается журналистикой, непрерывно меняя редакции и города. Писал, между прочим, о бакинской стачке 1903 года, а сейчас был одним из корреспондентов, освещавшим (на страницах газеты «Наши дни») стачку столичную. Это и привлекло к нему внимание Гапона.

Оказалось, что прокламация не готова. Сотрудники Гапона пытались что-то сделать из его вчерашнего наброска. Чем же сам Георгий Аполлонович занимался все прошедшие часы? Думал — и надумал...

Отозвав Варнашёва в соседнюю комнату, Гапон спросил его:

— Скажи, — как по-твоему. Не лучше ли будет, если подать петицию мы отправимся всем миром? Известим царя и кого следует, что, скажем, в воскресенье, соберемся у Зимнего дворца! Что народ хочет его видеть и больше никого! Что ты скажешь?

Варнашёв был поражен этой мыслью. Почему, кстати? Павлов пишет, что подобные соображения — о том, что подавать петицию хорошо бы «всем миром» и публично — Гапон высказывал, сугубо предварительно, еще в первой половине 1904 года. Сейчас она снова пришла ему в голову — и он за нее ухватился. Это был единственный, призрачный шанс. Единственная, пусть и сомнительная возможность уйти от поражения.

Надо сказать, что сама логика действий Гапона кажется — в контексте мировой истории XX века — глубокой и даже в каком-то смысле пророческой. «Массовые ненасильственные действия», в том числе многолюдные уличные манифестации — метод борьбы за политические цели, к которому прибегали (и очень успешно) Мохандас Ганди или Мартин Лютер Кинг. С последним — харизматическим священником, оратором — у Гапона немало общего. Но есть и важное отличие. Ни Ганди, ни Кинг не предполагали решить все проблемы *одной* акцией. К тому же оба они действовали в условиях демократии и обращались ко всему обществу, а не к одному всевластному человеку, помазаннику Божию.

Но — и это самый важный вопрос во всей этой истории — верил ли сам Гапон в то, что Николай вступит в диалог с рабочими?

Скажем так: надеялся.

Всё — давнее чтение Хомякова и Тихомирова, разговоры с Зубатовым о «народной монархии», рассказы Хитрово о молодом императоре — сейчас всплыло в его сознании. Ему очень хотелось, чтобы этот наконец найденный ход принес победу. А если нет? А на этот случай у Гапона не было никакого плана, кроме одного — насильственной революции.

Но это сам Гапон. А как рассуждали его ближайшие сподвижники?

Опять слово Варнашёву: «...Поддерживать петицию забастовкою? но долго ли? неделю — другую! Голод, лживые обещания, и вернутся к работе! А дальше — разгром “Собрания”. Аресты — тюрьмы переполнены. Вера в царя-батюшку, — по-старому. “Шествием же” — брали быка за рога! Маска будет сброшена! Слепой узрит! С народом или против народа? Будут стрелять. Расстреляют идею царя! А жертвы — так и этак неизбежны! Предупредить — кто боится, не пойдет, а умирать — так умирать с музыкой!»

А вот что говорит Карелин: «...У руководящей группы не было веры в то, что царь примет рабочих и что даже их пустят дойти до площади. Все хорошо знали, что рабочих расстреляют, а потому, может быть, мы брали на свою душу большой грех, но все равно уже не было тогда такой силы в мире, которая бы повернула назад. Рабочих удержать было нельзя».

Это, правда, относится уже к утру 9 января, когда — действительно — надежды ни у кого, включая Гапона, практически не оставалось, а отменить и изменить уже ничего было невозможно. Но пока у нас б-е. В самом ли деле левое крыло гапоновцев, а с ними — революционеры, эсдеки и эсеры, или какая-то их часть, *хотели* расстрела демонстрации с целью воспитания масс? А если хотели, то... как это называется?

«Предупредить — кто боится, не пойдет...»

Но в том-то и дело, что никто никого не предупреждал.

«Массы» же были настроены вот как:

«В эти дни рабочие низы были охвачены такой неестественно-болезненной верой в царя, какая кажется невысказанной и у самых преданных монархистов»*.

Гапоновская надежда на чудо у полуграмотных чернорабочих людей обернулась верой в чудо, несовместимой с чувством опасности.

Полтора года спустя Матюшенский в своей исповеди, напечатанной в парижском журнальце «Красное знамя», признавался:

* Гончаров В. Ф. Январские дни 1905 г. в Петербурге // Каторга и ссылка. М., 1932. № 1.

«Я ее (прокламацию. — *В. Ш.*) написал по предложению Гапона в твердой уверенности, что она объединит полусознательную массу, поведет ее к царскому дворцу, и тут, под штыками и под пулями, эта масса прозреет, увидит и определит цену тому символу, которому она поклоняется. Расчет мой оправдался в точности.

Жен и детей они возьмут в защиту себе; в них все же шевелилось сомнение: кто же решится убивать женщин и младенцев? — И, может быть, единственный человек в Петербурге говорил: расстреляют и женщин, и младенцев! И этот человек был я».

И сочинение прокламации Матюшенский приписывал себе лживо, и во всем остальном этому авантюристу верить надо с осторожностью, и репутация к середине 1906 года у Александра Ивановича была такая (вор, двойной агент), что можно было, дополнительного эффекта ради, наговорить на себя что угодно. Но ведь презренный авантюрист Матюшенский говорит почти слово в слово то же, что рабочий вождь Варнашëв! Только без стыдливых оговорок о «предупреждении».

Остается еще раз задуматься о смысле слов и этических принципах. Организовывать кассы взаимопомощи и потребительские кооперативы с помощью полиции и властей — это, с точки зрения почти любого россиянина начала XX века, придерживающегося мало-мальски «революционных» взглядов, явная *провокация*. А вот вести безоружных и психологически неподготовленных мужчин, женщин и детей на возможный расстрел — это не провокация. То есть нет — это конечно же провокация, если это делают люди, связанные с полицией. А если это делают враги самодержавия, то это дело прекрасное и доблестное — так?

Только у Карелина — у него одного! — промелькнули слова про «большой грех», и то — «может быть». Честный большевик готов был искупить соучастие в сомнительном, полузубатовском деле смертью на баррикадах или каторгой, но он же сам собирался умирать, а не вести других... Некоторые его товарищи были менее совестливы. Или — Варнашëв, Петров и другие задним числом клеветают на себя, а 6 и 7 января они тоже заразились гапоновской надеждой?

Так или иначе, уже через два часа после встречи Гапона и Варнашëва было распространено решение якобы имевшего место заседания руководителей отделений и их помощников: «Для публичного заявления требований, выраженных в резолюции (еще, а не в петиции. — *В. Ш.*) рабочих, собраться всем петербургским рабочим на Дворцовой площади, около Зимнего дворца, в воскресенье, 9 января, в 2 ч. дня». Заседания

как такового не было: видимо, просто председатели отделений забежали к Гапону, как Варнашѐв, тот делился с ними своим планом и получал согласие. Во всяком случае, ни один видный гапоновец против подачи петиции «всем миром» не высказался.

Петиции, тем временем, все еще не существовало. Тексты Богучарского, Тана и других Гапону не понравились. Вечером он сам написал петицию — с учетом всех имевшихся проектов. Потом ее только незначительно редактировали Рутенберг и Матюшенский. Сохранился более или менее первоначальный (или промежуточный) вариант текста, так что понять направление или характер редактуры можно.

Итак — начало:

«Государь!

Мы, рабочие и жители города С.-Петербурга, разных сословий, наши жены, дети и беспомощные старцы-родители, пришли к тебе, государь, искать правды и защиты.

Мы обнищали, нас угнетают, обременяют непосильным трудом, над нами надругаются, в нас не признают людей, к нам относятся как к рабам, которые должны терпеть свою горькую участь и молчать.

Мы и терпели, но нас толкают все дальше в омут нищеты, бесправия и невежества, нас душат деспотизм и произвол, и мы задыхаемся. Нет больше сил, государь! Настал предел терпению. Для нас пришел тот страшный момент, когда лучше смерть, чем продолжение невыносимых мук».

В ранней редакции было просто: «Мы, рабочие....» По ходу дела (отмечает сам Гапон) к шестивию примкнуло (и поставило подписи под петицией) множество мещан и разночинцев. Кроме того, хотелось сделать документ не классовый, а общенародной хартией. Что во многом его обесмыслило...

Дальше:

«...И вот мы бросили работу и заявили нашим хозяевам, что не начнем работать, пока они не исполнят наших требований. Мы немного просили, мы желали только того, без чего не жизнь, а каторга, вечная мука.

Первая наша просьба была, чтобы наши хозяева вместе с нами обсудили наши нужды. Но в этом нам отказали. Нам отказали в праве говорить о наших нуждах, находя, что такого права за нами не признает закон. Незаконными также оказались наши просьбы: уменьшить число рабочих часов до 8-ми в день; устанавливать цену на нашу работу вместе с нами и с нашего согласия, рассматривать наши недоразумения с низшей администрацией заводов; увеличить чернорабочим и женщинам плату за их труд до одного рубля в день, отменить сверх-

урочные работы; лечить нас внимательно и без оскорблений; устроить мастерские так, чтобы в них можно было работать, а не находить там смерть от страшных сквозняков, дождя и снега.

Все оказалось, по мнению наших хозяев и фабрично-заводской администрации, противозаконно, всякая наша просьба — преступление, а наше желание улучшить наше положение — дерзость, оскорбительная для них...»

Удивительно, как может простое (да, обобщенное, не без тенденциозности, но в целом точное) изложение обстоятельств забастовки (а про Сергунина и прочих уже и забыли!) звучать едва не по-библейски. Не зря учили Гапона высокой риторике.

В следующих абзацах отец Георгий, находясь на все той же пророческой высоте, несколько, пожалуй, переживает, утрирует до нелепости и впадает в мелодраматизм:

«Государь, нас здесь многие тысячи, и все это люди только по виду, только по наружности, в действительности же за нами, равно как и за всем русским народом, не признают ни одного человеческого права, ни даже права говорить, думать, собираться, обсуждать нужды, принимать меры к улучшению нашего положения.

Нас поработили и поработили под покровительством твоих чиновников, с их помощью, при их содействии. Всякого из нас, кто осмелится поднять голос в защиту интересов рабочего класса и народа, бросают в тюрьму, отправляют в ссылку. Карают, как за преступление, за доброе сердце, за отзывчивую душу. Пожалеть забитого, бесправного, измученного человека — значит совершить тяжкое преступление...»

Ну и дальше — предсказуемо: «чиновничье правительство, состоящее из казнокрадов и грабителей» («партия жуликов и воров», слышали, знаем), страна, доведенная «до полного разорения», «позорная война» — а вот уже по существу дела:

«Мы, рабочие и народ, не имеем никакого голоса в расходовании взимаемых с нас огромных поборов. Мы даже не знаем, куда и на что деньги, собираемые с обнищавшего народа, уходят. Народ лишен возможности выразить свои желания, требования, участвовать в установлении налогов и расходовании их. Рабочие лишены возможности организовать в союзы для защиты своих интересов».

Это уже политика, а не экономика. Характерно, что о «сладкой участи оспаривать налоги» и расписывать бюджет речь идет раньше, чем о рабочих союзах. Что, разумеется, не отражает приоритетов рабочего человека.

И, наконец, кульминация:

«Государь! Разве это согласно с божескими законами, милостью которых ты царствуешь?»

Как хорошо! Правда, дальше Гапон несколько портит впечатление:

«...И разве можно жить при таких законах? Не лучше ли умереть, умереть всем нам, трудящимся людям всей России? Пусть живут и наслаждаются капиталисты-эксплуататоры рабочего класса и чиновники-казнокрады и грабители русского народа».

Во-первых, получается, что нельзя жить по божеским законам (а имеется в виду прямо противоположное); во-вторых — ненужная истерика.

Наконец, Гапон переходит к положительной программе. Интересно, что документ построен зеркально. В первой части изложение фактов сменяется гиперболизированными риторическими пассажами; вторая начинается с риторики, которая призвана предварить конкретные требования:

«...Не откажи в помощи твоему народу, выведи его из могилы бесправия, нищеты и невежества, дай ему возможность самому вершить свою судьбу, сбрось с него невыносимый гнет чиновников. Разрушь стену между тобой и твоим народом, и пусть он правит страной вместе с тобой. Ведь ты поставлен на счастье народу, а это счастье чиновники вырывают у нас из рук, к нам оно не доходит, мы получаем только горе и унижение.

Взгляни без гнева, внимательно на наши просьбы, они направлены не ко злу, а к добру, как для нас, так и для тебя, государь. Не дерзость в нас говорит, а сознание необходимости выхода из невыносимого для всех положения...»

Чего же в первую очередь хотят от царя рабочие?

«Необходимо народное представительство, необходимо, чтобы сам народ помогал себе и управлял собою. Ведь ему только и известны истинные его нужды. Не отталкивай же его помощь, прими ее, повели немедленно, сейчас же призвать представителей земли русской от всех классов, от всех сословий, представителей и от рабочих. Пусть тут будет и капиталист, и рабочий, и чиновник, и священник, и доктор, и учитель, — пусть все, кто бы они ни были, изберут своих представителей. Пусть каждый будет равен и свободен в праве избрания, и для этого повели, чтобы выборы в учредительное собрание происходили при условии всеобщей, тайной и равной подачи голосов.

Это самая главная наша просьба, в ней и на ней зиждется все...»

Если в «программе пяти» политические требования (очень скромные) служили поддержкой и обеспечением экономиче-

ских, то здесь все начинается с политики, и не с чего-нибудь, а главного лозунга русского освободительного движения с декабристских времен: Учредительное собрание. Стоило ли так долго защищать рабочее движение от пытающихся его «использовать» интеллигентов? Впрочем, в самом Гапоне жило три человека: деловитый и дипломатичный рабочий лидер, харизматический проповедник и провинциальный интеллигент средней руки. Был еще четвертый: авантюрист, игрок, Хлестаков. Любопытно, как переплетаются эти его лица в тексте петиции. Которая еще не закончена.

«Но одна мера все же не может залечить всех наших ран. Необходимы еще и другие, и мы прямо и открыто, как отцу, говорим тебе, государь, о них от лица всего трудящегося класса России....» — И дальше идет практически изначальный текст «программы пяти».

В ходе редактирования в число «мер против невежества или бесправия русского народа» было добавлено «отделение церкви от государства». Первый историк текста петиции, А. Шилов, недоумевал: петицию подает священник, в ней упоминаются божеские законы, на которых зиждется власть монарха — какое же отделение церкви от государства? На самом деле, кажется, инициатором внесения этого пункта был как раз священник — но другой, не Гапон.

Григорий Спиридонович Петров — по словам Горького, «сын кабатчика или буфетчика, и в детстве ничего, кроме матерщины, не слышал, ничего, кроме пьяных, не видел». Однако пошел по духовной части, и очень успешно. В 25 лет, в 1891 году, уже окончил Духовную академию. Получив приход в Михайловском артиллерийском училище, он вскоре приобрел известность как лектор и проповедник. Его книга «Евангелие как основа жизни» (1898) имела успех. Он был так же на слуху, как Гапон в эти годы, но в несколько иных социальных кругах. Если жизнь отца Георгия в 1900—1902 годах проходила между приютами и ночлежками, с одной стороны, и светскими гостиницами — с другой, то Петров обращался к среднему классу. В сравнении с Гапоном он был интеллектуалом, но, конечно, не таким изощренным, как Михаил Семенов. И, как и Гапон, он испытал заметное влияние толстовства.

В 1903 году, как раз тогда, когда Гапон начал создавать «Собрание», Петров был лишен места и запрещен в служении. Не помогло и покровительство Витте. Появление этого человека в гапоновских кругах в начале 1905 года было логично: странно, что пути двух священников прежде не пересекались. Впоследствии их пути разошлись, но некоторое время Петров

был горячим сторонником своего харизматического собрата по церковному служению.

В число «мер против нищеты народной» было кем-то добавлено: «Исполнение приказов военного и морского ведомства должно быть в России, а не за границей». Скорее это отражало интересы не рабочих, а другой стороны, работодателей. Промышленный лоббизм своего рода? И кто был инициатором поправки? Матюшенский? Рутенберг — в качестве инженера, а не эсера?

«Меры против гнета капитала над трудом» делились на две части. Четыре пункта («Свобода потребительно-производительных и профессиональных рабочих союзов», «Свобода борьбы труда с капиталом», «Нормальная заработная плата» и «Непременное участие представителей рабочих классов в выработке законопроекта о государственном страховании рабочих») были в окончательном тексте снабжены пометой: «немедленно». По остальным пунктам (восьмичасовой рабочий день, создание комиссий по регулированию трудовых споров) готовы были подождать.

Ну, и завершение:

«Повели и поклянись исполнить их — и ты сделаешь Россию и счастливой и славной, а имя твое запечатлеешь в сердцах наших и наших потомков на вечные времена. А не повелишь, не отзовешься на нашу мольбу, — мы умрем здесь, на этой площади, перед твоим дворцом. Нам некуда больше идти и незачем...»

Угроза странная. Так примерно пугал семинарист Гапон преподавателя Щеглова. Но сейчас он был не семинаристом, а вождем десятков тысяч темных и бедных людей.

ПО ТУ СТОРОНУ

В Петропавловской крепости, в великокняжеской усыпальнице, есть пышная могила. Там покоятся извлеченные из ямы под Екатеринбургом останки Николая II и его семьи. Над могилой — икона, на которой изображены муж, жена и их малолетние дети. Церковь чтит Николая и Александру как мучеников. Справедливо ли это, правильно ли, канонично ли? Этот вопрос касается только православных воцерковленных людей, к которым автор этой книги не принадлежит. Вероятно, государь, помазанник Божий, представляет перед вечностью миллионы российских граждан, невинно и бессудно убитых во время и после революции.

Но, кажется, никто и никогда не чтит Николая как мудрого

правителя. Вопрос лишь в том, в какой мере лично он ответствен за финал своего царствования, за эти миллионы погибших.

Да, Николай все неполных 23 года пребывания у власти почти в любой ситуации делал не то, что надо, или не так, как надо, или не тогда, когда надо. И все же ему можно найти оправдания.

Он был лишен способностей правителя, но ведь он и не домогался власти: она досталась ему силой вещей и в очень молодом возрасте. Абсолютная власть в огромной стране, с кучей нерешенных вопросов (земельным, национальным, фабричным), с выродившейся аристократией, неумелым и корыстным чиновничеством, неопытной буржуазией, безответственной интеллигенцией, безграмотным народом, с непростыми международными отношениями.

Казалось бы, царь мог сделать то, чего от него многие требовали с первого же дня правления, — перейти к конституционной монархии, снять с себя груз ответственности. Но ведь для этого тоже нужен талант, талант к государственному строительству. Не говоря уже об абсолютистских убеждениях, смолу вбитых в голову царя Победоносцевым.

Не то чтобы всё было так уж ужасно, но всё — очень сложно.

Однако если говорить именно о январе 1905 года, у Николая II было несколько лежащих, казалось бы, на поверхности путей. Путей разных, но — не противоречащих его взглядам и предрассудкам.

Например, в самом начале забастовки благожелательно вмешаться в ситуацию. Политические требования забастовщиков отринуть («Это не ваше, это вас интеллигенты надоумили, с ними будет другой разговор») — а в экономике отчасти пойти им навстречу. Сделать это эффектно, демонстративно. Скажем, вызвать рабочих и хозяев к себе и заставить под отеческим, царским оком искать компромисс.

Или, наоборот, загодя ввести в столице чрезвычайное положение и навести порядок, не считаясь с возможными жертвами (счет их, во всяком случае, не шел бы на многие десятки) и протестами.

Или уже 9 января вызвать депутацию рабочих к себе в Царское (что, кстати, и было сделано, но — с опозданием и самым нелепым из возможных способов).

Или — да, появиться перед толпой. Это было рискованно? Конечно. Чем позже было бы принято решение, тем рискованнее. И все-таки магнетизм царского имени и царского лица не стоит недооценивать. Савва Морозов, впоследствии энергично заявлявший, что по одному царскому слову рабочие «раз-

били бы об Александровскую колонну куриную голову этого попа», конечно, утрировал, но... Можно очень много плохого сказать о Николае I, и, конечно, у него были собственные неврозы, собственные навязчивые страхи, связанные с мятежами — но он не побоялся 22 июня 1831 года появиться на Сенной площади перед холерными бунтовщиками и одним своим видом повергнуть их на колени. Эта аналогия приходила в голову многим, в том числе Н. Е. Врангелю, отцу вождя белой армии, с грустью отметившему в своем дневнике: нынешний государь — «только Николай II, а не второй Николай». А король-мальчик Ричард II, бесстрашно выезжавший на переговоры с буйными вилланами Уота Тайлера и в конце концов усмиривший их? Да, с 1831 по 1905 год утекло много воды, а с 1381-го, когда был убит Уот Тайлер, — еще больше. Но если уж ты держишься за абсолютную монархию — принимай на себя всё, что причитается самодержцу, не уклоняйся от своей роли на историческом театре.

Но Николай как будто не видел, не понимал, что происходит. Вот, к примеру, его дневниковая запись от 7 января: «Погода была тихая, солнечная с чудным инеем на деревьях. Утром у меня происходило совещание с д. Алексеем (дядя Алексей — великий князь Алексей Александрович, морской министр. — *В. Ш.*) и некоторыми министрами по делу об аргентинских и чилийских судах. Он завтракал с нами. Принимал девять человек. Пошли вдвоем приложиться к иконе Знамения Божьей Матери. Много читал. Вечер провели вдвоем». И это всё! Лишь на следующий день появляются «священник-социалист Гапон» и забастовщики. Которых, между прочим, уже 120 тысяч. (Информация несколько опоздала: на самом деле к концу дня 8 января бастовало 150 тысяч человек.)

Бремя решения было взвалено на людей, никто из которых в одиночку не обладал достаточной властью и достаточным весом... И в тот момент, когда Николай был занят чудным инеем и чилийскими судами, — они уже всерьез испугались: стало известно о намерении рабочих идти ко дворцу. Главное же — до министров дошел текст петиции.

Стали выяснять, почему, собственно, Гапон до сих пор на свободе. Оказалось, что сначала, в первые дни забастовки, он заморочил голову Фуллону, взяв с того «солдатское слово», что его, Гапона, никто не тронет — а уж он до тех пор гарантирует мирный характер движения. Потом вроде бы Фуллон уже был за арест мятежного священника — но против был Святополк-Мирский, опасавшийся, что это спровоцирует новые беспорядки. Пока суд да дело, Гапон стал трудно достижим. Вечером 6-го он окончательно ушел из дома. В воспоминаниях

он выразительно описывает это: «В последний раз я оглядел свои три комнатки, в которых собиралось так много моих рабочих и их жен, так много бедных и несчастных, комнатки, в которых произносилось столько горячих речей, происходило столько споров. Я посмотрел на висевшее над моей кроватью деревянное распятие, которое очень любил, потому что оно напоминало мне о жертве, которую Христос принес для спасения людей. В последний раз посмотрел я на картину “Христос в пустыне”, висевшую на стене, на мебель, сделанную для меня воспитанниками приюта, где я был законоучителем. Подавленный горем, но исполненный твердости и решимости, я оставил свой дом, чтобы никогда больше его не увидеть». (О Саше Уздалевой — ни слова. А убранство комнаты выразительно: на стене у священника, зажигающего сердца простолюдинов мечтою у Царстве Божьем, как проповедники времен Реформации, вроде Томаса Мюнцера или Иоанна Лейденского, — излюбленная массовым интеллигентом нравоучительная картина Крамского). После этого Гапон спал то в Василеостровском, то в Нарвском отделении, день и ночь многолюдных, и всегда появлялся в окружении многочисленной «свиты» из поклонников.

Гапона вызвали к министру юстиции Николаю Валериановичу Муравьеву. Отец Георгий поехал в обществе Кузина.

«...Он остался в сенях, а некоторые из моих людей держались невдалеке, чтобы сообщить рабочим, если меня арестуют. Очевидно, все, т. е. швейцар, курьеры и чиновники, знали о том, что происходит, и о причинах моего посещения, так как встречали меня с видимым любопытством, уважением и даже низкопоклонством.

— Скажите мне откровенно, что все это значит? — спросил меня министр, когда мы остались одни. Я, в свою очередь, попросил его сказать мне откровенно, не арестуют ли меня, если я буду говорить без опаски. Он как будто смутился, но затем, после некоторого размышления, ответил “нет” и затем торжественно повторил это слово...»

Гапон изложил требования рабочих и предъявил петицию. Оказалось, что у министра она уже есть. Тем не менее Муравьев взял гапоновский экземпляр, просмотрел его, «и затем простер руки с жестом отчаяния и воскликнул: “Но ведь вы хотите ограничить самодержавие!”

— Да, — ответил я, — но это ограничение было бы на благо как для самого царя, так и его народа. Если не будет реформ свыше, то в России вспыхнет революция, борьба будет длиться годами и вызовет страшное кровопролитие. Мы не просим, чтобы все наши желания были немедленно удов-

летворены, мы удовольствуемся удовлетворением наиболее существенных. Пусть простят всех политических и немедленно созовут народных представителей, тогда весь народ станет обожать царя. — Глубоко взволнованный, я, пользуясь важностью момента, прибавил: «Ваше превосходительство, мы переживаем великий исторический момент, в котором вы можете сыграть большую роль... Немедля напишите государю письмо, чтобы, не теряя времени, он явился к народу и говорил с ним. Мы гарантируем ему безопасность. Падите ему в ноги, если надо, и умоляйте его, ради него самого, принять депутацию, и тогда благодарная Россия занесет ваше имя в летописи страны». Муравьев изменился в лице, слушая меня, но затем внезапно встал, простер руку и, отпуская меня, сказал: «Я исполню свой долг»».

Гапон, помимо прочего, допустил страшную бестактность. Он намекнул Муравьеву, что тот может «смыть вину». Муравьев когда-то, совсем молодым человеком, исполнял обязанности прокурора на процессе первоартовцев. С точки зрения революционеров и левых либералов, это было страшное пятно на репутации. Сам Николай Валерьянович действовал тогда, в 1881 году, разумеется, в полном соответствии со своими политическими и нравственными убеждениями. И все же этот эпизод был для него тяжелым: среди тех, кого ему пришлось отправить на виселицу, была Софья Перовская, подруга его детства, однажды спасшая ему жизнь. Напоминать ему об этом — значило обрубить всякую возможность взаимопонимания.

Из приемной Муравьева Гапон попытался позвонить Святополк-Мирскому, но тот не взял трубку — впоследствии он объяснял, что сделал это, потому что с Гапоном не знаком и вообще — «не умею говорить с ними». С ними — с кем? С рабочими? Гапон не рабочий. С революционерами? С попами?

Сам Гапон утверждает, впрочем, что звонил Коковцову, но его «разъединили».

Тем временем Лопухин, услышав о малодушии своего шефа, пришел в ужас и вызвал Гапона к себе. Тот не пошел. Не пошел и к митрополиту, который тоже вызвал его. После неудачной (он сам понимал это) беседы с Муравьевым он ожидал ареста и боялся его. Зря боялся: приказ об аресте отца Георгия, вполне бесполезный, появился лишь накануне основных событий, вечером 8-го.

А вот когда происходило все только что описанное — визит к Муравьеву, несостоявшийся разговор с Мирским? По мнению большинства историков, — 7-го поздним утром. Но по мемуарам Гапона получается иная дата: днем позже. Та же дата у

Спиридовича и у В. Ф. Гончарова. Между тем это очень важное отличие, многое меняющее в оценке действий лидера «Собрания».

СЕДЬМОГО И ВОСЬМОГО

Как мы уже упоминали, 25 тысяч бастующих вечером 6 января через два дня превратились в 150 тысяч*. Шестикратное увеличение! Идея всенародно подаваемой петиции подстегнула стачку. Стояла практически вся промышленность столицы. Там, где забастовки еще не было, хозяева сами остановили производство из соображений безопасности. Так, на три дня был закрыт Балтийский завод. Опомнившись, власти запретили газетам писать о стачке, но оказалось, что запрещать некому: типографии встали, газеты не выходили.

7 января утром забастовщики захватили Варшавский и Балтийский вокзалы и железнодорожную электростанцию и прекратили их работу. Именно эти вокзалы связывали столицу России с Европой. Это как если бы сейчас разом закрылись Внуковский, Шереметьевский и Домодедовский аэропорты. Но Николаевский вокзал остановить не удалось: связь с Москвой сохранялась.

В каждом отделении по многу раз зачитывалась петиция, а потом собирались подписи рабочих. Версии о том, что, дескать, рабочим читали неполный текст, без «политической» части, не выдерживают критики**. При чтении присутствовали не только гапоновцы, было кому обратить внимание рабочих на подлог; да они и сами в большинстве своем были грамотны и уж заметили бы, под чем ставят подписи. Петицию переписывали от руки, чуть ли не заучивали наизусть. Формально — обмана не было. Другой вопрос — почему рабочие соглашались с тем, что для исправления их жизни необходимо Учредительное собрание. Здесь было не зрелое, трезвое понимание ценностей демократии — скорее массовый гипноз.

Счет подписей шел на многие десятки тысяч. Гапон называет цифру «сто тысяч», она, понятно, приблизительна, но едва ли сильно преувеличена. Что касается самого «Собрания», то его численность за время забастовки удвоилась и к 8 января достигла двадцати тысяч человек.

Рабочие пребывали в состоянии почти мистической эйфории. Девятого числа ждали, как Страшного суда. А Гапон? На-

* Считая предприятия, не подотчетные фабричной инспекции.

** Версии эти восходят к официальному сообщению о событиях 9 января, опубликованному на следующий день после трагедии. См. ниже.

сколько адекватно воспринимал ситуацию сам пророк, сам петербургский Томас Мюнцер?

В девять вечера 7-го он назначил встречу (на квартире Петрова) социал-демократам. Было это после разговора или до беседы с Муравьевым и неполучившегося разговора со Святополк-Мирским?

Пришло четверо. Двое из них — Л. Динин и С. И. Сомов — оставили воспоминания. Интересно, что эсдеки задним числом отрицали, что собирались договариваться с Гапоном: якобы они пришли, чтобы «раскусить, что это за человек». Официально эсдеки, как и эсеры, собирались «использовать» движение, не принимая на себя никаких обязательств. Но силы были слишком неравны. Революционеры уже несколько дней просто пристраивались к движению отца Георгия, выступая на его митингах, бессознательно воспроизводя, по свидетельству социал-демократа Дмитрия Гиммера (или Гимера), не только пропагандистские приемы Гапона, но и его украинский акцент. «Гапон поставил нам мат», — эмоционально писал тот же Гиммер. В такой позиции большого выбора у членов революционных партий не оставалось.

Динин увидел Гапона впервые. Вот каким показался ему лидер «Собрания»:

«Внешнее впечатление, произведенное им на нас, было самое благоприятное. На его лице выражалась полная искренность, а тихий, печальный голос дополнял очарование. Но когда после нескольких вопросов, поставленных нами, он стал объяснять сущность своего плана, свои надежды и ожидания, первое впечатление стало мало-помалу исчезать, и перед нами выступил образ растерянного человека, без руля и кормил несущегося по выбросившей его наверх стихии и тщетно пытающегося ею овладеть. Получалось впечатление, что, опьяненный успехом, он совершенно не отдавал себе ясного отчета в ближайшем политическом положении вещей, что он совершенно не видел связи между движением данного момента и многочисленными факторами русской жизни в прошлом и настоящем. Оптимизм проглядывал в каждом его слове, и он не высказывал никаких опасений за неблагоприятный исход авантюры».

Очень похож отзыв Сомова:

«Гапон производил впечатление человека несомненно хитрого, себе на уме, очень честолюбивого, с большими личными планами, но в то же время крайне и искренно увлеченного событиями, захватившими его целиком, морально выросшего, благодаря своей роли, и действительно глубоко проникнутого сильным желанием служить рабочим и быть им полезным.

В то же время он, по-видимому, не отдавал себе отчета в непосредственных опасностях движения; я бы сказал даже, что он не вполне заметил и все то громадное развитие, которого оно достигло, а поскольку заметил, — недостаточно проникся мыслью, что для событий таких размеров требуются и большие горизонты и большая ответственность. Подобно нам, но, конечно, в бесконечно большей степени, он был захвачен могучей, с силой естественного потока развивавшейся стихией; незаметно очутившись на ее гребне, он сразу встал перед фактом ее чудовищной силы, которую он не только не был в силах как-либо направить, изменить, но которую не мог даже умственно охватить».

Подобно нам — важная оговорка. Истерическая эйфория охватила в те дни очень многих. Тем более — Гапона, произносившего каждый день десятки речей перед экзальтированной аудиторией. Став одним целым со стихией, он заряжал ее безумием — и сам им заражался.

План, которым он поделился с эсдеками, был таков. Гапон призывал революционеров присоединиться к шествию. Как истинный полководец, он предполагал поставить более горячих эсеров в передние ряды, а более стойких и надежных эсдеков — в задние. Шествие — только под хоругвями, с царскими портретами. Никаких красных знамен, никаких дерзких лозунгов и выкриков! «Хорошо было бы везде иметь священников с крестами; у меня есть запасная ряса, не переоденется ли кто-нибудь из вас (обращаясь к нам)». Гапон по-прежнему верил, что в такое шествие ни полиция, ни войска стрелять не осмелятся. Впрочем, можно и даже нужно разоружать полицейских и ломать шлагбаумы — чтобы показывать «силу толпы». 150 тысяч человек выходят на Дворцовую площадь и ждут возвращения Николая из Царского Села. Предполагалось, что затем депутацию во главе с самим отцом Георгием (куда войдут и социал-демократы) пригласят во дворец.

Как планировал он дальнейшее? «На аудиенции мы, от имени петербургского народа, передадим Государю нашу петицию, которую я предложу обсудить, но я в то же время заявлю, что не уйду, если не получу немедленного торжественного обещания удовлетворить следующие два требования: амнистию пострадавшим за политические убеждения и созыв всенародного Земского собора. Если я получу удовлетворение, я выйду на площадь, махну белым платком, принесу радостную весть, и начнется великий народный праздник. В противном случае я выкину красный платок, скажу народу, что у него нет царя, и начнется народный бунт». Впрочем, на последнем случае он мало останавливался, считая его, очевидно, маловероят-

ятым... Еще одной мерой, которую Гапон считал неотложной, был восьмичасовой рабочий день. Между тем в петиции эта реформа не значилась в числе «немедленных». Видимо, позиция рабочего лидера изменилась. Гапон объяснял это так: «...Необходимо дать немедленно крупное удовлетворение рабочим массам, тем более что после громадного брожения, после душевных бурь, пережитых петербургским пролетариатом, он психологически не будет в состоянии проводить целые дни на заводах и фабриках. Но есть еще более важная причина, делающая необходимым соединить восьмичасовой рабочий день с созывом всенародного Земского собора: от самих народных масс будет зависеть их дальнейшая судьба, они сами будут призваны выковывать свое собственное будущее счастье. Нужно поэтому дать народу достаточный досуг, чтобы развиваться, учиться и ориентироваться в государственных делах. Это мыслимо лишь при восьмичасовом рабочем дне».

Вначале гапоновцы и эсдеки поминали старые счеты («зачем вы нас называли зубатовцами, провокаторами?»), но затем признали друг друга *товарищами по борьбе*. Гапон в нужный момент прошептал на ухо одному из своих сподвижников — достаточно громко, чтобы собеседники на другом краю стола услышали: «Какие славные ребята эти социал-демократы!» Эта грубая тактика помогла. Социал-демократы, по существу, согласились участвовать в шествии и несколько часов обсуждали с «товарищами по борьбе» технические детали. Оптимизма Гапона они, впрочем, не разделяли.

В два или три часа эсдеки ушли — а в дверях уже стояли эсеры, приглашенные на более позднее время. Разговор пошел по тому же сценарию. Только на сей раз Гапон поругивал социал-демократов и льстил социалистам-революционерам. Короткие выяснения отношений из-за прежних обвинений в «зубатовщине» и «провокаторстве», великодушное примирение, изложение плана действий (хоругви, шествие, депутация, белый платок, красный платок). «Тогда крути и ломай телеграфные столбы, деревья и все, что попадет под руку, строй баррикады, бей жандармов и полицию, тогда... не петиции будем подавать, а революцией сводить счеты с царем и капиталистами».

На следующий день РСДРП, решив «подстраховаться» и заранее снять с себя ответственность за последствия, выпустила прокламацию:

«...Петербургский Комитет Р. С.-Д. Р. П. приветствует рабочих, понявших необходимость политической свободы. Но петербургские рабочие должны понять, что те требования, которые они выставляют, ничего другого не означают, как конец

самодержавия. Требовать парламента — это значит требовать, чтобы вместо царя страной управляла палата депутатов (парламент), избранная всем народом; требовать свободы слова, печати, союзов и собраний — это значит отнять у царя и у его министров, у царской полиции и у царских жандармов всю их теперешнюю власть. Одним словом, все эти требования означают — низвержение самодержавия.

Напрасно поэтому обращаться к царю с этими требованиями: добровольно царь вместе с огромной шайкой всяких великих князей, придворных чинов, министров, губернаторов, жандармов, попов и шпионов не откажутся от своих прав, от своей власти, от сытой, роскошной жизни, которую они ведут, от огромных богатств, которые они награбили и продолжают грабить с рабочих и крестьян. Нет, товарищи, ждать свободы от царя, который еще недавно в последнем манифесте твердо заявил, что он не намерен отказаться от самодержавия, невозможно. Если царь и обещает реформы, он и его чиновники обманут нас. Такой тяжелой ценой, как одна петиция, хотя бы поданная от имени рабочих, свободу не покупают. Свобода покупается кровью, свобода завоевывается с оружием в руках, в жестоких боях. Не просить царя и даже не требовать от него, не унижаться пред нашим заклятым врагом, а сбросить его с престола и выгнать вместе с ним всю самодержавную шайку — только таким путем можно завоевать свободу. Много уже рабочей и крестьянской крови пролито у нас на Руси за свободу, но только тогда, когда встанут все русские рабочие и пойдут штурмом на самодержавие — только тогда загорится заря свободы. Освобождение рабочих может быть только делом самих рабочих, ни от попов, ни от царя вы свободы не дождетесь.

В воскресенье, перед Зимним дворцом — если только вас туда пустят, — вы увидите, что вам нечего ждать от царя. И тогда вы поймете, что со стороны не принесут вам помощь, что только сами вы сможете завоевать себе свободу...»

Таким образом, эсдеки официально выступили против шествия, в организации которого уже фактически принимали участие. Договоренность с Гапоном была «ратифицирована» на совместном совещании меньшевиков и большевиков, которое состоялось на квартире Горького. Решено было в гапоновских колоннах идти, оружие с собой — взять, но первыми в ход его не пускать и вообще вести себя тихо. Собственно, этого отец Георгий и хотел от революционеров.

На самом деле, еще вопрос, чего больше страшились революционеры и левые либералы — катастрофы гапоновской затеи или ее, почти невероятного, успеха. Из разгона или расстрела демонстрации революционеры предполагали, как уже

отмечалось выше, извлечь некую выгоду; либералы, как и положено либералам, боялись «ужасающей последующей реакции». Но это по крайней мере было понятно — при «ужасающей реакции» русские интеллигенты уже жили, и даже неплохо жили. А вот если все повернется иначе... Полиция перехватила письмо неизвестного корреспондента к П. Б. Струве. Его автор опасался, что «с помощью ловкого маневра враждебная демонстрация превратится в патриотическую манифестацию с проклятиями и угрозами в адрес “внутренних врагов” (ведь недаром Мещерский заговорил о каком-то “народном соборе”, под защиту которого следует обратиться царю)». Похожие опасения были, кажется, и у Рутенберга, и у Стечкина.

Вернемся, однако, к Гапону.

Утром он написал два письма.

Первое — царю:

«Государь, боюсь, что твои министры не сказали тебе всей правды о настоящем положении вещей в столице. Знай, что рабочие и жители г. Петербурга, веря в тебя, бесповоротно решили явиться завтра в 2 часа пополудни к Зимнему Дворцу, чтобы представить тебе свои нужды и нужды всего русского народа.

Если ты, колеблясь душой, не покажешься народу и если прольется неповинная кровь, то порвется та нравственная связь, которая до сих пор еще существует между тобой и твоим народом. Доверие, которое он питает к тебе, навсегда исчезнет.

Явись же завтра с мужественным сердцем пред твоим народом и прими с открытой душой нашу смиренную петицию.

Я, представитель рабочих, и мои мужественные товарищи ценой своей собственной жизни гарантируем неприкосновенность твоей особы».

По словам Гапона, письмо было одобрено другими руководителями «Собрания» — однако «последняя фраза вызвала возражение. “Как можем мы гарантировать безопасность царю нашей жизнью, — серьезно спрашивали некоторые из них, — если какое-нибудь неизвестное нам лицо бросит бомбу, то мы должны будем покончить с собой”».

Гапон, однако, настоял на своем. Его соратники вместе с ним подписали обращение. На деле для охраны жизни царя предполагалось выделить тысячу человек из числа демонстрантов, которые, в случае его появления на площади, должны были окружить его и заслонить от возможных случайностей. Эсерам и эсдекам Гапон поставил условие: даже в случае начала «революции» не трогать лично Николая — «пусть возвращается в Царское».

Правда, в начале 1906 года Гапон вроде бы говорил полицейским чинам, что у Рутенберга был план покушения на царя. Сам Рутенберг об этом не упоминает. Может быть, Георгий Аполлонович блефовал — в рамках той сложной игры, которую он пытался вести с полицией и революционерами в последние недели своей жизни. Об этом — в свое время.

Второе письмо адресовано было Святополк-Мирскому. Многие формулировки в нем в точности совпадали с письмом царю — о неприкосновенности особы самодержца, о нравственной связи между царем и народом и т. д.

«...Ваш долг, великий нравственный долг пред царем и всем русским народом немедленно, сегодня же, довести до сведения Его Императорского Величества, как все вышесказанное, так и приложенную здесь нашу петицию. Скажите царю, что я, рабочие и многие тысячи русского народа мирно, с верою в него, решили бесповоротно идти к Зимнему дворцу.

Пусть же он с доверием отнесется на деле, а не в манифестах только, к нам.

Копия с сего, как оправдательный документ нравственного характера, снята и будет доведена до сведения всего русского народа».

Письмо Святополк-Мирскому отнес в министерство Кузин. Письмо царю было послано самым нелепым образом: какой-то рабочий приехал на поезде в Царское, явился во дворец* (к тому же в нетрезвом виде), стал требовать, чтобы его непременно провели прямо к государю, и, естественно, был арестован. По крайней мере, так утверждает А. Филиппов. Сюжет отдаёт Средними веками, в крайнем случае русским XVIII веком.

Гапон пытался использовать и другие каналы. Узнав, что тот же вездесущий Филиппов сегодня увидится с Шервашидзе, секретарем вдовствующей императрицы, отец Георгий «стал упрашивать меня самым настойчивым образом ехать к нему немедленно и представить все положение дел угрожающим и повлиять на то, чтобы не было никаких насилий со стороны полиции и народ мог увидеть Государя», — вспоминал Филиппов. Он был у Шервашидзе уже к вечеру — тот собирался в театр. На рассказ репортера о Гапоне он небрежно ответил, что «никакого значения вся эта шумная эпопея не имеет — никто из рабочих никуда не пойдет по имеющимся в сферах от охраны донесениям». Дескать, «холод не шутка». И в самом деле, мороз был — градусов пятнадцать.

Гапон и сам не знал, сколько людей придет на площадь. Он

* Александровский дворец, в котором находилась в это время императорская резиденция

храбрился только при своих сподвижниках. Наедине он боялся, что демонстрация будет малолюдной и ее легко разгонят. Чем больше народу пойдет, тем больше надежды, что власти испугаются и в последний момент дадут шествию «зеленую улицу», а царь приедет из Царского Села в Зимний. А значит, надо, что называется, «обеспечить массовость».

И Гапон обеспечивал. За день — 50 речей во всех рабочих предместьях. Как это было возможно? Лихачи, паровая конка (которую забастовщикам не удалось остановить — а они пытались) и отсутствие пробок. И огромная праздная (забастовка же!) аудитория, всегда наготове. Задача перед Гапоном стояла непростая: с одной стороны, мобилизовать как можно больше людей, с другой — дать им понять, что события могут пойти по драматичному сценарию. По многу раз звучали одни и те же слова: про белый платок, про красный платок, про то, что, «если царь отвергнет наши просьбы — у нас нет царя...». Аудитория принимала это: Гапон попал в пространство мифологического, в котором отключается критика слов и явлений. К ночи все чаще звучало слово «умрем!». «Умрем!» — призывала молоденьких девушек, работниц Невской мануфактуры, Вера Карелина, и девушки послушно собирались умирать. Гапон и гапоновцы все больше напоминали не Томаса Мюнцера и его приверженцев, а пастора Джонса и его паству.

В перерывах Гапон беседовал с иностранными корреспондентами. Вечером 8(21) января, например, появилось переданное по телеграфу интервью с ним в английской газете «Стандарт». Корреспондент (имени его в газете нет) сообщает, что «сумел встретиться с отцом Гапоном после митинга в дальнем пригороде» вечером в пятницу. «Он худощавый человек с каштановой бородкой, столь же мягкий в личном общении, сколь яростный на трибуне, двадцати девяти лет (на самом деле тридцати пяти. — *В. Ш.*). Я спросил, не подражает ли он чартизму. “Я знаю о чартизме, — ответил он, — но наше движение возникло независимо от него”». (Чартизм — движение английских рабочих, которое началось с поданной парламенту в 1839 году хартии или петиции, которая, как и петиция Гапона, сочетала в себе экономические и политические требования.) Дальше Гапон пересказал свою политическую биографию, начиная с босяцкого прожекта. О Зубатове было сказано: «Я знал, что он и его люди организуют рабочих только затем, чтобы предать их, выявить их лидеров и арестовать и сослать их, но вынужден был следовать за ним». Еще интересное заявление: «Я соединил в своей организации рабочих разных специальностей, чтобы политические интересы доминировали над экономическими». О предстоящем шествии: «Если

Император проявит мудрость, он выйдет к народу. Наше ближайшее требование – Учредительное собрание. Мы не требуем, чтобы Его Величество вдавался в детали. Если он пообещает нам исполнить наши желания – очень хорошо. Если нет – последствия будут ужасны. Даст Бог, вскоре Россия будет так же свободна, как Англия».

В. Ф. Гончаров был свидетелем того, как интервью это бра-лось. «Гапон был одет в подрясник темно-красного сукна, поверх которого носил дорожную енотовую шубу с большим воротником*. На фоне этой одежды рельефно выделялось цыганское лицо Гапона с горящими глазами. Бритое же лицо англичанина, одетого в серое полосатое пальто и полосатую же кепку, было полной противоположностью Гапону». Англичанин очень скверно владел французским и немецким, а петербургский журналист Диксон и эсеры Н. Л. Мухин и Л. А. Кацман, взявшиеся переводить, не знали английского. Так и шла беседа.

Между прочим, Гапон, увлекшись, сказал, что, если требования демонстрантов не будут удовлетворены, он намерен захватить телеграф и телефон, но потом, испугавшись, попросил эти его слова не публиковать.

Пока Гапон носился по столице, в дело решила вмешаться *общественность*. В редакции газеты «Наши дни» собрались представители интеллигенции. Максим Горький предложил послать собственную депутацию к Святополк-Мирскому.

Депутацию составили: сам Горький, Анненский (не поэт Иннокентий, а его старший брат, Николай Федорович, экономист, маститый народник), историк, «освобожденец» и будущий «трудовик» Владимир Мякотин, Александр Пешехонов (тоже «освобожденец» и «трудовик», начинавший карьеру, как и Гапон, земским статистиком), юрист и земец К. К. Арсеньев, младший из двух братьев-историков В. И. Семевский, Н. И. Кареев (тоже историк), Е. И. Кедрин (адвокат), знаменитый впоследствии политик-кадет Иосиф Владимирович Гессен... и – Кузин, воистину вездесущий, рабочий и интеллигент в одном лице.

Согласно воспоминаниям К. Пятницкого, представители интеллигенции пытались вступить в переговоры и с Гапоном о «совместных действиях», но тот ответил, что – поздно-де: «через несколько часов, может быть, прольется кровь». Очень странно: в эти же часы отец Георгий убеждал всех, что кровь *не прольется*. Но, скорее всего, он послал за себя «меньшого брата» — отсюда Кузин. Самому Гапону было явно не до переговоров непонятно о чем. В мемуарах Гапон, как он это часто де-

* Шуба была чужая – «для конспирации».

лает, приписывает инициативу себе: дескать, он через Кузина попросил интеллигентов вступиться.

Итак, решено было — депутации идти к Мирскому, а самим назавтра собираться в Тенишевском училище. После полудня сборный пункт почему-то менялся на Публичную библиотеку (ближе к Дворцовой?).

Мирский интеллигентов не принял, как и Гапона — с ними он как раз говорить умел, но ему тоже было недосуг: он отправлялся с докладом в Царское (это было уже около шести вечера). Д. Н. Любимов, начальник канцелярии МВД, объяснил им — представителю седобородому Арсеньеву, Горькому в сапогах и косоворотке и другим, — что министр приказал принять депутацию генералу К. Н. Рыздзевскому, командиру отдельного корпуса жандармов, в помещении Департамента полиции. Арсеньев ответил, что им желательно видеть самого министра: такое-де поручение дано депутации. Последовал резонный вопрос: от кого, собственно, депутация, кого она представляет? Горький картинно ответил: «Я бы мог объяснить, “от кого” мы здесь, но опасаясь — не поймут. В доме шефа жандармов это имя совершенно неизвестно — имя русского народа».

Тем не менее представители *русского народа* сообразовали пройти внутренним ходом в помещение жандармерии и побеседовать с Рыздзевским. Суть их сообщения сводилась к тому, что, по их сведениям, намерения у рабочих — исключительно мирные. Никакого ответа не последовало. Тогда депутация двинулась к Витте. Председатель комитета министров «заявил, что министры Святополк-Мирский и Коковцов имеют более точное представление о положении дел, чем сведения ваши, что Государь должен быть осведомлен о положении рабочих и что он бессилен что-нибудь сделать в желаемом вами направлении». Затем Витте позвонил по телефону Мирскому и предложил ему все же принять депутацию. Тот отказался — он уже был на пути в Царское.

Собственно, а чего можно было ожидать? Поразительно еще, что с Горьким и его товарищами (весьма уважаемыми и известными — премьер-министр узнал *по портретам* Горького, Анненского и Арсеньева! — но заведомо не имеющими полной информации и ни за что не отвечающими людьми) вообще вступили в какой-то разговор. Судя по всему, цель у участников депутации была скорее моральная. Как писал — несколько позже, но тоже в связи с событиями революции 1905 года — брат Николая Федоровича Анненского:

Спите крепко, палач с палачихой!
Улыбайтесь друг другу любовней!

Ты ж, о нежный, ты кроткий, ты тихий,
В целом мире тебя нет виновней!

Ну, вот «кроткие и тихие» интеллигенты и хотели получить у Истории справку о невинности. Они ее получили.

Ну а что делали власти?

Как ни странно, сведения об этом еще более противоречивы, чем о действиях другой стороны.

Военная и полицейская власть в городе была передана командиру гвардейского корпуса князю Сергею Илларионовичу Васильчикову, который, в свою очередь, подчинялся главнокомандующему войсками гвардии и Петербургским военным округом великому князю Владимиру Александровичу. Но когда это случилось? Седьмого, восьмого? Утром, вечером? Даже здесь источники расходятся. Были взяты под охрану четыре еще неразгромленные электростанции, еще работающие типографии, банки, телеграф, телефон (мысли у властей работали в том же направлении, что и у Гапона) и — винные склады. Столица была разделена на восемь районов. В город были переброшены добавочные войска из Петергофа (пять эскадронов гвардейской кавалерии), из Ревеля (два батальона Беломорского полка, два батальона Двинского полка, батальон Онежского полка), из Пскова (по два батальона Иркутского и Омского полков и один — Енисейского). Красивый, кстати, географический рисунок образуют полковые названия! Полицейским врачам приказано 9-го неотлучно находиться на месте, больницам — быть готовым к приему раненых.

Все это — собственная инициатива Васильчикова и Владимира Александровича, людей военных. Но *политическое* решение принимали не они.

А кто? И вот тут-то всё выглядит совсем странно.

Было два заседания. Первое было то ли 7-го вечером, то ли 8-го в середине дня. Кто на нем присутствовал — и кто из присутствующих что предлагал? Как будто были Святополк-Мирский, Фуллон, Коковцов, Дурново, Рыздзевский, Лопухин, товарищ министра финансов В. И. Тимирязев и начальник штаба Санкт-Петербургского военного округа Н. Ф. Мешетич. Муравьев рассказал о своей беседе с Гапоном — «убежденным до фанатизма социалистом», и призывал немедленно арестовать его. Фуллон и Мирский опасались, что тогда будет еще хуже, что «пока Гапон во главе движения, демонстрация не примет угрожающих общественному спокойствию масштабов». По одним сведениям, Мирский был не против того, чтобы допустить на Дворцовую выборных из числа демонстрантов. По другим — делился планами вывезти царя и из Царского и «спрятать» в

Гатчине. Фуллон пугал новой ходынкой (знаменитой давкой на коронационных торжествах Николая девятью годами прежде): в нем говорил градоначальник, технический специалист, не политик. Кто же произнес роковые слова? Похоже, никто. Впрочем, мы знаем об этом заседании только из рассказов людей, которых на нем не было, — из третьих уст. Только Коковцов написал мемуары, но как раз он об этом — первом — заседании не упоминает.

С шести до девяти Мирский и Лопухин были в Царском и доложили Николаю о положении в столице и принимаемых мерах. Николай выслушал — и одобрил. Два приятных и достойных джентльмена даже не попытались вывести самодержца из нирваны и призвать его к решительным и отважным действиям — действиям, которые мог совершить только он один. Или — по меньшей мере — указать ему на опасность ситуации. Впрочем, Мирский этой опасности явно сам не понимал, а Лопухин не мог нарушать субординацию.

По возвращении министра в столицу собралось новое заседание — в одиннадцатом часу. Как раз о нем Коковцов пишет. По его словам, обсуждались только дислокация и передвижение войск — технические вопросы, одним словом. Якобы именно на этом заседании Коковцов впервые услышал имя Гапона. Поверить в это трудно. Но вот в чем министр, кажется, не кривит душой:

«Все совещание носило совершенно спокойный характер. Среди представителей Министерства Внутренних Дел и в объяснениях Начальника Штаба не было ни малейшей тревоги... Ни у кого из участников совещания не было и мысли о том, что придется останавливать движение рабочих силою, и еще менее о том, что произойдет кровопролитие».

То есть Гапон хотел верить, что войска не станут стрелять в мирное шествие — а министры (не опричники, не кровопийцы — добрые и по большей части *прогрессивные* люди) считали, что, увидев заставы, рабочие спокойно разойдутся. Только Гапон к вечеру 8-го уже понимал свою ошибку, а министры ни о чем не догадывались.

Кто же отдал приказ стрелять? Никто. Просто никто не отдавал приказа не делать этого. Были войска, были боевые патроны, были уставы — и были ум или глупость конкретного командира. Командиры же вели себя по-разному: смотри первые страницы нашей книги. Надо понимать, конечно, что и времена были варварские: ни тебе водометов, ни слезоточивого газа, ни вагонзакон, ни резиновых дубинок, ни саперных лопаток. Одни нагайки, шашки и огнестрельное оружие. Чем усмирять демонстрантов? Больше нечем.

Но вернемся в вечерние часы 8-го.

Наконец отпечатано — бледно, мелким шрифтом, типографии же бастуют! — обращение градоначальника к рабочим и горожанам. Кое-где его успели даже расклеить. Обращение такое:

«Ввиду прекращения работ на многих фабриках и заводах столицы, петербургский градоначальник считает долгом предупредить, что никаких сборищ и шествий таковых по улицам не допускается и что к устранению всякого массового беспорядка будут приняты предписываемые законом меры. Так как применение воинской силы может сопровождаться несчастными случаями, то рабочие и посторонняя публика приглашаются избегать какого бы то ни было участия в многолюдных сборищах на улицах, тем самым ограждая себя от последствий беспорядка».

Способен ли такой текст — пусть даже напечатанный аршинными буквами, переданный по радио, по телевидению, если бы они уже были, — остановить возбужденную толпу, идущую к Чуду и Спасению? Впоследствии в самой невыразительности фуллоновских предупреждений видели полицейскую провокацию. Но, скорее всего, «старый солдат» просто не умел толком грозить.

Наконец отдан приказ арестовать Гапона. Отдан и не выполнен. А. А. Мосолов, начальник канцелярии императорского двора, так передает свой телефонный разговор с Рыдзевским: «Я спросил что он, арестован ли Гапон. Он ответил мне, что, ввиду того, что он <Гапон> засел в одном из домов рабочего квартала и для ареста его пришлось бы принести в жертву не меньше 10 человек полиции, решено было арестовать его на следующее утро, при его выступлении. Услышав, вероятно, в моем голосе несогласие с его мнением, он мне сказал: “Что же ты хочешь, чтобы я взял на свою совесть 10 человеческих жертв из-за одного поганого попа?” На что мой ответ был, что я бы на его месте взял на свою совесть и все 100, так как завтрашний день, на мой взгляд, грозит гораздо большими человеческими жертвами....»

То есть кто-то все же понимал серьезность ситуации? Да, кто-то понимал. Явно понимал, например, хитрец Витте. И в силу понимания — уклонился от участия в обоих собраниях у Мирского. Якобы его не пригласили. Остался «чистым» — и задним числом строго журил коллег за совершенные ошибки.

А что же делал в эти часы «поганый поп»?

Произносил последние речи. Советовал рабочим взять с собой еды: может быть, государя придется ждать из Царского до самого вечера. Это продолжалось до семи. Потом Гапон

пошел с руководителями отделов в трактир ужинать. Оттуда отправились в квартиру купца Михайлова (спонсора «Собрания»), где, по показаниям рабочего В. Янова, якобы жили дети Гапона от первого брака («Дочь лет 17—18 среднего телосложения, смуглая, чистое, овальное лицо, сын лет 10, видел в гимназической черной рубашке» — конечно, Янов ошибся, это были какие-то другие мальчик и девушка, дети Гапона находились в Полтаве и были гораздо младше). Обменялись адресами, чтобы в случае чего позаботиться о семьях друг друга. Гапон назначил Васильева своим заместителем на случай гибели и предложил начальникам отделов тоже назначить себе смену. Все уже знали, что город заполнен войсками, что улицы перегорожены. Никакого плана не было. Задача была проста: добраться до Дворцовой площади кто как сможет. На прощание решили сфотографироваться. Вызвали «ближайшего фотографа» — это был сам Булла. Но он же когда-то снимал гапоновцев с Фуллоном, и от его услуг решили отказаться. В конце концов сделали снимок в заведении Здобнова.

Поздно ночью в обществе своего «телохранителя» Филиппова Гапон отправился в Нарвский отдел. Через некоторое время там появился Рутенберг. Гапон показался ему бледным и растерянным. Рутенберг предложил «наиболее подходящий» путь для процессии: «Если бы войска стреляли, забаррикадировать улицы, взять из ближайших оружейных магазинов оружие и прорваться во что бы то ни стало к Зимнему дворцу». Это касалось только Нарвской заставы: с остальными уже не было связи. Впрочем, и на Нарвской из плана этого ничего не вышло. Рабочие не готовы были к уличной войне, а Гапон не годился в боевые командиры. Сам Рутенберг, впрочем, тоже.

Ночь Гапон провел в комнате одного из рабочих. Утром он послал рабочих в ближайшую церковь, и они силой унесли оттуда хоругви и образа (священник не хотел давать). Это была импровизация: Гапон-артист снова был в тонусе. «Товарищ Мартын» выступил перед толпой, посоветовал обходные маршруты ко дворцу, сообщил адреса ближайших оружейных лавок. Вряд ли кто-то что-то запомнил. Да и слышали немногие: слишком много народу собралось за Нарвской заставой.

Ближе к одиннадцати шествие двинулось.

Вскоре на небе над ним явилось знамение: разделенное на три в облачных бликах солнце, знак великого, особенного дня. Такое же солнце сверкало некогда над обреченной Игоровой ратью.

Первый залп был дан в половине двенадцатого у Нарвских ворот.

A decorative rectangular frame with ornate, symmetrical flourishes at the corners and a central flourish at the bottom. The frame is drawn with a double-line border.

**ЧАСТЬ
ВТОРАЯ**

ДАЧА В ОЗЕРКАХ

30 апреля 1906 года местные полицейские явились на дачу Звержинской в Озерках — по жалобе хозяйки, уже более месяца не получавшей платы и отчаявшейся найти съехавшего в неизвестном направлении съемщика, некоего Путилина. В последний раз съемщик появился на даче то ли 27-го, то ли 28-го, то ли 29 марта — дворник путался.

Одна из комнат оказалась заперта на висячий замок. Когда эту комнату вскрыли, глазам собравшихся предстала фигура сидящего на полу человека. Подойдя поближе, полицейские увидели уже начавший разлагаться труп мужчины, смуглого, темноволосого, с эспаньолкой, в черном пиджаке, коричневом жилете, цветной (а какого именно цвета?) сорочке. На шее его была петля из толстой бельевой веревки, другим концом привязанная к железной вешалке под потолком. На ногах валялось пальто с меховым воротником, рядом на полу — шапка, калоши, галстук. В кармане покойника обнаружили билет Финляндской железной дороги (туда и обратно) от 28 марта и визитную карточку. (Чью именно — не уточнялось.)

Дворнику показали фотографию пребывающего в розыске инженера Рутенберга. Тот подтвердил: да, точно Путилин.

Почему Рутенберг? С какой стати дворнику показали именно эту фотографию?

В последний раз Георгия Гапона видели как раз 28 марта. Он был оживлен (несмотря на *инфлюэнцу*) и полон планов. Два дня назад он зачитывал новый «манифест» и говорил о создании новой организации. Он жил с семьей (Уздалевой и сыном-младенцем) в Териоках, но постоянно бывал по делам в городе.

Через неделю, 5 апреля, Александра Константиновна Уздалева обратилась в полицию с заявлением об исчезновении своего гражданского мужа. По ее словам, она уже справлялась о Гапоне у знакомых, в том числе «у его новой любовницы», но и та ничего не знает.

В тот же день, как по сигналу, исчезновение Гапона начали бурно обсуждать газеты.

Первой тему подняло «Новое время». Постоянный автор с игривым псевдонимом «Маска» сообщал:

«Среди рабочих, близких “герою 9-го января”, большое смятение... По слухам, 28-го марта в Озерках должно было произойти очень серьезное собрание социалистов-революционеров, на котором должен был присутствовать Гапон. Присутствовал ли он на этом собрании?»

Внимание, прозвучало слово «Озерки»! За *двадцать пять дней* до обнаружения тела!

Дальше «Маска» сообщает, что накануне к Гапону приходила некая дама, пожелавшая сохранить полное инкогнито, и сообщила, что на Гапона готовится покушение со стороны «черносотенных организаций».

Потом вдруг меняет тему и начинает толковать о том, что недавние неприятные эпизоды (история с полицейскими деньгами и Матюшенским, самоубийство Черемухина... до всего этого у нас еще дойдет речь) очень тягостно сказались на настроении исчезнувшего Георгия Аполлоновича. Будто бы он при недавней встрече говорил «мне» («Маске?»):

«Дело так запуталось, что хоть кончай жизнь самоубийством, но ведь самоубийство — проявление малодушия, а у меня характера достаточно... Нет, надо бороться до конца... Что бы ни делали, ни писали против меня, я еще исполню свою роль. Есть люди, может быть, маленькие, ничтожные, на которых возложена миссия... Я вот такой маленький, может быть, что-нибудь сделаю...»

Стоп. А что же это за «Маска», опередившая всех газетчиков, так изобретательно направляющая внимание читателя то по одному следу, то по другому? С кем это Гапон делился якобы своими душевными муками и даже мыслями о самоубийстве?

Что ж, познакомимся, человек примечательный. Иван Федорович Манасевич-Мануйлов — личность яркая... и отчасти загадочная.

По одним сведениям, Иван Федорович родился в семье киевского чиновника-выкреста Манасевича, впоследствии за мошенничество сосланного в Сибирь и там умершего; мальчика усыновил купец Мануйлов. По другим — матерью мальчика была некая мещанка по фамилии Мовшон, а отцом — старый князь Петр Мещерский.

Началом карьеры он был обязан князю Владимиру Петровичу Мещерскому, который якобы приходился ему единокровным братом. Впрочем, редактор «Гражданина» вообще охотно покровительствовал симпатичным молодым людям, которых

он называл своими «духовными сыновьями». Мануйлов (у которого потом были еще «духовные отцы» такого же сорта) служил в главном дворцовом управлении, по ведомствам человеколюбивых обществ и иностранных вероисповеданий, в свободное время баловался журналистикой — а притом состоял на негласной службе еще в некотором учреждении. По этой линии он был командирован в Париж в качестве агента влияния в тамошней прессе. Накануне убийства Плеве он создал в Европе целую сеть слежки за революционной эмиграцией. В дни Русско-японской войны он стал одним из руководителей российской контрразведки — это была вершина его карьеры. В 1905—1906 годах он — чиновник для особых поручений при Витте, а притом еще видное лицо то ли в охранке, то ли в параллельных спецслужбах. В апреле 1906 года он вынужден подать в отставку, но продолжает какие-то служебные «занятия» по меньшей мере до сентября. Три года спустя он был пойман на мошенничестве — как один из его предполагаемых отцов, Манасевич, но, конечно, на несравнимо более крупном. Судя по всему, Мануйлов, выдавая себя за по-прежнему важное лицо в полицейских «сферах», шантажировал коммерсантов и выманивал у них деньги. Маячил суд, но всё обошлось: дело было закрыто. Последующая жизнь Мануйлова (до расстрела в ЧК в 1918 году) представляла собой такое же чередование взлетов и скандальных падений. Манасевича-Мануйлова называли русским Рокамболом. Конечно, это был прожженный авантюрист — но куда более высокого полета, чем, к примеру, Матюшенский.

Сейчас у нас на дворе весна 1906 года. Статус Мануйлова зыбок. Он то ли еще на службе, то ли уже нет. И вот он занимается «сливом» в газету противоречивых слухов. Зачем? И по собственной ли инициативе?

На следующий день бульварная «Петербургская газета» огорошивает читателей сенсацией: Гапон жив, здоров и живет в Петербурге, с некой хорошенькой барышней лет двадцати двух, «жгучей брюнеткой еврейского типа», по адресу: Владимирская улица, дом 3, квартира 17.

Самое главное в любой газетной «утке» — называть точные цифры! Впрочем, номер дома не случаен. Там с осени 1905 года находилось правление возрожденного «Собрания русских фабрично-заводских рабочих Петербурга».

В том же номере газеты — уж откровенно мерзкая статейка под названием «Гапон и женщины»:

«Где Гапон, там и женщины. Если посмотреть его собственную автобиографию, то от начала до конца идут женщины и женщины. Они решают его судьбу; они толкают его на путь ре-

волюции, они его толкнули в духовную академию, они ему составили протекцию в Петербурге, они его заставили нарушить священнический обет о безбрачии, они и теперь выплывают, по его исчезновению. И, как всегда у этого человека, не одна, а две в одно и то же время...»

Дальше автор рассказывает, что у него есть некий похабный «акафист», высмеивающий, как можно понять, какие-то любовные похождения Гапона в Крыму в 1899 году.

Еще днем позже, 7 апреля, газета «Двадцатый век» помещает интервью с Дмитрием Кузиным.

«То, что напечатано в “Новом времени”, несколько неверно...» — сообщает соратник Гапона. Да, действительно, одна женщина предупреждала о покушении на Гапона, которое готовят черносотенцы, но не самого Георгия Аполлоновича, а главу одного из районных отделов его организации. Эта женщина была служанкой некой маркизы (sic!) и подслушала разговоры ее гостей. Гапон большого значения предупреждению не придал.

28-го Гапон заходил к Кузину в три часа дня, но обедать не остался — у него было свидание за городом.

Самоубийство? Нет, в это Кузин не верил. Глава петербургских рабочих «не кончил бы с собой так — ну с эффектом, а то бессмысленно...». И о семье предварительно позаботился бы. Да и «нет смысла, дела шли все лучше и лучше».

Что же случилось?

«Сначала я подозревал, что партии могли его убить... Социал-демократы были злы на него... Но теперь я отрешился от этой мысли... Сейчас я предполагаю более простое. Свидание, на которое он шел, было накрыто полицией, и ему пришлось просто-напросто скрыться».

Еще Кузин упоминает, что в течение нескольких дней перед исчезновением Гапон неоднократно встречался с неким подозрительным седобородым стариком. Детективный сюжет становится все разветвленнее.

13 апреля «Новое время» сообщает: «...Труп Гапона обнаружен в помойной яме во дворе дома мещанина Полотнова в посаде Колпино с трещинами на черепе от ударов тяжелым предметом». Информация не подтверждается: труп, как выясняет полиция, принадлежит крестьянину Бежецкого уезда Тверской губернии Ивану Евстигнееву, работавшему в Колпине угольщиком и пропавшему в ноябре 1905 года.

Наконец, 15-го в «Новом времени» появляются сенсационные сведения — со ссылкой на венскую газету «N. Fr. Presse», которая, в свою очередь, ссылается на английскую «Manchester Guardian»: «В четверг 10 апреля о. Гапон тайно повешен че-

тырьмя революционерами, принадлежащими к рабочим классам». Причина: Гапон «удостоверился, что эсеры ему не доверяют, решил сделать “карьеру” по-другому и стал агентом тайной полиции. Гапон был настолько неосторожен, что предложил другому революционеру также поступить на службу в полицию».

На следующий день все в том же «Новом времени» — новая статья «Маски», состоящая из двух частей. Первая начинается так:

«— Отец Гапон убит, теперь для нас это вполне ясно! — с грустью и со слезами на глазах сказал мне один рабочий, близкий человек “герою 9 января”. — 27 марта Гапон послал одного из своих приверженцев, — продолжает мой собеседник, — на Кирочную, д. 12, где он и должен был увидеться с некоей г-жой Гольдштейн. Этому свиданию Гапон придавал большое значение и, отправляя своего друга, неоднократно твердил: “Смотри, не забудь пароль, а то она не станет говорить с тобой”. Рабочий должен был сказать: “Пять звезд”. И действительно, войдя в квартиру, он встретил очень приветливую даму, которая, услышав условное слово, заметила: “Хорошо... Я исполню свою миссию”. Сказав это, она исчезла, оставив рабочего ожидать. Прошло двадцать пять минут... Раздался звонок, и вернулась г-жа Гольдштейн. “Дома нет, — несколько взволнованно заявила она рабочему. — Я ответа дать не могу”. В это время снова раздался звонок, и в прихожую вошла толстая, румяная, еврейского типа женщина, которую рабочий сейчас же узнал, так как не раз ее встречал у Гапона. Госпожа Гольдштейн отвела ее в сторону и, переговорив с ней, сказала рабочему: “Передайте тому, кто вас послал, что он ответ знает, так как мы с ним уже видались...”».

Следует запутанная история дальнейшего общения рабочего с двумя загадочными дамами, от которых Гапону что-то было надо... Создается впечатление, что весь этот рассказ призван как-то сбить читателя с толку или притупить его бдительность перед *настоящим* сообщением. (Впрочем, какая-то Елена Семеновна Гольдштейн, Бильдштейн или Бельштейн, двадцати трех лет, дочь екатеринбургского купца, слушательница сельскохозяйственных курсов, проживающая по данному адресу, упоминается в полицейском отчете — однако «никаких сведений о Бельштейн и ее отношении к Гапону в Отделении не имеется»; она ли та любовница, к которой ходила искать своего пропавшего мужа несчастная Саша, вообще любовница ли, только ли любовница или тут — какой-то оборванный, неизвестный нам политический сюжет, — так и неизвестно.)

Настоящая же сенсация в статье «Маски» — такова:

«Из другого источника мне удалось узнать, что Георгий Гапон находился в постоянных сношениях с одним из членов “боевой организации”, инженером Руттенбергом (так. — *В. Ш.*), известным в революционном мире под именем Мартына... За последнее время Гапон несколько раз встречался с ним, причем разговор касался намерения Руттенберга перейти на сторону правительства и сообщать Департаменту полиции все происходящее в боевой организации. Гапон, узнав о желании Мартына служить правительству, обещал ему поговорить с одним лицом, с которым ему приходилось иногда сталкиваться. В средних числах марта Гапон явился к этому лицу и сообщил ему, что Руттенберг соглашается быть секретным сотрудником департамента, но желает получить за свою “измену” 100 тысяч рублей... Сумма эта была найдена слишком большой, и Гапон был уполномочен предложить члену боевой организации 25 тысяч. За несколько дней до рокового случая Гапон является к лицу, переговаривавшему с Мартыном, и сообщил ему, что решительный разговор должен произойти на днях в окрестностях Петербурга, причем почти с уверенностью можно предсказать успех делу. Нет сомнения, что свидание состоялось и что тут-то Мартын решил покончить со своим “демоном-искусителем”. Весьма возможно, что они встретились в Озерках, так как Гапон спрашивал одного из рабочих, сколько езды в Озерки и т. д. Знаменитый Мартын и его товарищи исчезли из Петербурга и сейчас находятся за границей».

Известно, казалось бы, уже всё — место убийства, предполагаемый преступник, предполагаемый мотив... И тела не ищут! Хотя выйти на дачу Звержинской труда, казалось бы, не представляет: место, что называется, «засвеченное»; когда-то, еще в 1897 году, там накрыли подпольную типографию.

В том же номере «Нового времени» напечатана статья, подписанная А. Ст-н. Подпись прозрачная и сразу же раскрытая оппонентами: Александр Аркадьевич Столыпин, брат будущего премьера, бывший редактор «Санкт-Петербургских ведомостей» и один из лидеров «Союза 17 октября». О Гапоне там было сказано следующее: «Представляю себе, каким бы он был легендарным героем, если бы год назад его удалось арестовать и правительство имело бы глупость его повесить! Этого не случилось, и достаточно было года, чтобы увяла его слава, пало его влияние и сам он сделался жертвой мелких революционных раздоров». То есть — еще одна версия, уже иная: не расправа со стороны недоискушенного Мартына, а мелкие раздоры революционеров. В том, что ради сущей мелочи они способны убить, Столыпин не сомневался. Да, российская

монархия плоха, говорил октябрист. Но социалисты, дай им власть, тысячу раз заставят о ней пожалеть.

Реакция в левой прессе себя ждать не заставила. Московский «Современник» 17 апреля помещает статью знаменитого Петра Пильского:

«Разумеется, о самоубийстве Гапона не может быть и речи. Слишком веровал этот человек в свою звезду, очень не умел он падать духом, чтобы самому подписать окончательный расчет со своей жизнью».

Но тогда кто? Гапон, замечает журналист, был «бельмом на глазу» и у революционеров, и у властей. Но убили его, скорее всего, все-таки полицейские или правые.

«Этот человек, этот ех-священник, без сомнения, имел в своих руках такие документы и располагал такими сведениями и такими связями, которые были опасны не партиям, которые компрометировали не рабочих и не левых, а — увы — иных...»

На следующий день «Двадцатый век» публикует заявление жены Рутенберга, Ольги Николаевны, урожденной Хоменко:

«Считаю заявление г. Маски клеветой, требую доказать то, что было сказано, иначе я имею право назвать публично клеветниками и автора, и редакцию “Нового Времени”, которая так услужливо предоставила для той клеветы свои столбцы».

Тем временем А. Зорин на страницах «Современной жизни» подводит итог неделе (в действительности — десяти дням) истеричных слухов и взаимных обвинений:

«Гапон арестован и сидит в тюрьме.

Гапон захвачен духовной властью и сослан в монастырь.

Гапон за границей, Гапон в Петербурге на Болотной улице, Гапон убит...

Убит? Кем?

Убит провокаторами, черной сотней, соц.-демократами, революционерами.

Тело Гапона найдено в Колпино в куче мусора; но следом опровержение, что это не Гапона, а одного из рабочих...

Он ездит по ресторанам и имеет продолжительные беседы с одним из чинов охранного отделения.

Он соблазняет известного революционера Мартына (Рутенберга) продать правительству; он находится в постоянных сношениях с какими-то женщинами и девицами...

И, наконец, убит...»

Как и Пильский, Зорин предпочитал думать, что «если убит Гапон, то не рабочими, не революционерами, не демократами».

И вдруг — на следующий день, 19 апреля — в петербургские

газеты поступает странное письмо, подписанное «Члены суда». Письмо начиналось так:

«Суд рабочих имел неопровержимые доказательства, что:

1) Георгий Гапон, вернувшись в декабре 1905 года в Россию, вступил в сношение через чиновника особых поручений при графе Витте Мануйлова и имел ряд свиданий с бывшим директором Департамента полиции Лопухиным, с товарищем (заместителем) директора департамента Рачковским и с начальником Петербургского охранного отделения полковником отдельного корпуса жандармов Герасимовым. Они обещали ему содействия при открытии отделов, если он расскажет все, что знает про революцию и революционеров. Гапон рассказал».

Следовало еще пять обвинений, в том числе в «растрате денег рабочих». Последнее — в том, что Гапон «взялся соблазнить» в агенты полиции «близкого ему человека» и был застигнут на месте преступления. «Георгия Гапона предать смерти. Приговор приведен в исполнение».

Газеты со скепсисом отнеслись к этому приговору — в том числе «Новое время», хотя он как будто подтверждал версию о неудачной вербовке Рутенберга. В номере от 21 апреля некий неназванный сподвижник Гапона утверждал: «Для меня несомненно, что суд рабочих, о котором говорится в приговоре, есть мистификация. Его убил один человек, из каких-то ему одному известных соображений. Будь эти последние соображения какой-либо из известных партий, то последние прежде всего опубликовали бы в своих нелегальных органах, а этого нет».

Логика здесь, несомненно, была.

В тот же день, когда появился «приговор», 19 апреля, другой знакомый Гапона, адвокат Сергей Павлович Марголин, получил по почте посылку с личными вещами убитого. Там были разные записки, черновик речи и — главное — ключи от сейфа номер 414 банка «Лионский кредит». В сейфе находилось 14 тысяч франков и 14 тысяч рублей. Магия цифр!

После этого сомнений в гибели хозяина сейфа уже не оставалось. Но полиция почему-то упорно отказывалась возбудить уголовное дело. Марголин недоумевал еще 16-го на страницах «Петербургского листка»: «Ведь если бы близкие кого-нибудь Ивана Ивановича заявили администрации об его исчезновении, последняя непременно и немедленно снарядила бы следствие, а тут к этому не предпринимается никаких шагов...»

Наконец, 26 апреля появилось официальное заявление:

«...Центральный комитет п. с.-р. считает нужным заявить,

что “сообщения” “Нового вр<емени>” — гнусная клевета; инженер Рутенберг никогда не состоял членом боевой организации п. с.-р.; что же касается Гапона, то за исключением нескольких случаев непосредственно после 9-го января 1905 г., он не имел никаких сношений ни с одной из партийных организаций».

По существу вопроса — об убийстве — ничего.

А через четыре дня нашли труп повешенного мужчины, в котором с редкой оперативностью опознали покойника.

Странная история. Современникам она тоже показалась странной. 17 мая — когда Гапон уже был похоронен — газета «Двадцатый век» посвятила ей заметку. Между прочим — раскрыв псевдоним «Маски» («Мы убеждены, что, сообщая это, мы не нарушаем нисколько литературной этики. Ведь тут литературой и не пахнет, а налицо сводничество полицейски-жандармских целей с газетными средствами»). И далее:

«Это авторство г. Мануйлова убеждает вполне, что полиции было отлично известно, что если Гапон убит, то труп его нужно было искать в Озерках, где он и оказался.

Тем не менее полиция в Озерках никаких поисков не производила...

Почему?

...Но в то же время ее чиновник, г. Мануйлов, пошел в редакцию близкой ему газеты и рассказал всему миру о секретных отношениях Гапона с его, г. Мануйлова, начальством, не пожалев сего последнего, лишь бы выставить Гапона человеком, который заслужил свою казнь.

Какое удивительное стремление, не жалея себя и своих, подказать обществу оправдания “суда рабочих”!! Точно эти рабочие и г. Мануйлов были из одной партии и работали вместе».

Спустя некоторое время вопрос о внешних, формальных обстоятельствах убийства Георгия Гапона в основном (хотя и не до конца) прояснился.

Другой вопрос несравнимо сложнее. как жизненный путь харизматического пролетарского вождя привел его к такой странной, страшной, бессмысленной и бесславной гибели? Что происходило с ним между 9 января 1905-го и 28 марта 1906 года?

9 ЯНВАРЯ 1905 ГОДА, ВЕЧЕР

Гапон поднял голову. Выстрелы стихли. Он был невредим. Рядом с ним на земле лежали два трупа. Один принадлежал кузнецу-великану Филиппову, телохранителю отца Георгия. Второй — Ивану Васильеву, председателю «Собрания».

Пуля как будто выбирала — кого из вождей убить, Гапона или Васильева. И выбрала — 24-летнего человека, молодого мужа и отца... «Типичный русский герой — незаметный, скромный, застенчивый даже в обыденной жизни, не любивший шумихи рекламы и вечно конфузующийся своей действительно громадной популярностью среди рабочих...» — так писал о нем журналист Симбирский. Он и имя носил незаметное, и в смерти своей стался незаметен: растворился среди десятков других жертв.

Накануне ночью Васильев написал жене:

«Нюша! Если я не вернусь и не буду жив, то, Нюша, ты не плачь, как-нибудь первое время проживешь, а потом поступи на фабрику и работай, расти Ванюру и говори, что я погиб мученической смертью, за свободу и счастье народа. Я погиб, если это будет только верно, и за ваше счастье. Расти его и развивай лучше, чтобы и он был такой же, как отец. Нюша, если я уже не вернусь, то сохрани расписку и храни ее; Ваня вырастет, я его благословляю! Скажи ему, чтобы он не забывал тебя. Пусть поймет отца, что отец погиб за благо всего народа, рабочих. Целую вас. Ваш горячо любящий отец и муж Ваня».

Стертые, «никакие» слова — а чувства искренние и трогательные. И некому было спросить вечером 8-го у бывшего ткача, а ныне профессионального профработника (по полицейской справке — «без занятий»), уроженца смоленской деревни Ивана Васильева, по какой это причине ему надо завтра быть убитым и как это поможет «всему народу».

(Мальчика Ванюру, Ивана Ивановича Васильева, воспитал Кузин. В январе 1923 года он учился в партшколе, а мать его, вдова погибшего героя революции 1905 года, была безработной, на что Кузин же обращал внимание читателей газеты «Правда».)

А попади бы пуля в Гапона — какой славой было бы овеяно его имя! Столыпин-младший был прав... Даже ловить не нужно было «попа», даже вешать — просто пуля отклонилась бы на полметра в сторону. И — никаких вопросов о том, кто и зачем организовал шествие... Никакой «гапоновщины». Никакого «попа-провокатора» не было бы в истории.

Но Гапон остался невредим. Он почти ничего не понимал, не воспринимал в эти секунды. Перед ним были расходящиеся, разбегающиеся, кричащие люди. Кто-то ткнул его в бок:

— Жив, отец?

Гапон кивнул.

— Идем! — позвал смутно знакомый человек.

Вдвоем они поползли к ближайшим воротам. Во дворе

корчились и стонали раненые, вперемешку с ними метались и что-то кричали здоровые.

Гапона узнали, окружили рабочие. Священник сбросил шубу и в ярости закричал:

— Нет больше Бога, нет больше царя!

Хорошая реплика для сцены. Гапон-актер снова вошел в образ. Он пригляделся к человеку, вместе с которым уполз с окровавленной мостовой: это был Рутенберг.

Где был теперь его вчерашний, такой продуманный план — захватить оружейные лавки, боковыми улицами пробиваться к дворцу? Шествие разбежалось, «о баррикадах нечего было и думать». Рутенберг поставил перед собой теперь одну задачу: спасти Гапона.

Спасти? Для чего? Может быть, лучше было бы, логичнее по меньшей мере, если бы Гапон и Рутенберг попытались проникнуть к дворцу и во главе остатков расстрелянного шествия призвали бы власти к ответу? Но откуда могли они знать, что до дворца кто-то все же доберется? Тем, кто возглавлял колонну на Нарвской заставе, казалось, что уже все потеряно, когда в других частях города события только начинались.

Задворками пошли к другому дому, населенному рабочими. Квартиры были заперты — испуганные жильцы никого не хотели к себе пускать. Где-то во дворе (кажется, ни Гапон, ни Рутенберг точно не могли вспомнить, где именно) Гапон снял рясу, надел чье-то пальто и шапку. Принесли ножницы, стали состригать длинные поповские волосы. Рабочие обнажили головы и протягивали руки за прядями волос, повторяя:

— Свято. Свято.

Потом рассказывали, что где-то на улицах слышались и проклятия обманщику-Гапону. Но большая часть паствы петербургского Мюнцера сохранила ему верность.

Рутенберг повел Гапона мимо Балтийского и Варшавского вокзалов — к одним знакомым, потом к другим. Расставшись с паствой, Гапон мгновенно утратил кураж и пафос. Его трясло в лихорадке, он не видел и не слышал ничего вокруг. Во всяком случае, его впечатления этих часов журналистам, помогавшим ему работать над мемуарами, пришлось задним числом придумать — на основании «Доклада комиссии, избранной Общим Собранием Присяжных Поверенных от 16 января 1905 г. по поводу событий 9—11 января», подготовленного в противовес официальной версии и отпечатанного в мае того же года (тираж конфискован), и сентиментальных корреспонденций иностранных газет: мать, рыдающая над убитым ребенком, рабочие, кричащие солдатам: «Труссы! Вас бьют в Маньчжурии, а вы стреляете в безоружных!»

Наконец, оказались в особняке Саввы Морозова. Миллионер-социалист прибыл в Петербург из Москвы в разгар забастовки: он собирался «мирить» рабочих с предпринимателями. Гапона он презирал — по многим причинам, но в этот день участвовал в его спасении.

Гапона покормили, обрили ему бороду, переодели в университетскую студенческую форму (сбылась его мечта — он все же надел эту одежду!) и отвели на квартиру к Горькому (Знаменская ул., 20), который, увидев «народного героя», по своему обыкновению разрыдался.

Рутенберг сказал: «Надо обратиться к народу». У Гапона сошло с пера только короткое воззвание к рабочим Нарвской стороны:

«Родные товарищи-рабочие! Итак, у нас больше нет царя! Неповинная кровь легла между ним и народом. Да здравствует же начало народной борьбы за свободу! Благословляю вас всех. Сегодня же буду у вас. Сейчас занят делом».

Горький тем временем составлял «послание ко всему цивилизованному миру» — отчет о хождении к властям накануне бойни, с несложной мыслью в конце: так как Святополк-Мирский, Витте, сам Николай знали от нас о мирном характере движения, вся ответственность за случившееся ложится на них.

Потом Горький с Гапоном отправились на заседание Вольного экономического общества (Московский пр., 33). Интеллигенция, по примеру рабочих, стала организовывать профсоюзы (но не для защиты своих интересов, а прямо для политической борьбы), которые должны были объединиться в Союз союзов. Заседание, посвященное этому объединению, как раз и должно было состояться в Вольном экономическом обществе. Разумеется, на самом деле речь шла только о событиях прошедшего (еще не прошедшего!) дня. Председательствовал, по одним сведениям, публицист А. И. Новиков, по другим — врач П. Ф. Лесгафт.

Горький сообщил собравшимся, что Гапон жив, и попросил дать слово «его представителю». Бритый, остриженный, в студенческой тужурке и темных очках, Георгий Аполлонович произнес речь, известную в передаче уже поминавшегося Гиммера (он успел поучаствовать в строительстве баррикад на Васильевском и поспел к вечеру на интеллигентское собрание).

Если верить Гиммеру, «посланец Гапона» зачитывал бог весть как попавшие ему в руки документы дворцового ведомства и Министерства внутренних дел. По ним выходило, что Николай пообещал Мирскому, что придет в Петербург, но что поздно вечером он имел секретное совещание с великими князьями Владимиром и Сергеем Александровичами,

что войскам был разослан приказ в пакете, который следовало вскрыть в шесть утра... Сымпровизировать все это было невозможно. Может быть, эту немудреную фальшивку сочинили «на коленке» Горький с Гапоном и Рутенбергом накануне собрания? Так или иначе, ее больше никогда не пытались пустить в ход, а сам Гапон об этих «сенсационных документах», возлагающих всю вину на императорский дом, больше нигде не упоминает.

В официальном отчете о собрании тоже никакого упоминания о них нет. Сам Гапон свое выступление описывает так:

«...Взойдя на кафедру, я сказал, что теперь время не для речей, а для действий. Рабочие доказали, что они умеют умирать, но, к несчастью, они были безоружны, а без оружия трудно бороться против штыков и револьверов. Теперь ваша очередь помочь им. Когда я сел на место, ко мне подошел почтенный старичок и подал мне револьвер, говоря: “Вот на всякий случай хорошее оружие”».

Возбужденная интеллигенция составила многословное воззвание — почему-то к офицерам (в надежде на появление новых декабристов?):

«Мы пишем эти строки в ужасный день, который никогда не забудет Россия, мы пишем под свежим впечатлением только что пролитой крови на улицах столицы... Гг. офицеры! В истощенной экономически стране голодовки давно уже сделались хроническими. Массы обречены на непосильный труд, на неисходную нужду, на неизбежное вымирание. Насильственно удерживаемое в невежестве население лишено возможности развить свои силы. Личная энергия и народное творчество скованы бюрократической опекой и обессилены всепроникающим произволом. Так дальше жить нельзя... России нужна конституция... Стремление к новым свободным формам неодолимо, без них дальнейшая жизнь невозможна. Этим выходом воспользовались уже все культурные страны. На этом пути нашла свою силу и та страна, с которой мы теперь безуспешно воюем — Япония. Только русское правительство не может и не хочет понять то, чего требует история... Офицеры русского войска! Вы люди долга. Вы взяли на себя великую обязанность отдать, если нужно, даже свою за отечество жизнь. Спросите же вашу совесть: где ваше место? С безумцами ли, готовыми всегда пролить кровь, или с многострадальным народом? <...>»

И т. д. и т. п.

Письмо подписали 459 человек. Через несколько дней, когда запахло жареным, лист с подписями сожгли. Письмо распространялось, размноженное на гектографе, с извещением о количестве подписавших, но без имен.

В середине собрания Гапона (обсуждавшего в кулуарах с Рутенбергом поиски оружия для всеобщего народного восстания: оба еще видели себя во главе этого очистительного мятежа, позор, пережитый несколькими часами раньше у Нарвских ворот, стерся из их памяти) спешно увезли: кому-то показалось, что пришла полиция.

Рутенберг, близко наблюдавший Гапона в эти дни, пронизательно замечает: на людях переодетый отец Георгий воодушевлялся, наедине с немногими близкими — скисал, впадал в робость, тревогу. Так было и накануне 9 января, но все же не в такой степени. Однако после выступления в Вольном экономическом обществе энтузиазм еще некоторое время владел им. В порыве вдохновения он написал еще одно «Послание к рабочим»:

«Родные товарищи рабочие! Неповинная народная кровь пролилась! Затаим же чувство злобы и мести к зверю-царю и его шакалам-министрам. И, верьте, близок, близок тот день, когда рабочая рать более грозная, более сознательная встанет, как один человек, встанет за свою свободу, за свободу всей России. Не плачьте же по погибшим героям, утешьтесь: мы разбиты, но не побеждены. Разорвем лучше все портреты кровопийцы-царя и скажем ему: да будь ты проклят со всем своим августейшим змеиным отродьем!»

Отчаяние и подавленное чувство вины трансформировались у недавнего вождя верноподданного шествия в гипертрофированную ненависть к «зверю-царю» и «шакалам-министрам». Рутенберг, которому Гапон наутро показал этот текст, не одобрил его. Следующее, третье по счету письмо было написано ими уже вдвоем — причем Рутенберг уверяет, что большая часть текста принадлежит ему:

«...Братья-товарищи, рабочие всей России! Вы не станете на работу, пока не добьетесь свободы. Пищу, чтобы накормить себя, своих жен и детей, и оружие разрешаю вам брать, где и как сможете. Бомбы, динамит — все разрешаю. Не грабьте только частных жилищ и лавок, где нет ни еды, ни оружия; не грабьте бедняков, избегайте насилия над невинными. Лучше оставить десять сомнительных негодяев, чем уничтожить одного невинного...»

Еще одно короткое послание было обращено к военным людям:

«Солдатам и офицерам, убивавшим своих невинных братьев, их жен и детей, и всем угнетателям народа, — мое пас-тырское проклятие; солдатам, которые будут помогать народу добиваться свободы, — мое благословение. Их солдатскую клятву изменнику царю, приказавшему пролить неповинную народную кровь, разрешаю».

Со стороны это выглядит почти смешно. Гапон кажется охваченным манией величия. Он принимает на себя функции всех земных и духовных властей, одно дозволяет, другое запрещает, разрешает присяги, накладывает проклятия. На самом деле он был сейчас всего лишь демагогом-одиночкой, скрывающимся от полиции в доме модного писателя. Но образ Гапона-пророка существовал уже отдельно от человеческой персоны. Инженер Рутенберг, который отнюдь не был талантливым оратором или тонким стилистом, входя в образ, без труда имитировал гапоновскую манеру. Или заразился ею?

Возбужденный своими литературными трудами, Гапон около полуночи вышел из дома Горького и отправился на извозчике в штабы Московского и Невского отделений. Там никого не было, здания были оцеплены полицией. Гапон вернулся к Горькому и лег спать.

Горький в это время писал жене Е. П. Пешковой: «Итак — началась русская революция, мой друг, с чем тебя искренно и серьезно поздравляю. Убитые — да не смущают — история перекрашивается в новые цвета только кровью. Завтра ждем событий более ярких и героизма борцов, хотя, конечно, с голыми руками — немного сделаешь».

Правительство и революционеры обвиняли друг друга в намеренном провоцировании трагедии. На самом деле ни те ни другие не были в этом виновны — просто потому, что не контролировали ситуацию. Но как отнестись к писателю-гуманисту, который на фоне десятков свежих трупов, трупов невинных безоружных людей, *поздравляет* адресата письма с начавшейся революцией? И кто хуже — совершившие по глупости и неумению преступление или радующиеся его последствиям?

«По другую сторону баррикад» в это время происходило следующее.

В восьмом часу Дмитрий Николаевич Любимов вышел из дома и отправился в Министерство внутренних дел. Невский выглядел в это время, по его словам, так:

«Толпы возвращались в большом беспорядке, многие терялись в толпе, родители искали детей, дети родителей, со скрытым ужасом — живы ли. Отовсюду тянулись печальные процессии фургонов с убитыми и ранеными... Не было криков, песен, ни одного революционного возгласа, напротив, какая-то зловещая тишина, везде хмурые лица... Толпа вела себя сосредоточенно. Только на боковых улицах были хулиганские выступления, производимые рабочими и разными темными лицами, неизвестно откуда появившимися. Какого-то генера-

ла высадили из саней на Казанской. Кидали снежками и осыпали ругательствами проезжавших в экипажах дам. Жена моя, ехавшая в парных санях, попала в густую толпу на Красном мосту. Кто-то вскочил на подножку сзади саней и рванул ее меховую ротонду так, что оторвал воротник».

Войдя в министерство, Любимов увидел Лопухина и Родзевского, выходящих из кабинета Мирского. Любимов вошел к министру. Тот в волнении ходил по кабинету и курил. Все ждали Фуллона, неизвестно куда девшегося. Ждали почему-то с раздражением, с озлоблением. Видимо, все как-то подсознательно решили сделать добряка-градоначальника козлом отпущения.

Но вот Фуллон, усталый, едва передвигающий ноги, вошел — и раздражение сразу же исчезло. Фуллон был на Васильевском: брал штурмом баррикады. Возможно, он примерял на себя судьбу графа Милорадовича, чье попустительское дело возмужным восстание 14 декабря, — герой 1812 года искупил свою вину перед молодым царем смертью от пули Каховского. Но Фуллона пуля миновала, и он должен был как-то распорядиться своей судьбой. Он молча протянул Мирскому сложенный лист бумаги: это было прошение об отставке.

Мирский взял рапорт Фуллона и попросил всех присесть к круглому столу, чтобы обсудить положение. Когда все уселись, он задал сакраментальный вопрос: *кто приказал стрелять?* Если не градоначальник (которому приходится сейчас отвечать за всех), то почему?

Фуллон сказал, что «был лишен возможности распорядиться» — власть передали военным, а между тем официально военное положение не объявлялось. К тому же демонстранты столкнулись с войсками в разное время в разных районах — как было уследить за происходящим?

Дурново заметил, что вся ошибка была в том, что в город вели пехотные части — казаки и кавалерия разогнали бы толпу нагайками без всякой стрельбы.

Генерал Мешечич не согласился. Если войска не должны были стрелять, то зачем их вообще вводили в город — не для парада же? И вообще, есть четкие правила, уставы, если толпа, невзирая на трехкратные предупреждения, не расходится, то...

В это время в кабинет вошел курьер и шепотом доложил: «Приехал генерал Трепов и желает немедленно видеть министра...»

Любимов вышел в приемную. Там стоял Трепов в парадной форме. Любимов и Трепов были знакомы, но бывший московский полицмейстер не ответил на приветствие. Официальным голосом он объявил:

— Прошу вас, несмотря на заседание, сейчас же доложить министру внутренних дел, что по высочайшему повелению к нему прибыл Санкт-Петербургский генерал-губернатор.

Ошарашенный Любимов прошел в кабинет к Мирскому и передал слова гостя. Мирский в растерянности вышел, через несколько минут вернулся и закрыл заседание «ввиду его бессмысленности». Государь назначил Трепова генерал-губернатором «с особыми полномочиями». Ему и предстояло расхлебывать кровавую кашу, по недоразумению заваренную его предшественниками. Милыми, добрыми, либеральными, по большей части, людьми...

Сама должность Санкт-Петербургского губернатора вновь учреждалась (до этого, с 1866 года, со времени каракозовского выстрела, столицу возглавляли градоначальники с губернаторскими правами). А особые полномочия заключались в том, что Трепову подчинялись прокуратура и учебные заведения. И то и другое было противозаконно (университеты, например, пользовались автономией), и гибкий, при всей своей власти, Трепов попросил Любимова при составлении официальной бумаги о своем назначении «изложить это так, чтобы не бросалось в глаза... важно то, чтобы при случае я мог этим воспользоваться...». «Воспользоваться» пришлось уже в первые дни.

Выходя вместе с Любимовым из здания министерства, Святополк-Мирский сказал:

— Я, в сущности, уже не министр... Завтра подаю рапорт об увольнении.

Назначение Трепова (по совету Мосолова) было главным (и единственным) действием Николая II в этот день. Сам государь оставался в Царском и с министрами в течение вечера не связывался. В дневнике он записал следующее: «Тяжелый день! В Петербурге произошли серьезные беспорядки вследствие желаний рабочих дойти до Зимнего дворца. Войска должны были стрелять в разных местах города, было много убитых и раненых. Господи, как больно и тяжело! Мама приехала к нам из города прямо к обедне. Завтракали со всеми. Гулял с Мишей. Мама осталась у нас на ночь».

На следующий день были объявлены первые цифры убитых (76 человек) и раненых (233). Потом официальная численность погибших росла: кто-то умер в больницах, из каких-то мертвецких поступили добавочные сведения. 18 января были опубликованы списки из 119 убитых. Иван Васильев в этом списке есть, а молотобойца Филиппова — нет. Но упомянуто еще об одиннадцати неопознанных. Итого — 130 трупов.

Общество всегда при крупных бедствиях или смутах склонно не верить официальным цифрам и противопоставлять им собственные, взятые более или менее с потолка. Так было при наводнении 1824 года, так было — уже на нашей памяти — в октябре 1993-го. Сообщения о двух, четырех, пяти тысячах убитых 9 января не стоит принимать всерьез — сам же Гапон им не верил, он говорил о шестистах, самое большее о девятистах. И шестисот, конечно, быть не могло. Власти не лгали. И все-таки официальные цифры могут быть не совсем полны: они основывались на сообщениях из больниц, а некоторые тела родственники сразу же уносили домой. Нет в официальном списке ни одного малого ребенка (есть несколько пятнадцатилетних подростков) — а многие, очень многие видели убитых мальчишек, например, «снятых» выстрелами с деревьев. Некоторые историки допускают цифру в 150, может быть, даже 200 погибших.

Не все убитые были опознаны сразу. Были пропавшие без вести, которых днями разыскивали близкие. По свежим следам написано стихотворение Федора Сологуба «Искали дочь» — возможно, лучший (нетривиальнейший) литературный отклик на трагедию:

...По участкам, по больницам
(Где пускали, где и нет)
Мы склоняли к многим лицам
Тусклых свеч неровный свет.

Бросали груды страшных тел
В подвал сырой.
Туда пустить нас не хотел
Городовой.

Скорби пламенной язык ли,
Деньги ль дверь открыли нам, —
Рано утром мы проникли
В тьму, к поверженным телам.

Ступени скользкие веди
В сырую мглу, —
Под грудой тел мы дочь нашли
Там, на полу...

Если взять официальный список, то почти все погибшие — рабочие, а также приказчики и «мальчики» из лавок; кроме них — три студента, один торговец, один зубной врач (женщина), один булочник (германский подданный), дядька Александровского лица и поминавшийся уже надзиратель Шорников. Женщин всего три. Национальный состав — смешанный, есть латыши, евреи, поляки, финны, но все-таки девять десятых —

русские. Среди убитых было несколько членов РСДРП, но, кажется, ни одного эсера. Никто из известных людей, кроме Васильева, не погиб. Среди раненых (у дворца) — студент Михаил Фрунзе, будущий красный военачальник в Гражданскую войну.

Это были только первые жертвы первой из русских революций XX века. Уже в следующие дни их число стало прибавляться.

УМИРОТВОРЕНИЕ

Убитых начали хоронить той же ночью на Преображенском, Смоленском и Успенском кладбищах — в братских могилах, чтобы избежать погребальных церемоний с крамольными речами. Только на Митрофаньевском хоронили открыто. Эти тайные похороны были очередной ошибкой: власти словно оскорбляли убитых ими людей, отказывая им в полноценном погребении, и одновременно плодили слухи о несчетных трупах.

Вот как увидел Петербург 10 января корреспондент «Освобождения»:

«Весь город имеет вид осажденного. Магазины, редакции, театры — все закрыто. Правительственные учреждения закрыты, потому что чиновники разбежались... Суд закрыт, адвокаты объявили, что не могут защищать, когда на улицах льется кровь. Вечером на улицах темно. Электричество горит только на некоторых улицах. Жителям центральных частей предложено не выходить из дому, после того как будут погашены огни. Но и днем выходить опасно. Стрельба то разгорается, то смолкает по всему городу».

На самом деле стрельба продолжалась только на Васильевском острове, который с утра опять частично перешел в руки «повстанцев», главным образом из числа учащейся молодежи. Они следили даже за ценами в лавках, требуя, чтобы они не поднимались выше уровня 8 января. В остальной части города наблюдалось стремительное подорожание всех продуктов — в особенности керосина. К забастовке присоединились электростанции — Невский от Казанского собора до Николаевского вокзала был обесточен. Горожане вспомнили, как жилось им всего 15 лет назад, когда никакого электричества в столице не было, и это оказалось шоком: все равно что нас на день лишили бы Интернета и мобильной связи.

Продолжались начавшиеся еще в воскресенье грабежи лавок и винных складов, особенно на Васильевском и в Петербургской части. Гостиный Двор был закрыт, но некоторые

магазины (с выбитыми стрельбой стеклами) все же работали (корреспондент «Освобождения» сгущает краски) — и даже в Александринском театре в положенное время начался спектакль, но прервался после первого акта: в антракте неизвестный мужчина («назвавшийся членом Вольного экономического общества») поднялся со своего места в партере, произнес пламенную речь и «в заключение выразил убеждение, что теперь время траура, а не веселья, и что, кто останется в театре, тот бесчестный человек». Первого оратора поддержал второй — университетский студент Портянко. Публика согласилась и разошлась, спектакль доигрывать не стали.

Умиротворение по-треповски было на редкость растерянным и нелепым. Арестовали зачем-то интеллигентов, ходивших к Витте и Мирскому. Горький успел уехать в Ригу и был арестован там 11 января. Его с помпой привезли в столицу, посадили в крепость... и через два дня освободили под залог в 10 тысяч рублей (самый успешный беллетрист России был состоятельным человеком и мог позволить себе заплатить за свою свободу такую сумму). Литераторам, профессорам и адвокатам инкриминировали организацию «временного правительства». Трепов всерьез подозревал их в том, что именно они и являются организаторами крамольного шествия. Основных деятелей «Собрания фабрично-заводских рабочих» тоже арестовали, но уже в феврале выпустили. Рабочие-гапоновцы, лишившиеся лидеров, в конце января несколько раз собирались под председательством Стечькина. Последнего тоже привлекли к дознанию. В общем, ничего выяснить не удалось, так как выяснять было нечего: за стихийным движением не стояло никакого заговора, ничьей злой или доброй воли.

Петербург постепенно затих (на некоторое время) сам по себе. 11-го войска были возвращены в казармы — для поддержания порядка достаточно было уже только казачьих патрулей. На электростанции послали солдат из электротехнической школы, которые с успехом заменили забастовщиков. Керосин завезли. Баррикады разобрали. На Васильевском мастеровые уже, случалось, избивали студентов.

Между тем у рабочих заканчивались деньги. Здоровые мужчины просили милостыню на перекрестках, ломбарды были переполнены. Люди брали крохотные ссуды — от рубля до трех — под залог носильной одежды. В понедельник по всему городу работало всего семь промышленных предприятий, с 1255 рабочими. Во вторник рабочие начали возвращаться к станкам: работало 28 «заведений» с 3300 рабочими. Еще днем позже — 75 заведений, 11 050 рабочих... И так далее. Путиловский завод заработал 18-го. К концу месяца забастов-

ка в Петербурге закончилась. Правда, теперь она перекинулась на другие города — Москву, Ревель, Ригу, на всю Прибалтику и Западный край. Но все-таки надежды на то, что стремительная волна народного гнева снесет самодержавие, не оправдались. Жизнь в стране продолжалась, и у правителей оставалисьходы в запасе. Уж как они ими распорядились — это другой вопрос...

Из газет 10 января вышли только «Санкт-Петербургские ведомости» и «Ведомости Петербургского градоначальства» — официоз. В обоих напечатан одинаковый текст с изложением утвержденной версии событий:

«...Священником Гапоном была составлена и распространена петиция от рабочих на Высочайшее Имя, в коей рядом с пожеланиями об изменении условий труда были изложены дерзкие требования политического свойства. В рабочей среде был распушен слух и распространены письменные заявления о необходимости собраться к 2 час. дня 9-го января на Дворцовой площади и через священника Гапона представить Государю Императору прошение о нуждах рабочего сословия; и в этих слухах и заявлениях о требованиях политического характера умалчивалось, и большинство рабочих вводилось в заблуждение о цели созыва на Дворцовую площадь.

Фанатическая проповедь, которую в забвении святости своего сана вел священник Гапон, и преступная агитация злонамеренных лиц возбудили рабочих настолько, что они 9-го января огромными толпами стали направляться к центру города. В некоторых местах между ними и войсками, вследствие упорного сопротивления толпы подчиниться требованиям разойтись, а иногда даже нападения на войска, произошли кровопролитные столкновения...»

В Телеграфном агентстве тем временем собрались редакторы независимых газет. После долгих дебатов было принято следующее заявление:

«Совещание редакторов ежедневных изданий Санкт-Петербурга признает необходимым, в особенности в настоящее трудное и тяжелое время, ныне же предоставить печати полную свободу сообщения фактов и событий общественной жизни и обсуждения их.

Собрание редакторов вместе с тем считает своим долгом заявить, что, по его совершенному убеждению, является необходимым созыв Земского собора для устройства государственного порядка в России. Собор этот должен состоять из свободно избранных представителей всех сословий и классов населения

и пользоваться неограниченной свободой прений и постановлений. Собрания Земского собора должны происходить при полной гласности».

Этот текст подписали редакторы всех изданий, всех направлений — вплоть до «Нового времени», и с этим текстом они явились к Мирскому. Досиживавший в своем кресле последние дни министр (официальная отставка состоялась только 18-го — творец «весны» еще немного помедлил, тщетно рассчитывая, что его попросят остаться) просто запретил газетчикам печатать о Кровавом воскресенье что бы то ни было, кроме казенного «релиза». С 13-го выход всех газет возобновился.

Днем раньше было напечатано обращение к рабочим, подписанное Треповым и Коковцовым, — довольно мягкое и примирительное по тону:

«...В пору волнений немислима спокойная и благожелательная работа Правительства на пользу рабочих. Удовлетворение их заявлений, как бы справедливы они ни были, не может быть последствием беспорядка и упорства.

Рабочие должны облегчить Правительству лежащую на нем задачу по улучшению их быта и могут сделать это только одним путем: отойти от тех, кому нужна одна смута, кому чужды истинные пользы рабочих, как чужды и истинные интересы родины, и кто выставил их только как предлог, чтобы вызвать волнения, ничего общего с этими пользами не имеющие. Они должны возвратиться к своему обычному труду, который столько же нужен Государству, сколько и самим рабочим, так как без него они обрекают на нищету самих себя, своих жен и детей. И, возвращаясь к работе, пусть знает трудящийся люд, что его нужды близки сердцу Государя Императора так же, как и нужды всех Его верных подданных, что Его Величество еще столь недавно повелеть соизволил, по личному Своему соизволению, приступить к разработке вопроса о страховании рабочих, имеющем свою задачу обеспечить их на случай увечья и болезни, что этою мерою не исчерпываются заботы Государя Императора о благе рабочих и что, одновременно с сим, с соизволения Его Императорского Величества, Министерство Финансов готово приступить к разработке закона о дальнейшем сокращении рабочего времени и таких мер, которые дали бы рабочему люду законные способы обсуждать и заявлять о своих нуждах.

Пусть знают также рабочие фабрик, заводов и других промышленных заведений, что, вернувшись к труду, они могут рассчитывать на защиту Правительством неприкосновенности их самих, семейств их и домашнего их очага. Правительство

оградит тех, кто желает и готов трудиться, от преступного посягательства на свободу их труда злонамеренных людей, громко взывающих к свободе, но понимающих ее только как свое право не допускать путем насилия до работы своих же товарищей, готовых вернуться к мирному труду».

Этот текст — да десятью бы днями раньше. Может, и был бы толк...

Синод сказал свое слово 14 января, и оно было, естественно, более витиеватым и притом более строгим:

«...Люди русские, искони православные, от лет древних навывшие стоять за Веру, Царя и Отечество, подстрекаемые людьми злонамеренными, врагами Отечества, домашними и иноземными, десятками тысяч побросали свои мирные занятия, решились скопом и насилием добиваться своих будто бы поправленных прав, причинили множество беспокойств и волнений мирным жителям, многих оставили без куска хлеба, а иных из своих соображений привели к напрасной смерти, без покаяния, с озлоблением в сердце, с хулою и бранью на устах. Преступные подстрекатели простых рабочих людей, имея в своей среде недостойного священнослужителя, дерзновенно поправшего святыне обеты и ныне подлежащего суду Церкви, не устыдились дать в руки обманутым ими рабочим насильственно взятые из часовни честный крест, святыне иконы и хоругви, дабы, под охраною чтимых верующими святынь, вернее вести их к беспорядку, а иных на гибель...»

Именно здесь впервые прозвучали слова о финансировании беспорядков из-за рубежа, о «подкупках врагов России». На следующий день в «Новом времени» и «Русском инвалиде» были напечатаны сообщения от неких лондонских корреспондентов о 18 миллионах рублей, якобы выделенных японским правительством на организацию беспорядков в России. Телеграммы эти были наскоро сочинены одним из российских агентов в Европе. При этом японская разведка в самом деле финансировала через разные каналы российское революционное движение (у нас об этом еще пойдет речь), но как раз к событиям 9 января она не имела никакого отношения.

Что касается «недостойного священнослужителя», то он был 19 января запрещен в служении и выведен за штат, вызван на суд консистории, естественно, не явился туда и 10 марта (по представлению митрополита Антония от 4 марта) был окончательно лишен сана. Основания следующие: руководство «Собранием» без разрешения архиерея (нарушено 39-е апостольское правило и 57-е правило Лаодикийского собора); самовольное устройство крестного хода (соответственно 18-е и 34-е правила Халкидонского и Константинопольского

соборов); побуждение рабочих идти к царю (11-е правило Антиохийского собора). С точки зрения церковного права этот приговор был, как указывает опубликовавший его в 1925 году Н. Авидонов, небезупречен, однако не в большей степени, чем аналогичные решения о других священниках левых взглядов (Г. Петрове, Бриллиантове и пр.), принимавшиеся Синодом в 1905—1906 годах*.

Для Гапона, который прежде несколько раз сам думал о снятии сана, это решение оказалось очень болезненным. «Потеря рясы трагически сгубила Гапона», — писал Стецкий три года спустя после гибели бывшего «отца Георгия». Харизматический проповедник превратился в «человека в пиджаке, к которому не подойдет под благословение ни рабочий, ни набожная высокопоставленная дама». Сам Гапон признавался А. Грибовскому: «Ах, если бы вы знали, сколько я потерял после того, как перестал быть священником. Я стал как Самсон, у которого отрезали волосы».

Но в январе 1905 года Гапон не был еще для своей паствы «человеком в пиджаке». Для большинства все еще был «батюшкой», пророком, героем. И решения Синода, и его увещевания значили так же мало, как примирительные заявления Трепова и Кокковцова, сопровождавшиеся нелепыми арестами.

Казенная пресса (причем не петербургская, а московская) пыталась бороться с популярностью Гапона с помощью «сбросов компромата» самого грубого толка. «Московские ведомости» за 24 января перепечатали пассаж из «Отчета Приюта Синого Креста» за 1902 год, в котором поминалась воспитанница Уздалева. В той же статье со ссылкой на газету «Deutsch» (№ 18) утверждалось, что «Гапона уже в 16 лет вынуждены были исключить из семинарии за его сношения с женщинами. Молодой человек поступил тогда писцом в статистическую управу Полтавского земства. Горячая восточная кровь (автор предполагает, что Гапон из крещеных евреев) сблизила его с красивой молодой нигилисткой, тоже еврейкой, внушившей ему мысль привести народ к революции окольными путями, в рясе священника и под маской патриота. Благодаря протекции либерального превосходительства “раскаявшийся” Гапон сно-

* Например, 11-е правило Антиохийского собора звучит так: «Если какой-нибудь епископ или пресвитер, или вообще кто-либо из клира, без соизволения и грамот от епископов области, и, тем более, от епископа Митрополии, дерзнет отойти к царю, таковой да будет отрешен и лишен не только общения, но и достоинства, какое имел, как дерзнувший, вопреки правилам Церкви, досаждать слуху нашего боголюбезного царя. Если же необходимая нужда заставит кого-либо идти к царю, таковой да творит сие с рассмотрением и соизволением епископа Митрополии и прочих епископов той области, и да напутствуется грамотами от них».

ва был принят в семинарию...». Все это писал в немецкой газете явно какой-то русский правительственный агент, что-то слышавший о настоящих подробностях биографии Гапона, которые он трансформировал в желательном для своих заказчиков направлении. Наконец, сообщалось, что якобы одна из заключенных пересыльной тюрьмы подавала жалобу на соблазнившего и обрюхатившего ее отца Георгия*.

Переходя от этих пикантностей к политике, публицист Н. Михайлов констатировал: «За два дня у большинства городского населения исчезли симпатии к демократическому движению. И это все-таки заслуга Гапона, хотя и не желательная ему. Теперь этот Мефистофель в рясе навсегда кончил свою роль».

Кажется, что журналист находился где-то в другой Вселенной. Верил ли он сам в свои слова?

Нельзя сказать, что в высшем руководстве страны не было людей, которые понимали всю недостаточность предпринимаемых мер, и практических, и пропагандистских, или что голос этих людей был совсем не слышен.

Александр Сергеевич Ермолов, министр земледелия и государственных имуществ, в своем дневнике так передает свой разговор с Николаем II 15 января:

«Государь. Я смерти не боюсь, верю в промысел Божий, но знаю, что не имею права рисковать своей жизнью.

<Ермолов> Да, не имеете права рисковать, не должны рисковать, но вам необходимо подумать о том, на каких началах самодержавное правление ваше должно найти свою опору. На одну вооруженную силу, на одни войска вам опираться нельзя. 9 января войска выполнили тяжелую выпавшую на их долю задачу — стрелять в беззащитную толпу. Волнения, происходившие в Петербурге, теперь перекинулись в большую часть городов России. И везде приходится усмирять их вооруженною силою. Покуда это еще удается, и войска исполняют свой долг, но, во-первых, что придется делать тогда, когда беспорядки из городов перейдут в селения, когда поднимутся крестьяне, когда начнется резня в деревнях — какими силами и какими войсками усмирять тогда эту новую пугачевщину, которая разольется по всей земле, а во-вторых, ваше величество, можно ли быть уверенным, что войска, которые слушались своих офицеров и стреляли в народ, но которые вышли из этого же са-

* Эти сведения внимательно читал Ленин в Женеве — и делал из газеты выписки. Его резюме такое: «Рыжий урод!» К кому это относится — к Гапону или автору статьи? И если к Гапону, то чего здесь больше — высоконравственного негодования или восхищения приписываемым вождю 9 января жизненным? И почему, кстати, «рыжий»?

мого народа, которые даже теперь находятся в постоянном общении с населением, которые слышали вопли и проклятия, к ним обращенные со стороны их жертв, — при повторении подобных случаев поступят так же?»

Ермолов критикует правительство за то, что оно не шло на встречу рабочим, а «в то же время устраивались собрания фабрикантов и их мнения принимали в расчет». Что до самого рокового дня, то вот что говорит царю его министр: «Я не знаю, можно ли было вашему величеству выйти к этой толпе, но я думаю, что ее заявления должны были быть заблаговременно выслушаны и рассмотрены, и быть может, вашему величеству можно было бы заранее объявить, что Вы примете депутацию от рабочих... К сожалению, таких предупредительных мер принято не было, и роковые события произошли. Но нужно, чтобы Ваше величество в той или иной форме обратились к народу со своим царским словом...»

И Николай не обрывает Ермолова, не возмущается его дерзостью, даже не спорит с ним — нет, он смиренно отвечает, что да, у него уже заготовлено несколько «проектов таких манифестов»...

Ермолов говорит о том, что по городу ходят барышни, собирают деньги в пользу пострадавших 9 января, что и он сам, если бы к нему обратились, что-то дал бы, что правительство, ради своей репутации, должно выделить средства искалеченным и семьям, потерявшим кормильцев. Ведь большая часть пострадавших — не злоумышленники, а верноподданные, не знавшие, кто и зачем их ведет ко дворцу (такова — напомним — официальная версия).

И Николай соглашается. Выделили — 50 тысяч*.

Но Ермолов еще не закончил. Одна из причин трагедии — в том, что в России «по существу правительства нет, а есть отдельные министры, между которыми, как по клеточкам, поделено государственное управление. Каждый из нас знает свою часть, но что делают остальные министры, иногда даже в области совершенно однородных дел, мы не знаем и не имеем никакой возможности узнать».

И тут Николай соглашается. Он признает, что надо регулярно устраивать совещания министров. Такие совещания действительно становятся регулярными — а значит, статус председателя Совета министров, первоприсутствующего на таких совещаниях, резко возрастает. Витте, предусмотрительно умывший руки, оказывается бенефициантом катастрофы.

Ермолову, однако, все мало. Он начинает издали, ведет

* Еще 25 тысяч рублей выделила городская дума. Обсуждение вопроса сопровождалось весьма крамольными речами некоторых депутатов.

речь осторожнее некуда — и вот наконец произносит роковые слова: «...Необходимость привлечения к участию в законодательной работе представителей населения».

Казалось бы — всё, весна закончена, начались треповские морозы, а эти либералы все не унимаются! Николай, однако, растерян настолько, что и тут не спорит, а просит Ермолова изложить свои предположения письменно. И тот в строго засекреченном письме призывает Николая созвать Всенародную земскую думу. Это не Гапон, не члены Вольного экономического общества, не редакторы газет, это министр пишет царю! «Существует опасение, что в собрании этих представителей могут подняться голоса о коренном изменении вековых устоев русской жизни, об ограничении царской власти, о конституции; что Земский Собор может превратиться в учредительное собрание...» Нет, нет, уверяет Ермолов — «эти единичные голоса будут заглушены огромным большинством, верным народным преданием». Прекраснодушие или тонкое коварство? Буквально следующая фраза: «Когда назреет время, жалует русский царь своему народу и конституцию». Вот до чего мы тихой сапой договорились. Понимал ли Ермолов, как быстро настанет это время? Предполагал ли он, что всего через девять месяцев и конституции — «куцей», но конституции — окажется мало для прекращения смуты?

С манифестом к народу Николай так и не обратился, хотя Ермолов был не единственным, кто призывал его нарушить молчание. 11 января Коковцов писал царю: «В такую минуту, когда улицы столицы обагрились кровью, голос министра или даже всех министров вместе не будет услышан народом. Это слово должно принадлежать только Вашему Императорскому Величеству, и перед Вашим голосом не могут не склониться поднявшиеся непокорные головы...» В этих словах сквозит настоящее отчаяние — отчаяние царского слуги, который в решительный момент видит на троне бесплотную тень, пустое место.

Наконец, 19 января Трепов устроил спектакль, который может служить историческим примером того, в какую нелепость можно превратить в принципе правильную идею.

18-го к генерал-губернатору в Зимний (Трепов жил и работал в Зимнем дворце) вызвали нескольких крупных заводчиков и фабрикантов. Трепов предложил предпринимателям отобрать депутатов от рабочих их предприятий (от каждого большого завода — по человеку, а от Путиловского — по два), но таких, чтобы они были авторитетны среди самих рабочих — для встречи с государем. Как сообщает корреспондент «Освобождения», «когда один из предпринимателей заметил Тре-

пову, что вряд ли голос выбранных таким образом депутатов будет авторитетен для рабочих, тот грубо оборвал его возгласом: “Этот вопрос обсуждению не подлежит” и затем прибавил: “я не виноват, что гг. фабриканты не умеют внушить к себе уважения и доверия рабочих настолько, что выбранное ими лицо может служить авторитетом для других”». В конце концов полиция, кажется, стала набирать «представителей» сама, без помощи заводчиков — и довольно оригинальными способами. Так, один из депутатов от путиловцев был арестован у себя дома, доставлен в охранное отделение, а оттуда — в Зимний.

На следующий день 34 рабочих, которым никто не объяснил, куда и зачем их везут, экстренным поездом были доставлены в Царское. Только в Александровском дворце Трепов объяснил им, какая встреча им предстоит. В суматохе никому не известных людей, которым предстояло оказаться в одной комнате с государем, даже не обыскали.

Встреча, по большинству описаний, заключалась в следующем. В комнату, где стояли рабочие, вошел царь в сопровождении Коковцова, министра двора Фридерикса и нескольких генералов свиты, невнятно, волнуясь, прочитал по бумажке речь, сказал: «Прощайте, братцы» — и вышел. Рабочих накормили обедом, сытным, но подчеркнуто «простонародным» (щи, разварная рыба, куры, чай со сливками), угостили водкой (понемногу — четыре бутылки на всех) и пивом и раздали отпечатанный на гектографе текст царской речи. На следующий день она была перепечатана в газетах.

«Я вызвал вас для того, чтобы вы могли лично от Меня услышать слово Мое и непосредственно передать его вашим товарищам.

Прискорбные события с печальными, но неизбежными последствиями смуты произошли от того, что вы дали себя вовлечь в заблуждение и обман изменниками и врагами нашей родины.

Приглашая вас идти подавать Мне прошение о нуждах ваших, они поднимали вас на бунт против Меня и Моего Правительства, насильственно отрывая вас от честного труда в такое время, когда все истинно-русские люди должны дружно и не покладая рук работать на одоление нашего упорного внешнего врага.

Стачки и мятежные сборища только возбуждают безработную толпу к таким беспорядкам, которые всегда заставляли и будут заставлять власти прибегать к военной силе, а это неизбежно вызывает и неповинные жертвы.

Знаю, что не легка жизнь рабочего. Многое надо улучшить и упорядочить, но имейте терпение. Вы сами по совести по-

нимаете, что следует быть справедливым и к вашим хозяевам и считаться с условиями нашей промышленности. Но мятежною толпою заявлять Мне о своих нуждах — преступно.

В попечениях Моих о рабочих людях озабочусь, чтобы все возможное к улучшению быта их было сделано и чтобы обеспечить им впредь законные пути для выяснения назревших их нужд.

Я верю в честные чувства рабочих людей и в непоколебимую преданность их Мне, а потому прощаю им вину их.

Теперь возвращайтесь к мирному труду вашему, благословясь, принимайтесь за дело вместе с вашими товарищами, и да будет Бог вам в помощь»*.

Уже это было достаточно бестактно. Понятно, какова была реакция революционной прессы: «убийца прощает своих жертв!» Слова о прощении заслонили другие, важные, хотя и неопределенные: о законных путях, которые могут быть предоставлены рабочему движению.

Но если бы Николай сказал только это! В гектографированном тексте был еще один абзац — такой:

«Что вы будете делать со свободным временем, если вы будете работать не более 8 часов? Я, царь, работаю сам по 9 часов в день, и моя работа напряженнее, ибо вы работаете для себя только, а я работаю для вас всех. Если у вас будет свободное время, то будете заниматься политикой; но я этого не потерплю. Ваша единственная цель — ваша работа».

Это, скорее всего, была царская отсебятина, даже стилистически выламывающаяся из подготовленной Треповым и Кокцовым речи; Николаю, вероятно, казалось, что он здесь следует традиции Петра Великого (впрочем, им нелюбимого), ставя себя, труженика, на одну доску с подданными простолюдинами, призывая их следовать своему примеру, — а на самом деле он унижал людей, обреченных жизнью на механический труд, отказывая им в праве не то что заниматься политикой, а просто читать, думать, учиться. Из печатного варианта этот абзац предусмотрительно изъяли.

Понятно, что рабочих, ездивших в Царское, ожидали насмешки товарищей — в лучшем случае. Вместо исправления репутации власти вышел новый конфуз**.

* А. И. Спиридович описывает обмен репликами, якобы состоявшийся у Николая с представителями рабочих. Будто бы рабочие вели речь об участии в прибылях предприятий, царь ответил им, что не может этого приказать, так же как не может приказать рабочему работать за меньшую плату, и т. д. Судя по всему, этот разговор кем-то додуман задним числом. По свидетельствам очевидцев, рабочим приказано было «ничего не говорить от себя». И в самом деле, кто знает, что могли бы сморозить эти неизвестно откуда взятые люди? И что отвечал бы им царь, вышедший к ним с заранее заготовленным текстом?

** Два дня спустя Николай удостоил аудиенции Ушакова и трех его сотруд-

Тем временем Коковцов созвал 24 января совещание фабрикантов и заводчиков. На сей раз он говорил с ними строже, чем прежде, — хотя все-таки очень мягко и тактично. Смысл его речи сводился к следующему: сделайте по своей инициативе хоть что-то, пойдите хоть на какие-то уступки и послабления без принуждения с нашей стороны. Коковцов ссылался на смутные обещания, данные самими предпринимателями 7 января. Но с тех пор изменилось многое: забастовка ушла из Петербурга в другие города и петербургские заводчики стали более жестокими. Общую позицию высказал Смирнов, чью речь «Новое время» (от 25 января) излагает так: «Частичные уступки ни к чему не ведут, только раздражая рабочих соседних заводов, не получивших этих уступок... Промышленники должны собраться по отдельным группам производства, решить, что они могут сделать теперь же, и затем не отступать от этого ни на йоту до решения вопроса в законодательном порядке».

Противоречия, как сказал бы марксист, между общедемократическими устремлениями буржуазии и ее непосредственными классовыми интересами рельефно выразились в двух документах, опубликованных в январском номере «Красной летописи» за 1925 год.

Первый — «Докладная записка конторы железнозаводчиков» от 28 января 1905 года. Железнозаводчики решительно осуждают «расстрел мирных безоружных жителей». Далее они признают, что «нет спора, жизненные условия наших рабочих неудовлетворительны», но — «от доброй или злой воли промышленников зависит изменить или удержать эти печальные условия... Устранить болезненные начала, делающие невозможным для промышленности идти вперед и с успехом бороться с иностранной конкуренцией мыслимо, лишь когда будут осуществлены коренные реформы, за необходимость которых единогласно высказались земские деятели, представители городского самоуправления и разных других обществ и сословий». То есть — дайте демократию, и тогда рабочий вопрос сам по себе разрешится. А пока мы, предприниматели, бессильны.

Впрочем, «рабочие настолько уже политически созрели, что им, как и всему русскому обществу, должны быть дарованы свободные права и политические учреждения... Рабочим должны быть предоставлены право сходок и собраний, право организовываться в союзы и всякого рода другие сообщества для самопомощи и защиты своих интересов, право отдельно и совокупно отказываться от работы».

ников, воздав должное их смирной работе на благо рабочих. На этом общение царя с пролетариатом закончилось и более никогда не возобновлялось — до самого февраля 1917 года.

То есть ради демократических принципов железнозаводчики готовы признать за рабочим классом право свободно создавать профсоюзы и право на стачку.

Зато второй документ — «Докладная записка заводчиков и фабрикантов Министерству финансов» от 31 января — совсем в ином духе.

«Во всякой промышленной стране положение рабочего класса находится в полном соответствии с состоянием промышленности общего уровня культуры; железный закон спроса и предложения и неотвратимые условия спроса и конкуренции не позволяют поставить промышленных рабочих в искусственные тепличные условия... Промышленность не может работать в убыток и руководствоваться принципом благотворительности...

Едва ли не ошибка в том, что Правительство быстро реагирует на грубое проявление рабочего волнения и в то же время так мало дает внимания гораздо более сильному, более обширному и по существу своему более важному общему волнению, проявляющемуся, конечно, не в насилии и грубых демонстрациях, а в формах мягких и корректных».

Другими словами, авторы документа, с одной стороны, конечно, разделяют конституционные требования гапоновской демонстрации, но не хотели бы при этом уступать ни грана в экономической области. А правительство, наоборот, парламент созывать не хочет, а требует... ну, не требует — просит от заводчиков экономических уступок рабочим, вопреки «железному закону спроса и предложения».

Наконец, 29 января была созвана комиссия «для безотлагательного выяснения причин недовольства рабочих» под председательством члена Государственного совета Н. В. Шидловского с участием выборных рабочих от разных производств. Но уже 20 февраля Шидловский доложил государю, что, во-первых, выборы сорвались (выборщики потребовали восстановления деятельности «Собрания» и освобождения его арестованных руководителей — в противном случае отказались голосовать); во-вторых, вопрос требует решения не на местном, а на всероссийском уровне — а потому «не благоугодно ли будет Вашему Императорскому Величеству признать деятельность должествовавшей образоваться под моим председательством Комиссии подлежащую прекращению». Было благоугодно признать.

В то время когда власти судорожно пытались найти правильные слова, мечась из крайности в крайность, революционеры разных партий выпускали бесконечные воззвания, в ко-

торых одни и те же мысли высказывались практически одними и теми же словами. Суть была в бесконечном эмоциональном нагнетании. Призывая громы и молнии на головы палачей, оплакивая жертв, революционеры избегали называть имя Гапона: кажется, они сами еще не поняли, как к нему относиться. Среди других документов выделяется своей искренностью «Заявление комитетов большинства РСДРП» (т. е. большевиков) от 21 января: «В Петербурге, главном центре, где собрана масса партийных сил — и лучших сил — руководство движением принадлежит не партии, а совершенно чужому партии лицу — священнику, с группой полусознательных людей, слепо в него верящих, увлеченных его религиозным, утопическим энтузиазмом. В эти дни буржуазные группы оппозиции отказываются признать соц.-демократию законной представительницей пролетариата... Это небывалое унижение партии».

Гапон тоже не хранил молчание. С 12 января он находился, правда, уже вне Петербурга.

Гапон очень подробно описывает свое бегство. Чувствуется, что эта сторона жизни (переодевание, уход от слежки т. д.) явственно его занимает. Для него все это было внове и по-мальчишески его возбуждало. В пенсне и шубе он расхаживал по платформе Царскосельского вокзала и из особого озорства просил прикурить у жандармского офицера. Рутенберг, проходя мимо, сунул ему в руку билет. Сам он ехал в том же вагоне, но в другом отделении. На условленной станции оба вышли и затем сели в другой поезд, и так «не меньше четырех раз». Наконец к вечеру они достигли цели. Рутенберг вернулся в Петербург, а Гапон взял лошадей и отправился в некую «окруженную лесом усадьбу».

Там он должен был ожидать паспортов — внутреннего (если товарищи сочтут за благо, чтобы Гапон остался в России на нелегальном положении для руководства разгорающимся восстанием) или заграничного (если выбор будет сделан в пользу эмиграции). У отца Георгия было много времени. Он жил на втором этаже деревенского барского дома, с балконом, с которого лестница вела прямо на землю — «на случай какого-нибудь нежелательного посещения». Он целыми днями катался на лыжах. У него была возможность отдохнуть от напряжения последних дней и обдумать случившееся. Но бездействие томил его. 15 января с его пера сошло очередное воззвание — «Ко всему крестьянскому люду», содержащее весьма подробный рассказ о петербургских событиях.

Удивительно — с рабочими Гапон говорит живым, человеческим языком, а обращаясь к крестьянам, он, сам крестьянин по рождению, начинает изъясняться то языком ростопчин-

ской афишки, то каким-то псевдобылинным (не лишенным, впрочем, аляповатой выразительности):

«...А казаки, солдаты, полиция — все слуги царские — неистовствуют, все более звереют. Колят деток, рубят женщин, которых до смерти бьют, других в сырые подвалы, в тюрьмы бросают по всему-то городу. А женщины-то наши худосочные, братья-то наши изможденные — все герои твои, о русский народ, великие, свои груди раскрытые пулям все подставляют, за матку-правду, за желанную свободу умереть желают.

Только кричат перед смертью зычным голосом: “Не верьте, братцы, зверю-царю, не верьте иным попам-обманщикам, не верьте шайке его, его верным слугам, а нашим начальникам, — верьте, родимые, только своему разуму да своей силушке, да всем, кто за вас и правду жизнь положить желает. Мы кровь свою добровольно льем, надеждой полные, что найдутся по нас грозные мстители, братья-то наши товарищи-рабочие уже вооруженные; что даст помощь мстителям крестьянский люд, да все люди честно-правдивые, волю, землю добыть и устроить в стране нашей справедливость, братство и равенство. Мы кровь свою добровольно льем с твердым убеждением, что на крови-то нашей расцветет дерево великое, дерево счастья для всей земли российской со всеми ее народностями”.

Так кричали — завет давали народные мученики.

И подхватил их речи крылатые ветер буйный, ветер быстрый, что во грозу-то бывает великую».

Впрочем, Гапон обращался к великорусским крестьянам, которые ему, малороссу, были дальше, чем петербургские рабочие. Может быть, у него и здесь были соавторы. Гапона в этот момент опекали (и использовали) эсеры, изначально делавшие ставку именно на крестьянское восстание. Но уже очень быстро он ускользнул от их опеки...

ЧУЖАЯ СТОРОНА

19 января Гапон покидает свое убежище, а в начале февраля оказывается в Женеве.

В его бегстве много таинственного.

20-го Рутенберг должен был привести паспорт. Но днем раньше к Гапону является какой-то «гонимец» из столицы и сообщает, что надо срочно бежать. Георгий Аполлонович был, как мы знаем, человек нервно возбудимый, тревожный и плохо переносивший бездействие, — настоящий холерик. Надо сказать, что основания для тревоги были, но не такие, чтобы нельзя было подождать лишний день. 18-го против Гапона бы-

ло возбуждено уголовное дело. Видимо, кто-то очень хотел, чтобы вождь 9 января оказался за границей не с помощью эсеров. Или — не с помощью Рутенберга. Человек, в котором революционные партии еще недавно видели почти врага, вдруг становится объектом их соперничества.

План был таков: «Я должен был ехать до Пскова, а там пересесть на Варшаву, но, доехав до Вильно, должен был возвратиться на Двинск, а оттуда через Ш. ехать к границе. Поезд, с которым я должен был ехать, отходил от соседней станции через несколько часов». Ш. — это, вероятно, Шавли (ныне Шяуляй).

Как всегда бывает, план с первых же часов стал давать сбои. Гапон по дороге на станцию попал в буран (сюжет русской классики!), сбился с пути и опоздал на поезд. Когда он сел в поезд, ему показалось, что за ним следят. Тогда он сошел на станции С. (видимо, Субачус) и с помощью добрых, сочувствующих революции людей, евреев и поляков, добрался до границы. Так, по крайней мере, выглядит всё в его пересказе. Дальше все было просто. «Вдоль всей западной границы России живет население, значительная часть которого — профессиональные контрабандисты, занимающиеся одновременно и переводом беглецов через границу, входя для этого в сделку с пограничной стражей». Гапона переправили из Таурогена в печально известный в русской истории Тильзит, город позорного мира, на немецкую землю.

Если бы Гапон поехал легально, вряд ли ему удалось бы миновать границу. Лопухин успел разослать стражникам приметы разыскиваемого преступника: «...Роста среднего, тип цыганский, смуглый, волосы остриг, бороду сбрил, оставив маленькие усики, нос горбинкой, слегка искривлен, бегающие глаза, на левой руке ниже последнего сустава наружной стороны указательного пальца свежая пулевая рана, говорит с характерным малороссийским акцентом...»* Невольно вспоминается: «А ростом он мал, грудь широкая, одна рука короче другой, глаза голубые, волосы рыжие, на щеке бородавка, на лбу другая». Как и Григорию Отрепьеву, Георгию Гапону удалось уйти от преследователей.

Дальше все было проще: общительный Гапон познакомился в Тильзите с каким-то литовским социал-демократом, который помог ему добраться до Берлина. Там Георгий Аполлонович сел на поезд и отправился в Женеву. Примерно в это же время, отстав от Гапона на сутки, границу пересек Рутенберг, устремившийся вслед за своим сбежавшим подопечным.

* Никакой пулевой раны на самом деле не было: полиция поверила ложным слухам.

В первые дни после 9 января европейская пресса склонялась к тому, что все случившееся — тщательно продуманная провокация «реакционных придворных кругов» во главе с князем Владимиром Александровичем (почему-то именно с ним), направленная против либералов Мирского и Витте. Так всегда и бывает: человеческому рассудку трудно сладить с мыслью о тотальной глупости. Теория заговора утешает, по крайней мере как-то структурирует мир. Русские революционеры, разумеется, с радостью за эту теорию ухватились.

Впрочем, гораздо больше волновал их сам факт «внепланового», никак ими не подготовленного и не возглавляемого пробуждения пролетариата. Особенно волновались многочисленные женевские социал-демократы, среди которых были и прославленные ветераны русского марксизма (Плеханов, Засулич, Дейч, Аксельрод — вся так любимая советскими студентами группа «Освобождение труда», кроме давно умершего Игнатова), и люди из будущего (Ленин, Троцкий, Луначарский). Все они толкались в партийной столовой, которую держали супруги Лепешинские, Павел и Ольга (да, та самая сумасшедшая старушка, которая в 1840-е годы с помощью грязного микроскопа открыла «живое вещество», — пока еще вполне молодая эсдечка с фельдшерским дипломом). На митингах большевики и меньшевики, мэки и бэки, произносили речи по-русски, по-французски и по-немецки и выясняли между собой отношения, хотя спорить, в сущности, было не о чем — все оказались в одинаково нелепом положении.

Загвоздкой был Гапон. Кем надлежит считать его — «провокатором» или героем? Уже в первые дни после Кровавого воскресенья Владимир Ильич Ульянов (В. Ленин), лидер бэков, всерьез задался этим вопросом. В статье «Поп Гапон» он пишет: «...Наличность либерального, реформаторского движения среди некоторой части молодого русского духовенства не подлежит сомнению... Нельзя поэтому безусловно исключить мысль, что поп Гапон мог быть искренним христианским социалистом, что именно кровавое воскресенье толкнуло его на вполне революционный путь». Это не противоречит тому, что само шествие — правительственная провокация: Гапон мог быть ее *бессознательным* орудием. И тем не менее к нему, как «зубатовцу», необходимо «осторожное, выжидательное, недоверчивое отношение». Диалектика!

Статья напечатана в газете «Вперед» 18 января. Однако между 9 и 18 января настроение Ильича изменилось, и в том же номере той же газеты напечатана статья «“Царь-батюшка” и баррикады», в которой о Гапоне говорится, что он выразил «уровень знаний и политического опыта рабочей массы»,

ныне, после трагических событий, проникшейся классовым самосознанием и «готовой идти на восстание». Вопрос об искренности вождя 9 января «могли решить только развертывающиеся исторические события, только факты, факты и факты. И факты решили этот вопрос в пользу Гапона». Теперь Ленин сравнивает Гапона с пастором Стивенсом, одним из вождей чартистов.

Другие эмигранты тоже готовы были радостно принять экс-священника в свои ряды.

И притом — получилось так, что первые сутки в Женеве Гапон провел буквально на улице! Опять же история запутанная. Будто бы у него было имя некоего лица, к которому он должен обратиться в Женеве, но не было адреса, и он, не зная иностранных языков, не мог самостоятельно найти этого человека. По другим сведениям (а все сведения восходят к рассказам самого Георгия Аполлоновича), добратсья-то до «явки» он добрался, но там ему не поверили, приняв за шпиона.

В конце концов он нашел какую-то русскую читальню и там узнал адрес Плеханова. И вот в один прекрасный день (где-то между 10 и 15 февраля по европейскому календарю) в квартиру лидера социал-демократической партии постучал незнакомец и категорически потребовал впустить его, хотя Плеханов болел. Гапона долго отказывались впускать. Через полчаса, после долгих уговоров, незнакомец назвал свое имя — это решило всё.

Его приняли с восторгом. Плеханов немедленно позвал своих товарищей-мэков: легендарную Веру Засулич, Павла Аксельрода, державшего в Женеве, как специально указывают Брокгауз и Ефрон, кумысное заведение, Дейча, из воспоминаний которого все это известно, а также более молодых Потресова и Федора Дана. Все чествовали народного героя. Растроганный расстрига на радостях объявил себя социал-демократом и разрешил передать весть о своем обращении в прессу и «написать Каутскому». Все же он обратил внимание на не в меру «роскошную» (на его взгляд и по его критериям) обстановку, в которой жил лидер русских социал-демократов. Видимо, он ожидал другого.

Гапона поселили в общежитии для сотрудников «Искры» у Дана. Таковы сведения Дейча; агенты Департамента полиции доносили, что Гапон живет у Аксельрода. Позднее он ворчливо рассказывал, что эсдеки три дня «держали его взаперти» и обрабатывали. Так или иначе, продолжалось это недолго: Рутенберг наконец догнал Гапона и извел его из социал-демократического плена. Гапон заявил, что его долг — оставаться нейтральным и беспартийным, и переехал к эсеру Л. Э. Шишко.

По словам Семена Акимовича Ан-ского (Раппопорта), эсера, более известного как выдающийся еврейский этнограф и писатель, автор имеющей большую сценическую историю пьесы «Дибук»*, Шишко, «человек болезненный, всецело поглощенный литературными занятиями, жил в большом уединении, в дачном домике-особняке на безлюдной улице на окраине города. Кругом на большом расстоянии не было других строений. Таким образом, самый искусный сыщик не мог бы следить за этим домом, не будучи тотчас замеченным. Это-то и побудило поместить здесь Гапона, которого в то время тщательно скрывали, отчасти из опасения, чтобы швейцарское правительство его не выдало России, а главным образом из боязни покушения на его жизнь со стороны “наемного мстителя”».

Гапон, которого эсдеки заставляли читать серьезную политико-теоретическую литературу, в доме у Шишко начал учиться стрелять — и это увлекало его гораздо больше. Принципиально отказываясь разбираться в партийных программах, он видел человеческое различие между эсдеками и эсерами — и вторые нравились ему больше: люди дела. Как раз в то время в Женеву приехал легендарный террорист «Павел Иванович» (настоящее его имя было Борис Викторович Савинков). Гапон с восторгом познакомился с ним и, по свидетельству Савинкова, был единственным, кто поздравил его «с великим князем Сергеем». Савинков был одним из технических организаторов убийства московского губернатора, самого непопулярного из Романовых, которое произошло 4 (17) февраля (непосредственным исполнителем был Иван Каляев, арестованный на месте и казненный). Савинкову Гапон понравился. «Он казался мне, по впечатлению 9 января, человеком необычайных дарований и воли, тем человеком, который, быть может, единственно способен овладеть сердцами рабочих... Более близкое знакомство подтверждало предвзятое мнение об его дарованиях. У него был живой, быстрый, находчивый ум; прокламации, написанные им, при некоторой их грубости, показывали самобытность и силу стиля; наконец, и это самое главное, у него было большое, природное, бьющее в глаза ораторское дарование».

В последнем Савинкову однажды пришлось убедиться — вот при каких обстоятельствах:

* Постановка этой пьесы в театре «Табима» является, в частности, одной из вершинных работ Е. Б. Вахтангова. Герой пьесы Ханан в поисках тайных знаний, удачи и любви обращается к помощи темных сил и попадает к ним во власть. В статье Г. Сафран «Wanderibg Soul. The “Dibbuk” creator. S An-skiy» (Harvard University Press. 2010. P. 217—219) высказано предположение, что прототипом Ханана мог быть Гапон.

«Один из поволжских комитетов российской социал-демократической партии издал прокламацию, в которой о Гапоне грубо упоминалось как о “нелепой фигуре обнаглевшего попа”. Прокламацию эту кто-то принес на совещание. Гапон прочел листок и внезапно преобразился. Он как будто стал выше ростом, глаза его загорелись. Он с силой ударил кулаком по столу и заговорил. Говорил он слова, не имевшие не только никакого значения, но не имевшие и большого смысла. Он грозил “стереть социал-демократов с лица земли”, показав “всем рабочим лживость их и наглость”, бранил Плеханова и произносил разные другие, не более убедительные фразы. Но не смысл его речи производил впечатление. Мне приходилось не раз слышать Бебеля, Жореса, Севастьяна Фора. Никогда и никто из них на моих глазах не овладевал так слушателями, как Гапон, и не на рабочей сходке, где говорить несравненно легче, а в маленькой комнате на немногочисленном совещании, произнося речь, состоящую почти только из одних угроз. У него был истинный ораторский талант, и, слушая его исполненные гнева слова, я понял, чем этот человек завоевал и подчинил себе массы».

Надо сказать, что подобное впечатление сложилось далеко не у всех. Многие, наоборот, поражались тому, как неуклюж и косноязычен становился знаменитый трибун и проповедник в непривычной для него интеллигентской среде. Ан-ский, например, утверждает:

«Гапон не только не обладал ораторским талантом, но прямо-таки не умел “двух слов связать”. Говорил сбивчиво, заикаясь, повторяя по два-три раза одно и то же слово, одну и ту же фразу. Большею частью трудно было даже сразу понять, что он хочет сказать... И, тем не менее, в его речах было “нечто”, что производило впечатление, даже захватывало. Помимо того, что из вороха спутанных, часто нелепых и шаблонных фраз почти всегда, в конце концов, выбивалась какая-нибудь своеобразная, оригинальная, иногда и глубокая мысль, — в форме его речей (как и писаний) было что-то своеобразное, сильное. Среди вялых слов и косноязычных фраз блеснет вдруг яркая метафора, прозвучит проникнутое страстным вдохновением слово, проявится могучий порыв — и внимание аудитории захвачено, приковано к оратору».

Наконец, человек уже другого круга — журналист П. Пильский:

«Не было более косноязычного человека, чем Гапон, когда он говорил в кругу немногих. С интеллигентами он говорить не умел совсем. Слова вязли, мысли путались, язык был чужой и смешной. Но никогда я еще не слышал такого истинно

блещущего, волнующегося, красивого, неожиданного, горевшего оратора, оратора-князя, оратора-бога, оратора-музыки, как он, в те немногие минуты, когда он выступал пред тысячной аудиторией замороженных, возбужденных, околдованных людей-детей, которыми становились они под покоряющим и негасимым обаянием гапоновских речей. И, весь приподнятый этим общим возбуждением, и этой верой, и этим общим, будто молитвенным, настроением, преображался и сам Гапон».

Все эти отзывы очень интересны, так как принадлежат профессиональным писателям — более или менее талантливым (о романах и стихах Савинкова многие критики отзывались уничижительно — и не без основания).

Другие эсеровские встречи и дружбы были еще более колоритны.

25 марта агент Раскин, он же Виноградов, он же «инженер Азев» доносит своему шефу Л. А. Ратаеву, что «Гапон с Бабушкой и князем Хилковым создают боевой комитет». Бабушка — это, само собой, бабушка русской революции Екатерина Константиновна Брешко-Брешковская, героическая дама шестидесяти одного года от роду, еще при Александре II побывавшая на Карийской каторге. А князь Дмитрий Александрович Хилков — в прошлом один из главных толстовцев, в начале XX века сбросивший вериги непротивленства и ставший эсером, пламенным сторонником террора (однако так и не перешедший от теории к практике, а после 1905 года примирившийся с правительством, прощенный им и погибший в 57-летнем возрасте на фронте во время Первой мировой). После в своих мемуарах дает выразительный портрет этого человека: «Его невысокая, стройная, изящная фигура с маленькими породистыми руками служила прекрасной основой для ориентальной головы с тонкими чертами лица, ласковыми близорукими глазами, прикрытыми легким пенсне, с высоким лбом, уходящим в благородную плешь, окаймленную мягкими, слегка вьющимися волосами... Но самое примечательное в наружности Хилкова была его борода. Борода длинная, почти до пояса, пепельного цвета с серебряными нитями, похожая на какой-то необыкновенный, но несомненно дорогой мех...» Общение Гапона с этим странным человеком, отчасти богоискателем, отчасти авантюристом, отчасти «добрым барином» (и притом апологетом беспощадного насилия!), продолжалось всю весну и все лето.

Сближение с эсерами не означало, однако, разрыва с эсдеками. Георгий Аполлонович продолжал бывать у Плеханова, на какое-то время тесно сошелся с умудренными летами Дейчем, который неожиданно стал его конфидендом, и, наконец,

познакомился — и довольно близко! — с суровым лидером *бэ-ков*. Впрочем, суровость его тоже не стоит преувеличивать: в картавом лысом господине, который несколькими годами позже привечал в Париже юного Эренбурга, «Илью Лохматого», а еще позже, во время Первой мировой, играл в Цюрихе в шахматы с самим Розенштоком, будущим дадаистом Тристаном Тцарой, мало кто мог угадать русского Робеспьера или Кромвеля. Скорее, чего-то подобного можно было ждать от Савинкова — Ульянов же был эсдек, свирепый, казалось, только в статьях и в спорах за кружкой пива.

Как вспоминает Крупская, «через некоторое время после приезда Гапона в Женеву к нам пришла под вечер какая-то эсеровская дама и передала Владимиру Ильичу, что его хочет видеть Гапон. Условились о месте свидания на нейтральной почве, в кафе». Ленин очень волновался перед этой встречей; в итоге Гапон ему понравился своей страстностью и непосредственностью. «Только учиться ему надо, — говорил Владимир Ильич. — Я ему сказал: “Вы, батенька, лести не слушайте, учитесь, а то вон где очутитесь”, — показал ему под стол».

Учиться, учиться и учиться...

Гапон стал бывать у Ленина и Крупской дома. Лидеру большевиков он оказался интересен не только как глава стихийного движения питерских рабочих, которым эсдеки хотели овладеть, но и как выходец из крестьянской среды. Разговоры с Гапоном и Матюшенко (о нем — ниже) подтолкнули Ленина к мысли о радикализации собственной аграрной программы. В отличие от меньшевиков, правоверных марксистов, считавших крестьянство отсталым классом и следовавших провозглашенному Каутским принципу нейтралитета в споре между крестьянами и помещиком, более гибкие большевики сначала поставили вопрос об «отрезках» (то есть о возвращении крестьянам тех земель, которые были отняты от их наделов при земельном размежевании после отмены крепостного права), а потом перехватили эсеровский лозунг о конфискации всей помещичьей земли.

Отношение эсдеков к Гапону было различным. Так, 17 марта он встречался с представителями Бунда*. В отчете об этой встрече безымянный бундовец так характеризует Гапона: «Человек он очень неинтеллигентный, невежественный, совершенно не разбирающийся в вопросах партийной жизни. Говорит с сильным малорусским акцентом и плохо излагает свои мысли, испытывает большие затруднения при столкновении с иностранными словами (напр. “Амстердам” произносит как

* Бунд то входил в РСДРП на автономных правах, то выходил. В 1905 году это была отдельная партия.

“Амстедерам” — “Амстедерамская конференция”). Оторвавшись от массы и попав в непривычную для него интеллигентскую среду, он встал на путь несомненного авантюризма. По всем ухваткам, наклонностям и складу ума это социалист-революционер, хотя он называет себя соц.-дем. и уверяет, что был таким еще во время образования “Общества фабрично-заводских рабочих”. Ни о чем другом, кроме бомб, оружейных складов и т. п., он теперь не думает. Есть в его фигуре что-то, что не внушает к себе доверия, хотя глаза у него симпатичные, хорошие».

Мы уже обсуждали вопрос о «невежестве» Гапона. От свидетельств неизвестных бундовцев можно было бы отмахнуться — неизвестно, насколько образованны были они сами, а говорили по-русски они уж наверняка не с безупречным московским выговором. Тем более что критерием интеллигентности служит для них способность «разбираться в вопросах партийной жизни». Но когда самые разные, и притом уж заведомо образованные люди — Рутенберг, Ан-ский, Чернов, Дейч, Ленин — говорят одно и то же, их суждения нельзя не принять во внимание. К сожалению, никто из них не приводит конкретных примеров, так что мы не знаем, в чем именно выразалось это «невежество» кандидата богословия и посетителя Религиозно-философских собраний.

Дейч пишет: «Гапон... старался дать мне понять, что вообще-то он много читал и знает, например, философию, которую проходил в семинарии и в академии. Если же у него имеются пробелы, то лишь в социализме, но он их легко и скоро заполнит; но, по словам Л. И. Аксельрод, он и в философии был совершенно несведущ». Можно предположить, что и представления о том, что есть философия, у выпускника Духовной академии и у марксистки с псевдонимом Ортодокс были разные. Но есть вещи, мимо которых не пройдешь, — тот же «Амстедерам». Это же — знания в размерах младшей школы!

Думается, недалек от истины Ан-ский, когда он пишет: «Даже то, что хорошо знал, он точно забывал как ненужный балласт. Однако, когда ему нужно было, он проявлял поразительную способность схватывать с полуслова чужие мысли, целые теории, направления и т. п.». Гапон помнил и знал то и только то, что было нужно в данную минуту. Выученное когда-то не задерживалось в его сознании. Сдал экзамен, прочитал лекцию рабочим, додумал собственную мысль, родившуюся из прочитанного, — и всё «стирается», а не попадает в «архив». Между тем сила образованного человека — именно в умении быстро извлечь из этого архива, из дальних закоулков мозга резервные знания. Гапон этого не умел, а потому казал-

ся «невежественным», «диким». К тому же ему не хватало такта промолчать в разговоре, затрагивающем малоизвестные ему предметы. Ну а социалистическая теория с ее казуистическими поворотами и вовсе казалась ему скучной и ненужной.

Ему советовали читать, а он — не мог. Чем он вообще занимался в Женеве? Ходил в гости к одним, другим, третьим деятелям эмиграции, бесконечно рассказывал о своей прошлой деятельности... Постепенно он стал одной из достопримечательностей русской колонии, у него даже появился, по революционной традиции, собственный «псевдоним» — Николай Петрович Николов. Хотя, разумеется, все знали его настоящее имя.

Впрочем, в этом бездействии, продолжавшемся около полтора месяцев, был перерыв.

Еще в середине февраля (по новому стилю) Рутенберг ненадолго свозил Гапона в Париж — отчасти, может быть, как раз с целью отдалить его от эсдеков. В Париже Георгий Аполлонович поселился у Ивана Николаевича — важного, как ему объяснили, лица в эсеровской партии, имеющего отношение и к терактам, и к Боевой организации, на вид некрасивого, губастого толстяка, но с добрыми, *детскими* (как потом выражались эсеры, отбиваясь от разоблачений Бурцева) глазами.

Гапон с обычной откровенностью рассказывал Ивану Николаевичу про все свои свершения и мытарства, между прочим — про Зубатова и полицейские знакомства. Губастый эсер, пересказывая эти беседы Рутенбергу, возмущенно отплевывался — так, мол, ему претило «прошлое попа»... А в охранном отделении удовлетворенно отмечали: агент *вошел в контакт* с неугомонным расстригой.

Гапону Иван Николаевич в конечном итоге не понравился. Нет, он ничего не заподозрил, но его смущали грубость и напористость нового знакомого. Сам склонный к авторитаризму, он не любил других авторитарных людей. После разоблачения Азефа знакомые Гапона припомнили, что якобы слышали о нем от Георгия Аполлоновича — как о суровом и непререкаемом «начальнике» революционеров. «Он командует ими, и они безропотно сносят все его капризы, — рассказывал Гапон. — Я попробовал возражать и доказывать, что он во многом увлекается. Мои слова встретили живой отпор. Мы друг друга невзлюбили...»* И вроде бы Гапон при этом называл настоящую фамилию Ивана Николаевича — Азеф или, скорее, Азев.

Гапона свели с французскими политиками — легендарным оратором, вождем социалистов Жаном Жоресом, с его соратником, героем Парижской коммуны Мари Эдуардом Валья-

* Голос Москвы 1909 № 16 (21 января) С 1

ном, с лидером радикалов, будущим премьер-министром Жоржем Клемансо. В январе эти политики требовали в парламенте принятия резолюции, осуждающей русское правительство за расстрел гапоновского шествия, но остались в меньшинстве. Гапону Жорес и Клемансо очень понравились — «удивительно крупные, выдающиеся люди!». Но особенно умилил его старик Вальян, который сказал ему, прощаясь: «У вас большой ум и великое сердце». Казалось бы, Георгий Аполлонович еще в Петербурге достаточно много повидал и пережил, чтобы не поддаваться на лесть знаменитых людей. Но в эмиграции в нем пробудился ребенок. Он не мог оторвать глаз от собственного портрета, выставленного в витрине магазина, радовался всякой статье о себе в иностранной газете (пока что статьи были хвалебные).

Не меньше, чем французские политики, понравились Гапону парижские кабачки. Его специально водили по не самым презентабельным местам — показывали «чрево Парижа», не забывая по ходу дела читать лекции «об ужасах капиталистического строя и несчастных искупительных жертвах капитала». Ему приятно было сидеть не в отдельном кабинете, а в общем зале, где «пахнет человеческим телом»: в бытность священником он был лишен такой возможности. Он не знал языков, не мог разговаривать с парижанами, но иррациональный, физический, обонятельный контакт с людьми доставлял ему радость. Это пугало друзей-социалистов, книжников XIX века, по-викториански страшившихся всякой телесности. Лишь один человек мог в этом смысле понять его — Азеф. Уж этот имел вкус к *телу*, но в ином, грубом смысле: съесть и выпить, купить и овладеть. И, конечно, втайне от окружающих, считавших Евгения Филипповича/Ивана Николаевича воплощением семейных добродетелей и революционной аскезы.

В Париже эсеры засадили Гапона за интенсивную работу над прокламациями.

Первая — к «славным, незабвенным Путиловцам» и всем «спянным кровью товарищам-рабочим г. Петербурга»:

«...Глаза всей России, всего мира вы на себя обратили, герои, буревестники грозного вооруженного восстания народа... Мужайтесь! На удочку и разные заигрыванья, вроде Земского Собора, убийцы-царя и его подлых шакалов-министров, с собачьей сворой чиновников и капиталистов — не поддайтесь. Жизни и близкого счастья родины на чечевичную похлебку лицемерных уступок кровопийцы-царя не променяйте. До конца славным вождем российского пролетариата в борьбе за угнетенный обездоленный народ останьтесь. Данной мне своей клятвы мести и свободы — не преступайте. Полного удов-

летворения требований своей петиции кровопийце-царю во что бы то ни стало добейтесь — и тем своим братьям-героям, погибшим и пролившим свою кровь за вас, вечный и нерукотворный памятник создайте».

Чувство ритма у Гапона было, хотя должного эффекта он добивается с помощью однообразных грамматических инверсий, которые дальше продолжают на протяжении двух длинейших абзацев. Суть послания заключалась в призыве готовиться к вооруженному восстанию, создавая боевые дружины «без различия партий, веры и национальностей». Конец особенно выразителен: «Раздавим внутренних кровожадных пауков нашей дорогой родины (внешние же не страшны нам). Разобьем правительственный насос, выкачивающий последние капли крови нашей. Возвратим мать-сыру-землю обнищавшему народу».

Этот текст написан 7(20) февраля. В этот же день Гапон обратился к «Николаю Романову, бывшему царю и настоящему душегубцу Российской Империи», с таким посланием:

«С наивной верой в тебя, как в отца народа, я мирно шел к тебе с детьми твоего же народа.

Ты должен был знать, ты знал это.

Неповинная кровь рабочих, их жен и детей-малолеток, навсегда легла между тобой, о душегубец, и русским народом. Нравственной связи у тебя с ним никогда уже быть не может. Могучую же реку сковать во время ее разлива никакими полумерами, даже вроде Земского Собора, ты уже не в силах.

Бомбы и динамит, террор единичный и массовый над твоим отродьем и грабителями бесправного люда, народное вооруженное восстание, — все это должно быть и будет непременно. Море крови, как нигде, прольется.

Из-за тебя, из-за твоего всего дома — Россия может погибнуть. Раз навсегда пойми все это и запомни. Отрекись же лучше поскорей со всем своим домом от русского престола и отдай себя на суд русскому народу. Пожалей детей своих и Российской страны, о ты, предлагатель мира для других народов, а для своего — кровопийца.

Иначе, вся имеющая пролиться кровь на тебя да падет, паляч, и твоих присных...»

К этому произведению, не лишенному некоторой литературной выразительности («Ты должен был знать, ты знал это» — это звучит просто красиво), есть по-детски наглая приписка:

«P. S. Знай, что письмо это — оправдательный документ грядущих революционно-террористических событий в России».

Оправдательный документ — перед кем? В чьих глазах? Перед историей? А предыдущие теракты, значит, не имели такого оправдания? В инфантильности гапоновских манифестов, право, есть нечто трогательное. Даже свирепость их — детская.

Рутенбергу письмо царю не понравилось, но Иван Николаевич по каким-то своим соображениям счел его уместным — и документ был пушен в дело.

Интереснее всего третий документ, написанный в тот же день: послание к революционным партиям, в котором Гапон, «будучи, прежде всего, революционером и человеком дела», призывает «все социалистические партии России немедленно войти в соглашение между собой и приступить к делу вооруженного восстания против царизма».

Это уже связано с той новой миссией, которую Гапон перед собой в конце концов почувствовал, и с тем новым делом, которое он попытался взять на себя весной 1905 года.

ОБЪЕДИНИТЕЛЬ

Собственно говоря, идея объединения социалистических партий витала в воздухе.

Помянутая *«Амстердамская конференция»* как раз приняла решение, обязывающее социалистические партии каждой из стран объединиться. И, например, французские социалисты в 1905 году это решение выполнили, создав единую партию во главе с Жоресом.

Идея объединения российских революционных, социалистических партий имела, однако, собственных спонсоров. Это была японская разведка, а конкретно Могодзиро Акаси, бывший японский военный атташе в России. В течение всего 1904 года через Акаси шли средства различным оппозиционным группам в России, особенно финляндским сепаратистам во главе с Конни Циллиакусом. Многие получали и грузины, перепавшие и русским революционером и либералам. То, что пламенный патриотизм начала 1904 года постепенно сменялся в российском обществе полусочувствием к Японии как к «демократическому государству» (что все-таки было далеко от истины, хотя парламент императором Мицухито был созван еще в 1889 году), было и результатом этого мягкого подкупа (хотя, конечно, далеко не только его). Акаси постоянно через свою агентуру подталкивал русских либералов и революционеров к объединению. Парижская конференция 1904 года была организована не без его участия. Теперь, когда ситуация из-

менилась не в лучшую для царизма сторону, он готовил новую объединительную конференцию. Участвовать в ней должны были только настоящие революционеры, социалисты и национальные сепаратисты, и цель ее формулировалась ясно: подготовка восстания, причем желательно в Петербурге.

Это было бы своевременно: Мукденская операция, очень долгая и кровопролитная, истощила возможности сухопутных сил Японии. 10 марта русские войска оставили Мукден, войска микадо победили, но, по словам современного японского историка О. Сюмпэя, «это была крайне неуверенная победа, так как потери Японии достигли 72 008 человек». А значит, удар в тыл противника стал бы как никогда ценным подспорьем.

Гапон, как популярный и притом беспартийный социалист, оказался весьма кстати: он как никто лучше годился на роль формального инициатора объединительной конференции. По данным Департамента полиции, в начале марта некий «японский представитель в Париже» передал Гапону 50 тысяч рублей на организацию конференции. Сумма (существенно превышающая бюджет гапоновского «Собрания» за все время его существования) кажется неправдоподобно большой, вызывает сомнения и ее номинирование в рублях*. Так или иначе, чисто технически организацией конференции (покупкой железнодорожных билетов, к примеру) занимался явно не сам Георгий Аполлонович. О японском происхождении денег он тоже, вероятно, не знал. Фактически он лишь сыграл роль почетного посредника. Приглашения потенциальным участникам также рассылались от его имени.

Прежде всего речь должна была идти, конечно, об объединении эсеров и эсдеков. Внутри каждой из партий было разное отношение к идее объединения. Например, агент Раскин доносил Ратаеву, что «Гоц против объединения с с.-д., так как, по его мнению, для партии это сейчас невыгодно ввиду того, что с.-р. вызывают симпатию». Возможно, агент выражал и свою личную точку зрения (ведь Ратаев не догадывался, что его информант — одно из первых лиц в партии и глава ее Боевой организации). Но в целом эсеры были «за» — собственно, их партия и взяла на себя в основном организационную и моральную подготовку встречи. В своих изданиях ПСР призывала «покончить с братоубийственной враждой революционных партий» и объединить силы в борьбе с царизмом.

Что до эсдеков, то Плеханов изначально отнесся к идее

* Не говоря уже о том, что эта цифра — 50 тысяч — повторяется почему-то всякий раз, когда речь идет об иностранных деньгах, переданных Гапону или через Гапона в 1905 году при разных обстоятельствах и на разные цели

конференции холодно, причем скепсис его относился именно к фигуре Гапона — в роли организатора он предпочел бы видеть кого-нибудь «более компетентного и опытного в революционных делах». 11 марта Плеханов, Дейч, Аксельрод и Мартов направили в Заграничный комитет ПСР письмо, в котором предлагали сначала провести закрытое совещание двух партий. Эти предварительные совещания эсеров и меньшевиков проходили 12—13 марта, кончились ничем, и на конференцию плехановцы не пришли.

Ленин, напротив, сразу же на участие в конференции согласился. Однако большевики настаивали на сохранении автономии партий, допуская только совместную работу «в будущих революционных комитетах в России». Условием такой работы должно быть «непосредственное и фактическое *слияние* на деле терроризма с восстанием массы».

Собственно об официальном организаторе конференции Ленин писал:

«Пожелаем, чтобы Г. Гапону, так глубоко пережившему и переживавшему переход от воззрений политически бессознательного народа к воззрениям революционным, удалось доработаться до необходимой для политического деятеля ясности революционного миросозерцания. Пожелаем, чтобы его призыв к боевому соглашению для восстания увенчался успехом, и революционный пролетариат, идя рядом с революционной демократией*, мог ударить на самодержавие и низвергнуть его скорее, вернее и ценою меньших жертв».

На самом деле лидер «бэков» рассчитывал влиять на состав и ход конференции через, казалось, прирученного им Гапона. Представить себе Владимира Ульянова, с кем-то объединяющегося на равных, трудно, но использовать эсеров он был не прочь. А «мэки» еще в марте поняли, что мяч будет на эсеровской стороне, что это они хотят использовать эсдеков для своих целей.

Конференция началась 2 апреля. Из восемнадцати приглашенных организаций прислали своих представителей одиннадцать: эсеры (их представляли Чернов и Брешко-Брешковская), большевики (Ленин), Польская социалистическая партия (Йодко, Войцеховский и Славинский), Дашнакцутюн (армянские социалисты — Рустен, Сафо и Оман), грузинские социалисты-федералисты (Деканозов), Бунд (Гельфин), Ла-

* Революционный пролетариат — это эсдеки, а революционная демократия — эсеры; суть разногласий заключалась как раз в том, что социал-демократы отказывались признавать эсеров социалистами (так как социалист должен признавать учение Маркса), а видели в них только «революционных демократов». Все это очень походило на церковные расколы, историю которых Гапон должен был знать.

тышская социал-демократическая рабочая партия (Розин), Латышский социал-демократический союз (Роллау), армянские социал-демократы (Лерр), а также Финская партия активного сопротивления (Виктор Фурухельм и еще один делегат — но не Циллиакус) и Белорусская социалистическая громада. Председательствовал Гапон, секретарем был избран Ан-ский.

Эсдеки (ленинцы и национальные организации) были недовольны с самого начала: польская, финская и грузинская социал-демократические организации не получили приглашения, эти территории представляли организации, близкие эсерам, что сразу же давало партии социалистов-революционеров неоправданные преимущества.

На первом же заседании делегат Латышской социал-демократической рабочей партии объявил латышский социал-демократический союз фиктивной организацией, созданной эсерами, и потребовал удаления его делегата Роллау. Его поддержали Ленин и делегаты от Бунда и армянских эсдеков. Когда большинство отказалось удовлетворить их требование, все социал-демократы, кроме Роллау, покинули конференцию.

Остались эсеры и национал-сепаратисты. Естественно, главным вопросом стал национальный. Первыми выступающими были представители поляков и армян, которые начали излагать свои отдельные требования — относительно умеренные (речь шла пока *только* о федерации). Гапону это не понравилось. Он (по свидетельству Ан-ского) попросил слова и сбивчиво, с большим волнением заговорил о том, что «...все говорят о правах окраин и никто не говорит о правах России. Кончится тем, что Россию разорвут на части». Чернов успокоил его: никто, дескать, на единство России не покушается. Гапон внешне успокоился, но направление разговора ему явно не нравилось. Его, восточного украинца, пугала идея польской автономии — а мысль об автономии для Украины ему даже не приходила в голову. Впрочем, украинских представителей на конференции не было.

Еще раз Гапон вмешался в разговор (опять же по свидетельству Ан-ского), когда обсуждали «еврейский вопрос».

«Хотя, с уходом представителя Бунда, на конференции не было официального представителя еврейской национальности, однако один из участников конференции выступил с предложением, чтобы конференция определила свое отношение к вопросу о еврейской национальной автономии и вынесла по этому поводу определенную резолюцию. Против обсуждения этого вопроса по существу особенно резко выступил представитель Р. Р. С. (польский еврей), который доказывал, что вопрос не имеет серьезного значения и что, вообще, никакой

еврейской “нации” не существует... Вмешался в дебаты и Гапон и совершенно неожиданно выступил горячим защитником еврейского полноправия, гражданского и национального. Смысл его речи был тот, что евреи такая же нация, как и поляки, армяне, литовцы и другие, и имеют такое же право на национальную автономию. Указывают, что у евреев нет своей территории. Но из этого можно сделать лишь тот вывод, что им должна быть отведена в России особая территория».

Трудно сказать, какую территорию готов был Гапон выделить под еврейскую автономию. Позиция его не случайно оказалась «неожиданной». Ан-ский не знал о тех конфликтах, которые были в декабре в Петербурге, в личном общении с революционерами-евреями в Женеве Гапон был сама любезность, но до Семена Акимовича доходили разговоры, которые Гапон вел в другой компании – о том, что евреев в русском революционном движении не в меру много и что это не идет на пользу делу. Так что иллюзий относительно гапоновского филосемитизма (то есть его последовательности) у него не было. Впрочем, можно увидеть в высказываниях Гапона внутреннюю логику: если выделить евреям собственную «делянку», они будут не так страстно заниматься общими делами...

Еще одно «особое мнение» Гапона касалось – по его собственному свидетельству – аграрного вопроса. Гапон неожиданно заявил, что бесплатная раздача крестьянам земли только развратит их, что национализированную помещичью землю следует раздавать за выкуп, «чтобы внушить крестьянам уважение к собственности».

Как же совместить это с тем, что пишет Крупская о беседах Ленина с Гапоном, о том, как повлияли они на программу большевиков по части земельного передела? Не надо забывать, что сейчас Георгий Аполлонович был в среде эсеров; на фоне их аграрного радикализма он казался умеренным. В кругу социал-демократов взгляды Гапона выглядели иначе. В целом его позиция была характерной для выходца из южных, малороссийских «кулаков». Помещичьей земли они хотели, и всей, но представляли себе, что будет, если нищие деревенские лодыри получают земельные паи задаром. А эсеры ориентировались на великорусских крестьян-общинников.

В итоге было принято две общие декларации: одна – общеполитическая (ее подписали все), вторая – только социалистических партий (всех, кроме финнов-активистов?). Первую декларацию, согласно отчету Акаси, составили «great В» «бабушка», Брешко-Брешковская), «agent F» (Фурухельм) и – «father G». Однако вскоре по окончании конференции Гапон отослал текст деклараций к Ленину со следующим письмом:

«Дорогой товарищ! Препровождая вам две декларации, исходящие от известной вам конференции, прошу сообщить их предстоящему III съезду РСДРП. Считаю долгом оговориться лично за себя, что я принимаю эти декларации с некоторыми оговорками в вопросах социалистической программы и федералистического принципа».

В процитированных Лениным на съезде отрывках речь шла о «переходе в общественное заведование и в пользование трудового земледельческого населения всех земель, обработка которых основывается на эксплуатации чужого труда», о созыве Учредительного собрания для России и отдельных учредительных собраний для Польши, Финляндии и Кавказа. Другими словами, цитируя Ленина, — «сколок с с.-р. программы со всевозможными уступками националистическим партиям». Сам Ленин по поводу будущего Польши и других национальных окраин заявил, что мы «не можем быть ни за, ни против» их автономии или независимости, но что вопрос самоопределения не может решаться без участия социал-демократических организаций соответствующих территорий. А их-то на конференции не было.

После официальной части начались частные переговоры национальных движений с эсерами о совместных действиях. В них-то, видимо, и была соль — не то деньги японского правительства стоило бы считать потраченными впустую. Гапон ко всему этому уже не имел касательства. Его предложение создать единый «боевой комитет» с ним во главе не было принято всерьез.

Так выглядит история Женевской конференции по мемуарным и иным косвенным источникам. Материалы ее находятся в архиве Международного института истории в Амстердаме и еще ждут публикации.

В любом случае ясно: попытка «father G.» сыграть роль объединителя революционных партий закончилась ничем. Разве что Гапон попредседательствовал на собрании, на котором присутствовали Чернов, Ленин (пока не ушел) и другие гранды революционной эмиграции, и тем потешил свое самолюбие.

СИНДИКАЛИСТ

На первомайском банкете в одном из женевских кафе Гапон сообщил Ан-скому, что несколько часов назад вступил в партию социалистов-революционеров. Но Рутенберг утверждает, что принял Гапона в партию двумя месяцами раньше, в

начале марта, сразу же по возвращении из Парижа, перед отъездом Рутенберга в Россию, и до конференции.

По словам Рутенберга, в разговоре участвовали он, Савинков, Чернов и Азеф. Гапону были поставлены условия: «Ни о каких самостоятельных планах, деловых переговорах без предварительного совета и разрешения Центрального Комитета не могло быть больше речи. Ни о каких двусмысленностях, недоговоренностях — тем больше. Ему предлагалось почитать, подучиться и в то же время писать свои записки, для которых был найден издатель. Тем временем выяснится положение дел в России, приедут некоторые из товарищей; тогда определится его практическая роль в революционной работе. Относительно “прав” можно будет говорить в зависимости от результатов его работы. Претендовать на откровенность он может в пределах той области, в которой будет работать».

Рутенберг пишет, что в это время Гапон жил на средства эсеровской партии (выдавшей ему тысячу франков). В это можно поверить. Но в конференции Гапон участвовал как беспартийный — в противном случае он и не мог бы на ней председательствовать. Да и Ленин едва ли так привечал бы у себя в доме официального члена ПСР. Если с начала марта по начало мая Гапон был членом эсеровской партии, это членство было тайным. Но, скорее всего, его и не было. То, что Рутенберг описывает как прием Гапона в партию — это был просто предварительный разговор. А собственно пребывание Гапона в рядах эсеров было немногим дольше, чем его бытность «социал-демократом»: видимо, 1 мая Брешко-Брешковская, не знавшая о договоренностях Гапона с Черновым, Савинковым и Азефом, по своей инициативе приняла его в партию, а уже в середине месяца ему деликатно предложили «считать себя совершенно не связанным» своим членством в ПСР. Причина была проста: Гапон потребовал ввести его в ЦК и в курс всех конспиративных дел, в чем ему, естественно, было отказано.

К этому моменту, однако, Гапон уже не слишком интересовался работой в рядах эсеров — как и любой другой партии. В марте начали выходить из тюрьмы арестованные активисты «Собрания». Вскоре Гапон через посредников восстановил с ними контакты. В конце апреля (то есть как раз накануне испугления в ПСР) он пишет своим сподвижникам:

«...Здесь мой авторитет весьма силен, популярность велика, но не особенно меня эта мишура радует...

Я все облумывал, присматривался к разным партиям. Был у корня их. Вглядывался я пытливым взором и не удовлетворялся. В социал-демокр. нет единого духа, причем генералы ея (за искл. тов. Ленина) б. ч. талмудисты, фарисеи, нередко наглые

лгуны, нередко в полном смысле онанисты слов и фраз с большим самомнением (я не имею в виду героев-рабочих, настоящих работников С. Д.).

Некоторые генералы соц.-револ. обладают чудным благородством и простой, но самоотверженной любовью к народу и рабочим. Что касается прогр., тактики и методов работы, то меня и та, и другая сторона не удовлетворяют, хотя душа, если не разум, склоняют к соц.-рев. Но я стою вне партий и всячески стараюсь привести их к соглашению. Но пока моя попытка не увенчалась успехом...»

Удивительно, как детское тщеславие, наивное непонимание того, как на самом деле относятся к нему эмигранты и чего стоит его «авторитет», сочеталось у Гапона со своего рода исторической проницательностью. Во всяком случае, он разглядел в кругу «онанистов слов и фраз» будущего победителя, «человека дела» (как он, Гапон, любил выражаться) — и поставил на него.

В мае Гапон уже жил как семейный человек — после его долгих хлопот Сашу Уздалеву доставили в Женеву. А в середине мая Гапон с женой отправляется в Лондон.

Этот переезд был связан с заказом на написание автобиографии, русская версия которой неоднократно цитируется в этой книге. Предполагалось, что биография будет писаться сразу же по-английски, со слов Гапона, журналистом-профессионалом, и по частям публиковаться в журналах («Strand Magazine» — английский оригинал, в «Le Monde Moderne» — французский перевод), а затем выйдет книгой. Книга, по-английски и по-французски, вышла в конце года. Но гонорар (соответствующий десяти тысячам рублей, то есть жалованью Гапона-священника за пять лет) был получен, видимо, уже летом. Гонорар этот давал Гапону независимость от партий, не только личную, житейскую, но и политическую.

Журналиста, который будет работать над книгой, рекомендовал Ан-ский. Имя его было установлено лишь в 1997 году С. И. Потоловым: это Давид Владимирович Соскис, уроженец Бердичева, изучавший право в Киевском (Святого Владимира), Петербургском и Одесском (Новороссийском) университетах. Смена высших учебных заведений объяснялась участием в студенческих беспорядках. В конце концов Соскис получил, однако, диплом, состоял в Казани помощником присяжного поверенного и по-прежнему участвовал в конспиративных делах; в 1892 году он был арестован и после года в Петропавловке был выслан на родину, в Бердичев — откуда бежал за границу. Жил в Париже, в Швейцарии, наконец, осел в Лондоне, женился (между прочим, на внучке известного художника-пре-

рафаэлиты Форда Мэдокса Брауна), имел адвокатскую практику и занимался журналистикой, одновременно принимая живое участие в русской зарубежной политической жизни. От эсдеков он постепенно перешел к эсерам. В Лондоне жили ветераны-народники — Николай Чайковский и Феликс Волховской. Соскис издавал вместе с ними журнал «Free Russia», участвовал в Обществе друзей русской свободы, включавшем русских социалистов и британских либералов. Впоследствии Соскис вернулся в Россию, в 1917 году был секретарем Керенского, после октябрьского переворота снова уехал в Англию и в 1924 году натурализовался там. Его сын Фрэнк был министром в правительстве Вильсона и получил титул баронета. В работе над гапоновскими мемуарами участвовал также Джордж Герберт Перрис — известный британский публицист, автор «Новейшей индустриальной истории Англии» и книги о Льве Толстом.

Некоторые страницы написаны Соскисом почти без участия Гапона: например, описание города в первые часы после расстрела демонстрации. Стилистика и интонация книги также во многом — от него. И все же лучшего, более содержательного источника биографии Гапона до весны 1905 года нет.

Интересно, что Гапон рассматривал свои мемуары как общее дело, в работе над которым должны были принять участие и его товарищи по «Собранию» — поскольку и гонорар по большей части должен был пойти на общие нужды. Кроме того, Гапон рассчитывал, что по выходе книги к нему потянутся пожертвования. В письмах в Петербург он просит выслать ему описания «гнетущей нужды петербургских рабочих» (так что соответствующий раздел книги написан коллективно) и — в первую очередь — фотографии: их требовала редакция иллюстрированного журнала. Фотограф (на оплату его услуг Гапон послал 50 рублей) снимал здания всех отделений союза, группы рабочих разных профессий и типов (Гапон специально указывал — снимать «при самой бедной обстановке»). Часть денег была переведена в Полтаву, и тамошний фотограф Хмелевский заснял родной дом героя, его родителей и детей, а также несколько «характерных видов из малороссийского быта». Велась эта переписка, по сведениям агента Виноградова-Раскина, через Марию Александровну Медведеву, общавшуюся с Сашей. Азеф утверждал, что Медведева ездит в Россию легально, но никаких следов ее пребывания в столице России не зафиксировано. Через нее или через другого посредника Гапон уже в начале лета передал в Петербург деньги, на которые бывшие активисты его организации, выпущенные из тюрем, но так и не нашедшие работы (их боялись принимать на заво-

ды), создали артель столяров-кроваточников. Это позволило им продержаться до осени.

Впрочем, как и на что в действительности расходовался этот гонорар (и другие оказывавшиеся в его распоряжении в тот год суммы), знал только сам Георгий Аполлонович. И, судя по всему, он неважно вел деньгам счет. Прежде, когда «Собрание» существовало на медные деньги, ни одна копейка не пропадала даром. Теперь все было иначе. Впрочем, о денежных делах Гапона мы еще потолкуем.

В письмах домой Гапон, по своему обыкновению, не чуждался хлестаковщины: «Европа, Англия и Америка жаждут услышать мое слово, всякое мое мнение». Рутенберг, встретившийся с ним в Лондоне, так передает его хвастовство: «...Дольше и подробней всего рассказывал о памятнике, который рабочие собираются поставить ему “при жизни” — “Как никому”; о его бюсте, “поставленном в здешнем лондонском музее” и “в Париже тоже”. (Это над ним подшутил, должно быть, кто-то.) Рассказывал о том, что за каждое написанное им “слово”, по его “расчету”, выходит “по двадцати копеек”. Рассказывал о деньгах и оружии, которые у него имеются и будут...» Трудно сказать, действительно ли Гапон во все это верил — в «памятник», в «бюст» или просто входил в тартареновский азарт. Тем более что бюста, конечно, не было, но «расклеенные на улицах плакаты о театральные и балаганные представления с громадными надписями “Гапон” и «разные иностранные “знаменитости” (вплоть до английской принцессы), добивавшиеся посмотреть на него», — все это было в самом деле, сам же Рутенберг про это пишет. Гапон, горячий южанин, честолюбивый провинциал, вживе стал персонажем массовой культуры. Понятно, как это могло на него подействовать.

Наверное, если бы не эта эйфорическая переоценка собственных возможностей и влияния, Гапон не задумал бы в эти месяцы новый проект, по масштабности превышавший всё сделанное прежде. Речь шла о Российском (или Русском) рабочем союзе, или Российском рабочем и крестьянском союзе, или Союзе российского рабочих и беднейших крестьян. Аморфность этой организации, так и остававшейся до возвращения Гапона в Россию в зачаточном состоянии, проявилась и в отсутствии утвержденного названия.

В то время когда Гапон находился в Лондоне, ему стало известно, что один из руководителей «Собрания», Николай Петров, сумел бежать за границу и сейчас находится в Париже. Гапон распорядился «поберечь» его, и вскоре сам вырвался в Париж из Лондона. При встрече с Петровым он так описывал ему свои планы:

«Мы займемся скупкой шерсти в России, чтобы продавать ее за границей; если мы будем покупать по самой высокой цене, то и тогда останется очень большой барыш, особенно в Англии». — «Но как же ты думаешь вывести этот проект на политический путь?» — спросил я. «А вот как: мы устраиваем всероссийский рабочий и крестьянский союз, нелегальный, конечно. Найдутся люди, на которых можно положиться, и через них мы будем вести дело. В каждом большом городе будет устроен центральный пункт нашего предприятия от каждой губернии, а Петербург будет центральной базой. Рабочие будут покупать у нас продукты и этим путем будут организовываться, так как весь штат будет наш. Из каждого губернского пункта должен быть выборный, и это составит центральный совет. В деревнях тоже устроим торговые заведения, которые тоже будут связаны с центром. Мы пошлем множество агентов, которые будут скупать и другие продукты и вести пропаганду. Каждому из своих членов мы гарантируем 50 рублей в месяц жалованья. Все это дело будет находиться в руках у меня и еще у двоих иностранцев, но под контролем рабочих. Таким образом можно организовать каждого мужика и незаметно его вооружить. Вот тогда можно сделать все, что захотим, и мы сделаем. Я не прошу обмана и невинно пролитую кровь 9-го января. Сразу же начнем организовывать партизанские отряды»».

Воспоминания Петрова очень недоброжелательны и пугающи (просто глупый был человек, это видно), но вот этот монолог правдоподобен. Здесь удивительно сочетаются два лица Гапона: энергичный и конструктивно настроенный «социальный организатор»... и наивно-мстительный авантюрист. Не случайно Гапон чуть дальше говорит ему, что ему предлагают оружие, а он хочет получить деньги. Петров явно намекает на корыстолюбие Гапона. На самом деле Георгий Аполлонович, вероятно, хотел бы оставить себе лазейку: чтобы можно было использовать деньги и для мятежа, и для какой-нибудь мирной работы — смотря по обстоятельствам. А тем, кто предлагал оружие (всё упиралось в конечном счете в японский Генеральный штаб), никакая мирная работа Гапона была не нужна. (Правда, есть свидетельства, что деньги Гапон все-таки тоже получил, но об этом — ниже.)

Гапон ругал революционеров: эсеров — за то, что у них не выяснишь конспиративные тайны, социал-демократов — за то, что «ходят по толстым коврам». И вообще — «сейчас во главе всех наших партий стоят евреи, а ведь это самый гадкий народ не только у нас в России, а везде». Тем не менее сотрудничать с партиями придется: рано или поздно они «сами придут к нам». Придут, когда у нас будут деньги и организация. А для этого нужен «мандат» — без него ничего не сделать. Мандат

же должны были предоставить Гапону рабочие внутри России. И Гапон послал Петрова за этим загадочным «мандатом» в Петербург. «Когда приедешь в Россию, то найдите там человека, который походил бы на меня, и немедленно посылайте его ко мне. Это необходимо для дела. Мандат напишите как вождю и сейчас же посылайте. Организуйте людей, наш лозунг: — рабочее дело должно быть делом рук самих рабочих».

Зачем Гапону был двойник? Это уж вовсе не понятно.

Гапоновцы в Петербурге составили воззвание «Рабочему русскому народу городов и деревень от “Российского рабочего союза”». Согласно этому тексту, главное отличие новой партии от других — в том, что «организация пролетариата» будет вестись «снизу самим пролетариатом, а не оторванными от жизни интеллигентами». Конкретные требования были переписаны из январской петиции. Худо-бедно, но что-то вышло. С этим текстом и протоколом, назначающим Гапона *представителем* (представителем, а не председателем! — как раньше), Петров вернулся в Лондон.

Далее: партии нужна была программа. Ее как раз было кому написать. В разговорах с Петровым Гапон, ругая партии и их вождей, делал исключение для Ленина (как и в письме в Петербург) и для анархистов. С величайшим анархистом (анархо-синдикалистом) своего времени (и с одним из крупнейших географов XIX века — человеком, открывшим ледниковый период), князем Петром Кропоткиным, Гапон встретился в Лондоне. Энергичный расстрига очень понравился темпераментному старому революционеру и ученому из Рюриковичей.

Кропоткин написал статью «Русский рабочий союз», ставшую идеологической основой нового движения. Статья вышла отдельной брошюрой. А затем была включена в коллективный сборник анархистов «Хлеб и воля» (1906).

Кропоткин темпераментно нападает на идею национализации, огосударствления земли и промышленности: «Государственный социализм в буржуазном государстве... становится... новым средством эксплуатации...» Он осуждает российские оппозиционные партии за то, что те ставят во главу угла политические свободы, а затем уже собираются заняться экономическими отношениями. Нет, говорит Кропоткин, — «прежде всего — экономический переворот, который и создаст новую, соответствующую ему форму политической жизни...». В чем этот переворот должен заключаться? «Рабочие и крестьяне должны захватывать в руки все, что им нужно для работы».

Программа Рабочего союза должна прежде всего включать:

«Право на землю, для каждого желающего обрабатывать ее личным трудом.

Право всего общества на то, что произведено трудом пре-

дыдущих поколений — т. е. на жилые дома, фабрики, заводы, пути сообщения, угольные копи и т. д.

Право на обеспеченное, безбедное существование для всякого, кто занят общепольным трудом.

Право на даровое образование и обучение ремеслам, а также на обеспеченную старость».

Кто же обеспечит осуществление этих требований, если не государство? Ответ Кропоткина таков: синдикаты, то есть профессиональные союзы, которые из формы самоорганизации наемных работников постепенно станут основой структуры всего общества.

Гапону эта, в общем, не очень сложная (и не очень реалистичная) теория пришлась по душе. На какое-то время она стала основой его действий, как прежде — идеи Хомякова и Тихомирова. И, как всегда, идеи впитывались не столько через книги, сколько в разговоре, в живом общении. Впитывались — и сразу же применялись к делу.

Казалось бы, если Гапон и Кропоткин расходились с социалистическими партиями, то еще дальше они были от либералов. И тем не менее именно Струве первым попытался установить контакт с новым движением и овладеть им. 16 июля (примерно в это время Гапон, завершив работу над книгой, вернулся из Лондона в Женеву) он писал Прокоповичу: «Следует, не теряя времени, приехать за границу для переговоров и соглашения с Гапоном и основания совместно с ним рабочей партии и начертания плана компании... Одной из задач новой рабочей партии должна быть по существу координация действия с освободительным движением в борьбе за конституцию». Эта миссия возлагалась на Прокоповича, так как он и его жена Кускова считались представителями левого крыла либералов и знатоками тред-юнионистского движения. Толку из этих планов выйти не могло: Гапон сейчас явно двигался в другую сторону и совершенно не собирался подчинять свое движение «борьбе за конституцию». Это он уже проходил в декабре 1904 года, перед Кровавым воскресеньем.

Между тем у эсдеков и эсеров как раз в это время оживился интерес к Гапону, связанный с вещами более конкретными и практическими.

СНОВА ПРОПОВЕДНИК

Но об этом позже. Сейчас — поподробнее еще об одном сюжете, относящемся к лондонскому периоду.

Всё началось во время Женевской конференции. Ан-ский

рассказал об «юдофильском» выступлении Гапона одному из своих знакомых по еврейскому национальному движению, и тому пришла в голову мысль использовать популярность «народного вождя» для агитации против погромов.

23 апреля состоялся очередной громкий погром — в Житомире. На прежние, предреволюционные погромы он был во многом непохож.

Во-первых, хотя происходило дело на Пасху, мотивация была не религиозная, а политическая: «жиды стреляли в царский портрет». Во-вторых, еврейская самооборона встретила погромщиков со всей решительностью, дошло до полноценных уличных боев — и тогда полиция (и приданные ей войска) вмешались в дело *на стороне громил*.

Четырьмя днями раньше в Мелитополе самооборона не пустила погромщиков в еврейские кварталы, они начали грабить христианские лавки — и тут были остановлены полицией. 22 апреля в Симферополе тоже был погром — первый из двух в этом году, — но и там войска и самооборона были вроде бы заодно. А в Житомире — друг против друга.

Именно Житомир был важным психологическим рубежом. Спасти еврейские кварталы только от погромщиков даже при пассивности власти самооборона иногда могла. Но от погромщиков и помогающей им полиции — уже нет.

А почему полиция от тихого саботажа все чаще переходила к прямой поддержке погромщиков? Потому, что дело было уже не в евреях как таковых. С одной стороны были православные люди под хоругвями, с царскими портретами, с другой — молодежь «студенческого» вида, «жиды» и сочувствующие им христиане, явные *сицилисты*... На чьей стороне быть царскому городоному? Понятно.

Евреи черты оседлости, мирные ремесленники и торговцы, стали в каком-то смысле заложниками начавшейся революции. Но революционные партии, в руководстве которых в самом деле было более чем достаточно лиц иудейского вероисповедания или выкрестов, публично защищать их не торопились.

Ан-ский обратился к Гапону с предложением написать брошюру против погромов, и тот согласился «со всем энтузиазмом». Вскоре он уехал в Лондон, и неделю от него не было вестей. Ан-ский написал ему. Гапон вызвал его телеграммой в Англию (когда Семен Акимович появился в Лондоне, Гапон объяснил ему, что «хотел лично переговорить о характере брошюры» — «Если вы тут будете, я наверно напишу ее»). Прошло еще несколько дней. Гапон был плотно занят работой с Соскисом и не мог оторваться. Наконец, он предложил Ан-скому самому написать черновик брошюры.

«Он внимательно прочел и остался недоволен.

— Не совсем так... не совсем! — сказал он. — С крестьянами и рабочими надо говорить иначе, иным тоном, иным языком... Надо затрагивать иные струны, совсем иные... Ну-ну, я еще посмотрю! Завтра поговорим, завтра!

А на следующий день, когда я пришел к нему, он, к моему удивлению, подал мне готовую рукопись.

— А вот и сам написал! — воскликнул он с торжеством. — Всю ночь до утра писал! А ну-ка, послушайте!»

Что же вышло из-под пера Гапона?

«Люди православные, братья, сестры мои родимые! Прислушайте хорошенько речь мою правдивую, на благо себе великое. Начну с притчи Божией, с притчи Христа Спасителя, о милосердном самарянине так называемой.

Шел проезжею дорогою, тою дорогою, что ведет от святого города Иерусалима к Иерихону городу священному, человек, еврей по происхождению. На него напали разбойники лютые, избили его, ограбили. Лежит несчастный, в луже собственной крови своей плавает. Кругом стоны его раздаются тяжелые. Шел тою дорогою священник храма Божьего. Знал закон он Божий до тонкости, знал он и все пути-дороженьки к царствию небесному; знал он и главный путь — помочь ближнему единоплеменнику в его несчастии, — но не захотел помочь священник несчастному. Не перед кем было ему, фарисею, творить напоказ дело доброе. Берег пустослов очень уж свое благоутробное спокойствие. Жалел лицемер карман свой широкий, деньгою бедных наполненный. И бежал жирный пустосвят, церковных дел мастер, от горя человеческого, не оглядываясь.

Шел тою дорогою левит, — дьякон по-нашему. Будучи ниже чином священника и проще душою, он подошел было к несчастному единоплеменнику, посмотрел... Но мольбы страдальца его не тронули. Побежал левит за сбором десятины, за доходами, чтобы не вымерло с голоду все сословие его бородастое, длинноволосое.

Ехал тою дорогою человек из самарян, евреями весьма презираемых. Услыхал он стоны человеческие, встал с осла своего, подошел к умирающему: обмыл его раны тяжелые, перевязал, надел на него платье свое чистое, повез недруга своего в гостиницу и во всем о нем позаботился, вплоть до полного его выздоровления.

Скажи теперь по совести, крестьянский рабочий народ, православный люд, рассуди своим собственным простым разумом. Чему учит притча сия, притча Спасителя, и какому примеру Христос заповедал, чтобы люди следовали? Примеру

ли лютых разбойников, или фарисея лицемерного, или левита жадного, или примеру самарянина милосердного? «Вестимо, вы ответите, что притча сия учит тому, чтобы мы смотрели на всякого человека, к какой бы ни принадлежал он вере, нации, как на брата своего, как на своего ближнего, и чтобы всячески помогали ему при его несчастьи; что Христос всегда осуждал лицемерие, пустоту в делах фарисейскую, жестокость и жадность левитскую, а тем паче стоял он против лютых разбойников. Вестимо, вы сами ответите, что Спаситель указывает великою притчею следовать в жизни своей примеру самарянина милосердного»».

До нас не дошли церковные проповеди Гапона. Но вот этот текст дает замечательное представление о стиле Гапона-проповедника. И — парадокс: именно это «послание», в котором отразились века церковной культуры, проникнуто такой грубой ненавистью к «бородатому, длинноволосому» сословию, к которому Гапон еще недавно принадлежал, из которого его изгнали.

Но, собственно, когда же речь пойдет о погромах как таковых?

«Отчего ж ты, великий русский народ, народ христианский, зная всю эту истину, готов явно идти против Спасителя, против человечности? Отчего же ты распался на глухую ненавистью, лютой яростью против евреев, жидами тобою прозываемых? Отчего же ты в великие христианские праздники, словно над Христом насмехаючись, допускаешь иным злым братьям, детям своим, вставать на них с дреколями, с оружием, и те, старых от малых не разбираючи, бьют их смертным боем, проникают в лачуги их бедные, в иступлении за ними по чердакам, по крышам гоняются, проламывают ломами, прутьями железными им головы, разграбляют ничтожное их имущество, глумятся над ними, издеваются. И когда в светлый Христов праздник поют в храмах Божиих: “Друг друга по-братски обнимем”, когда звон колоколов, и шум праздничный, и яркое весеннее солнышко, и травка зеленая — все говорит о жизни, все призывает к миру благодатному и к Христовой радости, — злые братья, недостойные дети твои, беспощадно заливают еврейской детской кровью городские улицы, землю-матушку Божью, чуть не паперти церковные...

Отчего подобные неслыханные злодеяния совершаются, те злодеяния, что несут на твою голову, о русский народ! великий позор, позор трудно смываемый? Отчего? Ведь боишься же ты гнева Божьего, Божьего проклятия?! Где же твое милосердие, сострадание, сострадание самарянина к избитому, ограбленному народу еврейскому, в лужах собственной крови

своей плавающему, подобно еврею евангельскому, попавшему в руки лютых разбойников? Отчего у тебя такая жестокость прорывается к народу-изгнаннику, при всей твоей природной сердобольности?

Отвечу я тебе, русский народ, отвечу без прикрас, отвечу по чистой совести, больше жизни своей тебя любя, тебя жалеючи. Внимай же правде-истине внимательно».

Конструкция в формально-риторическом смысле очень сложная и во многом парадоксальная. Притча о самаритянине призывает, разумеется, относиться к человеку вне зависимости от племени (а также от статуса). За несоблюдение этого правила Иисус упрекает евреев, Гапон же отождествляет с еврейским народом израненного человека, лежащего на дороге (но также и самаритянина, представителя презируемого племени); левит и фарисей у него — недостойное православное священство, но также, надо думать, и все юдофобы; самаритянин же — чаемое «правильное» духовное состояние христиан (но также и чаемое Христом духовное состояние евреев).

И тот же Ан-ский утверждает, что Гапон был плохим оратором! Тут бывший отец Георгий, правда, пишет, а не говорит. Но говорил он явно не хуже. Когда говорил в правильном месте, правильном настроении, перед правильной аудиторией.

Дальше:

«Оттого ты, мой бедный народ, вместо самарянина милосердного зачастую становишься не только хуже левита или священника, но даже хуже лютых разбойников по отношению к народу еврейскому, что лежишь ты в темном невежестве, да в бесправии, да в гнетущей бедности, что никак ты из нужды своей не выбьешься: слишком давит она тебя вокруг да около, вместе с долею твоей несчастною; по пятам за тобой везде гонится, монополюку пить на последние гроши, жену, детей своих родных бить тебя толкает; гонит в кабалу к кулаку, помещику, к фабриканту, заводчику. Бесправие же руки связывает, давит слово свободное, петлею шею затягивает. Словно змеи подколодные, темное невежество, бесправие да бедность гнетущая вьются-обвиваются вокруг сердца твоего бедного; всякое чувство доброе из него высасывают, из головы, из души вышибают словеса евангельские, словеса Спасителя, не дают им в дела жизни претвориться. Напускают проклятые змеи подколодные яду змеиного в сердце простое, человеческое, наполняют голову злой-черной думою. И меркнут в душе крестьянина, в душе иного труженика рабочего очи здравого смысла, очи разума, и не могут они правды найти, не могут ложь от истины различить, не могут они доподлинно узнать, откуда змеи подколодные народились, откуда и как они раз-

множаются, кто и как разбрасывает яйца змеиные по всему лицу земли русской, на горе ее лютое.

А верные слуги великого Змея-Горыныча, вампиры, царские чиновники да прихвостни их, народные предатели, тем со злобною радостью пользуются, от себя гнев великий, гнев народный отважаючи. Сил своих не жалеючи, со змеиной хитростью, разбрасывают они плевелы клеветы сатанинской по народной ниве, чтобы лучше, вернее, безопаснее самим кровь пить народную; распускают вампиры ненасытные везде молву черную, что-де все горе мол земли русской от евреев-нехристей, что-де от них-то и змеи подколодные — невежество, бесправие да нужда горькая, — что они-то, евреи, враги наши настающие, беспорядок-смуту везде заводящие.

Вот откуда идет у народа русского глухая ненависть к народу еврейскому. Вот где главный корень кроется неслыханного, трудно отмываемого позора, что налагают на тебя, христианский народ, иные дети твои недостойные, совершая погромы лютые над беднотою еврейскою».

Очень интересно здесь, как одна стилистика переходит в другую: из церковной проповеди мы вдруг попадаем в какую-то былинную стилизацию (но несколько в стиле модерн: обратим внимание на повторяющееся слово «вампир». Это былина не по Алексею Константиновичу Толстому и не по Ключеву, а по... по Бальмонту, пожалуй).

Но это — переходный стиль. Через былинку Гапон переходит от проповеди к прокламации:

«...Чтобы ты, обездоленный русский народ, ясно видел, что все, сказанное мною, есть истина, и чтобы ты на пользу себе уразумел окончательно хитрую и злую механику царско-чиновничьего правительства, задам тебе я вопросы прямые, точные, а ты насчет ответов пораскинь своим разумом, да поговори со своею совестью.

Рассуди, крестьянский рабочий народ, и узнай, наконец, доподлинно — евреи ли твои враги лютые и будет ли конец твоей маяте каторжной, если бы они исчезли с русской земли до единого?

Кто, вместо земли, воли и равенства справедливого для всего народа русского, дал крестьянскому народу земельные наделы махонькие, да и то с выкупными платежами огромными, наложил на крестьян налоги великие да повинности без их спроса и согласия, ограничил их права разными узаконениями, так что вышла воля, словно в насмешку, для крестьян куцая да голодная, без земельного равенства. Помещикам же, попам да чиновникам осталось, по-прежнему, житье привольное, разгульное. Кто виноват в этом? Евреи? Нет, не евреи, а

царь Александр II-ой, не по правде тобою, русский народ, освободителем называемый. Помогли же ему одурачить народ темный да доверчивый обдирайлы-чиновники да бары-гордые — все люди нашей веры православной.

У кого после обманного освобождения и до сих пор в руках вся земля Божья, земля-матушка, наша кормилица, кровью и потом тобою, о русский народ, облитая? Кто держит ее и не дает тебе, народу трудящемуся, ею уравнительно пользоваться? Разве евреи? Нет! Царь со своими родичами, казна, помещики да кулачье разное, почти все люди православные...»

Дальше идут стандартные общесоциалистические претензии к российской власти и правопорядку — с хорошими риторическими периодами и с по-цицероновски повторяющимся рефреном: «Разве евреи? — нет».

И вдруг — как будто «Слово о полку»:

«— О, русский народ, где, где дети твои, от работы, от мужичьего хозяйства, от семейств оторванные? Где они? Едят ли их, бездыханных, чудовища водные в пучинах океанских, или им хищные птицы очи выклеывают на полях маньчжурских? Или они, бедные, умерли с голоду и холоду, от забот их начальников неспособных, генералов предателей?»

Где, где дети твои, русский народ?»

Странно, что Гапон не писал стихов. Или писал, но они не дошли до нас. Положительно, он был рожден поэтом. Наверное, лучшим, чем Мазепа.

После этого периода — опять политика — о том, что власти взялись «натравлять друг на друга разные народности: русско-христианскую на еврейскую, а татарско-магометанскую на армянско-христианскую» (речь идет о знаменитой бакинской резне 1903 года), распространяют кровавый навет («А того клеветники забывают, что евреи веруют в Бога-Отца и что священной книгой у них считается Библия, которую и христиане почитают священной. А разве Библия разрешила кровь человеческую пить? Там даже указано никакой крови не пить»), что при погромах бывают жертвы с обеих сторон, потому что евреи обороняются (и правильно делают).

Ближе к концу называются имена — как воплощение тьмы «Грингмуты (знакомый!), Суворины, Крушеваны» (тоже разумная расчетливость Гапона: из довольно многочисленных имен российских публицистов-антисемитов он выбирает три, из них два нерусских по звучанию), как светлый пример — студент Николай Блинов, русский и православный, погибший в еврейской самообороне в Житомире.

И наконец:

«Как думаешь ты, если бы Христос Спаситель наш явился

теперь в своем земном виде в нашу Русь святую, то не заплакал ли бы Он еще горше вторично, видя как ты празднуешь светлое Его воскресение великими погромами Его народа любимого — бедноты еврейской?»

Такие «чертовы качели»: от «самого гадкого народа» в разговоре с Перовым до «его любимого народа» здесь. Но такая, скажем так, амбивалентность типична для эпохи, об этом мы уже говорили. А суду истории все-таки подлежат публичные действия и высказывания человека. Впрочем, любимым народом Христа оказывается только беднота еврейская — в полном соответствии с социалистической идеологией.

Думается, что этот своего рода риторический шедевр Гапона не случаен. Он стосковался по роли проповедника (не просто политического вождя и оратора) и был благодарен Анскому за возможность еще раз побывать в этой роли.

Был и еще один аспект, судя по всему, очень важный. После кишиневского погрома, по свежим следам, преподобный отец Иоанн Кронштадтский обратился со следующим посланием:

«...Какое недомыслие или непонимание величайшего праздника христианского, какое тупоумие русских людей! Какое неверие! Какое заблуждение! Вместо праздника христианского они устроили скверноубийственный праздник сатане, — землю превратили как бы в ад... Русский народ, братья наши! Что вы делаете? Зачем вы сделали варварами — громилами и разбойниками людей, живущих в одном с вами отечестве, под сенью и властью одного русского царя и поставленных от него правителей? Зачем допустили пагубное самоуправство и кровавую разбойническую расправу с подобными вам людьми? Вы забыли свое христианское звание и слова Христовы: “научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем” (Мф. 11, 29). Послушайте, как Он поучал учеников Своих кротости и незлобью. Однажды Он, восхотев идти в Иерусалим, послал вестников в селение Самарянское, чтобы приготовить для Его сердца людей. Но там не приняли Его, потому что Он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики Его Иаков и Иоанн сказали: Господи! хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал? Но Он, обратившись к ним, запретил им и сказал: не знаете, какого вы духа. Ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать. И пошли в другое селение. Вот каково должно быть поведение христианина, вот каков должен быть дух его».

Через несколько дней под влиянием или давлением своего черносотенного окружения Иоанн отрекся от этого послания и опубликовал следующее заявление:

«...Взываю к христианам кишиневским: простите исключительно только к вам обращенную мною укоризну в совершившихся безобразиях. Теперь я убежден из писем очевидцев, что нельзя обвинять одних христиан, вызванных на беспорядки евреями, и что в погроме виноваты преимущественно сами евреи».

Гапон несомненно знал эту историю. К личности отца Иоанна он относился с особой ревностью и был явно не прочь вступить с ним в риторическое соревнование (обратим внимание на две притчи о самаритянах!), в котором Иоанн уже заранее потерпел поражение, отрекшись от своего текста. Иоанн Кронштадтский, кстати, поминается в тексте гапоновской брошюры: его имя олицетворяет «хитрых и трусливых попов, прислужников царских».

О дальнейшей судьбе текста Ан-ский рассказывает так:

«Немецкий еврей-миллионер, глубоко убежденный в магическом влиянии Гапона на народные массы, пожертвовал 3000 франков на издание брошюры, и это дало возможность издать ее в количестве 70 000 экземпляров. Распространение ее в России взяли на себя все организации (брошюра была составлена в совершенно беспартийном духе). Из напечатанных экземпляров, помнится, взяли: социалисты-революционеры — 20 000 экземпляров, Бунд — 15 000, меньшевики — 10 000, сионисты — 5000. Гапон для своей собственной организации взял — 10 000. Большевики ничего не взяли. Какая часть из этих 60 000 экземпляров проникла в Россию, трудно сказать».

Очень странно, что большевики, так хорошо относившиеся к Гапону, ничего не взяли. Ревность?

Никакого влияния на дальнейшее развитие события брошюра, конечно, не оказала.

После Манифеста 17 октября по России прокатилась новая, гораздо более сильная волна погромов. За десять дней погромы прошли в 660 городах и местечках. Общее число убитых разные источники оценивают в диапазоне от восьмисот до четырех тысяч человек (раненых, естественно, в разы больше).

28 октября Николай II писал матери: «Народ возмутился наглостью и дерзостью революционеров и социалистов, а так как $\frac{9}{10}$ из них жида, то вся злость обрушилась на тех — отсюда еврейские погромы... Но не одним жидам пришлось плохо, досталось и русским агитаторам: инженерам, адвокатам и всяким другим скверным людям». Отец Николая, Александр III, якобы говорил вслух так: «Сердце мое радуется, когда бьют евреев, но позволять это ни в коем случае не следует». Его сын, пусть неумный, но добродушный от природы человек, про вторую часть фразы забыл. Николай оказался в том же поло-

женин, что и народовольцы в 1881 году. Те хотели какого бы то ни было народного бунта. Николай, которого заставили-таки даровать конституцию, желал, чтобы «народ» хоть как-то защитил его от «адвокатов». Еврейский погром в обоих случаях играл роль паллиатива.

Настроение царя хорошо чувствовали его слуги. В 1906 году Лопухин, еще в феврале 1905 года отстраненный от руководства полицией и назначенный эстляндским губернатором, ушел в отставку, хлопнув дверью так, что весь государственный механизм содрогнулся: он предал гласности (с помощью своего друга, либерального депутата Думы князя Урусова) информацию о погромных листовках, некоторое время (в конце 1905-го — начале 1906 года), печатавшихся в недрах МВД ротмистром Михаилом Комиссаровым. По чьему заданию (или по собственной инициативе) изготовлял их этот странный и мерзкий человек, не слишком понятно. Большевики после 1917 года не особенно заинтересованы были в раскрытии истины: бывший ротмистр (к началу второй революции дослужившийся уже до генерал-майора) теперь работал на них — во внешней разведке*.

Те, кто инициировал или поощрял расправу с «жидами», «студентами», «пропагандистами», не понимали, что на этом народные массы не остановятся. Но и те, кто подбивал крестьян на «экспроприацию» дворянских усадеб или готовил «восстание масс», тоже не понимали, что усадьбами дело не ограничится. Панический страх перед любым неконтролируемым движением толпы, который привел к трагедии 9 января, у многих сменился к концу года легкомысленной надеждой на то, что стихию насилия удастся направить в нужную сторону.

Но мы отвлеклись, забежали вперед. Пока у нас в книге лето. Лето 1905 года.

ШЕСТНАДЦАТЬ ТЫСЯЧ РУЖЕЙ

Петров уехал из Лондона прежде, чем переговоры его патрона с теми, кто, по его словам, предлагал «не деньги, а оружие», закончились. К моменту возвращения Гапона в Женеву переговоры эти были в принципе завершены.

Непосредственно Гапон имел дело прежде всего с Цилли-

* Лопухина, который пытался вступить в кадетскую партию и в коллегия присяжных поверенных, не приняли ни туда, ни сюда: из-за полицейского прошлого. Либералы столетней давности были принципиальны. В 1908 году он принял участие в разоблачении Азефа, за что впоследствии был приговорен к ссылке в Сибирь.

акусом (Соковым, как звали его русские) — очень высоким, плотным, румяным, живым, сочным, общительным пятидесятилетним человеком, «авантюристом высшей марки», объездившим чуть ли не весь мир, долго жившим, между прочим, и в Японии. Ему, как и в марте, перед конференцией, легко удалось убедить Гапона, что источник средств (или — в данном случае — оружейных стволов) — международная (в основном американская) демократическая общественность, восхищенная петербургским рабочим классом и его вождем.

О том, кто на самом деле стоял за этими деньгами, многие догадывались, а кое-кто знал наверняка. В числе последних была и русская полиция. Азеф уже в марте докладывал своему начальству, что Циллиакус «находится в сношении с японским посольством в Лондоне».

27—28 мая (нового стиля) 1905 года под Цусимой решилась участь эскадры Рождественского, о которой гадали в Петербурге в декабре. В общем-то теперь Япония войну могла выиграть и без тайных диверсий. Но деньги после полупобеды у Мукдена уже были выделены, и Акаси во что бы то ни стало старался их, будущим советским языком говоря, «освоить».

Предполагалось, что основную роль в проекте должны были играть именно те силы, которые участвовали в Женевской конференции. То есть в первую очередь эсеры. Совещания, посвященные закупке оружия, проходили в Лондоне на квартире Николая Чайковского, при участии Волховского и — само собой! — Азефа.

Но какова была роль Гапона, зачем эсеры, еще недавно обижавшие его нежеланием посвятить его в свои конспиративные планы, так охотно вовлекли его в важнейший проект? Очень просто. Для восстания требуется «пехота». Реальные силы партий в России явно недостаточны. Сторонники эсеров были «рассеяны по градам и весям огромной империи». А у Гапона — репутация человека, выведшего на улицы столицы 150 тысяч человек. Не важно, что они разбежались при первых залпах. Не важно, что никакого «Собрания» больше не было. Был зато Российский рабочий союз, а что пока он существовал только на бумаге — об этом мало кто догадывался.

То есть Азеф, который и предложил своим товарищам привлечь Гапона, — он-то, может быть, и догадывался. Но у Азефа были свои соображения, о которых — ниже.

Правда, вскоре выяснилось, что Гапон и его товарищи по переговорам не слишком понимают друг друга. «Все его предложения, — язвительно отмечает Циллиакус, — имели ту особенность, что они ни в какой степени не считались с практической выполнимостью и все без исключения клонились

к тому, чтобы выдвигать на первый план собственную фигуру Гапона». Георгий Аполлонович всерьез готовился к захвату столицы. А там... «Чем династия Готторпов лучше династии Гапонов?.. Пора в России быть мужицкому царю, а во мне течет кровь чисто мужицкая, притом хохлацкая», — входя в раж, говаривал он позднее Поссе. Понятно, какое впечатление все это производило со стороны. Революционеры, с которыми он так снисходительно разговаривал в начале января в Петербурге и которые, скрипя зубами, принимали его снисхождение, теперь сами смотрели на него свысока, как на ребенка. Но этот ребенок должен был привести 12 тысяч бойцов. Столько ружей выделялось на Петербург.

В действительности ружей, канадских и швейцарских винтовок, через Балтийское море шло в Россию больше — 16 тысяч (четыре тысячи предполагалось отправить в провинцию). Еще — три тысячи револьверов, три миллиона патронов, три тонны динамита и пероксилина. Снаряжение для целой армии. Идея Циллиакуса и эсеров на самом-то деле сводилась к тому, что восстание в столице (которое должен был координировать комитет во главе с Азефом) продержится два-три дня, «служа... сигналом для одновременного восстания в других местах». Вероятно — прежде всего в Финляндии. Естественно, жизнелюбивый Конни думал прежде всего о независимости своей родины.

Конкретный план был таков:

«<...> Оружие, снаряжение и т. д. должны были быть доставлены на грузовом судне в заранее определенный пункт у северного побережья Финского залива. Там груз должен был быть перегружен на два других судна, и все три судна должны были прибыть в Петербург и пристать в определенный день в точно установленных пунктах различных рукавов Невы.

С этой целью предполагалось прибегнуть к рабочим организациям. Они должны были выделить достаточное количество надежных людей для приемки оружия... Тотчас после разгрузки судна они должны были вооружиться оружием и военными припасами и немедленно занять несколько определенных важных стратегических пунктов в городе... Чтобы ввести в заблуждение власти, заставить их рассеять гарнизонные войска в различных отдаленных от Невы пунктах, небольшие отряды, снабженные взрывчатыми веществами, привезенными контрабандным путем, должны были поджечь несколько необитаемых в то время дач, а также взорвать несколько императорских дворцов в окрестностях города».

Гапоновских рабочих откровенно собирались использовать в качестве пушечного мяса. И Георгий Аполлонович, ослеп-

ленный обидой на царя и его приближенных, а главное — подкупленный возможностью возглавлять большое «конспиративное дело» (в сущности, призрачной), соглашался на это.

Естественно, слухи об этих приготовлениях не могли не дойти до женевских эсдеков. В первую очередь от второй финляндской партии, партии «пассивного сопротивления», или конституционалистов. Для своего *пассивного сопротивления* эта партия, возглавляемая доктором Неовиусом, тоже хотела бы заполучить немного оружия — на всякий случай. И вот Неовиус рассказывает большевистскому эмиссару Николаю Буренину (товарищу Герману) про корабль с оружием, надеясь, что, вырвав свою долю, эсдеки и с финскими пассивистами поделятся. А то не все же ружья активистам!

Эсдеки (в том числе большевики) — противники террора, но боевики у них есть. Так называемая Боевая техническая группа. Люди примечательные. Леонид Борисович Красин, в 1900-е годы — второй (после Ленина) человек во фракции большевиков, после 1917 года — нарком торговли и промышленности, а в промежутке — аполитичный богатый инженер, директор российского представительства фирмы «Сименс»; Александр Александрович Богданов, позднее — отзовист, махист и богостроитель (оппонент Ильича по всем пунктам), потом — идеолог Пролеткульта, наконец — директор Института переливания крови, погибший после проведенной на себе операции. Как и Красин (который в 1924 году предложил забальзамировать Ленина с целью его последующего воскрешения) — фантаст-трансгуманист. Другие бэковские боевики и боевички (Елена Дмитриевна Стасова) не столь знамениты и экзотичны — но это тоже были яркие люди. До 1905 года группа специализировалась на доставке в Россию через Финляндию (с помощью тех же «активистов») нелегальной литературы, а в 1905 году дело доходит и до оружия.

Информация от финнов поступила не позднее 26 июня. Примерно через неделю Гапон возвращается в Женеву и тоже особо не скрывает от своих друзей-эсдеков свои лондонские переговоры. Ведь это — знак его статуса и признания. Большевики, естественно, хотят присоединиться к проекту и считают, что удобнее всего это сделать через Гапона. За кружкой пива в одном из женевских кабачков Ленину удается убедить амбициозного рабочего вождя поехать с «товарищем Германом» в Лондон и там «передать все свои связи». Ехали с соблюдением всех правил конспирации: на пароходе делали вид, что незнакомы, остановились в разных отелях. В результате переговоров у Чайковского (во второй декаде июля) большевики были приняты в Объединенную боевую организацию, куда входили

финляндские активисты, эсеры, гапоновцы и, что совсем уже странно, «освобожденцы» (то есть будущие кадеты). Последние никакого участия в восстании принимать, конечно, не собирались, но могли воспользоваться им для выдвижения политических требований. Теоретически предполагалось, что оружие будет принимать в Финляндии и в Петербурге совет, включающий всех участников коалиции.

В первых числах августа (по новому стилю) Буренин посещает Петербург и встречается с гапоновцами. 28 июля (10 августа) в Женеве происходит заседание Боевой технической группы с участием Клеца (Бибикова), Шура (Н. П. Скрыпника — позднее один из руководителей советской Украины), Рейнерта (Богданова), Дюбуа (Постоловского), Явейна (Красина), Дельты (Стасовой) и Шмидта (Румянцева). Заслушан доклад Германа о переговорах «с Гапоном и его союзом рабочих».

«Выяснилось, что у Гапона нет ничего в смысле организационном и техническом. Он располагает большими средствами, но принять оружие, закупленное им, он не имеет возможности; не имеет этой возможности и его организация. Гапон изображал дело так, что центральная группа уже существует, на деле оказалось, что центральная группа еще обсуждает свою программу. Руководителей у них нет, технических сил тоже. Ввиду этого тов. Герман предлагает взять в свои руки всю организацию и лишь использовать гапоновцев и с.-р., так как первые могут дать средства, вторые помогут в технической стороне дела».

Предложение Германа принято. «Для определенного воздействия на Гапона решено устроить его свидание с Высокопоставленным».

«Высокопоставленный» — это Горький, который живет в то время на даче в Финляндии. Считалось, что Гапон «трепещет» перед ним. Во всяком случае, он имел основания испытывать к писателю благодарность. А может (и даже наверняка), он рассчитывал для своего союза на денежную помощь от очень небедного Алексея Максимовича (за авторский лист прозы получившего столько, сколько слесарь высшего разряда за год).

В середине августа Горький отправляет через Ленина письмо Гапону с вот такой припиской, обращенной к самому «Владимиру Ильичу Ульянову»:

«Глубокоуважаемый товарищ!

Будьте добры — прочитав прилагаемое письмо — передать его — возможно скорее — Гапону.

Хотел бы очень написать Вам о мотивах, побудивших меня писать Гапону *так* — но, к сожалению, совершенно не имею свободной минуты...

...Считая Вас главой партии, не будучи ее членом и всецело полагаясь на ваш такт и ум — предоставляю Вам право — в случае если Вы найдете из соображений партийной политики письмо неуместным — оставить его у себя, не передавая по адресу».

Формально Горький, видимо, отвечал на письмо Гапона, в котором тот рассказывал о возникновении Российского рабочего союза «из рабочих, принадлежавших к разным партиям, а гл. обр. из бывших членов “Собрания русских ф.-зав. рабочих”». Но, конечно, с Высокопоставленным уже как-то связались Красин и другие боевики.

Письмо начинается словами «Буду говорить просто и кратко», но кратко его назвать никак нельзя.

Вот несколько цитат из довольно вязкого трехстраничного текста:

<...> До сей поры организацией рабочего класса в нашей стране занималась социал-демократическая интеллигенция, только она бескорыстно несла в рабочую среду свои знания, только она развивала истинно пролетарское миропонимание в трудящихся классах, а Вы знаете, что освобождение рабочих достижимо лишь в социализме, только социализм обновит жизнь мира, и он должен быть религией рабочего...

<...> Задача всякого истинного друга рабочего класса должна быть такова: нужно принять все меры, употребить все усилия, все влияние для того, чтобы возникающая рознь между интеллигенцией и рабочими не развивалась до степени отделения духа от плоти, разума от чувств, тела от головы...

В единении — сила, товарищ!

А Вы, подчиняясь мотивам, мне плохо понятным, очевидно, не продумав значения Ваших намерений, работаете в сторону разъединения, в сторону желаемого всеми врагами народа отделения разума от чувства. Это ошибка, и последствия ее могут быть неизмеримо печальные.

Не самостоятельную партию, разъединенную с интеллигенцией, надо создавать, а нужно влить в партию наибольшее количество сознательных рабочих. <...>»

Дальше Горький начинает вдруг бранить Петрова («человек тупой, неразвитый, совершенно неспособный разобраться в вопросах политики и тактики, не понимающий значения момента, не понимающий даже Ваших задач» — интересно, что после смерти Гапона Горький писал о Петрове совсем в ином тоне и духе). И вот, вот — главное:

«Вы говорили о боевой организации Вашей как о факте, а где она? И Ваши люди очутились нос к носу с невозможностью принять Вашу посылку».

И в заключение:

«Нам нужно, нам необходимо видеться лично! Лицо, которое передаст это письмо (то есть Ленин. — *В. Ш.*), будет говорить с Вами о необходимости свидания и об устройстве его».

Что из всего этого следует? Очевидно, что большевики сначала нахрапом ввязались в не ими затеянное дело, а потом, воспользовавшись неразберихой, попытались навязать Гапону «помощь в приеме груза» и — перехватить оружие (и руководство намеченным восстанием) у эсеров. Которых потом не плохо будет «использовать» по технической части.

Можно было бы сказать, что это выглядит не очень красиво, если бы во всей этой истории было хоть что-то красивое.

Воспоминания Германа-Буренина и Литвинова рисуют совершенно иную картину. Якобы то ли эсеры, то ли Гапон сами обратились к большевикам за помощью, и те не слишком охотно согласились. Очевидно, что большевики задним числом пытались представить свое поведение в более выгодном свете.

Около 20 августа Гапон стал собираться в дорогу. Причем — не один.

Несколькими неделями раньше ему устроили встречу с публицистом Владимиром Александровичем Поссе. Гапон прежде мог быть знаком с его сочинениями по кооперации — по крайней мере слышать о них. В 1905 году Поссе опубликовал книгу «Теория и практика пролетарского социализма». Гапона, видимо, познакомил с этой книгой некто «товарищ Михаил», рабочий-наборщик по специальности, верный адепт Поссе, в эти месяцы обретавшийся с женой в Женеве. Он и сам написал и напечатал брошюру под названием «Рабочий класс и интеллигенция» под псевдонимом М. Белорусец (по месту рождения — он был белорусский еврей). А настоящая его фамилия, кажется, неизвестна.

Поссе так описывает «товарища Михаила»:

«К его нескладной, развинченной и размашистой фигуре вполне подходила нескладная физиономия, на которой ходуном ходили нос, щеки, выпученные глаза под изогнутыми очками, а громадный рот со скверными зубами раскрывался почти до ушей и брызгал слюной, когда товарищ Михаил, тяжело ворочая языком, напирал на противника всем своим существом...»

Синдикалистский Квазимодо при Поссе-канонике, одним словом.

Судя по всему, Гапон нашел в идеях Поссе много для себя созвучного.

Ну вот, к примеру:

«Долой бюрократию, долой армию, долой государственных попов! Вот что должно быть лозунгом пролетариата; и только уничтожив бюрократию, распустив всю армию и уничтожив государственность церкви, пролетариат может совершить свою социальную революцию, только при этом условии он может экспроприировать экспроприаторов. И для этого не потребуется никакой диктатуры...»

Просто и ясно! Как у старика Кропоткина, только еще простодушнее, без всякой «казуистики».

И — такая отчетливая и симпатичная неприязнь к «социал-демократическим командирам, считающим себя призванными вести пролетариат не туда, куда он хочет, а куда он должен идти».

Товарищ Михаил зазвал своего учителя в Женеву, уверяя его, что «Гапон наш». И в самом деле, беседа пошла на редкость легко и непринужденно:

«Гапон во всем со мной соглашался. Он соглашался, что грядущая революция будет пролетарской, а не буржуазной, так как буржуазную революцию заменила у нас в 60-е эпоха великих реформ; соглашался, что в партийной программе следует всегда выставлять наибольшие требования, ибо наименьшие выставляет сама жизнь; соглашался, что свойственным рабочему классу оружием везде и всегда является всеобщая стачка, стачка не только рабочих, но и солдат.

Вероятно, он соглашался и с теми, кто находил мои взгляды утопическими или попросту вздорными».

Но эта последняя оговорка принадлежит уже Поссе, разочаровавшемуся в Гапоне и обиженному на него. А пока он был, вероятно, польщен и опьянен: его идеи, идеи одиночки, увлекли человека, за которым — десятки тысяч рабочих, настоящая *сила*.

Правда, лично вождь рабочих оказался не таким, как ожидал публицист.

«Маленький, сухой, тонконогий, черный, с синеватым отливом на лице, с большим носом, сдвинутым влево, Гапон смотрит своими черными глазами вниз и в сторону, как бы стараясь скрыть от вашего взора то, что творится в его душе, и в то же время зорко посматривает за вами...»

В России, с длинными волосами, с окладистой бородой, в широкой и длинной рясе, он производил, конечно, совершенно иное впечатление, чем здесь, за границей, стриженный и бритый, одетый по-велосипедному».

Гапон «небрежно», как показалось Поссе, представил ему Сашу.

«Это была бледная, болезненная*, видимо, очень робкая девушка, любовно следившая за своим властелином, готовая

* Она, судя по всему, находилась на первых месяцах беременности. (Прим. авт.)

исполнять все его приказы, впрочем, пустячные: сходи за пивом, принеси папирос и т. п.»

Гапон между делом намекал, ничего не уточняя, на «пароходы с оружием», идущие для него в Россию. (Пароходов в самом деле было несколько*, но к другим Гапон на самом-то деле не имел отношения и даже не знал о них.) Поссе это и порадовало, и смутило. Он стал допытываться, как относится Гапон к террору. Он, Поссе, был против индивидуального террора. Гапон чувствовал это — и уходил от ответа.

Но тут внимание теоретика отвлеклось от дискуссии.

Дверь открылась, и вошла Прекрасная Дама.

По крайней мере так ее описывает Поссе.

«Стройная блондинка с льняными волосами, серьезными серыми глазами, с тонкими нервными губами...»

Дальше — мы слышим голос не политического идеолога, не обиженного своим бывшим союзником джентльмена, а ревнивого мужчины:

«...Она казалась недостижимой для этого маленького вертлявого человека, напоминающего жокея или в лучшем случае актера, но никак не священника и народного трибуна.

И однако она пришла к нему и только для него.

Гапон самодовольно улыбнулся, крепко пожимая ее руку, а его болезненная жена, убиравшая со стола пивные бутылки, смутилась и как будто еще более осунулась».

В самом деле, обидно! Впрочем, это, конечно, не любовное свидание: девушка обменивается с Гапоном несколькими «малопонятными для непосвященного» фразами и уходит.

Гапон, проводив незнакомку, начинает возбужденно расписывать ее своим собеседникам: «Необычайный человек и очень ценный товарищ, из очень богатой аристократической семьи, изучала химию в Оксфордском университете, говорит почти на всех европейских языках. Революционеркой стала после 9 января, а до этого была монархисткой...»

Ничего выходящего за рамки приличий пока что. Просто такая революционная романтика. Но жена не зря *смущается*.

Так мелькает — чтобы через несколько страниц появиться вновь — на страницах воспоминаний Поссе та, кого он называет вымышленным именем — Ольга Петровна, в другом издании Лариса Петровна.

На самом деле ее звали Мильда Хомзе. Судя по всему, в быту ее называли Людмилой. Людмила Петровна, превращающаяся в Ларису, — правдоподобно.

* Пароход «Сириус» шел по Черному морю на Кавказ. Переписка Акаси с Деканозовым и Циллиаксом по этому поводу попала в руки полиции и была в 1906 году факсимильно опубликована отдельной брошюрой под названием «Изнанка революции».

В 1919 году в Берлине вышла книга под названием «Гапон, das Schicksal einer russischen Revolutionärin. Bekenntnisse der Milda Chomse». («Гапон, или Судьба русской революционерки. Признания Мильды Хомзе».) Шестью годами раньше рукопись этой книги читали Горький и Кропоткин и пришли к выводу, что это — фальсификация, возможно, принадлежащая перу уже поминавшегося Матюшенского, но что в основе ее, может быть, лежат какие-то реальные рассказы несчастной Мильды. Сама она покончила с собой в 1909 году, на краю земли, во Владивостоке.

В любом случае о детстве и юности «русской революционерки» известно только из этих псевдомемуаров. Дочь немца и монголки (что плохо сочетается с описанной Поссе «нордической» внешностью), она действительно выросла в богатой семье, училась в Смольном институте. Но ее образованность и ум оба увлеченных мужчины, и Гапон и Поссе, кажется, склонны были преувеличивать: Горький с печальной язвительностью отмечает, что девушка «по степени развития своего казалась похожей на ученицу епархиального училища из глухой провинции». С Гапоном она, если верить лжемемуарам, познакомилась еще в апреле, когда давала ему уроки английского. Впрочем, тут уж верить им сложно: все дальнейшие описания приключений Гапона и его передвижений по Европе в этой книге противоречат другим, заслуживающим гораздо большего доверия источникам.

Так или иначе, в июле—августе Гапон использовал «ценного товарища» как связную с Петербургом, или Стокгольмом, или Гельсингфорсом, или Лондоном. Во всяком случае, из Женевы она исчезла и сердце бедного Поссе больше не тревожила. Да и Сашу не смущала.

Зато у Гапона появился новый друг. Дружба эта была не только приятной, но и лестной.

Анатолий Матюшенко — глава восстания на броненосце «Потемкин», самого знаменитого из эпизодов революции 1905 года... и одного из самых нелепых. На новейшем, совсем еще недавно введенном в строй броненосце, которым командовал хороший, гуманный капитан 1-го ранга Голиков, в самом деле готовился мятеж, как и на других черноморских кораблях. Готовился загодя, а вспыхнул стихийно из-за червивого мяса (которое в тогдашних гигиенических условиях на флоте было обычным делом: офицерам тоже не привозили с берега свежатинки в леднике). Взбесившаяся матросня убила семь офицеров (пять из них прикончил лично Матюшенко — между прочим, он добивал раненого судового врача), повела корабль из Севастополя к Одессе, спровоцировала в уже и так

охваченном забастовкой городе беспорядки, закончившиеся стихийным разграблением порта, дважды неудачно стрельнула по жилым кварталам, подзаправилась углем и уплыла в Румынию. Такая вот миниатюрная морская пугачевщина. Но в 1905 году слова «Броненосец “Потемкин”» звучали гордо, героически (далее уже, чтобы продлить этот эффект, потребовались мощь советского агитпропа и гений Эйзенштейна).

Матюшенко специально искал в Женеве Гапона. Один легендарный вождь искал другого. Матросы в Констанце велели ему: «Не помогли нам божи попы, отыщи чертова попа, может, он поможет». И действительно, *чертов поп* и кровавый матрос сошлись не разлей вода. Вместе они ходили к Ильичу, особенно тщательно (в том числе по уже упомянутым причинам) обхаживавшему в эти дни обоим, вместе завтракали с Поссе, который и сам не понимал, что объединяет его с этими двумя людьми, настолько непохожими на него (и друг на друга).

По словам Поссе, «Матюшенко... в теорию не вдавался. А практика сводилась у него к уничтожению — именно к уничтожению, а не устранению — всех начальников, всех господ, и прежде всего офицеров... Освободиться нижние чины могут лишь тогда, когда офицеры будут “попросту” уничтожены... Ему казалось, что суть революции в подобных убийствах. В этом духе он писал кроважидные прокламации к матросам и солдатам, призывая их к убийству офицеров. Он думал, что при такой программе легко привлечь на сторону революции всех матросов и большинство солдат. Казакам он не доверял, считая их “продажными шукурами”».

Но Владимир Александрович, кажется, не пытался переубедить матросского атамана, а лишь правил его прокламации — «смягчал “кроважность” содержания, оставляя в неприкосновенности характерный солдатский стиль».

Матюшенко в Женеве тосковал. Жить в эмиграции и бездействовать он считал постыдным. За него, как и за Гапона, боролись эсеры и эдеки. Его воротило от книг и споров, а теракты тоже были ему не по сердцу. «Массовый я человек, рабочий... — признавался он Савинкову. — Не могу один».

Наконец, ближе к концу августа 1905 года решено было, что все отправятся в Россию: Гапон вместе с Поссе через Стокгольм и Финляндию (а дальше уже — с помощью «финских товарищей»), а Матюшенко вернется в Румынию и оттуда попытается пробраться к русскому Черноморью. Зачем Гапон едет в Россию и как это связано с поминавшимися «пароходами с оружием» — этого Поссе знать не знал.

В последний момент вдруг всё переменялось. Гапон пред-

ложил Владимиру Александровичу сопровождать не его, а Матюшенко. Георгий Аполлонович уехал в Стокгольм один. Но ехать с Матюшенко Поссе тоже отсоветовали: как легальный, но состоящий на подозрении у полиции путешественник, он будет привлекать к себе и своему спутнику лишнее внимание. Решено было, что с потемкинским вождем поедет жена товарища Михаила — женщина бойкая и находчивая. (Впрочем, находчивость ее помогла мало: в Россию проникнуть Матюшенко тогда не смог. Он уехал в Америку, потом появлялся во Франции, снова в Женеве, и только в 1907 году, в дни сурового столыпинского умиротворения, смог ступить на русскую землю. В Николаеве он попался с поличным при подготовке некой диверсии и был по приговору военно-полевого суда повешен.)

Сам же Поссе устремился по следам Гапона в Стокгольм.

КОНЕЦ «ДЖОНА ГРАФТОНА»

Прибыв в Стокгольм, Поссе легко разыскал Гапона и встретился с ним.

Во время первой же беседы Георгий Аполлонович сообщил Поссе, что «по странному стечению обстоятельств» здесь находится и Хомзе. Зачем-то он добавил, что эта девушка «отдала в его распоряжение свою душу и он, зная, как драгоценна эта душа, чувствует великую ответственность перед Богом». Может быть, он хотел таким образом подготовить собеседника к мысли о близких отношениях, существующих между ним и его знакомой, а может быть, напротив — подчеркнуть платонический характер этих отношений. Впрочем, через два дня Гапон уже как ни в чем не бывало принимал Поссе в гостинице, где он жил с Мильдой «по-семейному» — причем в присутствии гостя говорил ей «ты» и допускал «фамильярности, обычные для не слишком застенчивых молодых супругов» (время еще чопорное, и можно себе представить, что это за шокирующие фамильярности: ласково погладить ручку во время разговора, к примеру).

Поссе, конечно, понял, почему Гапон советовал ему ехать с Матюшенко. Впрочем, пока он узнал только половину правды — ту, которая касалась личной жизни его спутника. О миссии Гапона в Швеции и Финляндии и о том, какой опасности он подвергает себя, впутываясь в эту историю, он, естественно, не знал.

Отвлечемся и мы на минуту от всех этих запутанных сюжетов, замешанных на оружии и международных диверсиях. Поговорим о любви.

С одной стороны, враги Гапона часто приписывали ему слабость к женскому полу. Мы уже цитировали газетные статьи января 1905-го и апреля 1906 года. Понятно, что это — сплетни, это — грязная политическая борьба, но ведь характерно, что про человека сплетничают именно в этом направлении, а не в каком-то другом. Вот и Савинков, который не был врагом Гапона и никаких полемических целей не преследовал, пишет: «Гапон любил жизнь в ее наиболее элементарных формах: он любил комфорт, любил женщин, любил роскошь и блеск, словом, то, что можно купить за деньги». Но в отношении «роскоши и блеска» это свидетельство явно противоречит показаниям других мемуаристов. И, конечно, Георгию Аполлоновичу, всегда пользовавшемуся бескорыстными симпатиями противоположного пола, не было никакой нужды покупать женскую любовь, если он в ней нуждался, за деньги.

С другой стороны, вот свидетельства людей, знавших Гапона ближе, чем Савинков, и уж тем более — чем петербургские и московские газетчики. И. И. Павлов: «Гапон вообще очень любил красивых женщин и всегда готов был за ними поухаживать; он становился в таких случаях ловким кавалером и, видимо, производил на женщин сильное впечатление, но никогда я не слышал ни о какой истории в амурном стиле. Во всяком случае по тому, что я знаю о Гапоне, я признал бы его нравственным, если бы не было какой-то общей его неустойчивости, дающей право сказать, что и в этом отношении он мог бы пойти в случае надобности на всевозможные компромиссы». С. Ан-ский: «Не желая вдаваться в этот щекотливый вопрос, замечу только, что ни лично не видал, ни от кого из ярых противников Гапона не слышал ничего такого, что компрометировало бы Гапона в отношении личной жизни. Он был образцовым семьянином. Почти с первой нашей встречи он стал жаловаться, что петербургский комитет партии социалистов-революционеров, обещавший переправить его жену через границу, несмотря на настойчивые просьбы и высылку денег, не делает этого — и сильно беспокоился за судьбу жены. Затем, когда она приехала, он все время жил неразлучно с нею».

Думается, истина посередине. Скорее всего, Гапон не был ни «образцовым семьянином», ни каким-то исключительным женолюбом или развратником. Он четыре года прожил с Александрой Уздалевой, считал и называл ее женой, заботился о ней, но время от времени увлекался и другими женщинами. Неудивительно, что в июле—августе 1905 года в его жизни появилась Мильда Хомзе. Это была не просто красивая девушка, а «товарищ». Гапон допускал, что едет в Россию на героин-

ческую гибель. Мильда ехала с ним. Предчувствие опасности придавало особую остроту их отношениям.

Уже месяцем позже, в Финляндии, между Поссе и Гапоном произошел следующий диалог. По словам теоретика синдикализма, он стал одним из обстоятельств, подтолкнувших его к разрыву с Гапоном.

Речь шла о «Ларисе Петровне» — о Мильде.

«Она решила пожертвовать собой для народа... — (так передает Поссе слова Гапона). — Она мечтает о подвиге. Я ее подготавливаю к убийству Витте... Он самый умный, самый толковый из слуг самодержавия. Он гораздо вреднее полицейской собаки, каким был Плеве».

Поссе шокирован.

«...Но подумайте, ведь, совершая покушение на Витте, Лариса Петровна сама должна почти наверняка погибнуть».

«Ну что же... и погибнет. Все мы погибнем».

«Но ведь вы ее любите?»

«Революция выше личных чувств».

Гапон просил Поссе помочь ему психологически подготовить девушку к подвигу.

«Прямо не надо убеждать, а так постепенно, исподволь. Выясняйте роль Витте в укреплении самодержавия, иллюстрируйте его двуличность... Не надо говорить: “убей” — это было бы глупо, а можно так сказать “не убей”, чтобы человек пошел и убил».

С точки зрения нормальной, «человеческой», «обывательской», поведение Гапона (в описании Поссе) в самом деле чудовишно. Ну а с точки зрения так называемой революционной этики? Вот Андрей Желябов послал на преступление и гибель любимую женщину.. и сам вместе с ней взошел на эшафот. Гапон старался защитить от опасности свою Сашу, беспокоился о ней — ну а Мильда совсем другое дело. Она — сподвижница по борьбе. «Все мы погибнем».

Только вот и в этой жертвенности, и в этом демонизме есть отчетливый оттенок позерства. Гапон не был ни Желябовым, ни Нечаевым, ни Савинковым. Он только хотел быть кем-то из них и по-детски играл роль, которую не мог до конца выдержать. А Мильда не была и не могла быть Софьей Перовской. Если бы Гапон в самом деле хотел подготовить ее для убийства Витте (как будто он чисто технически представлял себе, как такие теракты устраиваются!) — не стал бы он делиться этим с Поссе (зная к тому же его отношение к террору!) и просить у него помощи.

Потом игра закончилась, а с ней и увлечение. Осенью Гапон, уже вернувшийся к Саше, как будто пытается устроить

судьбу Мильды, выдать ее замуж за кого-то из своей организации... Связь их явно в прошлом.

Другое дело, что все ружья (да, мы опять о ружьях!) рано или поздно стреляют. И легкое отношение к насилию, усвоенное в революционной среде, и склонность злоупотреблять своим влиянием на других людей — все это потом страшно аукнется и обернется трагедией. Жертвой которой станет, правда, не Мильда, а другой человек.

Но мы отвлеклись. Пока мы — в Стокгольме. Впереди русская граница. У Гапона и Поссе есть один паспорт, болгарский, на имя некоего Футера, и оба, подозревая, что паспорт ненадежный, любезно уступают его друг другу. У Поссе, правда, есть и собственный паспорт, формально «чистый», но пользоваться им при пересечении границы он не хочет. Циллиакус обещает устроить им нелегальную переправу через границу, но все медлит. Покамест приятели и милая дама развлекаются: ходят в рестораны (Гапон заказывает изысканные напитки и вина — «чего сквалыжничать, может, недолго и жить осталось»), в оперу (Гапон смущает своих товарищей, громко прося объяснить ему сюжет: «О чем поет тот долговязый в красном кафтане? А чего вон этот беснуется? Ревнует, что ли?» — и это в тот момент, когда *всех захватывала музыка и в зрительном зале царила священная тишина*). Поссе, как многие левые интеллектуалы, был очень чувствителен к нарушениям буржуазной благопристойности, а Мильда вообще была смолянка. Оба стыдились за ребячливого и неотесанного расстригу.

Почему же Циллиакус тянул время?

Всё по порядку.

Когда стало понятно, что закупленное оружие не умещается на ранее купленные паровые яхты «Сесил» и «Сизн», был куплен 315-тонный пароход «Джон Графтон». Пароход фиктивно перепродали виноторговцу Дикенсону, который, в свою очередь, сдал его в аренду американцу Мортону, при этом «Джон Графтон» был переименован в «Луну» (но это название, более точно отражающее суть дела, ибо и в замысле, и в его осуществлении были явные элементы лунатизма, как-то забылось: в историю пароход вошел под первоначальным именем). Одновременно на имя частной японской фирмы купили еще один пароход, «Фульхам» (тоже переименованный в «Ункай Мару»), который должен был вывезти оружие из Лондона и в море перегрузить его на борт «Луны».

Эта часть плана была благополучно исполнена. Начиная с 28 июля в течение нескольких дней на острове Гернсей груз был перемещен на «Джона Графтона» (будем все-таки называть его так). Туда же подошли яхты — под видом увеселитель-

ной прогулки. Правда, с одной из них в Лондоне полиция сняла случайно обнаруженные пулеметы. Потом на корабле сменили команду (на финнов и латышей; капитан — член Латышской СДРП Ян Страутманис) и он вышел в море.

Циллиакус выехал в Копенгаген, надеясь встретить там пароход и проинструктировать команду. Но эта встреча сорвалась: пароход вышел в море, не дождавшись наставлений «Сокова». Яхты же остались в Копенгагене.

Что касается следующих звеньев цепочки, то там царил уже полный хаос.

Во-первых, Азеф, который в первую очередь должен был организовать приемку оружия и организацию восстания, исчез. Его не было в Петербурге, не было в Париже.

Вся двойная игра «Ивана Николаевича» была порождением системы индивидуального террора и жесткой взаимной конспирации. Последнее, что нужно было ему в жизни, — это «восстание масс» и тем более роль вождя такого восстания. Поневоле (а куда денешься — все-таки глава боевой организации) он принял участие в закупке оружия, при этом дозированно отпуская информацию о ней своему шефу из охраныки — Ратаеву. То есть сперва сообщал всё, потом — все меньше и меньше, под конец — ничего. Если бы вся схема закупки и доставки оружия легла Ратаеву на стол и революционеры заподозрили бы неладное (ведь насчет Азефа уже были сигналы, им просто не хотели верить), и по другую сторону баррикад удивились бы: откуда такие роскошные сведения у рядового члена партии, которым считали агента Раскина в охранеки?* Так что уверенности в том, что его донесения позволят сорвать операцию, у Азефа не было — а потому нужно было каким-то образом самому уклониться от дальнейшего участия в ней. В итоге агент Раскин устроил себе командировку в Болгарию. Революционерам свое отсутствие он позднее объяснил тем, что обнаружил за собой слежку и «ушел на дно».

Но необходим был человек, который должен был разделить с Азефом ответственность за приемку оружия, за восстание или его срыв. При наличии такого человека исчезновение Ивана Николаевича выглядело не столь скандально. Для этого ему, видимо, и понадобился Гапон — как дублер. (Этот мотив «дублерства» тоже аукнется: никто пока не догадывался как.)

Сведения об операциях Акаси у охраныки были не только от Азефа, но и от Манасевича-Мануйлова, чья агентура изымала соответствующие документы прямо из портфеля японского резидента. Но всем этим сообщениям не было придано долж-

* Предположение С. М. Познер, что все восстание было провокацией, осуществившейся Ратаевым через Азефа, не подтверждается документами.

ного значения. К тому же в середине 1905 года и Ратаев оставил свою должность, и Мануйлов вернулся из-за границы. Так что операцию сорвало отнюдь не предательство ее участников и не искусство русских контрразведчиков. Это-то интереснее всего.

Итак, Азеф исчез. Рутенберг, который — как исполнитель — тоже имел отношение к операции, исчез тоже (его случайно арестовали 3 августа). Однако кроме социалистов-революционеров, в «Боевом объединении» участвовали еще три русские (не финские) организации: Российский рабочий союз (гапоновцы), социал-демократы и Союз освобождения. Даже если не принимать в расчет освобожденцев — две.

И — что?

Финский эмиссар (Фурухельм?), который разыскивает в Петербурге Азефа и, не найдя, является на заседание Рабочего союза, не говорит по-русски (зачем же такого послали?). Рабочие, разумеется, не владеют иностранными языками. Финн оставляет им свой адрес, который гапоновцы передают Буренину.

Таким образом, мечта большевиков, казалось бы, сбылась: сношения с финнами, касающиеся транспорта с оружием, замкнулись на них.

Члены Боевого технического комитета начали с энтузиазмом (несколько запоздалым) готовить места для хранения оружия — вырыли ямы в Финляндии (в имени матери боевика Игнатьева), устроили тайник под плитой на Волковом кладбище...

Дальнейшее выглядит еще страннее. Финские «активисты», которые сперва вообще не хотели отдавать ружья эсдекам, теперь готовы были сделать это, но в определенном, ими назначенном месте. А товарища Германа и его помощников (в том числе будущего наркома иностранных дел Литвинова) это почему-то не устраивало. Трудно сказать, что стояло за этой торговлей — может быть, и какие-то внутренние отношения между финляндскими партиями. Кроме активистов и пассивистов были еще и финские социал-демократы (и их боевой отряд — Красная гвардия капитана Кока).

В итоге «Джон Графтон» 18 августа сгрузил часть оружия в тайник к северу от Виндау и, тщетно прождав встречающих основную (предназначенную для Петербурга) часть на острове рядом с Выборгом, отплыл обратно в Копенгаген.

И вот примерно в этот момент (явно поздновато!) Гапон прибывает из Женевы в Стокгольм. И еще как минимум через неделю Циллиакус отправляет Гапона и Поссе через границу на яхте, загримированной под прогулочную, — одной из тех,

что задержались в Копенгагене. Мильда поехала на пассажирском судне легально, по своему паспорту.

Перед отправлением Кони, по своему обыкновению, рассказывал «русские анекдоты не совсем скромного содержания, которые казались смешными главным образом потому, что произносились коверканным языком», — а затем проникновенно сказал Гапону:

— Смотрите, зажигайте там, в Питере, скорее, нужна горячая искра. Жертв не бойтесь. Вставай, подымайся, рабочий народ. Не убыток, если повалится пять сотен пролетариев, свободу добудут. Всем свободу.

И Гапону, и Поссе эти простодушно-циничные слова не понравились. На «прогулочной яхте» между ними состоялся следующий диалог:

«— Скверно у меня на душе, Георгий Аполлонович. Этот добродушный швед смотрит на русских рабочих как на революционное мясо для замены в Финляндии русско-бюрократической власти шведско-буржуазной...

— Наивный вы человек, Владимир Александрович, неужели вы думаете, я не вижу насквозь этих шведов и чухон? Они хотят использовать меня, а я на деле использую их. Ни одним русским рабочим не пожертвую я ради их буржуазных затей. Клянусь вам!»

«Они хотят использовать меня, а я на деле использую их» — это, можно сказать, жизненный лозунг Гапона. Другое дело, что далеко не всегда ему удавалось осуществлять его на практике. Партнеры, с которыми Гапону приходилось иметь дело, были похитрее Фуллона и петроградских эсдеков.

Ну а Поссе... Он просто не понимал еще, какой конкретно-практический смысл имеют слова «Сокова», что стоит за словами об «искре».

На финском берегу путешественников встретила «группа товарищей» — швед, англичанин, три немца и два «финляндца». Потом подъехал пароход под русским флагом, на котором находилась еще одна нордическая красавица — госпожа Реймс, жена коммерсанта из Або, участница патриотического движения. Гапона и Поссе отвезли к каким-то крестьянам, у которых Поссе по собственному признанию, допустил страшную бестактность: поднял тост за независимость Суоми. Крестьяне были шведами, страна для них называлась Финланд и к «финномам» (сторонникам финского языка как государственного) они относились отрицательно*.

А знали бы все они — финны, шведы, активисты, песси-

* В середине XIX века шведский был родным языком для 18 процентов населения Финляндии и 57 процентов населения Хельсинки.

висты, — что год назад Гапон произносил речь в память убитого Бобрикова!

Наконец, Гапон нашел временное прибежище в доме сельского учителя, поэта и революционера М. Связь с внешним миром у него поддерживалась через Мильду, прибывшую в Гельсингфорс, и находившегося там же Поссе. Гапон очень нервничал из-за вынужденного бездействия и невозможности общения: ему в конспиративных целях запрещено было говорить по-русски.

В один прекрасный день — как раз когда у Гапона был Поссе — к нему явился некий хорошо знакомый ему по Женеве социал-демократ («движения мягкие, округлые, голова острижена бобриком, аккуратная борода, хорошо исшитый костюм, чистые манжеты и воротничок, приятный баритон... хороший французский выговор») и о чем-то беседовал с глазу на глаз. После его ухода Гапон был в бешенстве, бранился скверными словами и, наконец, поведal Владимиру Александровичу эпопею с парходом. По его словам выходило, что у эсдеков «ничего не готово, ни людей, ни средств, и в последнюю минуту они отказываются от соглашения». А тут еще и верный, надежный Мартын куда-то делся — уж он бы выручил... И вот Гапон просил ни о чем не подозревавшего до сей минуты Поссе взять переговоры с финнами о приемке оружия на себя — «а тем временем приедут из Петербурга мои товарищи».

Несколько дней Поссе вел бессмысленные переговоры — бессмысленные, потому что он никого не представлял и ничего не мог обещать — и надеялся, что какая-нибудь «счастливая случайность» его выручит. Так и вышло. Но случайность эта была счастливой исключительно для Поссе. Ну и для царского правительства тоже.

Итак: сменив в Копенгагене в очередной раз команду и пополнив запасы продовольствия, «Джон Графтон» направился в Ботнический залив. Разочаровавшись в своих русских партнерах, финны решили выгрузить оружие в тайных складах, приготовленных в прибрежных шхерах: рано или поздно пригодится. Два раза оружие было благополучно выгружено. А 7 сентября корабль, блуждая в прибрежье, сел на мель около Якобштадта.

На корабль прибыли лоцманы и предложили свою помощь. Моряки отказались. Естественно, лоцманы, вернувшись на берег, донесли полиции о странном судне. (Гапон, войдя в роль романтического злодея-террориста, негодовал на мягкотелость моряков: «Пришли на парход два чиновника, а они их с миром отпустили, словно прося донести. Я бы ткнул этим

чиновникам в бок кинжал и выбросил за борт. Вот как должен действовать настоящий революционер».)

Когда на следующий день прибыла полиция, корабль уже был взорван, а команда отплыла на шлюпках в Швецию. Но и взорвать-то судно моряки как следует не сумели. Две трети оружия полиция извлекла, и оно поступило в арсеналы Российской империи. Из остального что-то (300 стволов) досталось финляндским активистам, что-то эсдекам, что-то простым финским крестьянам.

Николай II при известии о нахождении корабля поставил резолюцию «скверное дело» — и это тот случай, когда с ним можно согласиться. Дело скверное и к тому же глупое. Акаси бездарно потратил деньги своего государства, переоценив силу и слаженность русских революционеров.

Самое интересное, что даже теоретической нужды в этой операции Японии на этот момент уже не было. Двумя днями раньше, 5 сентября (23 августа старого стиля) в Портсмуте был заключен мирный договор. Единственный раз в своей истории Россия проиграла войну, но выиграла мирные переговоры (обычно бывало наоборот). Япония получила половину Сахалина и аренду Ляояня, при условии демилитаризации Маньчжурии — но ни рубля репараций. В Японии это вызвало массовые народные беспорядки, положившие начало тринадцатилетию смут (воистину — не рой другому яму!).

Что касается Гапона, то еще одним странным эпизодом его пребывания в Финляндии стала так и неосуществленная встреча с Горьким.

Сам Горький в письме Буренину в 1927 году так вспоминает об этом эпизоде:

«К Гапону.. я имел определенное дело, порученное Красным: убедить попа, чтобы он передал оружие с парохода... Петербургскому комитету б<ольшевиков>, а не отдавать его “гапоновцам”, которые в ту пору уже разлагались и никакой нужды в оружии не чувствовали. О том, что пароход взорван, мы с тобою узнали из газет на обратном пути».

Так же описывает дело и сам Буренин. Он очень подробно вспоминает, какими сложными путями, «через ряд дач» везли Горького из Куоккалы в Тернген. Встреча должна была произойти в присутствии Красина и П. П. Румянцева, которые добирались отдельно. «Наши товарищи благополучно съехались, но Гапон не явился, и скрытый активистами, ускользнул от нас».

У Поссе совершенно иная картина. Не Гапон отказывается передать эсдекам оружие, а они «отказываются от соглашения». И именно он хочет встречи с Горьким. Встречу уст-

раивает капитан Кок. Гапон и Горький должны встретиться «случайно» в лесу на охоте. Мильда привозит Гапона, но Горький не появляется. Гапон тщетно несколько часов ждет под дождем в компании Кока и Мильды, наконец не выдерживает, срывается и в присутствии Кока обрушивается на свою боевую подругу с истинно русской бранью. Благородный (или коварный) Поссе, пользуясь обидой девушки, убеждает ее оставить Гапона («Освободитесь от него. Он мелкий, ничтожный человек, случайно всплывший на гребень стихийной волны. Вы видите, какой он во всех отношениях маленький... Можно любить демона, можно любить сатану, но нельзя любить беса, а он бес и притом мелкий») — но неудачно.

Если верить Поссе, попытка встречи с Горьким была уже после потопления парохода — примерно 15 сентября.

А может быть, речь идет о двух разных попытках? Сперва (7 или 8 сентября) Горький искал Гапона, потом (неделей позже) Гапон Горького?

На это прямо указывает Карелин:

«Когда устраивали ему свидание с Гапоном, как рассказывал он нам, то вышло так, что все никак не могли встретиться друг с другом: то Горького к нему возили, то Гапона к Горькому, а встретиться не удалось».

То есть было *две* неслучившиеся встречи. Возможно, кем-то (из финляндских партий?) сознательно сорванные.

Впрочем, это не так уж важно.

СЪЕЗД

Вскоре после гибели парохода Гапон вместе с Поссе отправился на новую тайную квартиру в Гельсингфорс. Ехали на моторной лодке в бурю, и Поссе, судя по всему не умеющий плавать, пережил немало тревожных минут. В итоге лодка таки разбилась — но уже у прибрежных скал на окраине Гельсингфорса. Гапону и (с его помощью) Поссе удалось выскочить на береговые скалы, где их вскоре подобрали финские «товарищи».

В Гельсингфорсе Гапон приступил к организации собрания или «съезда» своей уже/еще дышащей на ладан организации. Еще раньше к нему приезжал «тщедушный, егозливый, робко угодливый» (по словам Поссе) Кузин, убеждал его, что организация процветает, развивается, что его, Гапона, все ждали — а за спиной Гапона говорил Поссе совсем другое.

Что же на самом деле происходило в Петербурге?

Российский рабочий союз действительно, как утверждал

Буренин, обсуждал программу, причем при участии и под руководством социал-демократов. Об этом пишет Петров. В июле или августе в Петербург несколько раз приезжал «товарищ Петр», в котором угадывается «товарищ Михаил». Он тоже вошел в руководство союза — из одного руководства, собственно, и состоящего. Вскоре начались интриги. Карелин, Петров, «товарищ Михаил», Варнашёв, Иноземцев заключали друг с другом и друг против друга коалиции, ссорились из-за программы и из-за «чинов» в будущей организации, жаловались в письмах друг на друга Гапону, снова и снова просили у него денег.

В общем, мужественные рабочие вели себя так же, как растленные интеллигенты — только еще хуже.

2 или 3 сентября старого стиля (Карелин утверждает, что 4-го, но это явно было днем или двумя раньше) в Петербург приехала Хомзе, привезла денег и пригласила представителей организации в Гельсингфорс — на «съезд». Поссе в это время изучал возможность провести съезд (или совещание, как называть) где-нибудь ближе к столице, но еще на территории автономного Великого княжества Финляндского — например, в Териоках. Но, видно, не вышло. 4(17) сентября, в воскресенье, Карелин, Варнашёв, Петров, Кузин и «товарищ Михаил» были в Гельсингфорсе. Восемь человек, считая Гапона, Поссе и Хомзе. Впрочем, Первый съезд РСДРП был не сильно многослюднее.

Существует три изложения того, что произошло в этот день: подробные — Поссе и Петрова и краткое — Карелина. Все трое — лица далеко не беспристрастные. И все-таки нам придется составлять общую картину на основании их свидетельств.

Итак — Поссе. Сначала идет описания внешности гапоновских сподвижников, вовсе не лишние: щуплый рыжий Карелин, полный достоинства грузный брюнет Варнашёв, Петров — тоже брюнет, худощавый, с «незначительным лицом». Стоит представлять их себе вживе, физически.

Гапон открывает съезд пышной речью, которая передается с подозрительной стенографической точностью.

«...Я шел впереди, держа за руку друга и товарища, Васильева; он пал насмерть сраженный пулей. Вокруг меня свистели пули, но каким-то чудом я оставался невредим. Повсюду лежали убитые и раненые. Мы, немногие, оставшиеся невредимыми, хотя шли в первых рядах, поняли, что без оружия пробиться к царю невозможно. Меня почти силой увели с места побоища...»

А дальше — про эмиграцию:

«Разочаровался я, товарищи, в партийных революционерах, во всех этих эсдеках и эсерах. Нет у них заботы о трудовом народе, а есть дележка революционного пирога. Есть друзья мои, не только казенный, но и революционный пирог. Из-за него они и дерутся, и все жида; во всех заграничных комитетах всем делом ворочают жида, и у эсдеков, и у эсеров. Даже во главе боевой организации у них стоит — жид, и еще какой жирный...»

Эффектное место! Если только это — не плод писательской фантазии Поссе.

При словах о «жидах» взгляд Гапона падает на мрачно усмехающегося «товарища Михаила», и он начинает смущенно объяснять, что «жида — это не еврей». Довольно распространенная мерзкая ситуация. Любопытно, конечно, то, что в ней оказывается автор вдохновенной брошюры против антисемитизма, разошедшейся (только что!) в количестве 70 тысяч экземпляров, но в высказываниях и поведении Гапона в 1905 году случаются контрасты еще более удивительные. В том числе — на этом самом собрании.

Карелин (по словам Поссе) ответил Гапону сдержанно:

«Что же, Георгий Аполлонович, я, да, вероятно, и все присутствующие (не всех я знаю) давно уже, до встречи с вами, работали на пользу трудового народа, Работали до вас, работали с вами. Придется работать с вами — хорошо, не придется — поработаем без вас».

По словам Поссе, Гапон был несколько обескуражен. Так ли? Карелин всегда держался независимо. Тем более сейчас. Гапону ненавязчиво напомнили, что он — больше не петербургский Мюнцер, не пророк. Человек в пиджаке, а не человек в рясе. Георгий Аполлонович, а не отец Георгий. Но он и сам это понимал, скорее всего. Его погоня за внешним статусом, его навязчивое тщеславие — все это было попыткой компенсировать утраченное.

Итак, Гапон спокойно отвечает: «Давайте работать вместе» — и снова просит подтвердить его мандат представителя Рабочего союза для переговоров с тред-юнионами: «Без полномочий не получить денег, а деньги нужны большие».

Полномочия, конечно, подтверждают.

А потом...

Потом вдруг Гапон заводит речь о будущем восстании, о том, что оно неразрывно связано с терактами — и сворачивает на уже знакомую нам (по свидетельствам того же Поссе!) тему «А не убить ли нам Витте?».

Карелин возражает: массы не поддержат убийство Витте. «Худого рабочие от него не видят, иные даже надеются, что он

подействует на царя в смысле расширения народных прав». Вот Трепов — другое дело! Да, соглашается Михаил: «Трепова убить — благое дело». Но вообще террор, замечают Карелин с Варнашёвым, — не рабочее дело. На то есть боевики...

Гапон сразу же делает ход назад:

«Да я, товарищи, и не предлагаю, чтобы здесь присутствующие брали на себя ответственность за убийство Витге. Есть для этого другие люди. Никто против желания не будет втянут в это дело. Мне только ваше мнение надо знать...»

Кто? Кто у него есть? Мильда? Эти инфантильные игры в вождя террористов в самом деле со стороны выглядели подозрительно. Но близкие Гапону (и достаточно проницательные) люди понимали, что за этим стремлением «представить себя главнокомандующим над неведомыми темными силами» (по выражению М. И. Сизова)* не стоит никакого злого коварства, что это не «провокация» — ни в каком смысле.

Если верить Поссе, сразу же вслед за этим Карелин и Варнашёв посмотрели на часы и заявили, что им пора на поезд: завтра рабочий день. Гапон огорчается: «...Мы ждали, что вы расскажете о настроении рабочих, подготовке к новому выступлению». Его сподвижники отвечают, что настроение, понятно, плохое, «а выступление — дело стихийное. Может, будет, может, нет».

Другими словами, общая встреча в описании Поссе выглядит бессодержательной, если не провальной.

Теперь — Петров:

«Заседание было шумное и долгое, с десяти часов утра просидели до поздней ночи. Все вопросы решались мирно, когда же разбирали вопрос о составе комитета и мандате Гапону, то споров и крику было много. Комитет не мог работать при таком составе, Петр и я заявили, что с Варнашёвым и Карелиным мы работать не можем и не будем, те же заявили, что не согласны вести организацию на нелегальной почве. Гапон набрасывался на всех, доказывая, что мы можем работать все вместе. Долго спорили и переругивались, Гапон уговаривал нас послушать его. Карелин не сопротивлялся, Варнашёву же Гапон дал 700 руб. для обеспечения семьи, и он больше ни слова не возражал. Вопрос остался открытым, но Гапон был уверен в победе. Второй шумный вопрос был о мандате. Гапон был не доволен июльским мандатом, он говорил, что необходим другой с опубликованием в протоколе, потому что это даст ему возможность получать много денег. После долгих прений и несогласий примирились на том, чтобы выдать мандат на все дела и чтобы отчеты Гапона шли через комитет. Решено бы-

* Исторический вестник. 1912. № 2. С. 562.

ло издавать за границей свой журнал “Рабочий колокол”, редактором предназначили председателя, который не мог жить в России. Далее составили протокол и заседание было закрыто, Карелин и Варнашёв должны были уехать, и мы остались еще на следующий день докончить некоторые вопросы».

Как ни странно, из этого сбивчивого текста понятно больше, чем из эффектного рассказа Поссе. «Съезд» обсуждал действительно важные вопросы — в том числе издание журнала (или газеты?). Поссе об этом едва упоминает, а ведь на роль редактора (и формального председателя союза) намечался — и был назначен — именно он. Разговор же о терактах — это, видимо, был краткий обмен мнениями вне основной повестки дня. Все равно, конечно, достаточно нелепый.

И, наконец, Карелин:

«Варнашёв, я, Кузин и еще с.-д. Михаил едем в Гельсингфорс. Вместе с нами был и Влад. Алекс. Поссе. После беседы с Гапоном составилась у нас план новой работы, грандиозный план. Поссе должен был стать редактором нашей газеты».

Что же это за «грандиозный план»? Может быть, как раз намек на разговоры о терроре, не понравившиеся Поссе?

Итак, Карелин и Варнашёв уехали. Что было дальше?

Поссе, Михаил, Петров и Кузин ночевали в одной комнате.

Если верить Поссе, он стал «обрабатывать» Кузина и Петрова, раскрывая им «истинное лицо» Гапона, как прежде Мильде. Оба гапоновских клеветы ничуть не спорили с Владимиром Александровичем — напротив, они с удовольствием бранили своего патрона.

Петров (по словам Поссе!) жаловался:

«Гнетет он нас и за собой в пучину тянет. Жизнь я потерял с тех пор, как связался с ним... Взял он с меня клятву, что я за своим лучшим другом Григорьевым, как сыщик, следить буду и прикончу его, если он против Гапона пойдет».

Алексей Григорьевич Григорьев — это тот рабочий, который 9 января отдал переодевавшемуся Гапону свое пальто. По воспоминаниям самого Петрова, в 1905 году Гапон относился к Григорьеву очень хорошо и тепло, всецело доверял ему. Но Рутенберг — со слов Гапона — подтверждает: да, странное и страшное поручение Петрову летом 1905 года действительно давалось. Кажется, Гапон подозревал Григорьева в работе на полицию.

Кузин (если верить Поссе!) говорил так:

«Хорошо бы освободиться от Георгия Аполлоновича... да ведь они этого не простят, ни за что не простят.

— Что же, убьют, что ли? — спросил я.

— Нет, они не убьют, они отравят».

Они. Кто эти Они? Полиция? Революционеры? Мировая закулиса?

Петров описывает этот разговор примерно так же. Но Кузин в его описании ведет себя иначе. Он просто в один прекрасный момент объявляет, что по личным причинам порвать с Гапоном не может. Кроме того, из рассказа Петрова следует, что, прежде чем переключиться на самого «вождя», товарищи бранили Карелина и Варнашёва.

На следующее утро Поссе выложил Гапону все свои обиды в лицо — в ответ на оптимистические проекты бодрого лидера («Вернемся с вами, Владимир Александрович, в Женеву, наладим газету, напечатаем листовок, двинем все это в Россию, зерна падут на благоприятную почву»). Обиды были лишь наполовину политического рода — скорее личного. Поссе провел с Гапоном много времени бок о бок. Его, по собственному признанию, раздражал мелкий бытовой эгоизм Георгия Аполлоновича (например: ночевали в комнате, где была лишь одна кровать — Гапон явочным порядком занял ее). Но ведь это не преступление. Что еще? Мильда? Ревность, тайное соперничество из-за нее? Обида на грубое и жестокое, как казалось Поссе, отношение Гапона к ней? Или все-таки речь шла в первую очередь о себе самом? Вот как выглядят жалобы интеллигента Поссе в изложении полуграмотного Петрова:

«Здесь же я хотел от него отделаться и уехать, но у меня не было денег, а он на этот счет очень осторожен. У него много денег, он бросает их не стесняясь, но на руки дает 5—10—15 рублей, да еще не спроси у него, — так и этого не даст. Гапон прямо меня купил и держал у себя как слугу, везде посылал, и я как бы обязан был все это исполнять».

Отвратительная для интеллигентного человека ситуация — и еще невозможнее, чудовищнее, отвратительнее проговаривать, признавать эту ситуацию вслух! Или, может быть, все-таки не стоит верить Петрову? Может быть, речь идет о зависимости иного рода — психологической? Это больше похоже на правду. Гапон умел вовлекать людей в свою психологическую орбиту и подчинять их. Разных людей. И простых рабочих, и интеллигентов. И мужчин, и женщин — женщин особенно. Те, кто освободился от этой зависимости, не прощали ее Гапону и изо всех сил старались описать своего недавнего кумира ничтожеством или злодеем. А те, у кого такой зависимости не было, кто общался с Георгием Аполлоновичем на равных, кто был ему не «слугой», а другом — те писали и говорили о нем иначе. Типичный пример — супруги Карелины. Когда Поссе чуть позже в Петербурге выложил весь свой «компромат» Вере Карелиной, та ответила только:

— Я хорошо знаю Георгия Аполлоновича, знаю, что он увлекается.

Но это Карелины. По крайней мере на Петрова и тем более на «товарища Михаила» Поссе рассчитывал, полагал, что они вмешаются в разговор на его стороне. Но — «народ безмолвствовал». Михаил наедине сказал Поссе: так нельзя — «он денесет и нас всех арестуют». А как надо? «...Примириться, а затем пригласить его покататься на лодке и выбросить за борт».

Какой добрый и благородный товарищ Михаил! Интересно, что Поссе, враг насилия, согласился со своим товарищем, хотя (в отличие от него) не считал Гапона агентом полиции... и знал, что тот отлично плавает.

В итоге он извинился:

«Товарищи указали мне, что я в горячности наговорил вам много лишнего. Они думают, что недоразумения рассеются, когда мы начнем работать; и я готов попытаться. Поедьте за границу, а там видно будет».

В итоге наступило формальное примирение. Поссе переправил Гапона обратно в Стокгольм с помощью все той же госпожи Реймс, сам же вернулся в Петербург. Там он встретился с Карелиным, Варнашёвым, Иноземцевым и другими, еще раз изложил свои претензии к Гапону, заявил, что снимает с себя обязанности председателя союза и редактора журнала (как деликатно говорит Карелин — «испугался грандиозности наших планов»), добился уничтожения протокола «съезда» — и уехал за границу по фальшивому паспорту финского капитана национальной гвардии. На этом фактически деятельность союза приостановилась. Карелин, как казначей, с согласия товарищей разделил остававшиеся в кассе 250 рублей между собой и Михаилом.

Поссе, однако же, ждала расплата. В Брюсселе он перехватил письмо без подписи, написанное почерком Гапона и адресованное его, Поссе, жене: «Ваш муж — предатель». Но это было еще не всё. Обратившись к Неовиусу с просьбой выслать свой настоящий паспорт, Поссе с негодованием узнал, что финский конституционалист-пассивист передал паспорт Гапону (по просьбе последнего). Поссе написал Гапону в Женеву с требованием вернуть паспорт, но письмо вернулось за отсутствием адресата. В течение октября Неовиусу пришлось — по требованию Поссе — искать Гапона по Европе, через Циллиакуса и Соскиса. Наконец, 25 октября паспорт был Поссе получен. В общем, со стороны Гапона это была мелкая и не очень умная мстительность. А злился он, конечно, всерьез. Если эпопея «Графтона» закончилась крахом по совокупной вине всех партий, можно сказать, силою вещей, то новые пла-

ны Гапона рухнули (так ему, вероятно, казалось) по вине человека, которому он доверился. Человека, который до последней минуты притворялся его другом...

Что же делал Гапон дальше — с середины сентября по конец октября?

Это темное, провальное время в его жизни. Никогда прежде не было у него, судя по всему, такого ощущения беспомощности, неудачи, бессилия. Рутенберг — с чужих слов — описывает следующую сцену: захмелевший Гапон пытается заказать в парижском ресторане оркестру «Реве тай стогне Днипр широкий». Когда это могло быть? Может быть, именно тогда, ранней осенью.

Оставшись без собственной организации, без дела, без статуса, Гапон в один прекрасный момент принимает решение — капитулировать перед так долго осаждавшими его большевиками. 12 октября нового стиля, через три недели после рокового съезда и через месяц с небольшим после гибели «Джона Графтона», Гапон пишет следующее заявление в ЦК РСДРП:

«Со времени январских событий я бесповоротно решил отдаться революционному движению. Сначала я стремился к соглашению всех революционных партий России для планомерных боевых действий против кровожадного и гнусного самодержавия, но в конце концов убедился в невозможности этого, по крайней мере, “сверху” и в ближайшем будущем.

Убедившись, я принялся делать попытки создать беспартийный рабочий союз как платформу для создания единой пролетарской партии России.

Теперь, чтобы не создавать новой партии, не дробить еще более сил революционных рабочих и, наконец, чтобы самое дело создания единого рабочего союза шло успешнее — я решил как можно теснее примкнуть к одной из существующих партий.

Делая выбор между революционными и социалистическими партиями, я остановился на Р.С.Д.Р. Партии, а именно фракции “большинства”. Принципы международной революционной соц. демократии кажутся мне всего более правильными, а разъяснения этих принципов и применения их в России всего более соответствующие в данное время боевым задачам великой русской революции. Кроме того — моя поездка в Финляндию и свидание с выдающимися петербургскими рабочими убедили меня в том, что “большинство” Р.С.Д.Р.П. есть наиболее организованная, а потому наиболее устойчивая и влиятельная сравнительно из всех пролетарских организаций.

По всем этим причинам я решил работать отныне в тесной связи с Ц.К. Р.С.Д.Р.П. Во всех более важных случаях своей

общественной деятельности среди пролетариата, когда будет к тому хоть малейшая возможность, я буду предварительно советоваться с организациями Р.С.Д.Р.П. и с Ц.К.»

В общем — капитуляция. Но с оговорками. Оговорки интереснее всего.

«От немедленного вступления в ряды партии меня удерживает пока: а) существующее разногласие в Партии между так называемым большинством и меньшинством; б) что имею еще дело с некоторыми партиями по некоторым революционным предприятиям; в) кроме того, я полагаю, что при победе революции мы непременно и обязательно должны принять меры для перехода всей земли в руки народа на началах равноправного пользования...»

Третий пункт интереснее всего. Ленин — именно под влиянием бесед с ним — уже готов был пересмотреть свою аграрную программу — но Гапон этого еще не знал.

В конце письма Гапон просит воздержаться от его публикации.

Почему эта капитуляция не была принята? После графтоновской истории большевики решили, что за Гапоном, в сущности, сейчас никто не стоит, кроме десятка-другого сподвижников. *Один* он был им не нужен.

Эсерам — тоже. Пример того, насколько презрительным и небрежным стало в эти месяцы их отношение к Гапону, — в воспоминаниях Савинкова. При случайной встрече на женевской улице «Павел Иванович» сказал «Николаю Петровичу», «что он лжет, рассказывая о своем участии в экспедиции “Джон Крафтон” (sic), и что я могу уличить его в этом». Гапон, естественно, пришел в ярость, тем более что в графтоновском деле он все-таки участвовал (хотя, конечно, преувеличивал свою роль — рассказывал, например, что чуть не погиб при взрыве корабля), а уж эсеры в нем так оскандалились, что не им было кого-то судить и уличать. Дело чуть не дошло до драки.

Впрочем, само имя Гапона еще что-то стоило, по крайней мере вне эмигрантской среды. А может быть, у него были и личные средства. Это было единственным, что в данный момент могло заинтересовать ленинцев.

Сейчас мы переходим к еще одной — не последней — детективной истории.

Итак, вот цитата из мемуаров Рутенберга. Речь идет об июне—июле 1905 года. «Соков», напомним, — это Циллиакус.

«Соков увлекся рассказами Гапона о 9 января, о его влиянии на рабочих, о слепом доверии их к нему, Гапон рассказывал о спорах между революционными партиями и об их бессилии сделать что-нибудь. Просил дать ему средства для самостоя-

тельной работы среди своих, гапоновских, рабочих. Свидетелем солидности его планов и организации он представлял “раненного 9 января” своего помощника, “председателя Невского отдела”, “рабочего” Петрова, приехавшего к нему “с полномочиями от петербургских рабочих”... На основании “свидетельства” Петрова Гапон получил 50.000 франков».

Рутенберг знал об этом *от самого Циллиакуса*.

В начале 1906 года Рутенберг в разговоре с Гапоном несколько раз упоминает об этих «50 тысячах франков, полученных от Сокова». Гапон не отрицает их получения, правда, утверждает, что получал их не непосредственно от Сокова, а от «одной американки». Рутенберг же знает — от «Сокова», — что деньги давались в три приема из рук в руки.

На вопрос о судьбе этих денег Гапон (неохотно) отвечает, что они уже истрачены:

«Петров за границу приезжал. Пришлось на дорогу дать. Другим еще. Есть семьи рабочих, которые я поддерживаю каждый месяц».

Такие семьи действительно были. Н. Симбирский (Насакин) утверждает, что может их назвать и что их немало. И все же...

Гапон получил 10 тысяч рублей (30 тысяч франков) за мемуары и 50 тысяч — если верить только что приведенному свидетельству — от Циллиакуса. В момент смерти на его личном счету было 14 тысяч франков.

При той в целом довольно скромной (даже при эпизодическом «шиковании») жизни, которую он вел за границей и в России, считая частые разъезды (во втором классе, как указывает Ан-ский), считая расходы на международных курьеров, на поддержку семей рабочих, на различные организационные нужды, потратить за неполный год 66 тысяч франков (22 тысячи рублей) было затруднительно.

Каковы же версии?

Первая: у Гапона был второй, тайный счет. Сомнительно. Как-нибудь он всплыл бы, при жизни его или после смерти. Какие-то свидетельства о нем были бы.

Вторая версия — имеющая как раз прямое отношение к сейчас описываемым событиям. М. Алданов в очерке «Азеф» передает следующее свидетельство меньшевика О. Минора:

«Они (Гапон и Минор. — *В. Ш.*) сидели вдвоем на балконе квартиры Гапона против кафе Ландольта. В дверь постучали; в комнату вошел Ленин. Он отозвал Гапона вглубь комнаты и пошептался с ним; затем Гапон на глазах О. С. Минора вынул из бумажника пачку ассигнаций и передал ее Ленину, который тотчас удалился, очень довольный».



Карикатура на Г. А. Гапона, С. Ю. Витте и П. Н. Дурново.
Журнал «Зарницы», № 5 за 1906 г.



Григорий Гапон
(сидит в центре)
с группой рабочих



Отец
Иоанн
Кронштадтский

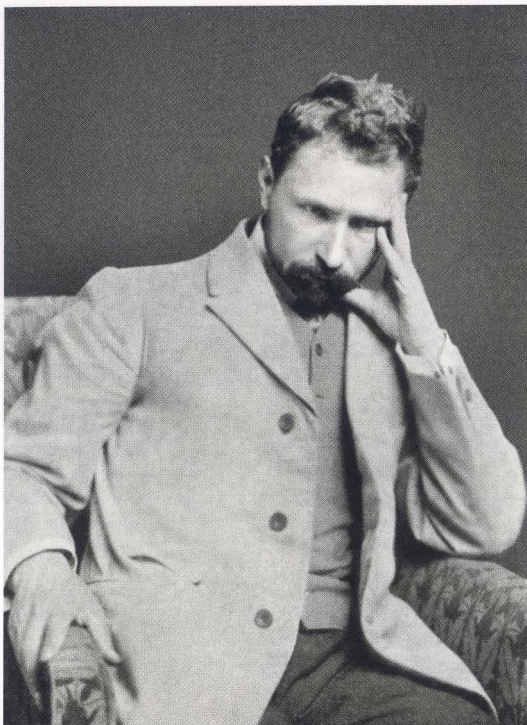


Гапон у Нарвской заставы.
Рисунок неизвестного художника



Расстрел рабочих у Зимнего дворца. Художник *И. А. Владимиров*

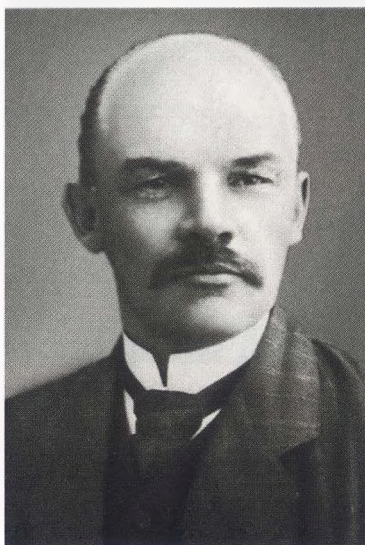


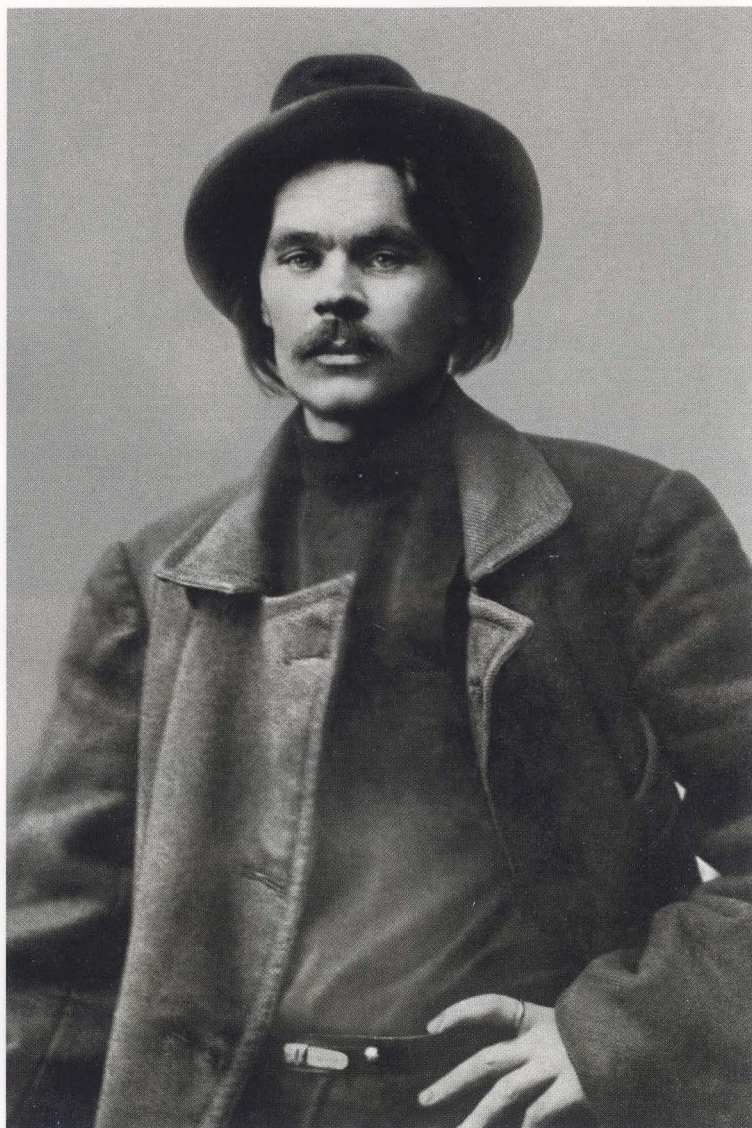


Гапон
в Лондоне.
1906 г.

В. И. Ленин

Н. К. Крупская



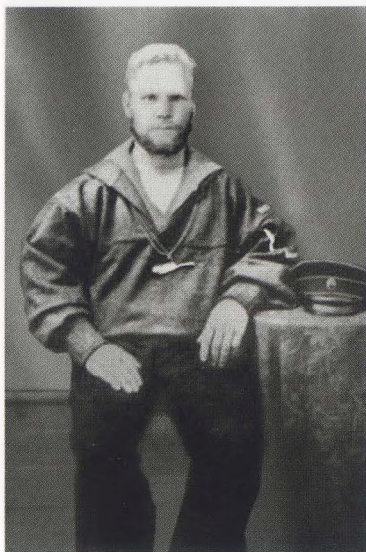


А. М. Горький



Железнодорожная станция «Озерки». Фото начала XX в.

А. В. Чудинов



А. А. Дикгоф-Деренталь

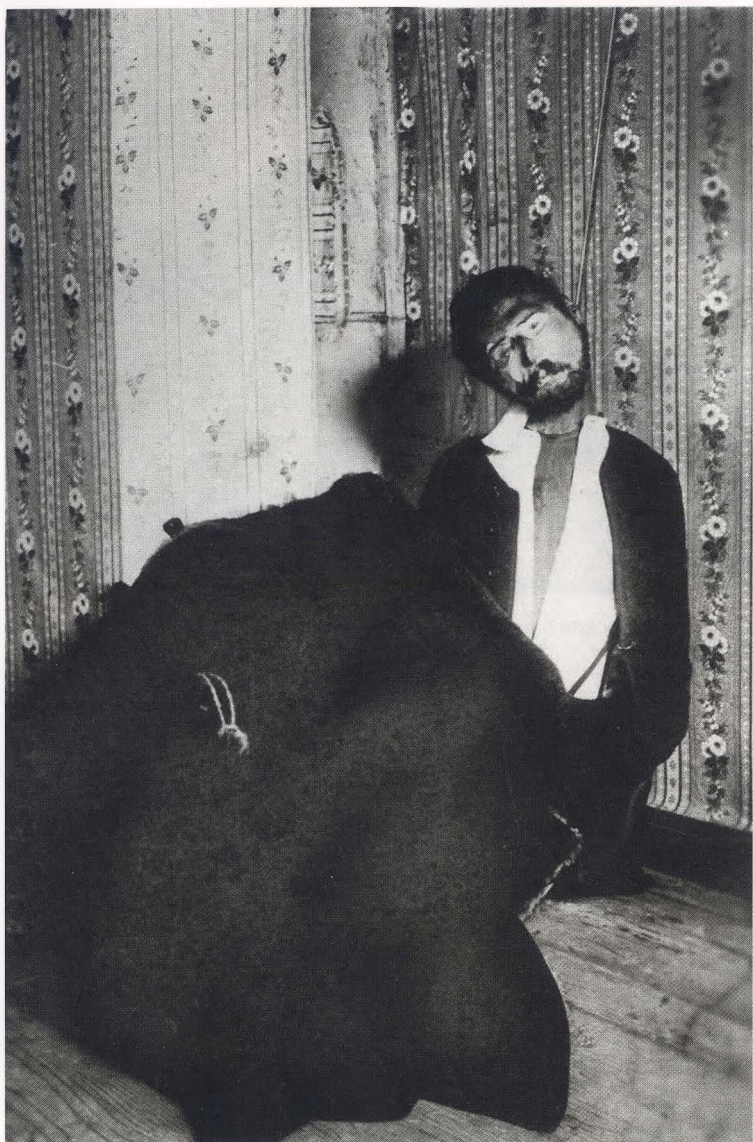




Дача Звержинской,
на которой
был убит Гапон



Бумажник Гапона,
найденный
при нем убийцами
и отосланный
С. П. Марголину,
с ключом
от банковского
сейфа.
Фотография 1906 г.



Труп Гапона



Комната, в которой произошло убийство

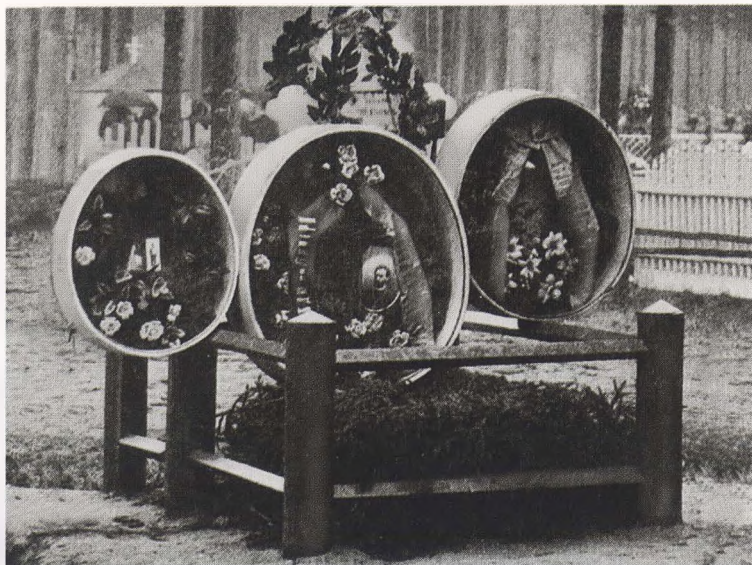
Опознание трупа Г. А. Гапона





Похороны Г. А. Гапона





Могила Гапона



Воспоминания
Георгия Гапона.
Изданы посмертно



Портрет Гапона.
Работа неизвестного художника. 1904 г.

Что это были за деньги? Алданов считает, что полицейские. Это, конечно, ерунда. Никаких полицейских денег Гапон из России не вывез и, будучи за границей, не получал. Тогда, может, это «соковские» деньги?

Но зачем же он, гоняясь за пожертвованиями для своей организации, те деньги, которые у него уже были, отдал?

Может быть — разочаровавшись в возможности собственного движения. А может — займы, в надежде с помощью большевиков получить деньги еще большие. Гапон жаловался Насакину, что «одна из революционных партий» присвоила семь тысяч фунтов стерлингов (70 тысяч рублей), собранных для гапоновцев английскими тред-юнионами и переданных через представителей этой партии. Допустим, большевики обещали Гапону содействие и посредничество в получении этих (возможно, вообще не существовавших в природе) английских денег — а пока что «на время» попросили у него большую часть «соковских» франков. Легкое мошенничество, разумеется, совершенно не противоречащее этическим принципам Ульянова-Ленина и его друзей.

И, конечно, Гапон не мог признаться эсеру Рутенбергу, что деньги, за которые эсеры считали себя вправе с него спрашивать, отданы эсдекам...

И, наконец, третья версия. Никаких 50 тысяч франков *не было*.

Об этих деньгах, полученных у Циллиакуса с помощью Петрова, не упоминают в своих мемуарах ни Петров, ни Циллиакус. Что уже подозрительно.

В личном разговоре с Рутенбергом «авантюрист высшей марки» мог сказать все что угодно. А вот Рутенберг.. Во избежание недоразумений замечу: его «Убийство Гапона» не содержит, на мой взгляд, сознательной лжи. Но это — текст чело- века, нуждающегося в оправдании и в самооправдании и (что особенно важно) в момент описываемых им событий находившегося в напряженном и возбужденном состоянии. Действительно ли он в беседе с Гапоном называл точную сумму, а не говорил просто о «деньгах Сокова»?

Потому что «деньги Циллиакуса», конечно, были. Выделены они были не на профсоюзную работу (еще чего!), а на восстание. А трех-четырехдневный мятеж (при наличии уже закупленного оружия и боеприпасов) стоил гораздо дешевле — 16—17 тысяч рублей (50 тысяч франков). В основном деньги нужны на то, чтобы самому добраться до столицы и бежать из нее — на железнодорожные билеты, на оплату услуг контрабандистов, на взятки пограничникам и фальшивые документы. Если речь шла не о 50, а о пяти (пусть даже десяти) тыся-

чах франков, они вполне могли быть истрачены на указанные Гапоном цели.

Вопрос не праздный. Ведь «растрата денег рабочих» — именно этих 50 тысяч! — инкриминировалась Гапопу в числе прочего его самозванными судьями и убийцами.

Во всяком случае, несомненно одно. С февраля по октябрь 1905 года Гапон вращался в новом для себя мире — мире Революции. В мире, где жизнь человека стоила очень мало, где привычные нравственные нормы отменялись ради высоких целей, где конспирация и поиски предателей были частью каждодневного быта... и где все время появлялись невесть откуда и исчезали невесть куда огромные денежные суммы. Соприкосновение с этим миром роковым образом сказалось на его психике и стало, думается, главной причиной его гибели.

ВТОРАЯ ПОПЫТКА

17 (30) октября 1905 года русская колония в Женеве — как и вся сколько-нибудь прогрессивная Россия — торжествовала. Сбылась столетняя мечта: Россия стала конституционной монархией.

Первый шаг был сделан еще 6 августа, когда Николай II повелел созвать Государственную думу — «особое законосовещательное установление, коему предоставляется предварительная разработка и обсуждение законодательных предположений и рассмотрение росписи государственных доходов и расходов». Какой восторг вызвало бы это у интеллигенции десятилетием, даже двумя годами, даже годом раньше! Но между 9 января и 6 августа 1905 года Россия изменилась до неузнаваемости. Теперь законосовещательный орган, к тому же избираемый непрямым голосованием, с высоким имущественным цензом, воспринимался как оскорбление.

После сентябрьского затишья в октябре, с 12-го по 18-е, страну охватила двухмиллионная политическая стачка, в сравнении с которой январские гапоновские беспорядки выглядели скромно.

И вот — Николай делает очередную уступку: «Установить как неизблемое правило, чтобы никакой закон не мог воспринять силу без одобрения Государственной думы и чтобы выборным от народа обеспечена была возможность действительного участия в надзоре за закономерностью действий поставленных от нас властей». И — «Даровать населению неизблемые основы гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов».

На сей раз радикальная интеллигенция праздновала победу (не предвидя, как откликнется на это торжество охотнорядская Вандея).

В Женеве митинговали в кафе «Handwerk» — на втором этаже.

А внизу, на первом, «Николай Петрович» сидел за столиком со своим новым приятелем Михаилом Сизовым.

Гапон и Сизов познакомились совсем недавно — просто разговорились в трамвае (женевские русские, даже не будущи формально представлены, знали друг друга в лицо). Хандрящий Гапон пригласил Сизова к себе пить только что купленную «Смирновскую» («...и стóбит как в России»). Теперь их снова свел великий эмигрантский праздник. Но Гапон, по свидетельству Сизова, был тревожен, сумрачен.

«...— Хочу ехать в Россию, — говорил он. — Вы слышали, что они говорят там, наверху. Надо в России так говорить, а не здесь».

Сизов спросил:

«Почему вы, Николай Петрович, не выступили на митинге, ведь вас до сих пор знает ограниченное число лиц, и ваш выход без забрала мог бы принести вам, для вашего дела несомненную пользу. Почему вы, наконец, таились в недрах русских колониальных кружков, когда могли бы с ощутительной материальной выгодой для себя совершить настоящий триумф — въезд героя, например, в эксцентричную Америку... как... это было с одним из наших крупных писателей.

— Да, деньги-то мне нужны, но выступить здесь цели нет... я выступлю там, в России»*.

«Один из крупных писателей» — это Горький, чей триумф в Америке был, впрочем, подпорчен газетным скандалом: пуритански настроенные репортеры из Страны Желтого Дьявола выяснили, что М. Ф. Андреева, сопровождавшая Горького, не является законной миссис Пешков. Гапон с Сашей рисковал попасть в такое же положение. Но не поэтому он, конечно, не поехал а Америку.

И все-таки: что должно было случиться, чтобы Гапон упустил случай произнести речь?

Сизов сказал, что «все ожидают с часу на час полной амнистии».

— Коснется ли меня амнистия — вопрос, — хмуро ответил Гапон.

Через несколько дней Сизов встретил у дома, где жил Гапон, одного из знакомых революционеров — тот нес «Николаю Петровичу» «надежный паспорт». В квартире Гапона Си-

* Исторический вестник. 1912. № 2. С. 569.

зов встретил четырех незнакомых парней. Гапон (на сей раз веселый, бодрый), не стесняясь, раздавал им браунинги. «Молодые люди, очевидно, никогда в жизни не видевшие огнестрельного оружия, внимательно рассматривали их, шупали, вынимали обоймы, шелкали спусковыми крючками, взводили накатник и, прищуривая глаз, смотрели на мушку». Мастеровые, должно быть, люди, любящие механику.

Гапон возбужденно говорил:

— Завтра же еду. Усиленно зовут меня рабочие в Россию. Недавно приезжали делегаты от них, говорили, что дело налаживается. Каждый день получаю полные энергии письма от рабочих, вошедших членами во вновь образованные отделы...

Он пытался достать и предъявить Сизову какое-то письмо — тот остановил его, сказав, что верит на слово.

На следующий день Гапон все же не уехал.

Сизов встретил его «в русском семействе». Он снова был не в духе:

«Угрюмый, неразговорчивый, напряженно о чем-то думающий, Гапон не отвечал на вопросы старавшейся его расшевелить госпожи С. И иногда кидал отрывистые фразы.

— Скажите, пожалуйста, — обратился Г. к сидящему напротив г-ну Б., — каким образом и кто именно захватывал власть во время французских революций?

Г-н Б. обрисовал несколько ярких диктатур и дал отличные характеристики французских демагогов. Гапон внимательно слушал, впитывая в себя каждое слово, стараясь ничего не забыть, вытвердить как заданный урок, и разузнавал подробности.

— Одним словом, — заметил Гапон, — кто палку взял, тот и капрал.

— Не едете ли вы в Россию за этой палкой? — неожиданно задал вопрос г. Б.*.

За палкой или...

По пути домой Гапон вдруг спросил у Сизова:

— Как вы думаете, могут меня повесить?

Тот честно ответил, что всё может быть, революция — дело серьезное, «не терпящее сентиментальностей и платонических грез».

И тут Гапон задал вопрос, который должен был немало удивить и озадачить его собеседника:

— А кто меня повесит?

Казалось бы, разговор только что шел о французской революции. О том, что головы Луи Капета, жирондистов, Робеспьера, Дантона, Эбера рубила одна и та же гильотина — и даже

* Исторический вестник 1912 № 2 С 578—580

один и тот же палач. И что прокурор Фукье-Тенвилль, отправлявший на смерть всех перечисленных, сам последовал за ними. Но все-таки, все-таки...

Кто повесит Георгия Гапона? Ах, знал бы он ответ.

В начале ноября он был уже в Петербурге. Два месяца не был он в Российской империи — но это была уже другая страна. Многое он пропустил.

Еще вечером 9 января в Петербурге появился некто Петр Хрусталеv — рабочий, по его собственным словам. Он проносил пламенные речи в еще незакрытых отделах «Собрания», распространял письма Гапона. Наконец, он был избран в комиссию Шидловского. По разгоне комиссии он был ненадолго арестован, и тут выяснилось, что Хрусталеv — не Хрусталеv и не рабочий, а помощник присяжного поверенного Георгий Носарь.

Носарь кажется странным двойником Гапона. Даже имя одинаковое. Тоже, между прочим, из крестьян Полтавской губернии, только пошел не по духовной, а по светской линии, окончил не семинарию и академию, а гимназию и университет. Тоже, как и Гапон, позднее, в эмигрантские годы, недолго был эсдеком, а потом синдикалистом. И погиб не от царской власти, а от «своих», от «красных» — расстрелян в 1919 году в ЧК. И, между прочим, говорили, что к этому приложил руку бывший ближайший сподвижник. Сподвижника звали Лев Троцкий.

Но всё по порядку.

Весной Хрусталеv-Носарь вместе с Всеволодом Эйхенбаумом-Волиным (брат знаменитого литературоведа и впоследствии видный анархист, сподвижник Махно) создал подпольный Совет рабочих депутатов и был избран его председателем. Тогда этот орган никак себя не проявил. Но во время стачки совет был воссоздан. На сей раз это был весьма солидный орган. На учредительном заседании, проходившем 13 октября в здании Технологического института, присутствовало 40 делегатов, а месяц спустя в совете было уже 562 депутата, которые представляли (или, по крайней мере, считалось, что они представляют) 147 заводов и фабрик, 34 мастерские и 16 профсоюзов. Да, в Петербурге действовали уже 16 организаций, называвших себя «профсоюзами», — и они были созданы не кем-нибудь, а партиями, эсдеками и эсерами.

Носарь был избран председателем нового совета. Но на сей раз рядом с ним был другой харизматик — молодой социал-демократ Лев Троцкий, который на самом деле обладал гораздо большим, чем Носарь, влиянием. А рядом с Троцким был его политический наставник — Александр Парвус-Гельфанд, ра-

дикальный теоретик и колоритнейший революционный авантюрист. Носарь был удобной ширмой — как беспартийный и (о чем не говорилось вслух, но что подразумевалось) как русский православный человек.

Знали бы люди 1905 года о том, как трансформируется и какую роль сыграет затея Носаря, о будущем слове *советский* и комплексе заложенных в него историей смыслов!

Тем временем — с другой стороны — не терял времени давний конкурент Гапона Михаил Ушаков. В октябре им было объявлено о создании Центрального и Женского рабочих союзов. Оба они были немногочисленны и включали в основном работников Экспедиции заготовления ценных бумаг, где сам Ушаков работал. Но бывший сподвижник Зубатова явно рассчитывал на большее. Тем более что его организации получали прямые и регулярные казенные субсидии. Программа ушаковцев была смелее прежней. Теперь они, к примеру, обещали добиться свободы стачек.

А гапоновцы — что же они?

В конце октября решено было — вместо новой организации — возродить «Собрание». Дело в том, что соратники Гапона рассчитывали получить от властей не только разрешение на возобновление деятельности, но и компенсацию убытков. Сумма их была еще весной определена в 30 тысяч рублей. Неудачная по многим причинам цифра — но тогда об этом не задумывались. Понятно, что взята она была более или менее с потолка. Убытки — это были не просто арестованные счета, но, к примеру, и уплаченная вперед аренда помещений. Но прежде всего следовало получить наличные средства и инвентарь, которые были арестованы и находились в полиции.

Сами эти цели, которые поставили перед собой бывшие руководители «Собрания», подразумевали определенный выбор. В отличие от «политических» профсоюзов, наскоро созданных эсерами и эсдеками, гапоновцы (и прежде всего Карелин и Варнашёв, которые сами же и подталкивали в свое время Гапона к решительным действиям) теперь (когда всё кругом полыхало!) хотели заниматься мирной легальной работой.

Делегация из четырех человек, в которую входили Варнашёв, Петров и, видимо, Карелин и Кузин, отправилась к Витте.

Делегатов встретил князь Михаил Михайлович Андроников, в то время чиновник Министерства внутренних дел, впоследствии прославившийся как правая рука Григория Распутина (а в пооктябрьское время — начальник Кронштадтской ЧК, на какой должности был пойман с поличным на взятках и расстрелян). Витте глубоко презирал этого уже тогда

скандально известного молодого человека, но использовал в разного рода деликатных делах.

Андроников ласково объяснил рабочим, что за них уже попросил Ушаков, который на самом деле очень хорошо относится и к ним, и к Гапону, хотя и считается его врагом. Конечно же, им позволят восстановить организацию — только надо работать с Ушаковым вместе... (В общем, понятно: основатель чухлого «желтого профсоюза» решил, воспользовавшись отсутствием в Петербурге Гапона, прибраться к рукам остатки его организации. А князь по кличке «Побирушка» вообще покровительствовал ушаковцам — в том числе за спиной Витте.)

Наконец вышел премьер. Петров обратил внимание на костюм «подозрительной молодости», нечистый воротничок, сбитый набок галстук (чувствуется, что пролетарий поехал по Парижам!). Но огромная фигура Витте и «повелительный тон», которым он говорил, произвели должное впечатление. Премьер-министр строго спросил: «Ну, что вам нужно?.. Вы опять хотите устроить 9 января?» Гапоновцы уверяли в своей благонамеренности. Витте пообещал, что «все сделает», когда решит свои спешные дела в правительстве. Заговорили о конфискованных деньгах и инвентаре. Витте предложил подать заявление «по форме». Наконец, один из рабочих спросил, подходит ли Гапон под только что объявленную амнистию. Премьер ответил отрицательно.

В последнем премьер обманул гапоновцев. Дело Гапона (как и все дела о 9 января) было закрыто производством 22 октября.

Потом — по знакомству — сподвижникам Гапона удалось попасть еще на прием к министру промышленности и торговли В. И. Тимирязеву. Эта встреча прошла, в противоположность предыдущей, более чем любезно. Рабочие убеждали Тимирязева и его заместителя М. М. Федорова, что не разделяют позиции «крайних партий» и хотят исключительно мирной профсоюзной работы, а министр и заместитель говорили, что «никто Гапона не винит в 9 января», что и они, правительство, не хотели кровопролития («Это военное начальство так распорядилось по своему усмотрению. Мы и сейчас не знаем, как это вышло и от кого») — и, в общем, обещали всё.

Впечатление такое, что разыгрывалась некая комбинация — в сущности, традиционная: со злым и добрым (в данном случае — очень добрым и не очень добрым) следователями.

И вот в этот момент Гапон приезжает в Петербург. Приезжает нелегально, один и без денег. Встретившись с Рутенбергом, он берет у него взаймы 25 рублей (вернул в январе). Чуть позже попросил оружие для самообороны (Рутенберг дал бра-

унинг). Наконец, просил у профессионального революционера, эсера, боевика (как он считал — на самом деле Мартын в Боевую организацию не входил) использовать его связи — *его связи!* Какие? — чтобы выхлопотать амнистию.

«Я возражал, что ему, с его прошлым, неприлично ходатайствовать перед правительством о своей амнистии.

Я предлагал ему стать, как революционеру, под защиту революции, бывшей в то время еще победительницей, а не побежденной.

— Пойди, попроси сейчас же у председателя слова*, скажи собранию: “Я — Георгий Гапон и становлюсь, товарищи, под вашу защиту”. И никто тебя не посмеет тронуть.

Он не соглашался. Вялый, задумавшийся, недоговаривающий чего-то, он отвечал мне:

— Ты ничего не понимаешь...»

А чего Рутенберг не понимал? Видимо, что на нелегальном положении Гапон не сможет создать полноценную рабочую организацию, «восстановить отделы». А если так, то зачем было и приезжать в Россию?

А дальше всё пошло совсем интересно.

Цитируем доклад не раз поминавшегося уже П. Н. Дурново, неизменного товарища министра внутренних дел (при Сипягине, Плеве, Святополк-Мирском и Булыгине), 22 октября 1905 года наконец занявшего министерский кабинет**. Министр внутренних дел был (особенно в условиях революции) вторым человеком в правительстве. Что касается Витте и Дурново, то их политические взгляды и тактические предпочтения были весьма различны, что еще усиливало их соперничество. Все это надо учитывать при чтении нижеследующих документов:

«В ноябре 1905 года личный почетный гражданин Матюшенский, состоявший сотрудником газеты “Новости”, прибыл к графу Витте в качестве представителя от собрания фабрично-заводских рабочих и предъявил ходатайства: 1) о дозволении возобновить действия отделов названного собрания, закрытых 10 января 1905 года по приказанию б. министра внутренних дел князя Святополк-Мирского; 2) о возмещении собранию убытков, причиненных оказанным распоряжением и 3) о легализации прежнего руководителя собрания б. священника Георгия Гапона, нелегально вернувшегося в Петер-

* Разговор проходил в Вольном экономическом обществе. В соседней комнате шло собрание.

** Карьера Дурново долго тормозилась скандалом, случившимся в 1893 году. Будучи начальником полицейского управления, Дурново приревновал свою любовницу к бразильскому послу — и не нашел ничего лучше, как послать агентов в посольство и выкрасть личную переписку соперника.

бург. Вследствие сего состоящему при гр. Витте коллежскому асессору Мануйлову было поручено войти с Гапоном в непосредственные сношения, причем Гапон, со своей стороны, присоединился к просьбе Матюшенского. Однако ввиду тревожных событий того времени, по распоряжению председателя Совета Министров и через того же Матюшенского было внушено Гапону, чтобы он выехал за границу, причем ему было вручено на проезд 500 рублей из личных средств графа Витте. Подчинившись этому требованию, Гапон тем не менее поставил свое согласие в зависимость от дозволения ему в недалеком будущем принять в делах собрания русских рабочих непосредственное участие, долженствовавшее, по его мнению, способствовать обеспечению интересов рабочих и в то же время их умиротворению»*.

В этой части доклад Дурново полностью подтверждается мемуарами Витте. События, описанные в этом абзаце, происходили в течение ноября.

Одновременно происходило следующее.

В середине месяца Рутенбергу было официально объявлено о прекращении всех дел о 9 января (в том числе его собственного). Радостный Мартын (легализовавшийся в качестве Петра Моисеевича) поспешил сообщить об этом Гапону. Но тот «принял к сведению» сообщение — и почему-то сам на легальное положение не перешел. Почему?

Вероятно, потому, что больше поверил словам Витте. Подтвержденным, видимо, Мануйловым, как раз в эти дни до Гапона добравшимся.

21 ноября в Соляном городке состоялось официальное «второе открытие организации». Это был триумф Гапона. Неизвестно, что делал он в течение трех недель, где выступал, или достаточно было вести о его возвращении — но на учредительный съезд пришло четыре тысячи человек. Каждый представлял (или утверждал, что представляет) «пяток» записавшихся в «Собрание». Итого — 20 тысяч человек. Ровно столько, сколько было 8 января.

На собрание пришли представители всех партий — большевики, меньшевики, эсеры. Все выступали, и все, кроме Хрусталева-Носаря, недружественно. Насакин-Симбирский писал: «...Невидимая рука Гапона вырвала из рук партии социал-демократов целую армию организованных и сознательных рабочих.... И потому со стороны людей партий пускались в ход все средства».

Впрочем, возможен был, конечно, компромисс. Участие в

* Петров Н. Гапон и граф Витте // Былое. 1925. № 1. С. 17—22. (Похоже, это не *тот* Петров.)

гапоновском «Собрании» не противоречило членству в партии. И, конечно, любой участник «Собрания» мог быть избирателем Совета рабочих депутатов — дни которого были, впрочем, уже сочными. Власти переходили в наступление. 26 ноября был арестован Носарь. Председателем совета был избран Троцкий, но и он был арестован через неделю. Совет еще некоторое время просуществовал во главе с Парвусом, но это уже была агония.

В конце ноября, когда положение совета и революционных партий казалось еще прочным, Гапон спрашивал у Рутенберга его мнение о перспективах деятельности «Собрания». Рутенберг предлагал превратить его, по существу, в межпартийный клуб:

«При каждом из отделов каждая из партий должна иметь свое бюро со своим книжным складом, читальней и т. д. Если среди рабочих окажется значительная группа даже черносотенцев, которые пожелают иметь свое бюро, они должны его получить. Ни в каком случае не допускать для какой бы то ни было партии “захвата” влияния над всей организацией. Каждая из них должна использовать по очереди свое право устройства лекций, рефератов, на которых должна соблюдаться для всех без исключения свобода слова. Рабочие, таким образом, научатся самостоятельно разбираться в окружающих их течениях, сознательно и спокойно решать интересующие их вопросы, а не будут ограничиваться принятием митинговых резолюций под влиянием того или другого агитатора. Собранные в отделы, рабочие организуются в профессиональные и кооперативные союзы. А сами отделы станут союзом профессиональных и кооперативных союзов. Рабочее движение делается силой, которая сумеет вести серьезную экономическую борьбу»*.

Каким образом одно могло сочетаться с другим, как политклуб мог одновременно быть профсоюзом, занимающимся экономической борьбой и защитой? Но, вероятно, в условиях 1905 года этот путь мог быть правильным — вне политики оставаться все равно было невозможно. В принципе с ним согласился и Гапон. Рутенберг, в свою очередь, взялся по просьбе Гапона писать статью о «Собрании» в журнал «Сын отечества».

И тем не менее осуществить этот план было невозможно. Дело в том, что соглашение Гапона с Витте/Мануйловым/Тимирязевым включало пункты, о которых Рутенберг не знал — да и мало кто знал вообще.

Первый — отъезд из России на определенный срок — до

* Петров Н. Гапон и граф Витте. С. 26—27.

9 января 1906 года. Второй заключался в том, что Гапон должен был сделать ряд политических заявлений.

Суть их Дурново формулирует так:

«1) Необходимость приостановиться на пути освободительных стремлений с целью удержать за собой и закрепить занятые позиции.

2) Присоединение к началам, возведенным в Манифесте 17 октября.

3) Отрицание насильственных способов действий».

Что означало для Гапона принять эти условия?

Повторим еще раз сказанное раньше: было три Гапона.

Один — здравомыслящий, осторожный профсоюзный организатор, которому нравилось делать мирное дело: организовывать кассы взаимопомощи, потребительские кооперативы, читальни, лектории, защищать уволенных рабочих, торговаться с хозяевами из-за зарплат... Он истосковался в эмиграции по этому (и по любому) нормальному человеческому занятию и в принципе *этого* Гапона условия Витте вполне должны были устроить.

Был второй Гапон — харизматический и притом инфантильный экстремист. Тот, который несколькими месяцами раньше обсуждал покушение на того же Витте. Для него принять такие условия — это было, конечно, предательство. Но кого он предавал? Только себя. Он не был членом никакой партии, не давал никакой присяги.

И был еще третий — игрок, авантюрист, который толком уже и сам не понимал, чего хочет. Для этого Гапона не было вопроса: сейчас примем условия врага, обманем его, а потом... беда в том, что постепенно это «потом» становилось все более зыбким. Георгий Аполлонович сталкивался с вечной угрозой, стоящей перед всеми макиавеллистами и политическими комбинаторами: с опасностью обмануть самого себя.

«Если бы мне пришлось ради достижения моих целей в рабочем движении сделаться проституткой, я, ни минуты не задумываясь, вышел бы на Невский» — так эти слова запомнил Пильский, но Гапон говорил эту фразу не раз, чуть меняя формулировку. Красиво, страшно — и напоминает рылеевского Мазепу:

Как должно юному герою,
Любя страну своих отцов,
Женой, детьми и собою
Ты ей пожертвовать готов...
Но я, но я, пылая мезтью,
Ее спасая от оков,
Я жертвовать готов ей честью.

Только вот цели сами по себе становились все более зыбкими и малопонятными...

А самое главное — против Гапона сейчас играли макиавеллисты куда более талантливые, чем он сам. Которых обмануть было совсем не так просто, как старика Фуллона.

Что же получили Гапон и гапоновцы, кроме разрешения на открытие отделов (оно последовало 26 ноября)?

Опять цитируем Дурново:

«18 ноября к бывшему министру торговли и промышленности прибыли Мануйлов и Матюшенский и, передав ему рекомендательное письмо графа Витте, изложили просьбу о предоставлении денежных средств на возобновление названного собрания. Тайный советник Тимирязев принял благосклонно это ходатайство и после совещания по этому вопросу с графом Витте испросил всеподданнейшим докладом разрешение на выдачу собранию 30 тысяч рублей, о чем сообщил министру финансов».

Напомним: это те 30 тысяч, на которые «Собрание» претендовало с весны.

Тысяча рублей в счет этих денег была, видимо, вручена Гапону еще перед его отъездом. То есть не позднее 25 ноября. Больше об этом не знал никто, кроме Матюшенского, которого Гапон уполномочил получить и передать рабочим всё остальное. Не был в курсе операции даже избранный руководителем организации Варнашёв. Если в 1904 году финансовые дела «Собрания» были более или менее прозрачны, то теперь Гапон предпочитал держать все нити в своих руках. Впрочем, сам Тимирязев, по словам Матюшенского, просил пока не афишировать факт получения средств от правительства. И Гапон принял это условие. В этом была его роковая ошибка: он попал на крючок.

Потому что одно дело — предъявлять к властям судебный иск и добиться удовлетворения или мировой. И совсем другое — принять от них эти же деньги, свои собственные в конечном итоге деньги — втайне (даже от своих товарищей). И — роковая сумма! Гапон-то, как священник, должен был понимать семантическую нагрузку цифры «тридцать», напоминающей про Иудины сребреники!

Одновременно гапоновцы получили обратно четыре тысячи рублей наличных, арестованных полицией в начале года. Тысячу, полученную от Тимирязева, Гапон внес как свое личное пожертвование. Он предложил пока «работать на эти деньги», но пообещал, что дальше в средствах недостатка не будет. По этому, как и по всем другим вопросам Гапон просил обращаться к Матюшенскому, который остается в Петербурге его полномоч-

ным представителем. Это было воспринято вполне одобрительно: Александра Ивановича Гапоновца помнили как человека, помогавшего в январе писать знаменитую петицию.

Так же непрозрачно все было и по другую сторону. Кажется, злосчастные тридцать тысяч не проходили ни по каким ведомостям. Хитрюга Витте — вопреки всем свидетельствам — уверяет в своих мемуарах, что Тимирязев выделил эти деньги за его спиной и что сам он узнал об их существовании только в начале 1906 года из газет.

Нет, куда было Гапону до огромного графа в костюме подозрительной молодости!

ОСТАНОВИТЬ ДВИЖЕНИЕ*

По приезде в Париж, куда, видимо, тогда же прибыла из Женевы Саша, Гапон принялся за сочинение обращения к рабочим по утвержденной Витте программе.

Программа эта (которая, возможно, была несколько подробнее трех указанных выше принципов) была вслед Гапону отправлена в Париж с Кузиным, вместе с дополнительными 200 рублями и (как указывает Петров) черновиком прошения о помиловании. (Все это было вручено Варнашёву Ушаковым, явившимся к лидеру конкурирующего профсоюза с посылкой от властей в три часа ночи.)

Кузин же привез обратно в Петербург готовое обращение, датированное 29 ноября (12 декабря).

«Родные, спаянные кровью, товарищи-рабочие.

Шлю вам привет из далекой чужбины. С тяжелой грустью оставлял я недавно родную землю. Мне так хотелось быть среди вас, делить с вами и радость, и горе, работать... Но я должен был исполнить вашу волю. Значит, еще не настало для меня желанное время».

Другими словами, Гапон сумел обставить свой отъезд так, что это рабочие уговорили его, чуть не заставили покинуть Россию для собственной его безопасности и для исполнения некой миссии (какой?) за рубежом.

«Шлю вам также и поздравление с открытием некоторых из ваших отделов».

Отделы уже открыты — за восемь дней после учредительного съезда? Какие?

«Громадной важности задачу вы на себя, товарищи, взяли — опять собрать воедино всю дружную свою семью геро-

* Выражаю благодарность Т. Эпстайну за содействие в работе над этой главой.

ев-рабочих и опять взять судьбу свою в свои собственные руки, чтобы помогать друг другу, как раньше, в своих невзгодах и, умственно развиваясь, нести свет, знание в другие рабочие массы, организовывать меньших братьев своих для взаимопомощи и защиты своих правовых и экономических нужд.

Великую надежду возлагаю я на это ваше чисто рабочее дело. Смотрю на него, как на первый краеугольный камень великого здания — всероссийского рабочего союза; смотрю на него, как на основу будущей чисто рабочей партии, которой суждено будет сделать русский пролетариат могучим. Но при некоторых непременных условиях буду питать я в своем сердце твердую надежду на успех вашей великой работы. Первое условие и самое главное, если именно вами на деле будет осуществляться принцип: “освобождение рабочих должно быть делом самих рабочих”. Точнее — не только делом их рук, их крови, но и ума и воли их.

Помните ли вы знаменательные мысли нашего покойного И. В. Васильева: “освобождение рабочих должно быть делом рук самих рабочих”. “Да, — часто говаривал он, — это великий принцип; но, — горячо и проникновенно далее добавлял, — так пусть же этот великий принцип и будет осуществлен целиком на деле”. “Мы — рабочие — уже не стадо баранов. Есть и между нами разумные великие мужи. Шкурные наши вопросы должны решать мы сами. Мы постановим проливать кровь, или голодать в стачке — и будем проливать, и будем голодать во благо России, но по своей воле, по своему решению, когда это действительно нужно — без указки, без камертона людей чужого класса”».

Ах, некрасивая демагогическая игра памятью погибшего товарища!

«Нередко люди не из рабочей, народной среды, благородные и честные в душе, но оторванные от рабочей жизни, увлекались красивыми теориями, подчинялись формуле (букве). Нередко они, не сообразуясь ни с действительностью жизни, ни с отношением сил, ни с внутренним настроением масс, давали рабочим неверный тон их тактическому шагу. Нередко они, эти самоотверженные люди, становились по пословице: “казаками задеру хвист” и без достаточного основания и без смысла, необдуманно толкают, иногда не вовремя на ненужную, неудачную стачку, выбрасывая тем невольно рабочих, их детей на холод, голод, на смерть — безрезультатно, чем уменьшают у рабочих сознание своей силы, усложняют дело освобождения, принижают революционность рабочих масс. В результате, конечно, бессознательно приносят вред пролетарскому, народному делу..

Поэтому вы, дорогие товарищи, до конца должны проводить указанный принцип, если хотите делу успеха, — держите всецело в руках своих мозолистых свое рабочее дело и, приглашая в свои гнезда-отделы интеллигентов, внимательно выслушивайте их страстные, горячие речи, но не слишком взвинчивайтесь: свой критический разум имейте. И этот свой разум уже самостоятельно, без единого интеллигента проявляйте в решении практических вопросов (например, о всеобщей стачке, о так называемом вооруженном восстании, о введении 8-часового рабочего дня путем революционным).

Вы, не зная до тонкости Маркса, по существу своего пролетарского положения инстинктивно правильнее, чем кто-либо другой, решите и скорее избежете пагубных для себя, для всего пролетариата ошибок. Не забывайте, что и вы окончили всемирный университет голода, холода, нищеты, лишений и проходите до конца своей жизни в совершенстве науку разных унижений, оскорблений, науку всякого угнетения и насилия. Не забывайте, что в применении к русской действительности практический здравый смысл русского рабочего-героя зачастую выше бывает немецкого Маркса, что видно на деле, по результатам...»

Что-то новое? Нет, по существу это прежний Гапон. Гапон конца 1904 года. Да, в сущности, и Гапон мая 1905-го. И более ранний. И более поздний. Что оставалось в Гапоне и «гапоновщине» неизменным — это вот эта сквозная идея: рабочие для рабочих. Не для власти, не для полиции, не для интеллигенции, не для революции. Никто со стороны не может и не должен руководить рабочим классом и рабочим движением — кроме, разумеется, его самого, Георгия Гапона.

Гапон настолько уверен в себе пока что, что позволяет вернуть в текст малороссийскую присказку.

Новое — дальше.

«Встрепенитесь! Смело и самостоятельно расправьте свои могучие орлиные крылья и клеточкой орлиным и зычным голосом богатырским закричите на все города и веси: Стой, пролетариат — осторожней — засада! Ни шагу вперед, ни шагу назад. Резким шагом вперед не вызывай темного и озлобленного реакционного чудовища. Избегай крови... жалея ее... и так ее достаточно пролито. Смотри, не повтори ошибки 1871 года коммунаров — героев французского пролетариата».

С пафосом горьковского Буревестника, со ссылкой на коммунаров, талантливый демагог зовет своих сторонников... остановиться. Зовет таким голосом, будто посылает в бой.

«Укрепляй лучше теперь завоеванные позиции, душой и телом всецело отдавшись организационно-созидательной ра-

боте. Собирайся с силами, требуя пока от правительства выполнения программы, намеченной манифестом 17 октября, и немедленного созыва Думы с самым широким участием народа и рабочих».

Это в точности по программе Витте.

«Тут я подхожу к второму неперемennomу условию, при котором именно должна вестись уже самая организационно-созидательная работа. Но это до другого раза. Теперь до свидания, дорогие товарищи».

Как это? Почему до другого раза?

Почему да почему. А потому, что не стоит сразу выкладывать на стол все карты. Остановиться надо на таком месте, с которого можно повернуть и в одну, и в другую сторону — в зависимости от поведения партнеров.

Но попрощавшись, Гапон не останавливается. Он переходит к практически-организационным вопросам — словно для того, чтобы смазать впечатление от сказанного выше:

«...По приведении в порядок дел общества, немедленно выдавайте пособия нуждающимся членам, согласно уставу нашему. Между прочим, не откладывая в долгий ящик, постарайтесь как можно скорее распределять членов того или иного отдела по профессиям так, чтобы каждый отдел являлся фактически общим гнездом профессиональных ячеек, а самый ваш рабочий союз — собственно союзом профессиональных союзов».

В «Собрании» 1904 года такого, кстати, не было.

Здесь, между прочим, Гапон отвечает — мысленно, а может быть, и прямо — Рутенбергу. Нет, возрожденное «Собрание» не будет рабочим политклубом, а будет большим объединенным профсоюзом.

И наконец:

«Передайте от меня сердечный привет всем товарищам-рабочим. Мысленно жму руку каждого из них, мысленно каждого из них обнимаю. Скажите им, что тоскую по ним, по работе... Скажите также им, чтобы они не верили ничему, что будут болтать худого про меня злые люди.

Судьбу свою, да твердо помнят, я навсегда связал с их судьбой. Дело само покажет».

Предчувствуя, что теперь он станет мишенью новых нападок, Гапон заканчивает письмо в заранее обороняющемся тоне. Плохой, невыигрышный конец.

Дальше всё развивалось так.

Витте потребовал от Министерства внутренних дел отпечатать воззвание Гапона в количестве тысяча экземпляров за счет секретных полицейских фондов. Почему премьер так хо-

тел, чтобы прокламация была напечатана именно за счет этих денег, а не за счет средств Министерства финансов или Министерства торговли и промышленности? Стоит об этом задуматься.

Слово Дурново:

«...Министр Внутренних дел оспаривал необходимость этого расхода, но вопрос ставился в высшей степени остро и отказ в выдаче денег грозил совершенно испортить отношения, вследствие чего Министр Внутренних дел, не усматривая в печатании прокламации ни пользы, ни вреда, сделал распоряжение о выдаче 2500 руб., которые 22 декабря через чиновника Мануйлова и вручены рабочему Николаю Варнашеву».

Ну и еще одна важнейшая подробность:

«Варнашев довел до сведения графа Витте, что Гапон знает группу лиц, составляющих в Петербурге главную революционную организацию. По словам Варнашева, он также мог бы указать на главных революционных деятелей, если бы Гапон освободил его от данного обещания хранить эти сведения в тайне. Эти сообщения Варнашева приводились между прочим в числе доводов о необходимости допустить печатание упомянутой выше прокламации Гапона к рабочим, т. к. составилось мнение, что только удовлетворением желания Гапона воздействовать на рабочих можно склонить его к услугам правительству в деле раскрытия и подавления революционного движения».

И. Н. Ксенофонтов видит здесь улику, свидетельствующую о том, что Варнашёв был агентом полиции в гапоновской организации. Но агенты просто сообщают то, что им известно, не ссылаясь на данное ими слово молчать, и сообщают своим вербовщикам, а не премьеру. Не говоря уже о том, что никаких «лиц, составляющих в Петербурге главную революционную организацию», Гапон не знал и знать не мог. Он знал кое-что (в том числе кое-что важное) про эмиграцию, но делиться этими знаниями не собирался — пока, по крайней мере.

Что же стоит за этими играми — играми с, между прочим, вторым человеком в Российской империи? Действовал ли Варнашёв с ведома и по заданию Гапона? Если так, Георгий Аполлонович еще в декабре начал смертельную и роковую для себя игру. Но зачем? Так ли ему было надо, чтобы вырванное у него обращение к рабочим широко распространилось? Или он преследовал другие цели — хотел заинтересовать власти в дальнейшем сотрудничестве? Или Варнашёв действовал по собственной инициативе? Это не исключено.

Так или иначе, Витте поверил — или почти поверил — или сделал вид, что поверил, — Гапону. В Париж спешно выехал

Мануйлов. Однако в Париже он Гапона не застал. Тот выехал, как сообщили чиновнику для особых поручений, в Стокгольм.

К этому времени Гапон (чье письмо к рабочим еще печаталось) успел сделать ряд заявлений, взволновавших русское революционное зарубежье — и не только зарубежье.

Еще 9 ноября в парижско-женевской газете «La Matin» появились перевод отрывка из автобиографической книги Гапона (полное французское издание вышло в конце года) и его фотография. 13 декабря (30 ноября по старому стилю) в той же газете помещено было его интервью. Тоже с фотографией — одной из немногих сохранившихся фотографий Гапона в партикулярном платье. Не только пиджак сменил рясу: удивителен контраст лица, взгляда. В новом Гапоне в самом деле нет ничего величественного. Но в каком-то смысле он человечнее.

Что же говорит Гапон читателям франкоязычной газеты?

Сначала — обычные воспоминания о 9 января, о предшествовавших демонстрации событиях, о визите к Муравьеву.. И вдруг: «Бойня 9 января стала первопричиной той революции, которую мы переживаем ныне. К сожалению, я был не в состоянии предвидеть, в какую бездну эта революция может завести народ».

Революция? В бездну? Где же недавний энтузиазм? Где радостные слезы писателя Горького, *поздравляющего* жену над свежими трупами? И когда — когда силы свободы, кажется, близки к торжеству (несколько сотен ремесленников и лавочников, с досады перебитых погромщиками в черте оседлости, разумеется, не в счет — не бывает революции без жертв!).

«Революция выросла прямо из этой бойни. Но народ жестоко отомстил. Теперь этому пора положить конец, если мы не хотим, чтобы революция пошла прахом. В нынешних условиях ярость будет только бесплодно истощать силы народа и неизбежно спровоцирует ужасающую реакцию, которая задержит восход свободы».

Гапон оговаривается, что он конечно же не отказался от своих «революционных целей». Но пока он призывает не только воздержаться от насилия, но и снять ряд требований — в том числе о восьмичасовом рабочем дне. «Этому придет время. Но сейчас Россия к этому не готова — это разрушит промышленность и вызовет страшный голод».

Это кто говорит — Гапон или директор Путиловского завода Смирнов? Кто заставил рабочего вождя снять один из главных лозунгов 9 января, причем не относящийся к политике как таковой? Витте этого даже не требовал.

И вот сакраментальный вопрос:

«Вы считаете, что русский народ не готов к освобождению?»

Казалось бы, в огороде бузина, а в Киеве дядька. При чем тут свобода — речь идет о рабочем дне.

Но Гапон отвечает (или переводчик — кто? — переводит, или журналист записывает):

— Нет, не готов.

«Прежде чем продолжать движение, мы должны усовершенствовать наши боевые ячейки и развить революционное сознание масс. Нет, русский народ не готов к полному освобождению, и осознание этого заставило меня пересмотреть мою фундаментальную концепцию революции. Некоторые считают, что кровавые выступления крестьян и солдат против властей — признак революции. Ничто не может быть дальше от истины. Да, в деревне крестьяне захватывали помещичьи земли, но после, когда порядок был наведен, они утверждали, что сделали это потому, что баре, дескать, отказываются делиться землей, вопреки царскому указу. И еще прибавляли, что те, кто подбивал их на захват земли, внушали им, что сам цар разрешил эти грабежи. Некоторые считают, что мятежи солдат и матросов — это революционные акты, тогда как на самом деле это — краткие выступления против жесткости отдельных командиров. В Севастополе, например, в разгар такого выступления солдаты запели хором: “Боже, царя храни”...»

Теперь о Витте:

«Сегодня политика господина Витте, по крайней мере частично, удовлетворяет требованиям русского народа... Политика Витте страдает нерешительностью, поскольку он пытается примирить фундаментально противоположные партии: придворную, революционную и промежуточную — партию буржуазных конституционалистов. Он ищет поддержки у всех и не получает ни у кого. Однако если либералы согласятся помочь ему, когда он попросит их принять участие в формировании кабинета, мы не станем свидетелями экономического краха, который угрожает России...»

Какой здравомыслящий и умеренный Гапон! Жаль, что это — неискренняя, принужденная, купленная позиция. Или уже искренняя?

«Хотя Витте отказался амнистировать меня, я изменил свое дурное мнение о нем. Думаю, что он единственный стоящий человек, который у нас есть, единственный, кто может спасти нас. Если революционеры найдут с ним общий язык, это может быть основой освобождения России. Не говоря уже о том, что случится, если на смену Витте придут Игнатьев и другие реакционные политики...»

В заключение Гапон с сожалением отмечает, что он «покинут вождями революционных партий ... которые боятся мое-

го влияния на массы и любой ценой хотят моего крушения». И все-таки в России остается «несколько тысяч моих последователей, которые продолжают распространять мои мысли» — есть надежда, что и революционеры их в конце концов воспримут.

На следующий день в «Юманите» («L'Hummanite») — газете не обывательской, как «Матин», а социалистической, жоресовской — появилось письмо Гапона в редакцию «Матин».

Известен вариант этого письма, опубликованный в 1906 году в книге Н. Симбирского-Насакина по русскому оригиналу. Вероятно, в распоряжении Симбирского был черновик. Во всяком случае, текст, опубликованный им, несколько отличается от того, что напечатан в «Юманите». Вот начало насакинского варианта:

«В сегодняшнем номере уважаемой газеты было помещено интервью со мной. К сожалению, благодаря незнанию французского языка в нем вкрались некоторые неточности, которые могут повести к разным недоразумениям и кривотолкам, поэтому прошу вас поместить нижеследующее».

В газете — примерно то же самое (чуть другими словами), а дальше — две фразы, в черновом варианте пропущенные:

«В напечатанном интервью мне приписан ответ “нет” на вопрос: “Готов ли русский народ к освобождению?” Это не соответствует моим мыслям».

Вот чего, собственно, Гапон испугался. Вот какое место он попытался дезавуировать и «прояснить»:

«Всякий угнетенный и обездоленный народ, в том числе и великий русский, может и должен быть готов к освобождению из-под ярма насилия и произвола, но не всегда тот или иной народ, униженный и оскорбляемый в среде богатых и сильных, может быть готовым сбросить с себя петлю немедленным вооруженным восстанием... Великий русский народ, по моему убеждению, еще не готов ни технически, ни внутренне — сознанием к освобождению посредством немедленного победоносного вооруженного восстания, на что толкают его, к чему взвинчивают его мои самоотверженные товарищи-революционеры».

Отчасти берет он назад и свои (или приписанные ему?) похвалы Витте:

«...Было бы слишком много называть этого человека с лисьим хвостом единственным ценным человеком в обширной России».

В опубликованном варианте этого прекрасного «лисьего хвоста» нет. Впрочем, отмечает он дальше, премьер — человек способный и ценный, искать точки соприкосновения с ним надо всем партиям, в том числе и революционным.

Дальше:

«Я не мог быть брошен революционными вождями, так как стоял и стою вне партий. Они только несколько против меня, не понимая того, что я и не думаю руководить революцией, иду не против идей, исповедуемых ими, а против их тактики, что я восстаю против отсутствия у них политического чутья, против отсутствия у них иногда настоящей жалости-любви к самому пролетариату».

В качестве примера верной тактики Гапон приводит маршала Ояму, который, «разбив Куропаткина, два месяца отдыхал, и армия его не только не сделалась деморализованной, а наоборот, более энергичной и самоотверженной». В газету это тоже не попало. Зато последние фразы в обоих вариантах одинаковы:

«Я, соприкоснувшись непосредственно с русской действительностью, узнавши положение масс и соотношение сил, — бью в набат предостережения: героический русский пролетариат в опасности! Берегись, пролетариат, своей кровью добывший свободу! Берегись приготовить богатство и славу своему врагу! Имеющий уши слышать — да слышит!»

Одновременно с интервью «Матин» появилась в печати и статья о Гапоне в немецкой социалистической газете «Форвартс» («Vorwärts»). Она тоже не удовлетворила Гапона — там, например, было сказано, что он покинул Россию, «так как счел свою миссию в революции завершенной». Одновременно с разъяснительным письмом в «Матин» он написал другое, в «Форвартс», которое было напечатано вместе с первым в «Юманите». Еще одно письмо с изложением своих новых политических взглядов Гапон адресовал в эти дни в «New-York Herald». Оно тоже было напечатано по-русски в книге Симбирского.

Нелепое и унижительное положение: постоянный страх, что твои слова неправильно переведут, запишут, истолкуют. И это было снова и снова: Гапон давал интервью разным изданиям («Temps», «Journal»), и почти каждый раз это приводило к недоразумениям и конфузу. И не только из-за незнания языков. Гапон пытался и угодить Витте, и не поссориться окончательно с революционерами. Хуже всего было то, что по-настоящему лицемерить, долго и последовательно, он не умел: как и годом, и двумя годами раньше, он увлекался, входил в роль и начинал искренне верить в то, что говорил поначалу из оппортунистических соображений.

Желая *правильно* донести свою позицию до русской и французской прессы, он пригласил 15 декабря на завтрак в ресто-

ран корреспондентов «Русских ведомостей», «Речи», «Temps», «Юманите».

Либеральный журналист Евгений Семенов (в прошлом народоволец Соломон Коган) «неофициально» спросил Гапона про его дела с Витте. Гапон ответил:

«...Мне что Витте, что Дурново — все едино, но я говорю, что при Витте писать и говорить можно, а при Дурново будет хуже. Интерес наш, чтобы у власти был Витте, а не Дурново. Вот и всё. А мои сношения с Витте — вздор. Я хочу, чтобы нашим рабочим организациям вернули взятые деньги и имущество, и в этом направлении мы начали через третье лицо хлопоты...»

Гапон сказал правду. Но — *не всю* правду. Рядом с ним на завтраке присутствовал Кузин. Журналистов это убеждало: вот активист рабочей организации со свежими вестями из Петербурга. Они, конечно, не знали, что Кузин привез 200 рублей от Витте (не то чтобы они были так уж необходимы Гапону, но отказываться от денег было не в его обычае).

На, так сказать, «пресс-конференции» (отчет о ней был помещен в «Юманите» на следующий день) спрашивали про разгон совета и арест его руководителей, про гапоновскую организацию и ее численность, про предстоящие думские выборы («...вопрос в том, как будут голосовать крестьяне»). Задавали все тот же сакраментальный вопрос о роли интеллигенции в революции. Гапон отвечал, что интеллигенты необходимы в роли теоретиков, на практике же часто вредят делу своей идеологической непримиримостью и оторванностью от практики. Приводил в пример споры большевиков и меньшевиков, парализовавшие работу совета.

Еще через два дня, 18-го, в «Юманите» появилось полемическое письмо Плеханова.

Лидер эсдеков ехидно замечал, что, «если гражданин Гапон осуждает тех, кто планирует незамедлительное вооруженное восстание, ему следует, чтобы быть беспристрастным, начать с себя. Действительно, в течение 11 месяцев, которые отделяют нас от январского кровопролития, он не переставал проповедовать вооруженное восстание — в духе самой вульгарной анархистской пропаганды... Если возможны разные мнения о литературной ценности этих упражнений, то несомненно одно: гражданин Гапон был отчаяннейшим из революционеров».

На это Гапону нечего было ответить.

«Вступая в борьбу с русской социал-демократией, вы совершаете ошибку, непоправимую и, следовательно, непростительную», — учтиво, но внятно предупреждал Плеханов Га-

пона-политика. Положим, с Плехановым у того и прежде не было особой близости. Но Гапон не мог не понимать: теперь весь революционный лагерь — от Ленина и, пожалуй, до верного друга Мартына встанет против него, и не так, как двумя-тремя неделями прежде, а гораздо жестче.

Гапон настаивал на том, что он расходится не с «мировым социализмом», а только с российскими социалистическими партиями. Он пытался возобновить свои летние парижские контакты. Его снова водили к Жоресу — в палату депутатов (там русский *роле* запомнился своим щегольским костюмом). Другой раз Семенов позвал его отобедать с Анатолем Франсом, популярным в то время романистом Октавом Мирбо и депутатом-социалистом Гюставом Руанэ. Последний рассказывал о синдикалистском движении; Гапон был заинтересован. Сам он показался французам оригинальным, но здравомыслящим. Но, говорили писатели и политики, он пытается «остановить движение» — а разве это в силах человеческих? Был он и в Обществе французских друзей русского народа, где произносил все те же речи о «зарвавшейся революции». Видимо, в этой светской жизни его сопровождала Саша — на Семенова Гапон произвел впечатление нежного и заботливого мужа.

Через некоторое время Гапон покинул Париж, оставив Сашу у друзей — «для свидания с разными лицами». На самом деле он отправился на юг Франции. Зачем — это остается загадкой. Известен лишь один из эпизодов этой поездки. Какой-то журналист заметил Гапона играющим в рулетку в Монте-Карло. Сам Георгий Аполлонович утверждал, что играл один раз, из любопытства и «на пустые деньги» (и выиграл), и вполне возможно, что он говорил правду, но дело было сделано. Сюжет развивался, как в сказке Андерсена про курочку, уронившую перышко. Вышедшая в начале 1906 года разоблачительная брошюра некоего Никифорова завершалась следующим пассажем:

«В заключение могу сообщить со слов одной американской газеты, что Гапон живет в Монте-Карло, ведет широкий образ жизни, швыряет деньгами, одет по последней моде, окружен кокетками и ведет крупную игру в рулетку; та же газета объясняет нам это: Гапон содержится управлением рулетки для привлечения “знатных иностранцев”. Наконец-то попал этот человек в соответствующее его талантам амплу!»

Сообщение одной американской газеты... Чего только не сообщали газеты! Гапона видели пьющим пиво в одном из парижских ресторанов — и об этом сообщила газета, и это трансформировалось в слухи о каких-то кутежах и оргиях. Некий

английский журналист, «ища Гапона для интервью, обрел его в привилегированном и высокопоставленном фамильном вагоне, к коему простым смертным и за границею приближение полицейски весьма воспрещается». Какой журналист, в каком вагоне (великокняжеском, что ли, или министерском?), как это могло быть — неизвестно и непонятно. Скорее всего, еще одна «утка». Полгода назад Гапону понравилась роль персонажа газетных сплетен и балаганных представлений; теперь наступила расплата.

За то время (неделя, дней десять — не больше), которое Гапон провел на юге, в России случилось многое. В частности, то восстание, которого опасались власти, началось (в Москве). К тому времени, когда гапоновское письмо рабочим было напечатано, в нем (и вообще в умиротворяющей пропагандистской кампании) уже не было нужды: восстание было подавлено. Движение стало мало-помалу останавливаться само. Впереди были суровое столыпинское умиротворение, столыпинская реакция, Столыпинские реформы.

Именно в этот момент (в январе 1906 года по новому стилю, в конце декабря 1905 года по старому) Мануйлов приехал в Париж, привлеченный намеками Варнашѣва. И не застал Гапона, уехавшего, по собственным словам, в Стокгольм.

Гапон действительно сообщил Семенову, что едет в Стокгольм по делам, связанным с изданием его газеты (о газете этой, так и несостоявшейся, мы еще скажем несколько слов ниже). Почему в Стокгольм — никто не спрашивал. На самом деле Гапон (вместе с Сашей) каким-то полулегальным путем через Швецию пробирался в Россию.

Где-то между 15 и 20 декабря старого стиля (28 декабря и 2 января нового) он получил телеграмму: «Приезжай. Почва уходит из-под ног».

24 декабря он был уже в Териоках — нарушив условие Витте: не возвращаться до 9 января старого стиля. Здесь, в комнатке на даче Питкинен, у самой границы автономного Великого княжества, рядом с Петербургом, но как бы вне прямой имперской юрисдикции, он провел последние четыре месяца жизни — под фамилией Гребницкий.

МАТЮШЕНСКИЙ — ПЕТРОВ — ЧЕРЕМУХИН

Что же происходило в декабре в гапоновской организации?

На первый взгляд все шло своим чередом. Отделы — Петербургский, Невский, Нарвский — открывались заново, начина-

лась какая-то работа. Были и деньги. Матюшенский объявил, что некий купец-филантроп из Баку (напомним, раньше Матюшенский там жил) решил пожертвовать на рабочее дело десять тысяч рублей. От его имени Матюшенский внес в кассу первые три тысячи. По словам Александра Ивановича, купец будет давать деньги постепенно, так как сам он уже стар, над ним учреждена опека, и потому делать он это может лишь постепенно и осторожно. Действительно, через некоторое время «купец» дал еще столько же. (Эта версия — про бакинского купца — была согласована с Гапоном.)

Однако организацию, в отсутствие лидера, стали сотрясать внутренние склоки. Как пишет Петров, «в некоторых районах действительно личности, даже группы, были фанатично настроены о Гапоне, и действовали на массу в этом духе, другая же часть была либо равнодушна к Гапону, либо шла против него; составлен был заговор, в который входили люди за разными целями: одни шли против самого Гапона, другие против состава комитета; последние хотели перетрясти комитет и постараться провести туда людей более лучшего направления, но Гапона признавали в полной его силе. Желających обновить комитет было большинство; на одном собрании комитет раскололся, часть вышла из его состава, против Гапона, вышли незаметно и создали его отдельно, причем постановили не давать Гапону никаких полномочий и не признавать его как вождя, а считать его обыкновенным членом».

Судя по всему, именно Петров и его друзья (Григорьев, Черемухин) хотели «перетрясти комитет», интриговали против Варнашёва и Карелина. На борьбу за влияние в организации стали накладываться взаимные претензии из-за полученных в разное время (из кассы «Собрания» и лично от Гапона) денег.

И в этой ситуации Варнашёв совершает очень странный поступок.

В середине декабря, во время собрания правления, он начал финансовый отчет следующими словами:

«Товарищи, у нас было денег своих 4000 р., и Гапон дал 1000 р., которые получил от Витте...»

Никто сперва не отреагировал — видимо, не осознав сказанное. Никто, кроме Петрова, который «потребовал ответа, какие 1000 р. получены от Витте и за что и кто уполномочивал получать, и почему до сего времени не объяснили комитету?». Его поддержал Черемухин — «бледный как полотно, с блуждающими глазами».

(Судя по всему, Петров давно искал повода, чтобы вцепиться в заговор своим конкурентам в «Собрании». А Черемухин был, видимо, очень эмоциональным, неуравновешенным мо-

лодым человеком. По крайней мере, дальнейшее косвенно об этом свидетельствует. Судьба его была трудной; из двадцати четырех лет жизни шесть он провел за решеткой — вроде бы «за рабочее дело», но такой срок, да еще несовершеннолетнему могли дать только за человекоубийство. Все это стоит держать в уме.)

Теперь уже «все кричали и требовали разъяснения».

Кузин объяснил, что деньги были даны Гапону на дорогу за границу, Гапон же нашел средства на дорогу в другом месте — а эти передал «Собранию». Варнашёв и Карелин подтвердили его слова. Петров ответил, что «Гапон не имел права брать деньги без разрешения центрального комитета». Варнашёв, Карелин и Кузин утверждали, что им было известно об этих деньгах, и настаивали опросить всех. Другие заявили, что ничего не знали и не знают. Наконец, несколько успокоившийся Черемухин предложил не разрушать из-за этой «ничтожной сделки» рабочего дела и клятвенно пообещать сохранить случившееся в тайне. Петров, в свою очередь, предложил обязать всех руководителей «Собрания» ничего впредь не предпринимать без согласия комитета. Тоже «клятвенно». Злоупотребляли эти рабочие люди патетикой. Гапоновская школа.

Но все-таки зачем Варнашёв это сделал? Захотел скомпрометировать и оттеснить Гапона... или создать повод для его срочного возвращения? (Телеграмма в Париж была отправлена, видимо, сразу же после собрания.) Варнашёв, возможно, понял, что Гапон что-то от него скрывает, и решил начать собственную игру. Разговор в полиции об известных Гапону революционных тайнах имел место именно в эти дни.

Итак, Гапон приезжает в Териоки — и через день или два вместе с Варнашёвым является к Матюшенскому и спрашивает, где остальные четыре тысячи бакинского купца (20 тысяч, вероятно, Гапон собирался оформить как-то иначе... или знал от Варнашёва, что Матюшенский говорил именно о десяти тысячах). Александр Иванович жметяся и кричит, ссылаясь на подешевевшие казначейские билеты...

Гапон начинает подозревать неладное...

30-го в Териоках состоялось общее собрание организации. Было человек восемьдесят — по десять от каждого района. Гапон выступил с докладом-«исповедью» о своей жизни и работе за границы в течение года. Закончил он доклад так: «<...> Товарищи, я ошибся сначала, погорячился, и призывал вас к вооруженному восстанию, я сам теперь это считаю утопией, а потому прошу вас не слушать разных взвинченных голов, я все увидел и все знаю, нам следует удержать за собой завоеванное, убеждение, что если мы так поступим, то много выиграем, теперь су-

дите меня, как хотите». Затем был поставлен вопрос о статусе Гапона в «Собрании». При обсуждении его Георгий Аполлонович вышел в соседнюю комнату. Голоса разделились, дискуссия была бурной. Наконец Гапона попросили вернуться.

«Гапон выступил на средину и несколькими словами победил всех. “Товарищи, сказал он, я вижу у вас многие сомневаются во мне и говорят о диктаторстве моем. Разве я был у вас диктатором?” (посыпались голоса — нет, не был). А если нет, я у вас и не прошу большего, дайте мне только прежнее полномочие”. — “Даем, даем”, — посыпались голоса. Председатель поставил на баллотировку, большинством голосов Гапона сделали хозяином союза».

Еще один вопрос касался годовщины 9 января. Решили отметить тихо, панихидами.

И — когда всё уже было обсуждено и решено — Гапон спросил:

— А где Матюшенский?

Послали за Матюшенским в город и не нашли его. Оказалось, что он уехал в неизвестном направлении.

Наконец, Варнашёв добился своего (если он добивался именно этого): Гапон рассказал ему правду. Как официальный председатель «Собрания» Николай Михайлович отправился в Министерство промышленности и торговли узнавать, были ли выданы Матюшенскому деньги и сколько. Ему были предъявлены расписки на все 30 тысяч. С этими расписками Мануйлов вместе с Варнашёвым явился в дом 3 по Владимирской улице, в правление «Собрания». Там был Гапон, который таким образом «раскрылся» перед властями.

Гапон тут же собрал «комитет» (руководство «Собрания») и уже без экивоков изложил всю историю с тридцатью тысячами Витте, прибавив, что в свое время «все опубликует» — стесняться и бояться нечего, «это деньги народные». Затем Гапон предложил избрать комитет для поиска денег в составе Варнашёва, Кузина, Усанова и Короленко. Кандидатура Черемухина была им отклонена; из-за этого произошел скандал. Гапон назвал истеричного «бунтовщика» шпионом, хлопнул дверью, потом вернулся, извинялся.

Это произошло 6 или 7 января.

Петров, как он потом утверждал, отсутствовал на собрании по болезни. Узнав от Кузина о тридцати тысячах и о бегстве Матюшенского, он имел личный разговор с Гапоном, который предложил ему взяться за поиски Матюшенского, предлагая премию не то три, не то пять тысяч из спасенных денег.

По его собственным словам, Николай Петров сразу же решил «разоблачить» Гапона. Но ему не удастся внятно объяс-

нить, почему он ждал три недели (его разговор с Кузиным имел место, по его словам, сразу же после 9 января 1906 года) и обнародовал свои разоблачения только тогда, когда Матюшенский сам нашелся, и за деньгами послали не его, не Петрова.

Но об этом дальше. Пока что попытаемся разобраться с событиями конца декабря — начала января.

Послушаем теперь версию Матюшенского (из его исповеди, опубликованной в «Красном знамени»).

Тимирязев, утверждает Александр Иванович, действительно дал ему 24 декабря (как раз в день, когда Гапон ступил на российскую землю) последний и самый большой «транш» — 23 тысячи рублей, но вовсе не для гапоновцев. Тридцать тысяч, объяснил министр, выделены на пропаганду среди рабочих. Гапоновским организациям и семи тысяч хватит. А остальные «в вашем распоряжении, и отчета по ним я не требую» — истратьте, дескать, их на пропаганду ненасилия и гражданского мира среди рабочего класса (Матюшенский дальше называет такую пропаганду *черносотенной*) как и где вам будет угодно. Однако затем Тимирязеву сделали внушение, объяснив, что Матюшенский — опасный революционер, вот он и дал задний ход, сообщив Гапону и Варнашёву, что деньги предназначались для них.

Можно ли в подобное поверить? Можно ли поверить в то, что деньги, принадлежащие профсоюзу и изначально предназначенные для него, большие деньги, сопоставимые с бюджетом графтоновской авантюры, вдруг отдаются частному лицу, к тому же заведомо малоблагонадежному, на некую абстрактную «пропаганду»?

Но это только начало сюжета, изложенного в «Исповеди».

Матюшенский, действительно в душе пламенный революционер, решил использовать деньги для борьбы с правительством. Сначала он хотел закупить оружие в Финляндии (в одиночку! Что бы он с ним делал?). Это не вышло, и журналист решил отправиться вглубь России, связаться с сектантами и организовать мятеж, используя фигуру самозванца, лжецаря... Кого он намечал на эту роль, Матюшенский не уточняет. (Замысел явно списан из «Бесов» Достоевского, на что обращает внимание и редактор «Красного знамени» Амфитеатров.)

На самом деле все было гораздо проще. 23 тысячи (30 — 1 тысяча, «пожертвованная» Гапоном, — 3+3 тысячи от «бакинского купца») жгли карман несчастного журналиги. 700 рублей он сразу же проиграл в клубе, а с остальными отправился в Саратов с дамой сердца. Та написала подруге, жене журналиста Старцева — а тот сообщил о письме Гапону. Таким образом, Матюшенский нашелся сам. Это было 26 января.

Гапон послал в Саратов своих людей — Кузина (это понятно) и почему-то Черемухина, который было вышел у него из доверия, но, видимо, опять попал в фавор. Понимая, что без помощи полиции вырвать у Александра Ивановича деньги вряд ли удастся, Гапон обратился за помощью, однако не к официальным полицейским властям (с которыми у него к этому времени завязались новые, странные и запутанные отношения), а к Лопухину (который уже был губернатором Эстляндии). Тот частным образом связался с кем-то из своих бывших подчиненных.

Дальнейшее Матюшенский описывает так: Кузин и Черемухин являются к нему в сопровождении околоточного, пяти городских и двух или трех агентов сысского отделения (что-то многовато).

Следует такой разговор:

«— Что вам угодно?

— Мы ищем деньги.

— Какие?

— 23 тысячи.

— Они вам не принадлежат.

— Мы имеем полномочия от Тимирязева.

— Если вы имеете полномочия и права на эти деньги, то получите их в отделении государственного банка.

И я дал им расчетную книжку и чековую.

— Нам не выдадут. Вы должны написать чек.

— Не выдадут, значит, ни вы, ни Тимирязев не имеете доказательств ваших прав на эти деньги...»*

Матюшенского отвели в участок. Там его оставили наедине с Кузиным, и они якобы «договорились». Кузин, по словам Матюшенского, пообещал, что почти половину — 11 тысяч — ему потом вернут («Мы знаем, для чего вы взяли деньги и зачем приехали в Саратов»). Матюшенский подписал чек, Кузин написал письмо следователю. Матюшенского отпустили.

И вот Александр Иванович по-приятельски отправился на поезде из Саратова вместе с отнявшими у него свои деньги Кузиным и Черемухиным (поневоле приходит на ум другой Александр Иванович, Корейко, мирно едущий из Туркестана вместе с отобравшим у него миллион Остапом Бендером).

По дороге Кузин пересел на другой поезд — поехал навещать отца. Чек Матюшенского он на всякий случай забрал с собой. Но в деревне он, имея при себе чек на 22 с лишним тысячи рублей и крупную сумму наличными (больше 500 рублей), зачем-то занялся агитацией, его арестовали, деньги отняли, и Гапону снова пришлось идти к Лопухину.

* Матюшенский А. Исповедь //Красное знамя. 1906. № 2. С. 123.

Между тем Матюшенский, еще только подъезжая к столице, открыл свежий номер газеты «Русь» и прочитал в ней сенсационный разоблачительный материал, касающийся Гапона и его самого. Это было письмо Петрова. Озаглавлено оно было «Долой маски и неизвестность».

Письмо, неделю отлежавшее в газете (боялись!), увидело свет 8 февраля (все даты здесь и дальше по старому стилю). Это позволяет точно датировать саратовскую эпопею.

Письмо начиналось так:

«М. Г. Хочу донести до сведения товарищей рабочих и всего русского общества, почему я вышел из Центрального комитета и отказался от председательства 7-го отдела Невского района собрания русских фабрично-заводских рабочих, или гапонской организации».

Дальше излагается уже известная нам история.

И завершение:

«...Положивши для этого дела 1 год 3 месяца жизни, я был предан этому делу душой и телом. Раненный 9 января, я принужден был скрываться за границей. Теперь открывший все темные дела Гапона. Моя честь и совесть не может спокойно выносить эту мерзость и темных дел Гапона. Я решил открыть эту загадочную личность для рабочих и для всего русского народа.

Обращаюсь ко всем товарищам рабочим и прошу посмотреть, какой наш вождь и на что он способен и как он обманывает нас. Товарищи-рабочие, возьмите в свои руки ваше дело и ведите его сами до конца! Не доверяйте одной личности и той, которая ничего общего с вами не имела, да и иметь не может! Гапон не может стать с вами за станок и за плуг, и поэтому его цели другие и темные для нас, а раз темные, то он нам не нужен и вреден освободительному движению. Я к русскому народу обращаюсь и прошу посмотреть, на что наше правительство бросает деньги».

Через два дня в той же газете был напечатан ответ центрального комитета «Собрания»:

«...Мы, рабочие, члены центрального организационного комитета, пока, до подробного освещения и изложения дела, заявляем:

1) Г. А. Гапон ничего не предпринимал без ведома организационного центрального комитета, по крайней мере, без ведома ядра этого комитета рабочих.

2) Деньги, в количестве 30 000 рублей, действительно были выданы в добровольное возмещение убытков, понесенных обществом со дня его закрытия после 9-го января 1905 года, выданы лицом, безусловно сочувствующим только честному

рабочему движению. (Это Тимирязев, что ли, имеется в виду? — В. Ш.)

3) Деньги, в количестве 30 000 рублей, получил А. Матюшенский в отсутствие Гапона; из них пока им выдано рабочим семь тысяч; с остальными он скрылся; в данное время товарищ Петрова Черемухин вместе с Кузиным занимаются розыском его.

4) Ни одной копейки Г. А. Гапон из этих денег не брал себе, что мы и свидетельствуем честным словом рабочих. Равно как ни одна копейка из этих денег не была израсходована зря, как на нужды общества и его безработных членов. (Отчет о семи тысячах и других деньгах будет на днях напечатан.)».

Дальше следуют обвинения в адрес Петрова в растрате 900 рублей из кассы «Собрания» и сообщении о назначении «Собранием» «третейского суда» «между Г. А. Гапоном и организационным комитетом, с одной стороны, и Н. П. Петровым — с другой».

«Просим товарищей... не волноваться прежде времени и не придавать значения тому яду, который пущен предателем-товарищем, чтобы разрушить нашу организацию на радость некоторым недалеким людям».

И под конец:

«Что же касается наглой клеветы относительно подкупом правительства нас и Г. А. Гапона — лучшим ответом является тот факт, что до сих пор, несмотря на все наши усилия и жертвы, собрания наши правительством закрыты, а Гапон — не амнистирован правительством и должен скрываться.

Мы глубоко убеждены, что когда разъярится все дело, даже наши враги не осмелятся бросить камня как в нас, так и в Г. А. Гапона, которого везде во всех лагерях только поносят. Но не нам, рабочим, оставлять его теперь и топтать ногами того, кто из-за нас потерпел и терпит...»

Петров продолжал полемику длинным письмом, напечатанным в «Руси» 13 февраля. По каждому пункту он объяснялся, по своему обыкновению, многословно, путано и невнятно, но позиция его была гораздо более выигрышной, чем у его оппонентов.

«<...> Мне достаточно, товарищи, одного факта. Вы подтвердили, что деньги взяты (30 000 рублей). Понятно мне и всем честным людям русского общества, что я не солгал в первом письме; вы подтвердили то, что я открыл...»

На третейский суд он соглашался, но при условии, что суд этот будет состоять из посторонних, незаинтересованных лиц. Тоже разумно.

Тем временем правительство тоже сочло необходимым

отозваться — в самой нелепой из возможных форм. В официальной газете «Русское государство» за 9 февраля появилось сообщение:

«В некоторых газетах появилось сообщение, будто граф Витте имел какие-то сношения с Гапоном и передавал ему более или менее значительные суммы. Граф Витте никаких дел с Гапоном не имел, денег ему на какое бы то дело не давал и никаких организаций при его посредничестве не предпринимал...»

Понятно, что «человек с лисьим хвостом» решил прежде всего спасти свою шкуру. Но, как ехидно заметила «Петербургская газета» (14 февраля), никто ведь и не предполагал, «что Гапон получал деньги непосредственно из рук графа Витте».

Неделю спустя (за это время пресса переваривала сенсационную историю) история приняла воистину трагический оборот.

Если понять, что и как происходило с деньгами Витте, можно, сопоставив разные источники, то тут, пожалуй, перед нами открытый вопрос — как в знаменитом фильме «Ворота Расёмон».

Что же, просто выслушаем разные версии случившегося.

Официальное сообщение «Собрания русских фабрично-заводских рабочих» («Русь», 21 февраля):

«Один из наших дорогих товарищей П. П. Черемухин (И. Ф. Сычев), не выдержав нападков в печати и обществе, не мог перенести грязи, выливаемой ушатом со всех сторон, покончил с собой выстрелом из револьвера. Жертва Н. Петрова и людей, за ним стоящих, нашел преждевременную смерть в расцвете сил, горя любовью к народу и святой правде. Он скончался в 12 часов ночи с 18 на 19-е февраля, свезенный товарищами в Обуховскую больницу, не приходя в сознание.

Происшествие случилось при следующих обстоятельствах: на собрании, происходившем вечером под председательством Г. А. Гапона, обсуждались вопросы о 30 тыс. руб. и о поступке бывшего товарища Н. Петрова. Когда дошла очередь до П. П. Черемухина, то он сказал:

— Товарищи! Достаточно мы много перенесли грязи, и больше терпеть нельзя. Надо выяснить сейчас или никогда! Быть может, товарищи могут подумать, что я получил 5 тыс. рублей за поездку, по выражению Н. Петрова, и пусть Георгий Аполлонович скажет: брал ли я хоть одну копейку или нет!

Последовал ответ Георгия Аполлоновича: «Нет!»

Дальше он продолжал:

— Петров пишет в письме, что мы ездили с сыщиком, но это ложь! Я ездил с честным товарищем и выполнил честно долг обязанности перед товарищами. Где же правда? Правды нет на свете!

И, выхватив револьвер, воскликнул: вот свидетель моей честности!..

Последовали выстрелы. Мы не успели удержать товарища.

Утром того же дня. 18-го февраля, избранные от комитета товарищи: Петр Черемухин, Василий Смирнов и Константин Левин были у Н. Петрова, чтобы пригласить его в комитет для объяснения с товарищами о его поступке. Он ответил отказом, и тогда П. Черемухин сказал ему:

— Я заварю сегодня кашу, а ты, Петров, бери самую большую ложку и расхлебывай».

Петров:

«Я знал его решение за два дня. Он сидел со мной вдвоем, и мы долго с ним беседовали. Он порывами волновался и взял с меня честное слово, чтобы я оставил все услышанное от него в себе. Он начал с того, что он решил бесповоротно положить жизнь свою за честь. “Я решил, — говорил он, — у меня больше не осталось ничего в жизни, и я это сделаю”. Он говорил мне, что в моем разоблачительном письме брошена на меня тень, и он не может перенести этого. Далее он говорил, что своей смертью разоблачит всю грязь Гапона, и утверждал, что иначе подлость Гапона не разоблачишь. Я начал уговаривать его, доказывая бесполезность этого поступка. Просил его не обращать внимания на эту брошенную тень; я говорил ему, что я всю эту тень возьму на себя путем огласки в газетах, что я опрометчиво написал... Черемухин плакал и еле выговаривал слова. Говорил: “Нет, этого не надо, я тебя не виню и не обижаюсь на тебя. Но меня ничто не очистит от этого, все равно скажут, что я взял деньги 5000 рублей за Матюшенского”...

Я решил открыть это двум лицам, чтобы посоветоваться, и втроем решили, что лучше мне не быть на собрании, надеясь, что без меня все пройдет спокойно».

Письмо свидетелей при приеме делегации к Петрову от центрального комитета:

«...мы были приглашены Н. Петровым быть свидетелем его переговоров с делегацией от центрального комитета, в лице П. Черемухина, В. Смирнова, К. Левина...

В письме центрального комитета приведены слова Черемухина: «Я заварю сегодня кашу, а ты, Петров, бери самую большую ложку и расхлебывай». Черемухин сказал не так. Он, убеждая Н. Петрова идти, говорил: «Ты, Петров, заварил кашу, и ты должен взять самую большую ложку и ее расхлебывать»».

Аркадий Петров, Алексей Аладин.

Случайный свидетель причины самоубийства Черемухина:

«Приехал я в Петербург на днях; ни с Петровым, ни с Черемухиным раньше знаком не был и познакомился совершенно случайно: я был свидетелем при посещении Н. Петрова депутации от комитета.

После разговора с Петровым Черемухин ушел раньше остальных двух членов депутации и зашел второй раз вечером, надеясь застать Петрова. Но Петрова не было, и мы с Черемухиным сидели и разговаривали часа полтора.

...Черемухин спросил меня:

— Скажите мне совершенно откровенно, не стесняясь, что думает обо мне Петров?

Я отвечал, что познакомился с Н. Петровым только накануне, толкуя об этом деле, и все время Н. Петров отзывался о нем, Черемухине, как о самом лучшем своем товарище, которому он доверяет больше всех.

О Гапоне Черемухин отозвался так:

— Это человек, для которого за коробок спичек погубить 1000 человек — ничего не значит. Я сегодня кончу это дело, — и он сказал мне, что намерен покончить с собой. Я начал доказывать ему, что это совершенно бесполезно, что он еще молод и может долго работать на поприще рабочего дела. Он ответил:

— Напрасно вы так думаете. Я не могу больше работать, потому что я не могу больше верить никому. Как я буду, например, хоть социал-демократом? Я постоянно буду думать: а может быть, Плеханов — тоже вроде Гапона? Никому я не верю! И жить мне больше не для чего...»*

Гапон в передаче Рутенберга:

«— Я произнес страстную речь. Напомнил кровь товарищей, убитых 9 января. Атмосфера сгустилась. Я чувствовал, что что-то сейчас должно случиться. Молния заблестит, гром

* Петров Н. Правда о Гапоне. СПб., 1906. С. 17—20.

грянет. А как раз после меня пришлось говорить Черемухину. Я же ему револьвер дал. Он парень честный, хороший. Он решил убить Петрова. В тот же вечер он мне сказал: “Решено”, т. е. что убьет его как изменника. Сидел он против меня на другом конце стола. Поднимается и вдруг заявляет: “Нет правды на земле!” — и трах — раз, два, три. Последнюю пулю прямо в лоб себе поставил и спустил. Здоровые парни около него сидели, но от неожиданности не успели помешать. Я бросился к нему. Рабочие меня обступили, схватили за руки и часа полтора упрашивали, чтобы я не убивал себя.

Гапон рассказывал с большим жаром и жестикуляцией.

Походив немного по комнате, добавил спокойно и смеясь:

— С чего они взяли, что я хотел себя убить?

Опять ходит и, став уже серьезным, продолжает:

— Полтора часа убеждали. Я заставил их поклясться (нахмурил брови) над телом товарища, что они всю жизнь будут служить рабочему делу. И только тогда сказал, что не наложу на себя руки. Да, трагическая была картина, Мартын».

Горький (письмо Кропоткину, 5(18)сентября 1913 года):*

«Когда Петров возвращался в Россию с поручениями Гапона, этот авантюрист предложил Черемохину убить Петрова, после того, как последний исполнит поручения. Черемохин дал слово, — он сам рассказывал мне это за несколько дней до самоубийства. Черемохин — именно тот рабочий, который, узнав об истории с кражей 30 т[ысяч рублей] и о роли Гапона в ней, застрелился на глазах попа и своих товарищей».

Что можно сказать по этому поводу? Если Гапон действительно поручил Черемухину убить Петрова (или поощрительно отнесся к высказанному им намерению сделать это), это не только нравственно скверно, но прежде всего совершенно безумно в практическом смысле — особенно учитывая те обстоятельства, в которых Гапон и его организация оказались к февралю. Впрочем, и без того ответственность за трагедию прямо или косвенно лежит на Гапоне, запутавшемся в политических играх и впутавшем в них своих приверженцев. Он и ощущал свою вину — насколько он вообще был в состоянии это делать. Впрочем, о муках совести Гапона мы знаем от Мануйлова... который сам о совести имел представление скорее теоретическое.

* Вопросы архивоведения. 1959. № 6. С. 74 — 75.

Что касается Черемухина, то он-то в любом случае убивать Петрова, вероятно, не собирался. Оружие было нужно ему, чтобы свести счеты с жизнью. Но другие гапоновцы были настроены решительно. Некто Еслаух, например, в день похорон Черемухина (23 февраля) явился домой к Петрову, застал только его жену — и угрожал ей расправиться с ее мужем-предателем.

С другой стороны, в тот же день, когда погиб Черемухин, у Гапона в помещении центрального комитета в присутствии Стечкина и других состоялось бурное выяснение отношений с Алексеем Григорьевым, которого в конце концов силой вывел из здания сторож. Скандал из-за разоблачений Петрова случился в момент, когда дела в организации и так-то пошли хуже некуда — по внешним причинам. У гапоновцев было более чем достаточно причин для отчаяния — и для взаимного раздражения...

РАЧКОВСКИЙ

Что же происходило с «Собранием» и с Гапоном в первые полтора месяца 1906 года?

Отделы формально были открыты, помещения арендованы, плата внесена, деньги имелись. Но никакой деятельности, кроме выплаты пособий по безработице, — ни лекций, ни концертов и танцевальных вечеров (которые приносили бы прибыль) организовать пока не удавалось. Для этого требовалось особое разрешение — а власти все медлили. Гапон не понимал почему.

Где-то в конце первой декады января Мануйлов объяснил: против восстановления «Собрания» категорически выступает Дурново. Произошло именно то, чего в декабре опасался Гапон. Восстание случилось, было подавлено, и в результате позиции Витте (и других правительственных либералов) ослабели, а Дурново (и других «реакционеров») — укрепились.

Мануйлов сказал, что есть человек, который может помочь — Петр Иванович Рачковский, действительный статский советник, вице-директор Департамента полиции.

Итак, Рачковский. Одна из самых ярких и самых малосимпатичных фигур в истории российского политического сыска.

Рачковскому было 55 лет. Из дворян, но всего лишь с «домашним образованием», он начинал службу с низжайших должностей: почтовый сортировщик, канцелярист... Дослужился до судебного следователя — потом отставка при сомнительных обстоятельствах — литературная поденщина — дружба с наро-

довольцами — арест — вербовка — раскрытие (между прочим, разоблачил Рачковского знаменитый Клеточников, внедрившийся в Третье отделение агент «Народной воли») — переход в «штат»... Кое-что общее с молодостью Зубатова. Но Зубатов был человек с идеями и принципами. У Рачковского второго, по крайней мере, никогда не водилось.

За ним шлейфом вились неприятные истории. Курируя заграничную агентуру, Рачковский установил какие-то подозрительные связи с французской полицией. Для проверки слухов об этих связях в Париж выехал генерал Сильверстов — и, едва добравшись до Парижа, был при невыясненных обстоятельствах убит. Рачковский имел знакомых не только в полиции, но и во всех кругах французского общества. Он покровительствовал (не бескорыстно) коммерсантам, ведшим дела в России. С помощью купленных журналистов он устраивал шумные газетные кампании. Он изготавливал фальшивки, призванные скомпрометировать революционное подполье. Он был самым непосредственным образом причастен к сочинению и распространению одной из самых знаменитых фальшивок XX века — «Протоколов Сионских мудрецов». Некоторые подозревали, что и погромные листовки «комиссаровской типографии» изготавлялись по его указаниям. При этом Рачковский не был таким уж оголтелым антисемитом; во всяком случае, его не смущала национальность многих курируемых им агентов, в том числе агента Раскина, «милейшего Евгения Филипповича». Если какая-то осмысленная и нешкурная цель у него была, то это — борьба с революцией любыми средствами. Но не исключено, что, доживи он до революции, он, как прохвосты Андроников или Комиссаров, пошел бы к ней на службу.

Разговор Гапона с Рачковским — первый из множества — состоялся в отдельном кабинете одного из ресторанов. Петр Иванович («называйте меня запросто») был донельзя учтив и льстив, делал вид, что очарован Гапоном, но обнадежить его смог мало чем. Дурново и Трепов, сказал он, считают Гапона человеком талантливым, но опасным, его присутствие в Петербурге — нежелательным, и хода его организации давать не настроены. Георгий Аполлонович убеждал Петра Ивановича, что его взгляды изменились. Рачковский предложил написать письмо на имя Дурново. Гапон, поколебавшись, согласился.

Примерно 15 января письмо было написано. Мы приводим его полностью.

«Ваше Высокопревосходительство.

Вам должно хорошо быть известно, как я беззаветно отдавал себя на службу пролетариату до 9 января. И результат ска-

зался скоро: не прошло года, как из небольшой кучки преданных мне рабочих, без всякой материальной поддержки со стороны правительства, несмотря на все нападки социал-демократов и социалистов-революционеров, несмотря на все недоверие со стороны интеллигенции, буквально на гроши рабочих, выросло сравнительно большое общество, так называемые 11 отделов “Собрания” рабочих. Ключом была в них жизнь, потому что в основе общества лежала правда и потому что в нем была “душа жива”. Оно исключительно преследовало цели, намеченные в § 1 своего устава, и не помышляло идти против существующей династии. Наоборот, как для меня, так и для членов рабочего общества личность его императорского величества всегда была священна и неприкосновенна во всех отношениях. Признаюсь, что в своих частных кружках мы допускали иногда критику бюрократического режима постольку, поскольку это касалось рабочего дела и народного блага. Будь со стороны правительства вообще и в частности со стороны министерства финансов и высшей фабричной инспекции должное внимание к обществу, как к барометру настроения рабочих масс, “Собрание” русских фабрично-заводских рабочих явилось бы прочной базой для разумного профессионального и рабочего движения в России.

9 января — роковое недоразумение. В этом, во всяком случае, не общество виновато со мной во главе. Я за 1 ½ месяца, различая знамение времени, указывал печатно (“Русь”) и словами (г. Фуллону) на сгущенную и наэлектризованную атмосферу настроения рабочих масс. Я говорил г. Фуллому и Муравьеву о необходимости мирно разрядить эту атмосферу, использовать во благо как государя, так и обездоленного русского народа. Я далее все делал, чтоб не совершилось пролития неповинной крови, чтобы не было кровавого воскресения.

Так, между прочим, за несколько дней до 9 января я вошел в сношение с крайними партиями и потребовал, чтоб не выкидывали красных флагов во время шествия и чтобы это мирное шествие народа к своему царю не превращалось в демонстрацию, в протест “красных”; я действительно с наивной верой шел к царю за правдой, и фраза: “ценой нашей собственной жизни гарантируем неприкосновенность личности государя” (смотри письмо к царю, написанное мной и товарищами) не была пустой фразой. Но если для меня и для моих верных товарищей особа государя была и есть священна, то благо русского народа для нас дороже всего. Вот почему я, уже зная накануне 9, что будут стрелять, пошел в передних рядах, во главе, под пули и штыки солдатские, чтобы своею кровью засвидетель-

ствовать истину — именно неотложность обновления России на началах правды.

9 января совершилось, к сожалению, не для того, чтобы послужить исходным пунктом обновления России мирным путем, под руководством государя с возросшим сторицею обаянием, а для того, чтобы послужить исходным пунктом — начала революции.

Естественно, я скорее под влиянием чувств гнева и мести за неповинную кровь народных мучеников, нежели под влиянием истины и разума, впал в крайность (см. прокламации). Первым провозгласил лозунг — вооруженное восстание, временное революционное правительство (см. письмо в интернациональное Бюро), изо всех сил старался привести к соглашению существующие в России социалистические и революционно-демократические партии (см. конференция) для планомерных боевых действий. Но мало-помалу чад начинал проходить... Густой туман, окутавший было мой ум и мое сердце, начинал рассеиваться... Разум входил в свои права... К концу уже конференции взяло меня сомнение: да хорошо ли я поступаю? куда иду? Принесет ли все это пользу бедному нашему народу?.. И я, несмотря на просьбы участников конференции, не подписал ее декларации, ее постановления.

Познакомившись хорошенько с партиями, я не вошел ни в одну из них — разочаровался в них...

Повидавшись же со своими товарищами рабочими и прикоснувшись непосредственно с русской действительностью, я понял свою грубую ошибку и мужественно, открыто сознался в ней (см. “Наша Жизнь”, интервью), и прежде чем вошел в какие-либо сношения с представителем г. Витте, я мужественно и открыто пошел против вооруженного восстания (см. многие беседы за границей, интервью, а также письмо в Организационный Центральный комитет рабочих) и против стачки (см. телеграмма своим товарищам-рабочим), прежде чем началась последняя стачка или вооруженное восстание в Москве. Все это я сделал по глубокому убеждению, что единственный исход, гарантирующий благо России и государя, есть закономерное устройство России на началах, возвышенных с высоты престола манифестом 17 октября.

В этом убеждении я теперь остаюсь и останусь. И в духе такого своего убеждения я готов работать на пользу родины так же беззаветно, самоотверженно и бесстрашно, как работал на народной ниве и до 9 января. Зная себя, могу сказать, что, взявшись за плуг, не оборочусь назад. Я кончил, Ваше превосходительство».

Письмо удалось. Если бы Гапону нужно было оправдаться перед историей, перед вечностью за всё, совершенное до января 1906 года, он вполне мог бы представить этот спокойный и полный достоинства текст. Кое в чем он, положим, привирает — в том, к примеру, что перемена в его взглядах осенью 1905 года произошла до встречи с представителем Витте. Ну да не будем слишком строги.

Только вот письмо читали не потомки. Дурново, дочитав до фразы — «...если для меня и для моих верных товарищей особа государя была и есть священна, то благо русского народа для нас дороже всего», — раздраженно отбросил письмо. Витте сказал: «Гапон хочет меня вы...ать, но это ему не удастся». По крайней мере, так передал его слова Гапону Рачковский.

А революционная и радикальная интеллигенция... Как справедливо пишет Симбирский, письмо это, попади оно в «левые» руки, стало бы гражданской смертью Гапона-революционера. Впрочем, эта «гражданская смерть» все равно вскоре произошла — после разоблачений Петрова.

В любом случае человек попал на крючок. И теперь осталось тянуть его в омут — все дальше и дальше, все ниже и ниже. Гапон пытался спасти свою организацию и свою честь. В крайнем случае он готов был спасти свою организацию ценой своей чести. Он не понимал, что всё решено: ему не дадут спасти ни то ни другое. И жизнь — тоже.

Через некоторое время Гапона вновь пригласили в ресторан «Кафе де Пари» — один из лучших в Петербурге. Стол был сервирован роскошно. На сей раз вместе с Рачковским был еще один человек — Александр Васильевич Герасимов, глава столичного охранного отделения. Герасимов тоже выразил Гапону свои дружеские чувства, но, обнимая его, ощупал задний карман: нет ли оружия.

На сей раз полицейские чиновники взяли быка за рога. Рачковский старался продемонстрировать свои успехи: он понимал, что Герасимов послан Дурново. Он убеждал Гапона доказать свою благонамеренность. Сам Георгий Аполлонович пересказывал Рутенбергу этот разговор так:

«Рачковский говорил, что правительство находится в крайней затруднительном положении: нет талантливых людей. А о таких, как Гапон, и думать нечего. Рачковский ломал руки и дрожащим голосом говорил:

— Вот я стар. Никуда уже не гожусь. А заменить меня некем. России нужны такие люди, как вы. Возьмите мое место. Мы будем счастливы.

Говорилось о больших окладах, о гражданских чинах, полнейшей легализации Гапона и об отделах.

— Но вы бы нам помогли. Вы бы нам рассказали что-нибудь. Осветите нам положение дел. Помогите нам.

Рачковский сослался на исторический пример искреннего раскаяния бывшего народовольца Льва Тихомирова...»

Что же Гапон?

Обратимся к параллельному источнику — мемуарам Герасимова.

«Он рассказывал заметно охотно, хвастливо преувеличивая и стремясь вызвать у меня убеждение, что он все знает, все может, что все двери перед ним открыты. Мне скоро стало ясно, что он, если даже и видел немало, то плохо ориентировался и неправильно понял многое. В сущности, люди, о которых он говорил, были ему чужды. Он не понимал их поступков и мотивов, которые ими руководят... Особенно он распространялся на тему о том, имеют ли они много или мало денег, хорошо или плохо они живут, — и глаза его блестели, когда он рассказывал о людях с деньгами и комфортом».

Другими словами, Гапон избрал тактику, казалось бы, неудачную — стал «косить под дурачка». Но по крайней мере Герасимову ему удалось обмануть. Почему? Убежденный охранитель, служака, Герасимов привык иметь дело с настоящими партийными революционерами. Он их ненавидел, но и уважал по-своему. Гапон же был — ни то ни сё. Герасимов шел на встречу, убежденный в глубине души, что этот человек — сущее ничтожество. Вид Гапона — человека в хорошем, но неглаженном костюме, похожего на коммивояжера, — подтвердил это впечатление.

Как рассказывал Гапон «Мартыну», речь шла о людях, находящихся в эмиграции и хорошо известных полиции — о Чернове, о «бабушке». Об Иване Николаевиче и Павле Ивановиче речи не заходило — так утверждал Гапон. Рутенберг не поверил. («В том, что спрашивали, я не сомневался, не сомневался и в том, что он сказал и про них все, что мог».) На самом деле (и воспоминания Герасимова косвенно это подтверждают) Гапон в данном случае говорил правду. Можно представить себе, что было бы, выдай он Герасимову и Рачковскому *все, что может*. Например, назови настоящую фамилию Ивана Николаевича, превосходно ему известную. Но у полиции своя тактика. Рачковский и Герасимов не настолько доверяли профорганизатору-расстриге, чтобы раскрывать ценную оперативную информацию. Да и друг другу они доверяли не до конца. Поэтому был задан вопрос про Боевую организацию «вообще». Гапон ответил, что ничего не знает, но таким тоном, будто что-то все-таки знает.

Главным образом Георгий Аполлонович напирал на одного человека, имя которого он называл неоднократно: Рутенберг. Это был, по его словам, чрезвычайно важный революционер-террорист, знающий все партийные тайны, чуть ли не сам таинственный глава Боевой организации — но сейчас разочаровавшийся в революции и готовый к сотрудничеству с полицией. И он, Гапон, готов свести его с Рачковским.

Почему Гапон решил действовать именно так? Конечно, это была импровизация.

Представим себя на его месте. Ситуация в каком-то смысле безвыходная. Едва ли Гапона прельщала должность Рачковского в некоем будущем и вообще — штатная полицейская служба. У него была задача: добиться полноценного восставления «Собрания». Ему ясно сказано, что при отказе от «откровенности» никакого «Собрания» не будет. Хлопнуть дверью? Но, во-первых, это поражение, а поражений Георгий Гапон терпеть не умел. А во-вторых, он уже был скомпрометирован самим фактом встреч с Рачковским и Герасимовым. Он был на крючке. И от него требовали того, чего *никто и никогда* не требовал у Тихомирова: полицейской информации о подполье. Кто же в такой ситуации придет на помощь? Кто сможет переиграть полицию и «использовать тех, кто хочет меня использовать»? Подсознательный ответ — Мартын, верный Мартын. Тот, кто спасал раньше.

Герасимов спросил Гапона: верно ли, что 9 января был план застрелить царя при выходе его к народу. Гапон ответил, что такой план был у Рутенберга и что он, Гапон, узнал о нем только задним числом.

Это была, видимо, неправда. Зачем Гапон клеветал на своего друга? Набивал ему цену, вероятно.

Герасимов решил, что Гапон — «неопасный враг и бесполезный друг», что как агент он «не стоит ни копейки», и доложил это Дурново. Но Рачковский одержал верх. Старик Дурново был в нервном настроении: террористы охотились за ним по пятам, он даже не мог отужинать с очередной дамой сердца. В общем, что бы ни делали подчиненные, лишь бы не бездействовали. Дурново не был человеком масштаба Плеве: это был реакционер без всякой собственной стратегии, без всякого собственного представления о реальности, карикатурный чиновный сластолюбец на седьмом десятке.

Но Рачковский-то? Неужели он относился к вербовке Гапона всерьез? Какими достоинствами должен обладать агент полиции? Незаметность. Верность. Выдержка. Аккуратность. Трудно придумать худшего агента, чем всероссийски знамени-

тый, экспансивный, нервный, постоянно норовящий всех обмануть и переиграть Гапон.

Но если Рачковский понимал это, возможно, он преследовал какие-то другие цели?

Точно датировать разговор в «Кафе де Пари» невозможно. Зато документы, касающиеся «Собрания», точно датированы.

22 января — письмо Тимирязева градоначальнику фон Лануницу с просьбой дать скорейший ход прошению Варнашёва об утверждении списка членов правления. «Тимирязев заявлял, что члены правления настроены миролюбиво и заслуживают прощения; просил приказать приставам не теснить отделов, действующих по уставу, и говорил, что за рабочими, только что перенесшими тяжелую болезнь и еще не оправившимися, надо ходить любовно и не раздражать их»*.

31 января — доклад полковника Герасимова: «По имеющимся сведениям, в число членов возрождающегося Собрания русских фабрично-заводских рабочих г. Санкт-Петербурга (б. Гапоновцы) в настоящее время записались преимущественно социал-демократы, которые под личиной легальных собраний предполагают вести социал-демократическую пропаганду и отделами собраний пользоваться как социал-демократическими клубами...»

Дальше Герасимов добавляет, что то же самое имеет место и в ушаковской организации.

2 февраля — письмо Витте Дурново: «“Собрание русских фабрично-заводских рабочих г. Санкт-Петербурга” обратилось ко мне с ходатайством о разрешении действительным его членам собираться согласно уставу, в специально нанятых и оборудованных помещениях.

Так как разрешение на открытие 11 отделов “Собрания русских фабрично-заводских рабочих г. Санкт-Петербурга” последовало со стороны Министерства внутренних дел еще в начале декабря и так как Санкт-Петербургский градоначальник и в настоящее время не находит препятствий к деятельности названного “Собрания”, то, казалось бы, не может быть затруднений к удовлетворению желания просителей, тем более что руководство этим собранием принимает на себя инженер Демчинский...»

Итак, Тимирязев покровительствует «Собранию», Герасимов начинает атаку на него, а Витте вроде бы за «Собрание», но без Гапона, а с назначенным руководителем. Это происходит как раз в те дни, когда Кузин и Черемухин выбивают деньги из Матюшенского в Саратове.

* Красная летопись. 1922. № 1. С. 300—314.

Связано ли это с «вербовкой»? Думается — да. Одно из двух: либо Гапона решили хорошенько «обложить», чтобы он не мог дернуться, либо Герасимов, наоборот, захотел побыстрее прикрыть «Собрание» и лишить его лидера стимулов для сотрудничества с Рачковским.

Почему? Дело в том, что с точки зрения Герасимова вербовка Гапона была делом не только бесполезным, но и вредным. У Герасимова была своя полицейская тактика, которую он описывает так: «По системе Зубатова... задача полиции сводилась к тому, чтобы установить личный состав революционной организации и затем ликвидировать ее. Моя задача заключалась в том, чтобы в известных случаях оберечь от арестов и сохранить те центры революционных партий, в которых имелись верные и надежные агенты». При этом в такой центр, где работал «секретный и надежный агент», новых агентов вводить не следовало, чтобы не мешать уже работающим.

Для Азефа эта система была — суший рай. Она и делала возможной его двойную игру. Рачковский же об этой двойной игре явно догадывался. Как раз недавно имели место недвусмысленные сообщения агента Татарова — им только не хотели верить, так же как революционеры не верили, к примеру, информации перебежчиков Меньшикова и Бакая, да и того же Татарова, который тщетно «раскрывал глаза» на Азефа обеим сторонам. И вот хитрый Петр Иванович решил запустить наживку — посмотреть, какова будет реакция. А Герасимов, Азефу веривший, считал эту «наживку» бессмысленной и опасной.

Это лишь гипотеза; из писавших о гибели Гапона авторов к ней вплотную подходит Б. И. Николаевский. В. Л. Бурцев и вслед за ним И. Н. Ксенофонтов считали, что Рачковский решил просто убрать назойливого авантюриста Гапона руками эсеров. Одно, впрочем, совершенно не исключает другого.

Переговоры с градоначальником В. Ф. фон дер Лауницем (сменившим 31 декабря 1905 года Трепова) о судьбе «Собрания» продолжались уже после разоблачений Петрова.

16 февраля Демчинский подал прошение об открытии отделов на строгих ограничительных условиях («В один и тот же день не может быть открыто более двух отделов», «О всяком собрании какого-либо из отделов должен был уведомлен местный пристав», «На танцевальных вечерах не допускаются собеседования на политические темы» — и пр.). Но новый градоначальник (более несгибаемо-правый, чем Трепов) уже принял решение. 20 февраля он подает в Министерство внутренних дел следующую записку:

«Дабы избежать всегда возможного столкновения с рабочей массой, как силой, я считал бы положительно необходи-

мым в интересах охраны порядка и общественной безопасности в столице, чтобы впредь до созыва Государственной Думы и издания закона о профессиональных союзах никакие организации среди рабочих не были допускаемы.

Формальным основанием для отклонения ходатайства Демчинского может служить то обстоятельство, что с закрытием «Собрания русских фабрично-заводских рабочих» 10 января 1905 года устав его признан недействительным, и, несмотря на предложение градоначальника выработать проект нового устава, который гарантировал бы легальное направление деятельности «Собрания рабочих», — таковой проект до сего времени не предложен».

Гапон, конечно, рассчитывал на иное. Впрочем, уже трудно понять, на что он, запутавшийся, рассчитывал. Рачковский встречался с ним еще два раза. Показывал, между прочим, намечавшиеся к публикации копии переписки между Циллиакусом и Акаси — чтобы продемонстрировать, чего стоит русская революционная эмиграция. Так Гапон узнал, на какие деньги устраивалась экспедиция «Графтона». В эти же дни он ходил к Лопухину — хлопотать о помощи в деле Матюшенского. Лопухин, еще лояльный к бывшим коллегам, советовал Гапону не упорствовать и рассказать, что знает. Гапон отвечал, что если все расскажет — будет как Самсон, остриженный Далилой. То же говорил он — в это же примерно время — Грибовскому о своих переживаниях после потери духовного сана.

В ночь с 4 на 5 февраля он отправился в Москву, где жил снова перешедший на нелегальное положение Рутенберг. Встретиться удалось 6-го утром. Гапон показался старому другу пришибленным, беспокойным. При этом он был одет с необычным щегольством — и Рутенбергу тоже порывался купить в подарок «хорошее пальто». Он собирался говорить о важных конспиративных делах — и звал Рутенберга для этого не куда-нибудь, а в «Яр», куда позвал еще кучу народа — хозяйку конспиративной квартиры, где произошла встреча, какого-то своего товарища по семинарии с женой. Рутенберг, конечно, отказался разговаривать о делах в «Яре».

Встретились на той же квартире в девять вечера. Гапон пересказал свои разговоры с Рачковским и Герасимовым, почти не отклоняясь от правды. Потом вместе с приятелями поехали-таки в «Яр». Ехали — на классической тройке с бубенцами — по разрушенной во время Декабрьского восстания Пресне. Гапон был мрачен; потом, за городом, мрачность перешла в истерическое веселье: свистал, гикал. Потом опять умолк.

Гапон опять пожелал сидеть в общем зале, произнеся — как когда-то в Париже:

— Там музыка, там женщины, там телом пахнет.

Но веселья не вышло.

«...Пил Гапон мало. Был совершенно разбит. Часто укладывал руки на стол и голову на руки. Подолгу оставался в таком положении. Потом поднимал голову, надевал пенсне и рассматривал зал. Я думал тогда, что он изучает “женщин”. Позже убедился, что кроме “женщин” он в зале видел и еще кого-то. Он снимал пенсне, опять укладывал голову с каким-то бессильным отчаянием на руки, опять поднимал ее и, обращаясь ко мне, говорил:

— Ничего, Мартын, все хорошо будет.

Несколько раз обращался к сидевшей рядом с ним даме:

— Александра Михайловна, пожалейте меня.

Я всеми силами старался скрыть все более и более овладевавшие мною отвращение и ужас».

Так запомнил этот ужин Рутенберг. *Отвращение и ужас* — да, жестоко. Но если ты сам взял на себя власть над людьми — не стоит искать жалости. Несчастному Черемухину, между прочим, остается жить 12 дней.

7 февраля мучительные и затяжные переговоры Гапона с Рутенбергом продолжились. Гапон передавал Рутенбергу все новые и новые детали бесед с полицейскими чинами. Его планы путались. Он то предлагал воспользоваться его связями в полиции, чтобы убить Дурново и Витте, или одного Дурново, или одного Витте, или взорвать Департамент полиции, просил для этого свести его с «Иваном Николаевичем и Павлом Ивановичем», то вызывался освободить младшего брата Рутенберга, сидевшего в тюрьме, то упрашивал Мартына поехать в Петербург и встретиться с Рачковским, чтобы выманить у полиции деньги, а потом...

Что потом? Гапон, наверное, сам уже не понимал, чего он хочет, что задумал и кого решил обмануть. Он, видимо, ожидал, что Мартын что-то придумает сам. Но тот пока только слушал — все более недоверчиво и брезгливо.

8-го Гапон уехал в Петербург. Рутенберг пообещал вскоре поехать следом — и там продолжить переговоры.

И действительно поехал — на следующий же день, несмотря на нездоровье. В поезде он прочитал в газете «Русь» письмо Петрова.

ТРЕБУЮ СУДА

В тот вечер, когда умирающего Черемухина увезли в Обуховскую больницу, Гапон продиктовал открытое письмо. 21 февраля оно было напечатано в «Руси».

«<...> Мое имя треплют теперь сотни газет, и русских и заграничных. На меня клеветают, меня поносят и позорят. Меня, лежащего, лишенного гражданских прав, бьют со всех сторон, не стесняясь; люди различных лагерей и направлений: революционеры и консерваторы, либералы и люди умеренного центра, подобно Пилату и Ироду, протянув друг другу руки, сошлись в одном злобном крике:

— Распни Гапона — вора и провокатора!

— Распни гапоновцев-предателей!

Правительство не амнистирует меня: в его глазах я, очевидно, слишком важный государственный преступник, который не может воспользоваться даже правом общей амнистии.

Я молчу. И молчал бы дальше, так как я прислушиваюсь больше к голосу своей совести, чем к мнению общества и газетным нападкам. Но мне больно смотреть на рабочих — героев 9-го января, которые своей кровью проложили вам, гражданам России, широкую дорогу к свободе.

Эта невыносимая боль за рабочих побуждает меня теперь говорить. Их терзают наравне со мной и тем усугубляют их и без того тяжелую жизнь.

— Ни жить, ни работать нельзя! — говорят они.

Бывший товарищ Петров, желая ужалить меня, пригравшего на своей груди эту змею с жестоким сердцем, возложил слишком тяжелый крест на усталые плечи своих товарищей. Из мелкого чувства самолюбия, под влиянием мнимых друзей рабочего дела, он захотел очернить также и организационный центральный комитет, вонзил острый нож в измученное сердце целой организации, которую и без него и так упорно преследуют правительство и тяжелые удары судьбы.

И мнит теперь Петров себя героем, совершившим великий подвиг!

Поддерживаемый кликой без совести и настоящей любви к рабочим, он зло и неразумно подсмеивается над товарищами, не идет даже к ним для выяснения дела, пренебрегает явно судом рабочих, хочет третейского суда не из рабочих.

Но нет! Рано или поздно он должен будет дать ответ перед товарищами, и именно перед членами “Собрания русских фабрично-заводских рабочих”. И прежде чем состоится нелегитимный избранный рабочий суд по делу, возбужденному клятвопреступником и предателем рабочих Петровым, — я, во имя нравственных и материальных страданий героев 9-го января и только из-за них, а также для проверки своей совести, требую для себя общественного суда немедленно.

На этом суде, как и на рабочем, я отвечу на все обвинения и буду доказывать свою правоту.

Совесть моя спокойна».

Относительно «сотен газет» — литературное преувеличение. Речь идет от силы о десятке-другом публикаций. Пресса интересовалась Гапоном куда меньше, чем, к примеру, делом лейтенанта Шмидта или выборами в Думу.

Но то, что писалось, было злым и обидным. В «Биржевых ведомостях», например, «гапоновщину» обличал некто Феликс, помещавший свои инвективы подвалами, из номера в номер, а потом издавший их отдельной брошюрой. Другую брошюру — уже упоминавшуюся — издал человек по фамилии Никифоров. Обличения «честолюбца и авантюриста» с подозрительными связями в полиции перемежались однообразными сплетнями, которые левые и правые переписывали друг у друга: о совращенных приютских девицах и женщинах — заключенных пересыльной тюрьмы, о золоте, которое Гапон горстями швырял в Монте-Карло...

Вот, например, пара цитат из еще очень пристойной и сдержанной «антигапоновской» статьи этих дней — из «Петербургского листка» за 20 февраля (подпись «Искра»):

«... Гапон впервые разрушил в обществе общепринятую веру в чистоту побуждений русского революционера. Революционер не станет якшаться с охранным отделением, революционер не возьмет денег у агентов правительства, революционер, наконец, не запишется в число завсегдаев рулетки и не станет афишировать свою популярность...

...Апостол революции постепенно превратился не то в провокатора, не то в политического дельца, сумевшего учесть в свою очередь политическое движение и политический капитал...

...Песня Георгия Гапона спета окончательно. История с тридцатью тысячами и установленная близость к охранному отделению подорвали его репутацию как политического деятеля».

Какая близость к охранному отделению? Ведь о торге с Рачковским никто, кроме Рутенберга, пока не знал, а о гапоновской «близости к охранному отделению» в 1903 — 1904 годах было известно всегда, и в дни гапоновской славы. И сам герой 9 января не делал из нее секрета. Но стоило Гапону покинуть лагерь революции — это прошлое сразу же поставили в строку.

А вот — образчик сатиры и юмора, из журнальчика «Зарницы» (1906. № 5) — парафраз знаменитой баллады Саути «Суд Божий над епископом» в переводе Жуковского:

Было «весной» это — стали, как дети,
Все мы о близком мечтать уже лете,

Но о вещах, что тревожили дух,
Было нельзя говорить еще вслух.
Лишь у Гатона, по милости чьей-то,
Люди не тихо шептались, как флейта,
А возвышали бестрепетно тон:
Был со связями епископ Гатон.
Речью коварною вызвал желанье
У бедняков он – идти на закланье...
Кровь пролилась, а виновник всех зол
Скрылся, сутану сменив на камзол.
День вспоминая, епископ кровавый
Думал: «Покрыл свое имя я славой.
Будут теперь на родной стороне
Веки веков вспоминать обо мне.
В край иноземный епископ умчался,
Там по игорным притонам шатался,
Сильно стал меркнуть его ореол...
Грустно Гатон вновь в отчизну пошел.
Здесь, получив неожиданным шансом
Прикосновенность к российским финансам,
Прежний вернуть свой решил он престиж.
Вновь ты, Гатона звезда, заблестишь!
Ах, если б было возможно, без риска б
Жизненный путь проходил свой епископ,
Но даже в лучшем из лучших миров
Жизнь есть не ряд непрерывных пиров.
Снова толчется Гатон среди рабочих –
Верить ему есть довольно охочих...
Раз сообщил ему кто-то секрет,
Будто его живописный портрет
Будет в участке с почетом повешен.
Тем был епископ премного утешен.
«Для полицейских, столь близких мне, крыс,
Это, он молвил, приятный сюрприз!»
Кротким весельем лицо его дышит.
Вдруг он чудесную ведомость слышит:
«Крыс полицейских в округе не счесть –
Все они жаждут принесть тебе честь».
Вот собрались чина разного крысы,
Те безобразны, те стары и лысы,
Те франтовски, на гвардейскую стать,
Лоском отменным стараясь блистать,
Те побойчее смотрели, те кротче,
Все восклицали: Гатоне! Ты, отче,
Тайную власть восприял над людьми –
Наш поцелуй, в знак почтенья, прийми.
И на Гатона – как видно, не всеу –
Градом посыпались тут поцелуи,
Спереди, сзади, с боков, с высоты –
Что тут, епископ, почувствовал ты?
Слышались долго лишь чмоканья звуки,
Да простирались к епископу руки...
В братских объятьях задушен был он.
Так был наказан епископ Гатон.

Автор этого фельетонца — Жак-меланхолик (Яков Гибянский). Рядом — карикатура: художник пишет портрет Гапона за тюремной решеткой (что это значит?). На обороте — другая карикатура: Витте и Дурново припадают к стопам Гапона, одетого по-старому в рясу. Подпись: «Последняя надежда».

Но были и «прогапоновские» публикации. В первом номере журнала «Огни» за вождя «Собрания русских фабрично-заводских рабочих» заступался вновь сблизившийся с ним Стечкин. В «Петербургской газете» за 22 февраля появилась заметка «К письму Георгия Гапона». Некое «беспристрастное лицо» сообщило редакции, что «гапоновцы — беспартийные социалисты, не примыкающие ни к социал-демократам, ни к социалистам-революционерам, добивающиеся социальных реформ мирным путем», что «Петров был искренним другом и последователем Гапона», но потом «из внепартийного социалиста превратился в социал-демократа, мало того, начал вербовать гапоновцев в ряды социал-демократической партии, то есть увлекать рабочих от мирного завоевания улучшений своего быта на путь более рискованный и для рабочих, и для окружающих их». Гапон тоже объяснял поведение Петрова влиянием эсдеков, но сам Петров нигде об этом не пишет. 23 февраля в той же газете напечатана заметка Н. В-ва «У Г. Гапона». Журналист посетил Гапона в Териоках и убедился в том, что тот отнюдь не купается в роскоши. «Георгий Аполлонович, — писал корреспондент, — встретил меня и приехавшего со мною рабочего в темной передней и затем ввел в маленькую, очень бедно убранную комнатку с потертой и поломанной мебелью. Комната настолько мала, что кровать новорожденного сына Г. А. стоит как-то углом посередине комнаты, загораживая проход... Г. А., указывая на обстановку, сказал: “Вот то ‘палаццо’, в котором живу с женой, и вот та сказочная роскошь, о которой так много писали и у нас и за границей... Так ли живут правительственные агенты?.. Так же скромно мы жили и за границей”». Между прочим, это единственный текст, из которого мы знаем о рождении у Гапона и Саши сына. Когда это произошло? Видимо, в конце января. Гапон был настолько погружен в свои трудно складывавшиеся дела, что никак не отреагировал на это событие, никому о нем не сообщил. Из последующего интервью интереснее всего вопрос про Манасевича-Мануйлова. Гапона спросили, как мог он связаться с таким человеком. «А кто ж его знал? — с ясными глазами ответил Георгий Аполлонович. — ...Мы на него смотрели как на секретаря Витте».

В свою очередь, Гапон и его сподвижники задумали собственную газету, в которой они собирались дать отпор «клевет-

никам». Замысел газеты был старый. Сначала ее должен был редактировать, как мы помним, Поссе, потом Гапон рассчитывал на Матюшенского. В феврале 1906 года он обратился к некоему К-ну, оборотистому газетному профессионалу, издававшему журнал для семейного чтения, вечернюю газету и несколько сатирических листков, с просьбой составить смету новой газеты. Журналист, в обществе которого Гапон пришел к К-ну (вероятно, Стецкий), так объяснял ему ситуацию: «...У нас нет газеты, в которой мы могли бы излагать дело так, как оно есть. Недавно вот Перцов предлагал нам свое “Слово”. Пишите, говорит, что угодно и сколько угодно, целая страница к вашим услугам, а если нужно будет, то и больше. Но ведь его “Слово” никто не читает ни в Петербурге, ни в провинции»*. Предполагалось, видимо, что К-н будет отвечать за технико-финансовую часть. Содержательную брал на себя Стецкий, в счет будущих гонораров получивший от Гапона 750 рублей (впоследствии он печатно каялся в том, что «пошел с ним в договорные и денежные отношения». Что «в самый разгар травли на Гапона доверился его словам и принял его в своей семье как родного»). Переговоры продолжались некоторое время, К-н составил смету, Гапон хотел сделать газету к началу марта, но потом всё неожиданно оборвалось. Не до того было.

Что касается общественного суда, то в конце февраля Гапон официально обратился к профессору, сотруднику газеты «Слово» и чиновнику Министерства внутренних дел, октябристу Вячеславу Михайловичу Грибовскому с просьбой помочь в организации этого «суда», а к присяжному поверенному Марголину – с просьбой защищать его. Сергей Павлович Марголин был одним из самых успешных и влиятельных российских адвокатов по уголовным и гражданским делам. В последний год жизни он, в частности, вел дело адмирала Небогатова, командующего 3-й эскадрой, сдавшегося без боя в Цусимском сражении (получил десять лет тюремного заключения, амнистирован в 1909 году), и Шебуева, редактора сатирического журнала «Пулемет». Марголин был обладателем классической адвокатской внешности (пенсне, усики, хорошо уложенная шевелюра, бархатный баритон). Гапон говорил о нем Грибовскому: «Он очень хороший человек, хоть и еврей. Знаете, между евреями есть очень хорошие люди. Я многих знал. Они сами хорошо знают, что значит, когда преследуют...» (На этой точке, видимо, остановились качели гапоновского анти-/филосемитизма; интересно, что «Мартына» он как еврея явно не идентифицировал.)

* И. Г. Гапон и его газета // Исторический вестник. СПб., 1912. № 6. С. 923–932.

В состав суда Гапон просил ввести политиков-центристов — Милюкова и октябриста Столыпина-младшего (того, который потом написал о нем в «Новом времени»). Милюков, по словам Грибовского, «охотно выразил согласие принять участие в деле и сказал, что ему жаль Гапона и что он был бы рад, если бы тому удалось оправдаться», Столыпина не оказалось в Петербурге. Кроме того, Грибовский пригласил присяжного поверенного В. И. Добровольского, приват-доцента В. В. Святловского, а также Прокоповича и социал-демократа Н. И. Иорданского — «как партийных представителей левее партии народной свободы».

На первом же заседании суда — в редакции «Слова» — произошёл скандал.

«Н. И. Иорданский заявил, что согласно директивам, полученным от его партии, он не может заседать с представителями партий правее “народной свободы”, которая, в свою очередь, в данном случае является лишь терпимой. Поэтому Иорданский просил меня уйти. Я вспомнил невольно отзывы Гапона о русских социал-демократах и невольно согласился, что, по крайней мере в некоторых из них, имеется своя доля партийной тупости. Я, однако, готов был удалиться, но меня удержал П. Н. Милюков, который резонно заметил, что с моим уходом судилище теряет непосредственную связь с подсудимым. “Конечно, — заметил при том почтенный профессор, — общественное мнение это мы, стоящие левее октябристов, но если желательно, чтобы судилище состоялось, до времени приходится мириться и с октябристом”».

Состав суда решили дополнить «кооптацией» — в основном из левых. Узнав об этом, Гапон пришел в отчаяние. Он больше всего боялся в эти недели эсдеков — считал, что если они будут среди судей, то «засудят» его. Теперь он хотел, чтобы приговор ему выносили кадеты и октябристы, но для кого этот приговор был бы обязателен и что бы он значил?

Не дожидаясь второго заседания суда, Гапон 12 марта посылает в «Русь» второе письмо.

«<...> Обвинения, предъявленные ко мне, резко распадаются на две части: одни затрагивают мою частную жизнь, другие касаются моих политических идеалов. Я остановлюсь сначала на первых.

Меня обвиняют в том, что, состоя священником в пересыльной тюрьме, я под покровом своего сана развращал невинных девушек и бросал их. Это обвинение было кинуто мне в лицо только потому, что я, похоронив свою первую жену, не подчинился несправедливому закону, обрекающему священника на тайный разврат, и, полюбив молодую девушку, откры-

то с нею сблизился, как с своею гражданской женою. Эта женщина разделила со мною все тревоги моей судьбы. Она при мне до сегодняшнего дня. Скажите же, каким презренным именем я должен назвать человека, запятнавшего мою частную жизнь и мою семью клеветою?

Меня обвиняют в краже. ...Все товарищи подтвердят от первого до последнего, что все деньги, принятые от Матюшенского, ушли на рабочие организации и что ко мне не пристал ни один рубль.

Наконец, меня обвиняют в том, что я на “таинственные” деньги играл в Монако, когда в России шло кровавое восстание и на московских баррикадах решалось будущее России. Отвечаю моим врагам и клеветникам, что эти таинственные деньги я получил совершенно открыто при свидетелях за границей за свои литературные труды, что часть этих средств я отдал на нужды рабочих и что в Монако мимолетно из простого любопытства и на пустые суммы участвовал в игре, не имея возможности в то время вернуться в Россию. Таковы обвинения, затрагивающие мою честь, как частного лица. Обсудив внимательно свое положение, припомнив длительную систематическую травлю, обежавшую все органы печати столицы и провинции, я обратился к присяжному поверенному С. П. Марголину с предложением изъять из всех предъявленных ко мне обвинений все то, что касается моей личной жизни, и предъявить в коронном суде обвинение в клевете по статье 1535 улож. о нак. ко всем лицам, нашедшим возможным во имя политической борьбы вторгнуться в мою жизнь с ложью и клеветою. Я отдаю дело своей чести на рассмотрение гласного суда и вперед предоставляю своим противникам рыться в моей жизни на всем ее протяжении, со студенчества до сегодняшнего дня. Господа, ищите и не стесняйтесь...

Последующие обвинения касаются моей политической жизни. <...>

Я обращаюсь к моим обвинителям с вопросом: неужели вы серьезно думаете, что в день 9 января, когда я двигался к дворцу под выстрелами вместе с павшим Васильевым и другими товарищами, неужели вы думаете, что в этот день я провоцировал, продавал и предавал?

Мне отвечают: “нет”. Тогда мы вам верили, но мы не верим вам теперь, после ваших действий за границей и после ваших последних поездок в Россию. Чтобы ответить на эти обвинения, спокойно приподымаю завесу над дальнейшими событиями моей жизни. Всем известно, что после 9 января правительство раздавило наши рабочие организации и раскидало товарищей по тюрьмам. Я бежал за границу, где посетил Жене-

ву и другие центры русского революционного движения. Там я пришел в соприкосновение с партийными организациями и проводил время среди друзей русской свободы. Я был принят всеми, я был желанный гость, я мог вступить в ряды самых крайних партий и слить с ними свою деятельность; я отказался от этого сближения ввиду того, что, двигаясь в порядке своей тактики, я не хотел подчинять себя и наши рабочие организации чужим программам и велениям.

Из заграницы я несколько раз ездил в Россию для ознакомления с настроением народных масс и крестьянских масс, а также для восстановления наших организаций. В последние поездки мне было сообщено от имени графа Витте, что его государственный идеал, выразившийся в законе 17 октября, представляется совершенно совместимым с идеалами нашей рабочей партии; что он согласен открыть вновь наши организации и дать нам на это средства при сохранении нашими рабочими организациями полной моральной независимости от каких-либо видов правительства. Вместе с тем мне было сообщено, что граф Витте, относясь к моей деятельности, как к деятельности созидающей, а не разрушающей, разрешает мне временно жить в Петербурге без амнистии, впредь до выяснения вопроса о наших организациях. Таковы условия, при которых разразилась та травля газетная, о которой я сказал в самом начале этого письма.

Я хорошо помню, как в ноябре и декабре близкие и преданные мне лица говорили: Вы открыто вступили в соглашение с графом Витте и беседуете с его агентами, вы живете в Петербурге без амнистии, смотрите, вас могут оклеветать.

Я отвечал этим людям: Для нашего дела, для нужд голодного, обездоленного рабочего, обездоленного рабочего класса я спокойно спущусь в ад и там не омрачу своей совести. Вы знаете, чего я ищу, от чего же мне прятаться и от кого?

Слова моих преданных друзей оказались пророчеством. Нашлись люди, тракующие всякие объяснения и переговоры с графом Витте, в чем бы таковые ни заключались, как общественную измену, как позорное дело. Тысячи литературных куликов, узнав о моих сношениях с графом Витте, жалобно запели песни об “оконченном” Гапоне... Какая жалкая, болезненная подозрительность политических дегенератов и неврастеников. Разве вы не знали, что до 9 января я посещал все гнезда старой бюрократии, — и что же? Разве эта близость отношений помешала мне повести рабочие организации против оков русской жизни? Разве вы после 9 января не вознесли меня на верх русского революционного движения? Почему же вы думаете теперь, что, побеседовав с

представителями графа Витте, я изменю своему долгу и общественному служению? <...>

Теперь несколько слов о предстоящем суде.

Вопрос о моей политической реабилитации перед честными противниками я могу отдать только суду общественных партий; я уже имел честь заявить некоторым лицам об избрании мною в качестве моего представителя на этом суде присяжного поверенного С. П. Марголина. Ему я вверяю разоблачение всей истины в моей политической деятельности.

В настоящее время я предлагаю предстоящему трибуналу снести с г. Марголиным, как с моим представителем, по некоторым организационным вопросам, которые я считаю существеннейшими условиями настоящего суда. Я не хочу идти в тайные судилища какой-либо партии, будь она правая или левая, ибо каждая партия проникнута сектантством и талмудическим ожесточением. Я желаю также, чтобы предстоящий трибунал не выродился в бесформенную анкету, ползающую по задворкам и мусорным ямам и собирающую сведения впотьмах. Я требую, чтобы обвинение было предъявлено ко мне в точной, конкретной форме, а не в виде бесформенного пятна. Я требую, чтобы мне были указаны имена лиц, в провоцировании которых я обвиняюсь, дабы я мог изобличить моих обвинителей в заведомой лжи. Я хочу, чтобы все свидетели по данному делу были допрошены в моем присутствии и чтобы после судебного следствия мне и моему защитнику было предоставлено слово, освещающее все события моей политической жизни, — и тогда вы увидите, что Георгий Гапон, расстриженный поп, извергнутый из сана, любит свое отечество до последней капли крови и умрет верным стражем русского освободительного движения в рабочих массах на своем старом посту подле рабочих организаций».

Одновременно (17 марта) было написано другое письмо, на имя прокурора Петербургской судебной палаты:

«Осенью прошлого года я получил предложение от имени графа Витте вступить с ним в переговоры по поводу рабочих организаций и их материального состояния. Мне было объявлено, что возникновение рабочих организаций возможно, и мне было разрешено полулегальное пребывание в Петербурге впредь до окончания возбужденных переговоров. Я согласился, не видя ничего дурного в этом разрешении. Но как скоро пребывание мое в столице обнаружилось, на меня обрушились мои политические враги и начали распространять в печати и в обществе ложные позорные слухи о моих тайных служебных отношениях к правительству в целях борьбы с освободительным движением и даже прямо в виде полицейской агентуры.

Левые партии, идя по следам охранного отделения, с особенным ожесточением открыли против меня кампанию в печати и в рабочей среде, но вместо того, чтобы бороться со мною честным оружием, они, как и охранители, предпочли путь гнусных инсинуаций по моему адресу, не стесняясь опозорить в глазах общества даже мою частную и семейную жизнь. Положение мое при полулегальном существовании невыносимо, так как я лишен законного права каждого гражданина открыто и свободно защищать свою честь и доброе имя.

Обращаюсь поэтому к вам, милостивый государь, с настоятельной просьбой. Если в прошлых моих действиях правительство уже не видит преступления, то оно должно амнистировать меня, как всех остальных, причастных к движению 9-го января. Если, наоборот, в моих прошлых действиях правительство видит преступления, еще не получившие своей кары, то судите меня, как беглого преступника, наравне с другими.

Я не хочу никаких даров от правительства, ибо позади этих даров скрываются данайцы, и прошу меня легализовать с правом жить в Петербурге, либо привлечь меня к ответственности в суде. Дайте мне возможность открыто и свободно защищать свою честь».

Все это был крик в пустоту. Общественный суд больше не собирался, а коронный никак на запрос господина Гапона не отреагировал. Между тем Гапон — по собственному утверждению — приберег для публичных слушаний некие сенсационные документы, которые он боялся хранить в Териоках. Часть этих документов он отдал Марголину, часть оставил у себя: он собирался спрятать их в сейфе банка «Лионский кредит».

Что это были за тайные, сенсационные документы? Гапон говорил: «Когда они будут опубликованы, многим не поздоровится, а в особенности (он назвал одно громкое имя, с которым тесно связана история появления манифеста 17-го октября)». Ясно, что речь о Витте. Какие документы, касающиеся Витте, могли быть у Гапона и как он мог способствовать реабилитации самого вождя 9 января? Саша Уздалева вспоминала, что муж признавался ей: у него есть документы, компрометирующие *того, кто его погубил*.

Кого? Кто его погубил? И где эти документы? Сейф Гапона в «Лионском кредит» был после его смерти вскрыт. Никаких тайных бумаг там не было.

Марголин?

Марголин скоропостижно скончался в нестаром возрасте (53 года) 23 июля 1906 года. Вскрытие не проводилось. Что наводит на подозрения.

Увы, детектива не выходит. Статья Стечкина «Тайны Га-

пона» (Биржевые ведомости. 1906. 21—22 апреля) проясняет, кажется, суть дела. Гапона использовали еще одним образом: через него — с помощью некоего агента охраны Млодецкого — пытались вбросить фальшивый компромат на премьера. Какие-то пустяки про аренду белорусских помещений. Не случайно Марголин, вопреки завещанию Гапона, ничего после его смерти не опубликовал. Нечего там было публиковать.

Гапон не знал, что суд над ним уже состоялся и приговор уже вынесен.

СУД

Иногда утверждают, что вся информация, касающаяся вербовки Гапона Рачковским, его «разоблачения» и убийства, основана только на словах Рутенберга — лица пристрастного. Это не так.

Что касается отношений Гапона с полицией, у нас есть свидетельство Герасимова — источник от Рутенберга независимый. О деталях последующих событий мы знаем не только от Рутенберга, но также из мемуаров Савинкова, из показаний Савинкова и Чернова на партийном суде над Азефом, из письма Чернова Б. Николаевскому и, наконец, из свидетельства непосредственных участников убийства. Один из них (предположительно Александр Аркадьевич Дикгоф-Деренталь) оставил собственные воспоминания, напечатанные в журнале «Былое» (1909. № 11—12) и перепечатанные в сборнике «За кулисами охраны» (1910). С другим — «товарищем Степаном» — беседовал Л. А. Дейч. Третий — «товарищ Владислав» — изложил свои воспоминания в «Петербургской газете» от 5 марта 1909 года. Есть еще книга С. Д. Мстиславского «Убийство Гапона» (1928) — чисто беллетристическое сочинение, отразившее, может быть, какие-то устные рассказы.

Все свидетельства складываются в достаточно внятную и в главном непротиворечивую картину.

Итак, Рутенберг действительно отправился в Петербург, но не для того, чтобы через Гапона встретиться с Рачковским. Вместо этого он стал наводить справки о местонахождении руководителей партии эсеров. Оказалось, что в Петербурге никого нет, но почти все — Азеф, Чернов, Савинков — в Финляндии.

11 или 12 февраля Мартын рано утром прибыл в Гельсингфорс, явился к Ивану Николаевичу и рассказал ему о своих разговорах с Гапоном, прибавив, что, «как член партии, не

считает себя вправе распорядиться самостоятельно и ждет распоряжений ЦК».

По словам Рутенберга, первой реакцией Азефа было: немедленно убить Гапона — «*покончить, как с гадinou*». Причем дело обговаривалось в деталях: поехать вечером с Гапоном на извозчике в Крестовский сад («извозчики» у Боевой организации были свои), «остаться там ужинать поздно ночью, покуда все разъедутся, потом поехать на том же извозчике в лес, ткнуть Гапона в спину ножом и выбросить из саней».

Спонтанная реакция Ивана Николаевича хорошо понятна. В Боевой организации был параллельный агент — Татаров, доставлявший ему такие хлопоты; он был внедрен еще Лопухиным, и Герасимов не мог его убрать. Его убрали эсеры (то есть сам Азеф) месяц спустя, 22 марта. Но Татаров — по крайней мере честный агент, который что знает, то и докладывает. А тут рядом с Азефом появляется еще один любитель двойной игры, который, конечно, соперничать с гроссмейстером никак не может, но может внести страшный беспорядок в расстановку фигур. К тому же это еще двойной игрок «с идеями», которого интересуют не деньги, не власть над людьми как таковая, а некая собственная «миссия». То есть совершенно непредсказуемый. Убить, убить немедленно!...

Ну а дальше... Допустим, дальше Азеф понимает, что его, возможно, проверяют. И даже понимает, кто именно.

В этот же день десятичасовым поездом в Гельсингфорс приезжает Савинков. Его спонтанная реакция такая же, как у Азефа, — убить Гапона. Мотивы, конечно, иные. «В моих глазах Гапон был не обыкновенный предатель. Его предательство не состояло в том, в чем состояло предательство, например, Татарова. Татаров предавал людей, учреждения, партию. Гапон сделал хуже: он предал всю массовую революцию. Он показал, что массы слепо шли за человеком, недостойным быть не только вождем, но и рядовым солдатом революции...» Можно было бы задуматься, конечно, о том, *что* Гапон предал и *чему* он присягал, — но для этого требовался иной уровень рефлексии. Мы в данном случае имеем дело с людьми, для которых Революция — это священная война, джихад, а собственная партия (в данном случае эсеры) — Истинная Церковь, и юрисдикция ее инквизиционного суда не знает границ.

В середине того же дня Азеф заходит к Чернову, также находящемуся в Гельсингфорсе. Чернов говорит, что рабочие-гапоновцы могут не поверить в предательство своего вождя, они решат, что эсеры убили Гапона «из зависти». Хорошо бы застичь Гапона и Рачковского «с поличным» и убить обоих. Азеф не спорит.

Вечером того же дня или утром следующего на квартире Вильгельма Стенбока (на которой в августе скрывался одно время сам Гапон) происходит совещание с участием Чернова, Азефа, Савинкова и Рутенберга. С этой же компанией Гапон почти год назад обсуждал свое возможное вступление в партию социалистов-революционеров. Статус участников совещания был неравен. Чернов и Азеф были членами ЦК, Савинков пока нет, Рутенберг тоже в ЦК не входил. Высказывались старшие. По словам Савинкова, «Азеф долго думал, курил папиросу за папиросой» и, наконец, предложил план двойного убийства, который поддержал Чернов. Рутенберг пишет, что это Чернов предложил план и был поддержан Азефом. Это, впрочем, не так уж важно.

Рутенберг и Савинков спорили, но в конце концов сдались. Азеф и Чернов выразили уверенность, что ЦК поддержит их план. Так и вышло. (Один голос против — Натансона.) По свидетельству Савинкова, Рутенберг (еще никогда никого на самом-то деле не убивавший) вышел в соседнюю комнату, долго находился там и наконец, вернувшись, сказал:

— Я согласен. Убью Гапона и Рачковского.

Чернов так описывал ситуацию в письме Николаевскому:

«И Азеф, и особенно Савинков буквально припирали к стенке Рутенберга: как мог он, до некоторой степени “создавший” Гапона и приведший его в партию, так долго и так пассивно воспринимать его “совратительные” демарши, а в результате прибежать к той же БО и предлагать: вот, мол, я заманю Гапона, а вы его убейте? Азеф еще сравнительно не так горячился, но Савинков буквально весь кипел от негодования и буквально третировал за это растерянного, удрученного, похожего на “мокрую курицу” (как выразился потом, в разговоре лично со мной, тот же Савинков) беднягу Рутенберга... Все дальнейшие переговоры, планы, приготовления — были сплошным изнасилованием Рутенберга Азефом и Савинковым, навязывавшим ему самую активную роль в уничтожении Гапона вместе с Рачковским, тогда как Рутенберг всячески упирался, малодушествовал (опять же по характеристике Савинкова и Азефа) и стремился ограничить свою роль — ролью приманки для Гапона, и передачи всего дальнейшего другим».

Чернов только упускает, кажется, собственную роль в этом «изнасиловании».

Техническая сторона дела (тут главный голос принадлежал Азефу как специалисту) замышлялась так:

Рутенберг, поторговавшись, принимает предложение Гапона и соглашается встретиться с Рачковским. Сношения с партией он поддерживает через члена Боевой организации

Иванова (Двойникова), переодетого извозчиком. При этом Рутенберг должен был заявить Гапону, что занимается подготовкой покушения на Дурново, и, в подтверждение своих слов, нанять нескольких извозчиков и ездить на них вдоль дома Дурново, напоказ филерам. Когда Рачковский встретится с Рутенбергом, провести предварительные переговоры, и лишь при второй или третьей встрече убить Гапона и Рачковского с помощью метательного снаряда.

Рутенберг без восторга принял этот план. Как пишет Савинков, «его смущала щекотливая сторона его фиктивного Гапону согласия и весь план, построенный на лжи. Он не привык еще к тому, что все боевое дело неизбежно и неизменно строится не только на самопожертвовании, но и на обмане». Кроме того, он все больше убеждался, что план шит, что называется, белыми нитками. Что необычно для такого мастера кровавых дел, как Азеф.

Азеф, после отъезда Савинкова и Чернова, жил в одной комнате с Рутенбергом. Они постоянно обсуждали предстоящее дело. От себя глава Боевой организации прибавлял, что, если двойное убийство не выйдет — так уж и быть, придется убирать одного Гапона. Это решено было совершить «между Петербургом и Выборгом» (в Териоки?). Азеф вел переговоры с Партией активного сопротивления — просил их предоставить на этот случай помещение, лошадь и людей. Сперва двух человек и лошадь активисты дать согласились, а помещение нет; но спустя несколько дней изменили свое мнение и решили в этом случае в русские дела вовсе не мешаться. Рутенберг узнал об этом уже на полпути в Петербург.

В столицу он прибыл 21 или 22 февраля. Другими словами, пока петербургские газеты разоблачали или защищали Гапона, его судьба решалась на совещании эсеров в Гельсингфорсе. В день, когда Гапон в печати потребовал общественного суда над собой, его друг привез в город вынесенный ему смертный приговор.

МАРТЫН

24 февраля Рутенберг приехал к Гапону в Териоки. Речь шла о многом, случившемся за это время, — об истории с Матюшинским и деньгами Витте, о смерти Черемухина, о предстоящем суде. Гапон был уверен, что правда на его стороне, что он может оправдаться. Что он оправдался бы, даже если бы Рутенберг рассказал о переговорах Гапона с Рачковским («Ну что же? Находился в сношениях с правительственными лицами,

имея в виду пользу народа... Провел правительство до 9 января и теперь хотел»).

Переговоры между тем продолжались. Гапон еще раз встретился с Рачковским — сам звонил ему по телефону, представляясь, как было условлено, Апостоловым. Петр Иванович уговаривал расстригу поступить к нему чиновником для особых поручений (такие предложения такому человеку можно делать, только если точно знаешь, что он не согласится... или что его не сегодня-завтра убьют), спрашивал про Рутенберга. Гапон ничего не мог ответить.

Мартын начал торг:

«— Сколько он даст, если я приду к нему обедать? Рублей пятьсот?

— Три тысячи даст, — уверенно возразил Гапон.

— Чтоб я к нему за три тысячи пошел?

— Ну пять тысяч даст.

— Он сыщик и...

— Что ты, брат, сыщик? — проговорил Гапон пониженным голосом и с подобострастием, изобразив как-то своей фигурой, головой, туловищем, особенно глазами, что-то отвратительное. — Он — действительный статский советник.

— Знаю. Директор Департамента полиции.

— Старше. Директор, заведывающий политическими делами в России.

— За одно то, что я с ним пообедаю, он должен дать двадцать пять тысяч; меньше не пойду.

— Десять тысяч даст, пожалуй. Ты вот что. В воскресенье иди прямо к Кюба. Я его предупрежу».

В книге Мстиславского Рутенберг говорит: «Бывают дни, когда я не могу разделить больше, кто кого ловит, я Гапона или Гапон меня, и кто из нас по-настоящему провокатор...» В самом деле, здесь стоит еще раз задуматься о подлинном смысле слова «провокация». Друг, вместо того чтобы помочь Гапону выкарабкаться из ситуации, в которую тот попал в результате своего немудреного казацкого макиавеллизма, намеренно загоняет его в нее все глубже... И не потому, что сам он злобный или коварный человек, а потому, что партия так велела. К тому же Рутенберг считал, что Гапон уже выдал его друзей, уже раскрыл перед охранкой все эсеровские тайны. А предатель есть предатель.

Следующая встреча была назначена на 26 февраля, в воскресенье. Но приготовления к убийству Рачковского не были завершены: и бомба не сделана, и даже Двойников не обзавелся еще извозчицъей пролеткой. Рутенберг попросил перенести встречу.

Встреча состоялась 1 марта у Гапона в Териоках. Говорили о Марголине, о Грибовском, о предстоящем общественном суде... Потом снова перешли к Рачковскому и переговорам с ним. Гапон пытался объяснить свои *подлинные* цели:

«...Я их надуть хотел, устроить новое, еще большее 9 января. Это верно. Что же здесь предосудительного? У меня были широкие планы. Через Мануйлова пробраться к Витте, через Рачковского — к Дурново. Он ведь мне предлагал, не хочу ли я представиться Дурново. И я бы сделал дело. Забрался бы в берлогу и одним взмахом уничтожил бы их всех. Сам бы убил Дурново. Ей-богу... сам. Конечно, вовремя, в известный момент. А тут, значит, отделы, опирался бы на массы. Я широко смотрел. Сорвалось!»

Неубедительно? М-да... Рутенберг считал, что Гапон лжет. Путается в оправданиях. На самом деле он, похоже, уже и сам не понимал, чего хочет или хотел. Некоторые гапоновские монологи в передаче Рутенберга вызывают ощущение начинающегося безумия. Вполне возможно, что Гапон действительно начал сходить с ума. Слава, клевета, кровь, деньги и бесконечные обманы — свои и чужие — подорвали психику этого впечатлительного человека.

Перешли к делу. Рутенберг согласился встретиться с Рачковским за 25 тысяч рублей — только за то, чтобы отобедать с ним и «узнать, что ему нужно». За то, чтобы открыть одно дело (то, которым Рутенберг сейчас занимается, то есть покушение на Дурново) — 150—200 тысяч («...дешево себя не продам»).

Чтобы оценить фантастичность этих цифр: Татаров за почти что год верной службы, в ходе которой он предотвратил, в частности, покушение на Трепова, получил 16 с небольшим тысяч.

Спрашивается: зачем же Рутенберг называл такие дикие цифры? Для правдоподобия торга? Или не знал, сколько на самом деле платят «провокаторам»?

А что же другая сторона? Почему Рачковский вроде бы соглашался с этими условиями, во всяком случае, готов был их обсуждать? Простой ответ: потому что ни с кем не собиравался встречаться и ни за что платить. Его задача была иной — проверить агентуру Герасимова и заодно избавиться от Гапона.

Всё бы шло хорошо, если бы не следующее свидетельство Витте:

«В марте месяце мне как-то Дурново сказал, что Гапон в Финляндии и хочет выдать всю боевую организацию центрального революционерного комитета и что за это просит 100 тысяч рублей. Я его спросил: “А вы что же полагаете делать?” На это Дурново мне сказал, что он с Гапоном ни в

какие сношения не вступает и не желает вступать, что с ним ведет переговоры Рачковский, и на предложение Гапона он ответил, что готов за выдачу боевой дружины дать 25 тысяч рублей. На это я заметил, что я Гапону не верю, но, по моему мнению, в данном случае 25 или 100 тысяч не составляют сути дела».

То есть эти фантастические расценки действительно были доведены до начальства, но в претворенной формулировке: не за обед 25 тысяч и даже не 150 тысяч за «все дело», а 100 тысяч за выдачу всей Боевой организации. Но это именно то, против чего так возражал Герасимов: Боевая организация со временем возродится вновь, но в ней не будет внедренного агента, а в этой есть. Полицию сотрясали интриги, там шла внутренняя борьба. И, возможно, у нас не хватает материала, чтобы понять логику этой борьбы, частью которой — втайне от них — стали предложения Гапона и торг Рутенберга.

Вернемся к ним. Гапон закончил разговор так:

«— Главное, надо смотреть на вещи широко, не одностронне. Если, скажем, дело какое-нибудь на мази, понимаешь, на мази, как у тебя, например, то лучше им пожертвовать, чтобы получить большие средства и потом поставить его еще больше и шире».

Рутенберг воспринял это как «фиговый листок», как попытку убедить себя самого и собеседника, что речь не идет о предательстве. Напоследок ему пришлось провести четверть часа в, так сказать, семейном кругу — в обществе Саши.

«...Я чувствовал себя отвратительно в присутствии этой простой, доверяющей Гапону женщины, очевидно любящей его. Она не верит газетным разоблачениям. И к суду он обратился под ее влиянием. Так я понял из ее слов».

В течение следующих двух дней Гапон и Рутенберг обменивались записками. Гапон назначил встречу с Рачковским в ресторане «Контан» в девять вечера 4 марта («спросить г. Иванова»). В четверть десятого Рутенберг прибыл в ресторан; лакеи ответили ему, что Иванова здесь нет, а в гардеробе опытный подпольщик легко опознал двух сыщиков.

Что же случилось? Слово Герасимову:

«Один из моих агентов доложил мне в наиболее существенных чертах об этом плане двойного покушения на Рачковского и Гапона. Я позвонил Рачковскому и осведомился, насколько двинулся вперед Гапон со своей работой. Рачковский ответил:

— Дело идет хорошо, все в порядке. Как раз на сегодня условлена моя встреча с Гапоном и Рутенбергом в ресторане Контана. Хотите и вы прийти?

— Петр, я не приду, — сказал я. — И я советую также вам

не ходить. Мои агенты сообщили мне, что на вас организуется покушение.

Рачковский:

— Но... как можете вы этому верить? Прямо смешно!

— Как вам угодно будет, — сказал я.

Я повесил трубку, но какое-то внутреннее беспокойство побуждало меня еще раз позвонить Рачковскому. Его не было дома. У телефона была его жена, француженка. Со всей настойчивостью я предложил ей удержать мужа от посещения Контана. Там грозит ему несчастье. Она обещала мне. Вечером я отправил в ресторан сильный наряд полиции и чинов охраны. Они видели, что Гапон и Рутенберг вошли в отдельный кабинет ресторана, специально заказанный Рачковским. Соседний кабинет был занят каким-то подозрительным обществом. Рачковский не явился».

Обращаем внимание на несоответствие в показаниях: Рутенберг утверждает, что приехал один и в кабинет не заходил. Дальше: кто этот «один из агентов»... если не Азеф? Татаров в Варшаве. Да, Герасимов пишет, что у него были агенты, которые ушли со службы вместе с ним и впоследствии не были раскрыты. Возможен и такой вариант: донес другой человек, а Рачковский решил, что это сделал Азеф. Агент Раскин выдержал проверку. Правда, полтора месяца спустя он снова оказался под ударом, но об этом чуть ниже.

Во всяком случае, под пером Герасимова Петр Иванович выглядит совершенным идиотом, каковым он, конечно, не был. В самом деле: один из руководителей спецслужб назначает встречу террористу через свежего агента сомнительной честности. Его предупреждают о том, что при этом его могут убить, а он разыгрывает искреннее удивление. Так что, видимо, зря Александр Васильевич беспокоился и перезванивал жене Рачковского: никуда тот идти не собирался.

В свою очередь, Гапон объяснил неявку Рачковского совершенно иначе: дескать, Рутенберг не позвонил ему накануне, он решил, что тот, возможно, не придет, и сам отменил встречу, а вместо этого пошел с женой в гости к Насакину.

От имени Рачковского Гапон передал Рутенбергу новые, более жесткие условия: не 100, а 25 тысяч, причем прежде, чем Рачковский встретится с ним, Мартын должен был рассказать всё. Всё о покушении на Дурново.

«Двадцать пять тысяч — это хорошая цена. За одно дело. А за целый год можно заработать и сто тысяч. За четыре дела. Так он, сукин сын, говорит».

О своих планах Гапон говорил примерно то же, что в прошлый раз:

«Организовать массы в отделы. Все пошли бы. И теперь рабочие постановили платить самим за помещение, хотя собираться и не позволяют. Влечение большое питают к отделам. Одновременно с этим пробраться к Витте и Дурново и в подходящий момент скосить их. Это имело бы громадное значение. Сорвалось! Но я теперь дело сделаю...»

Рутенберг все эти излияния не принимал всерьез — а зря.

Вот свидетельство Александра Карелина:

«Однажды ко мне пришел мой приятель, рабочий Андрих, Владимир Антонович, и сказал, что Гапон зовет его в боевую группу, которую начал составлять, задумав убить Рачковского, Витте и др.

— Ничего из этого не выйдет. Террор вызовет ответный террор, — сказал я.

Андрих послушался меня и не вошел в боевую группу».

Это относится именно к февралю—марту 1906 года. И есть еще несколько таких же свидетельств.

Зачем нужна была Гапону собственная боевая группа? Чего он хотел в конечном итоге? Любыми средствами, — в том числе предотвращая с помощью Рутенберга акции эсеров, — получить разрешение на открытие отделов «Собрания», а если власти не выполняют обещаний — шантажировать их терактами? Нет, для Гапона февраля—марта 1906-го это был слишком рациональный, выверенный план. Осенью и зимой он действительно искренне желал вернуться к мирной работе. Он по-прежнему к этому стремился. Но ничуть не меньше хотелось ему отомстить тем, кто, воспользовавшись этим его стремлением, заманил его в ловушку, погубил его репутацию, заставил взять грех на душу.

Грех на душу? Кажется, во время этого разговора Гапон впервые задумался о том, что в результате его игр могут погибнуть люди. Он предлагал Рутенбергу что-то сказать Рачковскому, «не называя никаких имен» (как будто Рачковского такая информация могла заинтересовать!), предлагал ему после встречи с Рачковским для собственной безопасности перейти к социал-демократам.

Самое интересное — то, что произошло дальше. Рутенберг понимает, что двойное убийство невозможно, и обращается к своему партийному начальству.

Версия Рутенберга:

«Я рассказал, зачем приехал и как вел за это время дело. Из указанных им первоклассных ресторанов я был только в одном из них и один раз, в первый день приезда в Петербург, но чувствовал себя там очень тяжело и, не видя в этом никакого смысла, больше туда не являлся и извозчиков там не ставил.

Азеф обозлился, стал грубо обвинять меня, что я не исполняю его инструкции, что своей неумелостью я проваливаю все и всех (в это время в Петербурге произошли аресты Б. О.). Он торопился куда-то по делу и, уходя, назначил мне вечером свидание, чтобы подумать, не оставить ли Рачковского и покончить с одним Гапоном.

Я ничего не ответил тогда Азефу. Все его обвинения были до того несправедливы, и он мне стал до того отвратителен, что я буквально не мог заставить себя встретиться с ним.

Я оставил ему записку, что не могу и не хочу видеть его, ни слышать, что возвращаюсь в Петербург продолжать дело, как сумею, на основании имеющихся у меня прежних распоряжений.

Я вернулся обратно.

Записка, в которой я оскорбил Ивана Николаевича, сыграла значительную роль в дальнейшем. Савинков заявил мне по поводу нее: «Ты оскорбил в его лице честь партии и всей истории партии»».

Рутенберг хочет сказать, видимо, что не очень-то усердно имитировал покушение на Дурново, и Азеф упрекнул его в том, что встреча с Рачковским сорвалась именно из-за этого.

Чернов так передает слова Азефа, сказанные Рутенбергу: «Ну не можешь (или не хочешь), так нечего с тобой разговаривать, убирайся к черту и делай что хочешь». По мнению Чернова, именно эти слова были восприняты Мартыном как санкция на убийство одного Гапона.

Но Чернов передавал разговор с чужих слов. Если верить Рутенбергу, Азеф сказал-таки про убийство одного Гапона, но в сослагательном наклонении. Так же — в сослагательном наклонении — говорил он об этом раньше, в феврале.

Товарищам Азеф — по словам Чернова — так жаловался на Мартына: «Рутенберг не выдержал, снова “завял”, и достаточно было Рачковскому один раз не явиться на назначенное свидание, чтобы Рутенберг счел всё дело проигранным, и опять прибежал говорить о том, что план комбинированной ликвидации невыполним». Возникает интересный вопрос: а зачем было поручать неопытному человеку сложное террористическое дело?

Собирался ли Азеф на самом деле убирать Рачковского — сложный вопрос. А вот Гапона ему жизненно необходимо было убрать, но так, чтобы можно было от этого (одиночного) убийства отпереться. Чтобы ответственность ни в коем случае не легла на Евгения Филипповича/Ивана Николаевича: ни перед полицейским начальством, ни перед товарищами из ЦК.

Но вернемся к мытарствам Рутенберга.

10 марта – новая встреча со все более безумным Гапоном. Тот излагает план действий, придуманный им для искушаемого друга:

«Пусть <Рачковский> передаст двадцать пять тысяч авансом через меня. Раньше ты к нему не пойдешь. А там три выхода:

1) Получить деньги и скрыться.

2) Если дело у тебя не совсем верное, ну, если ты не уверен, что действительно успешно окончится, то рассказать ему. А люди чтобы спаслись. Это вполне возможно. Потому что они арестовывают тогда, когда все созреет, как бутон. Понимаешь? Ну, мы можем сказать, что и не виноваты, а шпионы слишком грубо следили. Ни один человек, конечно, не должен пострадать. Но если дело у тебя верное, если твоя организация ведет к тому, что Дурново или другой кто несомненно скоро будет убит, тогда лучше с ним дело прекратить.

3) Деньги получить и убить их обоих, Рачковского и Герасимова. Это я взял бы на себя. Только надо так сделать, чтобы уйти».

Рутенберг признается, что увлекся и начал всерьез обсуждать эти безумные планы. В конце концов, он прежде искренне любил Гапона – и мог на какое-то мгновение забыть, с какой целью сейчас разговаривает с ним. Да и в террористическом деле он был почти таким же профаном, как его собеседник.

Потом разговор почему-то перешел на дела «Собрания», на портняжные и слесарные мастерские, которые Гапон задумал и которыми собирался зарабатывать деньги.

Все-таки что-то одно: или убить Рачковского, Герасимова, а заодно Витте и Дурново, или портняжные мастерские...

Гапон опять обещал устроить свидание с Рачковским; из этого опять ничего не вышло. Рутенберг поехал в Гельсингфорс, пытался встретиться с Азефом; говорил, что собирается бросить все дело и уехать за границу. Никакой реакции не последовало. Азеф передал, что ответа не будет. Петр Моисеевич понял, что уклонение от «долга» будет означать гибель его революционной чести.

«Можно так сказать “Не убивай”, что человек пойдет и убьет...»

Вернувшись в Петербург, Рутенберг решил идти по другому пути. Как и Гапон, он стал организовывать собственную боевую группу. На одно дело. Только Гапон задумывал убийство первых людей державы. А Рутенберг собирался убить одного расстриженного попа, живущего в Териоках. Всё дело было, однако, не в том, чтобы убить его, а в том, чтобы убить с полиц-

ным. В дополнение к суду эсеровского ЦК нужен был новый суд — судьи которого будут и палачами.

Последняя тайна жизни Гапона: кто вошел в боевую группу Рутенберга?

Мартын говорит, что это были рабочие и «члены партии». То есть эсеры.

Более или менее известно одно имя — Дикгоф-Деренталь, и это отнюдь не рабочий, а двадцатилетний студент Военно-медицинской академии, участник боевой дружины, возглавлявшейся в 1905 году Рутенбергом. Впоследствии писатель.

Еще одно более или менее верное имя (по семейному преданию) — Алексей Игнатьевич Чудинов, 1855 года рождения, из крестьян Архангельской губернии, бывший матрос, с 1887 года рабочий Путиловского, потом Балтийского завода, участник Кровавого воскресенья, кажется, старый гапоновец. Дальше идут имена и клички — «товарищ Степан», «товарищ Владислав», «Гриша», «Синичка», «молотобоец Павел»; Карелин называет некоего Краснова, «интеллигента». Наконец, Мстиславский в статье «Из истории военного движения. “Офицерский” и “Боевой” союзы 1906—1908 гг. (По личным воспоминаниям)»* называет еще три имени: Казимир Мижейко, Матти Тойкка и Василий Тимошечкин.

Если учесть, что в убийстве участвовало всего шесть человек (не считая Рутенберга), имен вдвое больше, чем персон. Есть еще одна деталь, бросающая на все события совершенно новый свет: согласно докладу заведующего заграничной агентурой Департамента полиции Гартинга, один из участников преступления был сотрудником департамента.

По Рутенбергу (и по Дикгофу-Деренталю), один из членов группы (в качестве извозчика) присутствовал на встрече Гапона с Рутенбергом 22 марта. Речь шла о переговорах с Рачковским; Гапон говорил, что исполнителей теракта надо будет предупредить «и они скроются». Желая скомпрометировать Гапона получше, Рутенберг спросил о судьбе денег Циллиакуса — и не получил ответа. Были и «общеполитические» разговоры: «Он стал уверять меня, что революционеры к нему несправедливо относятся, что он сам за вооруженное восстание, но считает преступлением вызывать теперь рабочих на улицу. Октябрьские увлечения — ошибка. Надо было заставить царя сначала присягнуть конституции. А потом уже пусть отбирает. Весь народ сказал бы: клятвопреступник — и восстал бы».

По словам Деренталья, перед поездкой «извозчик» сказал Рутенбергу:

* Каторга и ссылка. М., 1929. № 6 (55). С. 7—31.

«Если это правда, что вы говорили, то мы его убьем, не дожидаясь решения партии. Он нас вел — мы за ним шли и ему верили. Мы вам тоже сейчас верим, потому что знаем вас давно, но вы партийный человек и интеллигент. Я боюсь, чтобы темные силы не объявили про нас, что мы действовали под давлением врагов Гапона. Он герой в их глазах (их — темных сил? — *В. Ш.*), и они только тогда не будут иметь сомнения в его предательстве, когда мы, рабочие, лично в этом убедимся».

Якобы извозчик, послушав разговор, убедился в предательстве Гапона и засвидетельствовал его перед товарищами.

Для убийства Рутенберг на имя Ивана Путилина снял дачу в Озерках — хозяйка, видимо, охотно и без разбора сдавала ее подозрительным лицам, которые, видимо, не торговались особо. Рутенберг объяснил своим товарищам, что убивать предателя в Финляндии неудобно «во избежание могущих последовать за тем неприятностей для дававших в то время приют русским революционерам финляндцев». Петербург тоже, конечно, не подходил.

Товарищи Владислав и Степан (тоже, как Деренталь, бывшие участники боевой дружины: откуда еще Рутенбергу было брать людей на мокрое дело; они могли быть и эсерами, и бывшими гапоновцами; всего вернее — и теми и другими разом) утверждают, что Рутенберг сообщил им, что Гапон приедет вместе с Рачковским и толпой сыщиков. Зачем было лгать? Очень просто: Рутенберг хотел сделать вид (хотя бы перед непосредственными участниками убийства), что продолжает исполнять прямое решение ЦК. Да и неудобно было признаваться бравым боевикам, что им придется вшестером убивать одного сугубо штатского человека. В крайнем случае вооруженного револьвером — но плохо стреляющего.

В пятницу, 24 марта, Рутенберг через посредника сообщил Азефу о своих намерениях. Азеф никак не отреагировал.

25, 26, 27-го Рутенберг и Гапон ведут переписку. Мартын по-прежнему торгуется («Не меньше 50.000. 15.000 авансом через тебя. В крайнем случае 10.000. Тогда и деловое свидание назначим. За ответом пришлю во вторник утром») и назначает свидание в Озерках. Гапон упрекает товарища в «канители» и отказывается ехать за город (что-то заподозрил?).

Эти дни в жизни Гапона были очень напряженными. «Соборание», несмотря на все усилия его лидера, дышало на ладан. Никакой публичной деятельности не велось, виттевские деньги таяли на глазах. Одна аренда помещений стоила две тысячи рублей в месяц. В конце марта уже действует «ликвидационная комиссия» — имущество отделов распродается. В этой ситуации Гапон провозглашает новый проект Всероссийского

рабочего союза. 26 марта в кругу своих ближайших соратников он зачитывает «Программу русского синдикализма»:

«Рабочие должны объявить себя государством в буржуазном государстве, управляться собственным выборным правительством, издавать собственные законы, заpastись собственными средствами — и материальными, и духовными. Мы не пойдем под начальство партий, мы будем самоуправляться, мы не будем ожидать чужой, всегда корыстной, денежной поддержки, мы образуем свой пролетарский фонд. Мы не отдадим своих детей в буржуазные школы. Мы заведем свои школы свободного разума. Мы будем единый союз рабочих, обладающий могуществом — и материальным, и духовным. И только тогда мы будем сильны...»

Все это уже было, кроме «школ свободного разума».

27-го Гапон посещает председателя Петербургского окружного суда и требует возбуждения дела о его легализации. На сей раз Гапону было официально объявлено, что он амнистирован еще 21 октября. Рутенберг в свое время сказал правду. Пять месяцев Гапона водили за нос — теперь перестали. Почему?

На следующий день он посещает Насакина — по поводу возобновления общественного суда, потом посещает Петербургский отдел «Собрания»... и отправляется в Озерки.

Последние три дня жизни Гапона — какая-то концентрация его жизни в последние месяцы.

Поезд отошел в четыре часа. Около пяти часов Гапон и Рутенберг встретились на главной улице Озерков и пошли к даче.

Тем временем будущие убийцы мирно закусывали на втором этаже дачи бутербродами с колбасой.

«Всю дорогу, чтобы успокоить мою совесть, Гапон развивал разные планы, как избавить людей, которых я выдам, от виселицы».

Совесть Рутенберга... или свою?

На даче обсуждается та же тема:

«...Скажешь, что узнал из верного источника, что неладно и что надо немедленно скрыться. И все. А мы тут ни при чем. Мы скажем Рачковскому, что люди заметили слежку и разбежались».

— Как же они скроются? Рачковский на следующий день после нашего свидания приставит к каждому из них по десяти сыщиков. Ведь их всех повесят?

— Как-нибудь устроим им побег.

— Ну, убежит часть, а остальных повесят все-таки.

— Жаль!

Молчание. Через некоторое время продолжает:

— Ничего не поделаешь! Посылаешь же ты, наконец, Каляева на виселицу?

— Да! Ну, ладно».

Ты. Да, Гапон уже сам поверил, что Рутенберг — главный террорист. И Каляева, и Сазонова — всех он посылал на убийство и смерть.

Но это не главное. Главное — вот:

«— Я теперь буду устраивать мастерские. Кузница у нас есть уже маленькая. Слесарная. Булочную устроим и т. д. Вот что нужно теперь. Со временем и фабрику устроим. Ты директором будешь...»

Вот ведь зачем нужны были «русскому синдикалисту» макиавеллистские игры, и дружба с полицией, и дружба с революционерами, и кровь, и деньги, и власть. Всё возвращается в самое начало — к «босаяцкому проекту». К маленькому общему делу.

Здесь бы всё и кончить — на этом, не худшем месте убивайте, господа!

Но — увы! Следует разговор как будто из скверного детектива:

«— А если бы рабочие, хотя бы твои, узнали про твои сношения с Рачковским?

— Ничего они не знают. А если бы и узнали, я скажу, что сносился для их же пользы.

— А если бы они узнали все, что я про тебя знаю? Что ты меня назвал Рачковскому членом Боевой Организации, другими словами — выдал меня, что ты взялся соблазнить меня в провокаторы, взялся узнать через меня и выдать Боевую Организацию, написал покаянное письмо Дурново?..

— Никто этого не знает и узнать не может... Ни доказательств, ни свидетелей у тебя нет».

А потом вышедший в уборную Гапон случайно видит на лестнице одного из убийц, стоящего «на стреме», обнаруживает у него пистолет, кричит — «Его надо убить!» (Это у Рутенберга так. У Деренталя — целый монолог Гапона, выстроенный по лучшим законам мелодрамы: «Мартын, он все слышал, его надо убить... Ты, милый, не бойся... Ничего не бойся... Мы тебя отпустим... Ты только скажи, кто тебя подослал...»)

Его надо убить? Кого?

Сейчас Рутенберг отворит дверь и скажет: «Вот мои свидетели». Все всё слышали. Перегородки тоненькие.

Рутенберг выйдет на улицу: рук марасть он все же не будет (хотя товарищ Владислав говорит иное — но одно свидетельствование против четырех не считается).

Гапону еще дадут сказать: «Я сделал это ради бывшей у меня идеи» (объяснить какой — не дадут). Дадут воззвать к памяти 9 января.

Из судебно-медицинского заключения:

«Смерть была медленная и, вероятно, крайне чувствительная. Если Гапон не чувствовал страдания от удушья, о чем, между прочим, свидетельствует закрытый рот, то лишь потому, что был оглушен ударом по голове. На трупе обнаружены следы жестокой борьбы».

Да, конечно, это 100 раз было. У Амбруаза Бирса. У Лео Перуца. У Борхеса.

Но все-таки — вот такой сюжет:

В тот момент, когда от удара по голове сознание Гапона отключилось, он снова оказался на Нарвской заставе 9 января 1905 года, между вторым и третьим залпом.

И он успел — когда уже прозвучал рожок — оттолкнуть Ивана Васильева и встать на его место. Пуля пошла — все равно куда, в голову или в грудь. И он умер, зная, что умирает героем, что его имя будет окружено долгой славой.

А мальчик Ванюра не останется сиротой.

Если верить Дикгофу-Деренталю, Рутенберг у трупа Гапона, обрезая веревку, на которой тот был повешен, произнес мелодраматический монолог:

«Так висел Каляев... И он хотел, чтобы другие также висели (после паузы). А это все же хорошо, что его не расстреляли... Он готовил для других виселицу — и сам ее заслужил. Расстрел был бы для него слишком почетен. ...Боже, он же мне когда-то другом был! Сколько всего у меня связано с этим человеком!.. Этими самыми ножницами я ему обрезал волосы 9 января. А теперь ими же...»

Хочется верить, что это — как и диалог Гапона с рабочим на лестнице — плод фантазии плохого писателя. Что на самом деле Мартына — Петра Моисеевича — Пинхуса Рутенберга просто была дрожь. Да и веревку никто не обрезал: она так и осталась завязана одним концом на горле, другим — на железной вешалке.

При Гапоне оказался кожаный бумажник и в нем 1300 рублей, десять разных записок и расписок (в том числе копия с последней записки Рутенберга и на ней же набросок ответа),

две визитные карточки г. Х., ключи и квитанции несгораемого ящика банка «Лионского кредита» за № 414 на имя Ф. Рыбницкого. Еще — две записные книжки.

Ключи, как мы уже писали, выслали Марголину, наличные дослали потом. Записные книжки и записки пропали.

Вот и всё.

А 30 апреля 1906 года местные полицейские явились на дачу.

ЭПИЛОГ

Гапона похоронили на Успенском (Северном) кладбище 3 мая. Была, конечно, Саша Уздалева под черной вдовьей вуалью. Речи говорили Вера Карелина, Кузин, Усанов, еще несколько рабочих и, что примечательно, Ушаков, прижизненный соперник. Не было — что еще примечательнее — Варнашёва, председателя «Собрания». Не пришел, кажется, никто из интеллигентных знакомцев и союзников Гапона — ни Симбирский, ни Марголин, ни Грибовский; по крайней мере, никто из них не выступил, не вступился за честь ошельмованного и убитого. И только какой-то рабочий Смирнов взывал к мести убийцам, и хор из 150 собравшихся дружно отвечал ему.

Сто пятьдесят... 9 января на улицы Петербурга вышло ровно в тысячу раз больше народу.

На могиле был установлен деревянный крест с надписью «Герой 9 января 1905 г. Георгий Гапон». Чуть позже был поставлен постоянный памятник — покрашенный белой краской чугунный крест.

В 1909 году могилу Гапона случайно, проходя по кладбищу, увидел Иван Павлович Ювачев — бывший революционер, шлиссельбуржец, сахалинский политкаторжанин, впоследствии — писатель-мистик, более всего знаменитый как отец Даниила Хармса. Он знал Гапона — мимолетно, шапочно — в самом начале его деятельности. Ювачев скопировал надпись на могиле: «Спокойно спи, “убит”, обманутый коварными друзьями. Пройдут года, тебя народ поймет, оценит, и будет слава вечная твоя». Почему «убит» в кавычках — сам Ювачев не понял. Рядом были засохшие венки — «От Нарвского района» (явно трехлетней давности, когда остатки организации еще существовали) и более свежий: «Вечная память вождю и учителю Гапону в день годовщины от рабочих». Еще на могиле лежали коробочки с фотографиями Гапона (на одной из них — расстриженный священник в светском платье, во весь рост, с руками в карманах). Ну и переписанные каранда-

шом стишки («Мой друг, сегодня много дней, как ты покинул мир наш тленный, быть может, для души своей ты приобрел там рай священный...» — и etc.: погребальная лирика общего пользования, почерпнутая, должно быть, из какого-то старого журнала).

Так выглядела могила Гапона через три года после его смерти. Сколько людей посещали ее? Для скольких рабочих Гапон оставался «вождем и учителем» в январе 1907, 1908, 1909 годов? Их было не очень много, с годами делалось все меньше, но они были и даже пытались защищать память Гапона в прессе. Только они и сохранили безраздельно добрую память об этом человеке, который несколько месяцев своей жизни считался национальным героем.

При этом еще довольно долго после похорон продолжали ходить слухи о том, что Гапон жив. В газете «Двадцатый век» от 5(18) мая было напечатано письмо рабочего Патронного завода Ивана Алексева, который в подробностях рассказал о встрече с Гапоном в Лештуковом переулке. Якобы Гапон сказал ему: «Полиция попала в ловушку и уже похоронила меня с разрешения губернатора... — скоро я сам покажусь кому надо». Гапон дал рабочему 15 рублей для семьи, а маленькому сыну его подарил рубль. «Потом он достал накладной парик с бородой и быстро надел его... Гапона я хорошо знал раньше, так как он ночевал у меня в прошлом году, будучи 3 мая в Петербурге».

3 мая 1905 года Гапон был в Женеве, и все письмо было, возможно, «уткой», плодом творчества небрежливых журналистов, эксплуатирующих сенсационную гибель известного человека. А может быть, здесь и впрямь отразились какие-то слухи, ходившие про Гапона, после смерти ставшего в некоторых — нешироких, впрочем, — кругах рабочего класса народным героем, подобием Робин Гуда или Стеньки Разина? Во всяком случае, через десять дней газета напечатала резкое и печальное письмо А. К. Уздалевой:

«...Мой муж умер. Он свел все счеты с жизнью, а между тем чуть ли не каждый день терзается его память».

Куда любопытнее другой сюжет — связанный с убившей Гапона Партией социалистов-революционеров.

По свидетельству Герасимова, 22 апреля «агент Раскин» неожиданно был задержан в числе псевдоизвозчиков, наблюдавших за домом Дурново, готовя *настоящее* покушение на него. Не будем обсуждать, что это было — необъяснимая неудача великого провокатора или форма торговли с работодателями (дело закончилось тем, что перед Азефом извинились и заплатили ему одновременно пять тысяч рублей в счет дальнейшего сотрудничества!). В последовавшем разговоре с Рачковским

и Герасимовым Азеф рассказал всё об убийстве Гапона в Озерках. Никаких последствий это не имело: Манасевич-Мануйлов, к примеру, и прежде всё хорошо знал и даже описывал в газетах, а полиция не дернулась с места, пока домовладелица Звержинская не пожаловалась на неуплату.

Рутенберг совершил страшноватые, с общечеловеческой точки зрения, поступки, чтобы спасти свою честь революционера. Но результат оказался обратным. Под пером газетчиков Рутенберг предстал обманщиком, предателем и без пяти минут агентом охранки, по личным причинам убивающим своего друга — и он должен был признаться, что авторы статей лишь деформируют реальность, но не выдумывают небывшее.

А партия молчала, не принимая на себя никакой ответственности.

В октябре 1906 года на Иматре, на II Совете партии, у Рутенберга было столкновение с Азефом. Иван Николаевич категорически заявил, что не давал санкции на убийство одного Гапона, и назвал Рутенберга лжецом.

Тем не менее Мартыну удалось добиться следующего официального заявления, напечатанного в «Партийных известиях»:

«Ввиду того, что в связи со смертью Г. Гапона некоторые газеты пытались набросить тень на моральную и политическую репутацию члена Партии Социалистов-Революционеров П. Рутенберга, Центральный комитет П.С.-Р. заявляет, что личная и политическая честность П. Рутенберга стоит вне всяких сомнений».

Это звучало почти издевательски. Но многие члены партии были настроены жестче. О. Минор говорил жене Азефа, Л. Азеф:

«Совершенное им убийство отнюдь не является героическим поступком, потому что в данном случае он действовал не в интересах партии, а лишь из чувства личной мести... Что же касается намерения Рутенберга покончить с собой (в котором тот признавался Л. Азеф. — *В. Ш.*), то это, в сущности, лучший способ выйти из того положения, в которое он себя поставил...»

Чувствующий себя оскорбленным и преданным, Рутенберг отошел от партийной работы и уехал в Италию, к Горькому, где занялся работой над мемуарами, которые должны были его оправдать. Но — столкнулся с категорическим запретом ЦК на их публикацию. Примечательна мотивировка. Вот, скажем, письмо М. А. Натансона Рутенбергу от 16 февраля 1908 года:

«Дорогой Мартын, выскажу Вам несколько слов по поводу рукописи. Для меня не подлежит сомнению, что она произве-

дет на широкую публику впечатление, невыгодное для автора. Ее действие на неревOLUTIONионную среду будет несомненно в пользу Г. как жертвы, слишком жестоко поплатившейся за свою вину. Во-первых, автор слишком умаляет личность и значение Г. в день 9-го января. Говоря о личных несовершенствах Г., автор умалчивает о той крупной стихийной силе, которая была в нем, которая чувствовалась и которой объяснялся его огромный успех в рабочих массах. Это умаление производит неблагоприятное впечатление; читатель сразу же чувствует пристрастное отношение, и это впечатление невольно переносится на вторую часть рукописи. Во-вторых, роль автора во всей второй части для читателя, далекого от требований революционной среды, невольно окрашивается непривлекательным светом, прежде всего в его глазах выступая на первый план — это всматривание, выпытывание и заманивание жертвы, обреченной на гибель. <... > Имейте в виду, что автор будет иметь дело именно с таким читателем; в глазах этого читателя даже всякий террористический акт, даже наиболее санкционированный обстоятельствами, всегда носит на себе известную печать, обусловленную предубеждениями».

Другими словами, эсеры хорошо понимали, как может выглядеть их кровавая романтика и их специфическая этика с точки зрения стороннего человека.

Интересно, что разрешения на публикацию не последовало и после разоблачения Азефа, когда руководители ПСР в частном порядке принесли Рутенбергу извинения, пользуясь случаем повесить вину на оказавшегося врагом Ивана Николаевича. В конце концов Мартын опубликовал свои мемуары без разрешения, таким образом навсегда порвав связи с партией.

Отчасти предупреждения Натансона оправдались. Рутенбергу пришлось прочитать в свой адрес много неприятного.

Вот, к примеру, что писал Стечкин (Рясы. 1909):

«...Кто поверит заверениям инженера Рутенберга, бывшего друга и как бы наперсника, товарища “на ты”, который сыграл “дружескую” роль: заманил человека в Озерки и отдал в руки палачей-истязателей... Так просто, спокойно говорит о зверском убийстве человека, точно отношение департаментское пишет. Исполняя-де волю начальства (в лице Азефа), совершил предписанное...»

На самом деле коллизия Гапона—Рутенберга — шекспировская. Оба ее главных героя вызывают поочередно разные чувства — от отвращения до сострадания. Оба они стали заложниками не только воли двух отъявленных злодеев (Азефа и Рачковского), но и трагического сцепления обстоятельств,

диктовавших тот или иной ход. И, конечно, собственной человеческой слабости и суетности.

Гонорар за книгу Рутенберг просил передать (конечно, не афишируя источника) «вдове Гапона – говорят, она очень бедствует».

Бедствует? А куда делись 14 тысяч франков? Наложили руку законные родственники из Полтавы? А, кстати, 14 тысяч рублей, принадлежавших «Собранию», куда делись? Интересный вопрос.

Во всяком случае, следы всех близких Гапону людей – гражданской жены, сына, детей от первого брака, родителей, сестер – теряются вскоре после его смерти. Только уже престарелый Яков Аполлонович Гапон в 1960-е годы пытался ходатайствовать о *реабилитации* брата.

О судебной реабилитации, конечно, речи быть не могло – чей приговор должен был в этом случае отменить советский суд: эсеровского ЦК или безымянных «рабочих»-боевиков? А с морально-политической реабилитацией всё и по сей день неясно. Неясно – по какой шкале судить или оправдывать этого человека? Кем он был?

Кем он был, Георгий Гапон?

«Революционером в рясе» (так называется одна из посвященных ему книг)? И революционером, и священником он был неважным – но чтобы судить его в одном из этих качеств, надо верить в безусловную правоту церкви или революции. Сам он не верил, видимо, ни в то, ни в другое.

Был ли Гапон провокатором? Но в каком смысле? Провокатором в том специфическом значении, которое придавалось этому слову русскими революционерами, то есть агентом-осведомителем полиции, он не был никогда. Он был одно время «агентом влияния», ведущим, впрочем, свою игру. Перед смертью он (не по своей воле и не в своих личных интересах, а «для пользы дела») попытался выступить в роли агента-вербовщика – тоже надеясь переиграть и обмануть охранников.

Если же говорить о провокации в словарном смысле слова – о намеренном подталкивании других людей к невыгодным или опасным для них шагам, – то на этом, к сожалению, держится политика. А Гапон оказался втянут в сложные и кровавые политические игры. Одно обвинение, однако, с него должно быть снято: конечно, он в числе тех, чьи ошибочные шаги вызвали бойню 9 января, – но он ни одной минуты не хотел этой бойни и лишь по случайности сам не стал ее жертвой.

Несомненно, Гапон обладал двумя блестящими талантами — проповедника, ведущего за собой толпу (но находящего ключ и к сердцу отдельного человека), и организатора-практика. Ему не было бы цены, например, в колониях поселенцев-пионеров в Америке XVII века. Впрочем, и в свое время в России, где он выбрал своим поприщем профессиональную организацию рабочих, он сумел сделать немало. Трагедия Гапона состояла в том, что он оказался зажат в тиски между двумя силами — революцией и политической полицией, каждая из которых хотела использовать его дело в своих интересах. А он пытался переиграть обе эти силы, сам увлекаясь этой игрой и не чуждаясь авантюризма. Это привело его к моральной и физической гибели.

Люди, попадавшие под влияние, под «гипноз» Гапона, часто потом не могли простить ему этого и старались в своих мемуарах представить его ничтожеством или негодяем. Не стоит им верить, но не стоит и впадать в другую крайность, делать из Гапона святого, мудреца или рыцаря без страха и упрека — ни тем, ни другим, ни третьим он, конечно, не был. Важно подойти к личности этого человека без предубеждения, попытаться понять ее. Гапоновская эпопея — не только яркий эпизод российской истории, но и волнующий пример частной судьбы.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Г. А. ГАПОНА

- 1870, 5 (17) февраля — родился в местечке Белики Кобелякского уезда Полтавской губернии, в семье волостного писаря Аполлона Федоровича Гапона и его жены Ирины Михайловны.
- 1883 — поступил в Полтавское духовное училище.
- 1886 — смерть младшей сестры. Тяжелая болезнь. Увлечение толстовством, сближение с И. М. Трегубовым и И. Б. Файнерманом.
- 1887 — поступление в Полтавскую духовную семинарию.
- 1893 — из-за конфликта с преподавателем В. П. Шегловым оканчивает семинарию со званием «богослова», без права продолжать образование. Устраивается статистиком в земство.
- 1894 — женитьба. Становится дьячком.
- 1895 — рукоположен в дьяконы, затем в священники. Получает приход в кладбищенской церкви Всех Святых в Полтаве. Рождение дочери Марии.
- 1897 — рождение сына Алексея.
- 1898 — начало года — смерть жены.
Июль — допущен к экзаменам в Петербургскую духовную академию. Успешно сдает экзамены, получает стипендию Марии и Василия Чубинских.
Осень — участвует в миссионерских беседах среди рабочих в Покровской церкви на Боровой улице.
- 1899, весна — тяжелая болезнь. Не сдает по состоянию здоровья экзаменов в академии и оставлен на второй год на первом курсе.
Лето — лечится в Крыму. Сближается с В. В. Верещагиным, Г. И. Михайловым и Г. А. Джаншиевым. Начало переписки с Г. И. Михайловым.
Ноябрь — возвращается в Петербург и возобновляет занятия в академии. По предложению В. Саблера начинает проводить нравственные беседы в церкви Всех Скорбящих в Василеостровской гавани.
- 1900, ноябрь — получает место законоучителя в приюте трудолюбия Святой Ольги и место священника и настоятеля церкви в приюте Синего Креста. Переезжает в служебную квартиру в приюте Синего Креста.
- 1901, конец года — начинает посещать Религиозно-философские собрания.
- 1902, весна — составляет проект «К вопросу о мерах против босяцкого нищенства и тунеядства», выходящий отдельным изданием.
17 июля — смещен с кафедры настоятеля церкви и законоучителя Убежища Синего Креста.
Конец июля — вместе с Александрой Уздалевой уезжает в Полтаву. Вскоре возвращается в Петербург.
Июль—август — уволен из Ольгинского убежища. Принят на службу в Убежище Красного Креста. По доносу Н. Н. Аничкова уволен из Убежища Красного Креста и запрещен в служении.
16 сентября — отчислен из академии.
Конец сентября — начало октября — встреча с агентом охранного отделения Н. Н. Михайловым.
16 октября — восстановлен в академии, допущен к переводным экзаменам на четвертый курс.
Октябрь или начало ноября — знакомство с С. В. Зубатовым.

10 ноября — присутствует в качестве гостя на учредительном собрании Общества взаимного вспомоществования рабочим механического производства г. Санкт-Петербурга. Знакомство с Н. М. Варнашёвым.

Конец декабря — командирован в Москву для знакомства с зубатовскими организациями.

1903, март — по просьбе Зубатова пишет на имя Витте письмо о деятельности зубатовских организаций в Петербурге от имени рабочих.

Апрель — в МВД подается прошение об учреждении «Собрания русских фабрично-заводских рабочих Петербурга».

Август — оканчивает академию по второму разряду, получает степень кандидата богословия.

1 августа — с группой рабочих снимает помещение под чайную.

Осень — получает место священника в церкви Святого Михаила Черниговского при пересыльной тюрьме. Поселяется на 9-й линии Васильевского острова.

1904, начало года — переезжает на Церковную улицу. Начало регулярных музыкальных вечеров в чайной «Собрания».

30 мая — открыт Нарвский отдел «Собрания». До конца года открыто еще девять отделов в разных районах города.

Середина июня — начало июля — поездка в Москву.

6 июля — жалоба на Гапона великого князя Сергея Александровича.

Июль — посещение Гапоном Киева, Полтавы и Беликов.

Август — возвращение в Петербург (вероятно, вместе с А. К. Уздалевой).

Лето — начало регулярных лекций в «Собрании».

19 сентября — отчетное собрание с концертом в доме Павловой на Троицкой улице.

Октябрь — основано Санкт-Петербургское общество взаимопомощи рабочих в механическом производстве.

28 ноября — встреча Гапона с представителями либеральной ответственности.

Декабрь — кризис, связанный с увольнением (или предупреждением об увольнении) рабочих Путиловского завода Сергунина, Субботина, Уколова и Федорова.

27 декабря — открытое заседание руководства «Собрания», на котором принято решение о забастовке.

29 декабря — делегации «Собрания» посещают директора Путиловского завода Смирнова и фабричного инспектора Чижова.

30 декабря — делегацию «Собрания» принимает градоначальник И. А. Фуллон.

1905, 2 января — общее собрание общества принимает решение о немедленном начале забастовки.

3 января — забастовка Путиловского завода.

5 января — переговоры Гапона с советом акционеров Путиловского завода. К забастовке присоединяются Невский судостроительный и механический завод, Невская бумагопрядильная мануфактура, Невская ниточная мануфактура, Екатеринбургская мануфактура. Собрание в Нарвском районе, на котором принимается резолюция с политическими требованиями. Гапону поручается составить петицию на царское имя. Знакомство Гапона с Рутенбергом.

6 января — Николай II уезжает в Царское Село. Гапон при участии П. М. Рутенберга и А. И. Матюшенского пишет текст петиции. Га-

пон предлагает подавать петицию «всем миром». Принято решение о подаче петиции 9 января на Дворцовой площади. Гапон покидает свою квартиру и ночует в отделениях «Собрания».

7 января — встреча Гапона с министром юстиции Н. В. Муравьевым (по другим данным — 8 января). Вечером на заседании правительства принято принципиальное решение о недопущении демонстрантов на центральные улицы. Ночью Гапон встречается с представителями социал-демократов и эсеров и согласовывает действия во время демонстрации.

8 января — утром Гапон пишет письма Николаю II и министру внутренних дел Святополк-Мирскому. Во второй половине дня представители интеллигенции посещают С. Ю. Вите и безуспешно пытаются встретиться со Святополк-Мирским. Святополк-Мирский и А. А. Лопухин в Царском Селе докладывают Николаю II о положении в столице. Гапон и Рутенберг разрабатывают маршрут шествия колонн Нарвского отдела. Руководители «Собрания» вместе ужинают и пишут письма-завещания.

9 января — в 10 часов колонна Нарвского отдела во главе с Гапоном, Васильевым, Рутенбергом и другими собирается у Путиловского завода, откуда двигается к Нарвским воротам. 12 часов — расстрел колонны у Нарвских ворот. Между 12 и 14 — разгон остальных колонн. 14 часов — расстрел части демонстрантов, добравшихся до Дворцовой площади. 16 часов — подавление беспорядков на Дворцовой площади. До вечера — баррикадные бои на Васильевском острове. После 18 часов — заседание правительства. Назначение Д. Ф. Трепова петербургским генерал-губернатором. Выступление Гапона в Вольном экономическом обществе. Первые два воззвания Гапона к рабочим. Гапон скрывается в квартире М. Горького.

10—11 января — арест руководителей «Собрания русских фабрично-заводских рабочих» и членов депутации интеллигентов.

12 января — Гапон с помощью Рутенберга покидает Петербург и скрывается в неустановленном месте в Петербургской губернии.

15 января — воззвание Гапона «Ко всему крестьянскому люду».

19 января — Николай II принимает депутацию рабочих. Гапон выведен за церковный штат и запрещен в служении. Гапон, не дождавшись паспорта, покидает свое убежище и отправляется в сторону границы.

Конец января — начало февраля (между 10 и 15 февраля н. ст.) — нелегально перебравшись через границу, добирается до Женевы, там является к Г. В. Плеханову, знакомится с В. И. Засулич, П. Б. Аксельродом, Л. Г. Дейчем, А. Н. Потресовым, Ф. И. Даном. Заявляет о своей приверженности социал-демократическим идеям. Поселяется в общежитии сотрудников «Искры» у Дана. Через несколько дней, после встречи с приехавшим в Женеву Рутенбергом, устанавливает контакты с эсерами и переселяется к Л. Э. Шишко.

До 7 (20) февраля — уезжает с Рутенбергом в Париж. Живет у Е. Ф. Азефа. Встречается с Ж. Жоресом, М. Э. Вальяном, Ж. Клемансо.

7 (20) февраля — пишет воззвания «Николаю Романову, бывшему царю и настоящему душегубцу Российской Империи», «Открытое письмо к социалистическим партиям России» и «Третье воззвание к рабочим».

Начало марта — получает в Париже (по-видимому, от К. Циллиакуса) средства на организацию объединительной конференции со-

циалистических партий. Возвращается в Женеву. После разговора с Рутенбергом, Азефом, Савинковым и Черновым дает предварительное согласие на вступление в Партию социалистов-революционеров.

Март — участвует в подготовке объединительной конференции социалистических и национально-освободительных партий. Знакомится и регулярно общается с В. И. Лениным. Ведет с Д. И. Хилковым и Е. К. Брешко-Брешковской переговоры об организации боевых групп. Встречается с представителями Бунда.

10 (23) марта — судом консистории лишен сана.

20 марта (2 апреля) — Женевская объединительная конференция под председательством Гапона.

Апрель — возобновляет контакты с членами «Собрания русских фабрично-заводских рабочих». Предположительная дата знакомства с М. П. Хомзе.

1 мая — вступает в ПСР.

Первая половина мая — Уздалева приезжает в Женеву.

Середина мая — прекращает членство в ПСР. Дает С. Ан-скому согласие написать брошюру против еврейских погромов. Уезжает с Уздалевой в Лондон для работы над автобиографией.

Май—июль — работает над автобиографической книгой в сотрудничестве с Д. В. Соскисом. Знакомится с П. А. Кропоткиным. Пытается организовать Российский рабочий союз. Сподвижники Гапона подают иск о возмещении убытков, вызванных закрытием «Собрания».

Июнь — приезжает в Париж, где встречается с активистом «Собрания русских фабрично-заводских рабочих» Н. П. Петровым. Возвращается с ним в Лондон. По инициативе Азефа привлечен к переговорам о доставке в Россию оружия пароходом «Джон Графтон» и организации вооруженного восстания в Петербурге. Вызывает в Лондон Ан-ского для совместной работы над брошюрой против погромов. Пишет брошюру «К российскому крестьянскому и рабочему люду».

21 июня (3 июля) — возвращается в Женеву.

Июль — после переговоров с Лениным едет в Лондон вместе с Н. П. Бурениным. Возвращается в Женеву. Знакомство и общение с «товарищем Михаилом», В. А. Поссе, А. Н. Матюшенко.

28 июля (10 августа) — Н. П. Буренин на заседании Боевой технической группы РСДРП(б) докладывает о своих встречах с членами гапоновской организации в Петербурге и о желательности «взять в свои руки всю организацию и лишь использовать гапоновцев и с.-р.».

Начало августа (середина августа н. ст.) — М. Горький пишет письмо Гапону, призывая его присоединиться со своей организацией к РСДРП.

Около 7 (20) августа — Гапон уезжает из Женевы в Стокгольм вместе с Хомзе.

Около 15 (27) августа — Циллиакус переправляет Гапона и Поссе на частной яхте в Финляндию.

Вторая половина августа (начало сентября) — Гапон скрывается в доме учителя М. Переговоры большевиков с финскими активистами о приеме оружия срываются. Гапон ведет самостоятельные переговоры через В. Поссе. Две неудачные попытки встретиться с М. Горьким.

Не позже 1 (14) сентября – Гапон и Поссе перебираются в Гельсингфорс.

2 (15) или 3 (16) сентября – Хомзе приезжает в Петербург и привозит руководителям гапоновской организации приглашение на съезд.

4 (17) сентября – учредительный съезд Российского рабочего союза в Гельсингфорсе. Председателем союза и редактором газеты избран Поссе.

5 (18) сентября – резкое объяснение между Поссе и Гапоном.

Сентябрь – Гапон уезжает в Женеву через Швецию. Поссе снимает с себя обязанности председателя Российского рабочего союза и уезжает за границу.

30 сентября (12 октября) – Гапон пишет заявление о присоединении к РСДРП(б).

17 (30) октября – манифест «Об усовершенствовании государственного порядка».

Конец октября – активисты «Собрания» ходатайствуют о воссоздании организации, встречаются с Витте и Коковцовым. Дальнейшие переговоры идут через Матюшенского и Манасевича-Мануйлова. Гапон нелегально возвращается в Петербург, где встречается с Рутенбергом.

18 ноября – министр торговли и промышленности В. И. Тимирязев негласно выделяет «Собранию» 30 тысяч рублей в возмещение убытков.

21 ноября – официальное открытие возрожденного «Собрания».

До 25 ноября – Гапон получает от Тимирязева тысячу рублей, которые передает «Собранию» как свое личное пожертвование.

26 ноября – разрешение на открытие отделов. Гапон уезжает в Париж, куда из Женевы переезжает Уздалева.

29 ноября (12 декабря) – Гапон пишет «Письмо членам “Собрания фабрично-заводских рабочих”».

30 ноября (13 декабря) – интервью Гапона газете «Le Matin».

1 (14) декабря – письма в «L'Hummanite» и «New-York Herald».

2 (15) декабря – встреча Гапона с русскими и французскими журналистами.

5 (18) декабря – направленное против Гапона письмо Г. В. Плеханова в «L'Hummanite».

Декабрь – посещает палату депутатов, встречается с Ж. Жоресом и А. Франсом. На короткое время уезжает в Ниццу и Монте-Карло, где играет в рулетку. Матюшенский получает от Тимирязева 29 тысяч рублей и от имени «бакинского купца» передает «Собранию» шесть тысяч.

7 (20)–18 (31) декабря – вооруженное восстание в Москве.

Между 15 и 20 декабря (28 декабря и 2 января) – получает телеграмму: «Приезжай. Почва уходит из-под ног».

22 декабря (4 января) – Варнашёв получает от полиции две тысячи рублей на публикацию воззвания Гапона.

После 22 декабря (4 января) – для проверки информации Н. М. Варнашёва о наличии у Гапона сведений о руководстве революционного подполья в Париж выезжает Манасевич-Мануйлов, но Гапона не застает.

Не позднее 24 декабря – Гапон нелегально через Стокгольм прибывает в Териоки и там поселяется с Уздалевой.

Конец декабря – встреча Гапона с Матюшенским. Бегство Матюшенского.

- 30 декабря — общее собрание организации.
- 1906, 6 или 7 января — раскрывает перед руководством «Собрания» историю с деньгами, полученными от Тимирязева. Создает комитет по поиску похищенных денег.
- 15 января — письмо Гапона П. Н. Дурново.
- Вторая половина января — встреча Гапона с П. Н. Рачковским и А. В. Герасимовым.
- 26 января — Матюшенский обнаружен в Саратове.
- 31 января — доклад А. В. Герасимова о нежелательности восстановления «Собрания».
- Конец января — начало февраля — рождение сына Гапона и Уздалевой.
- 4—8 февраля — Гапон едет в Москву, где встречается с Рутенбергом, предлагая тому встретиться с Рачковским.
- 11—12 февраля — Рутенберг в Гельсингфорсе докладывает руководству Боевой организации о предложениях Гапона. Принято решение об убийстве Гапона и Рачковского.
- 20 февраля — окончательное решение градоначальника В. фон Лауница о закрытии «Собрания».
- 21 февраля — письмо Гапона в редакцию газеты «Русь» с требованием общественного суда.
- Февраль — несколько встреч Гапона с Рачковским и Лопухиным.
- 24 февраля, 1 марта — Рутенберг посещает Гапона в Териоках.
- 4 марта — Рачковский не является на встречу с Гапоном и Рутенбергом.
- Февраль—март — попытки организовать (с помощью С. Я. Стечкина) собственную газету.
- Начало марта — единственное заседание общественного суда над Гапоном.
- 12 марта — второе письмо в газету «Русь».
- 17 марта — письмо прокурору Петербургской судебной палаты.
- В течение марта — Рутенберг продолжает переговоры с Гапоном об условиях сотрудничества с Рачковским и в то же время готовит убийство Гапона силами возглавлявшейся им эсеровской боевой группы.
- 24 марта — Рутенберг приглашает Гапона для переговоров в Озерки.
- 25—27 марта — интенсивная деловая переписка между Гапоном и Рутенбергом.
- 26 марта — Гапон представляет «Программу русского синдикализма».
- 27 марта — Гапон посещает председателя Петербургского окружного суда и требует возбуждения дела о его легализации. Гапону было официально объявлено, что он амнистирован еще 21 октября.
- 28 марта — утром Гапон встречается с Насакиным по поводу общественного суда; днем посещает Петербургский отдел «Собрания»; в четыре часа дня уезжает с Финляндского вокзала и в пять приезжает в Озерки; около шести вечера убит (повешен) на даче Звержинской.
- 30 апреля — обнаружено тело Гапона.
- 3 мая — похороны Г. А. Гапона на Успенском (Северном) кладбище.

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

- Авенар Э.* Кровавое воскресенье. Харьков, 1925.
- Авидонов Н.* Гапон в Духовной академии. По неизданным материалам // *Былое*. СПб., 1925. № 1.
- Авидонов Н.* 9 января 1905 года и Синод // *Былое*. Л., 1925. № 1.
- Алданов М. А.* Азеф. Париж, 1931.
- Ан-ский С. А.* Собрание сочинений. СПб., 1913.
- Бецкий К., Павлов П.* Русский Рокамболь (Приключения И. Ф. Манасевича-Мануйлова). Л., 1925.
- Будницкий О. В.* Терроризм в российском освободительном движении: идеология, этика, психология (вторая половина XIX — начало XX в.). М., 2000.
- Бухбиндер Н. А.* Из жизни Г. Гапона (по неизданным материалам) // *Красная летопись*. Л., 1922. № 1.
- Варнаищев Н. М.* От начала до конца с гапоновской организацией // Историко-революционный сборник. Л., 1924.
- Великие незабываемые дни: Сборник воспоминаний участников революции 1905—1907 гг. М.: Политиздат, 1970.
- Витте С. Ю.* Воспоминания. М., 1960. Т. 3.
- Гапон Г. А.* История моей жизни. М., 1990.
- Гапон Г. А.* К вопросу о мерах против босяцкого нищенства и тунеядства. СПб., 1902.
- Гапон Г. А.* Послание к русскому крестьянскому и рабочему народу. СПб., 1905.
- Гапон Г. А.* Священника Георгия Гапона ко всему крестьянскому люду воззвание. СПб., 1905.
- Герасимов А. В.* На лезвии с террористами. М., 1991.
- Гиммер Д.* 9-е января 1905 года в СПб. Воспоминания // *Былое*. Л., 1925. № 1.
- Голгофский А. К.* Доклад инженера-технолога А. К. Голгофского Всероссийскому торгово-промышленному съезду в Нижнем Новгороде. Ярославль, 1896.
- Горький М.* Полное собрание сочинений. Письма: В 24 т. М., 1999. Т. 5.
- Грибовский В. М.* Загадочные документы Гапона // *Исторический вестник*. СПб., 1912.
- Гуревич Л. Я.* Народное движение в Петербурге 9-го января 1905 г. // *Былое*. СПб., 1906.
- 9 января: Сборник / Под ред. А. А. Шилова. М.; Л., 1925.
- Дейч Л. Г.* Священник Георгий Гапон // *Дейч Л. Г.* Провокаторы и террор. Тула, 1926.
- Динин Л.* Гапон и 9-е января. (Из воспоминаний соц.-демократа) // Страна. СПб., 1907.
- Джанибекян В. Г.* Гапон. Революционер в рясе. М., 2006.
- Доклад директора Департамента полиции А. Лопухина о событиях 9-го января 1905 г. // *Красная летопись*. Л., 1922. № 1.
- Жаботинский В. Е.* Пятеро. М., 2002.
- Журналы заседаний Совета Санкт-Петербургской Духовной Академии. СПб., 1898—1903.
- За кулисами охранного отделения: Сборник. Берлин, 1910.
- Записки прокурора Петербургской судебной палаты министру юстиции 4—9 января 1905 г. // *Красный архив*. Л., 1935. № 1.

- Иваненко Д. А.* Записки и воспоминания. 1888—1908. Полтава, 2002.
- История Всесоюзной коммунистической партии (большевиков). Краткий курс. М., 1938.
- К истории «Собрания русских фабрично-заводских рабочих С.-Петербурга». Архивные документы // Красная летопись. Л., 1922. № 1.
- Карелин А. Е.* Девятое января и Гапон. Воспоминания // Красная летопись. Л., 1922.
- Кобяков Р.* Гапон и охранное отделение до 1905 г. // Былое. Л., 1925. № 1.
- Кокорцов В. Н.* Из моего прошлого. Воспоминания. 1903—1919. Париж, 1933.
- Кропоткин П. А.* Русский рабочий союз. Лондон, 1905.
- Крупская Н. К.* Воспоминания о Ленине // Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине. М., 1979. Т. 1.
- Ксенофонтов И. Н.* Георгий Гапон: вымысел и правда. М., 1996.
- Ленин В. И.* О боевом соглашении для восстания // *Ленин В. И.* Полное собрание сочинений: В 55 т. Т. 9. М., 1967.
- Лурье Ф. М.* Полицейские и провокаторы: Политический сыск в России. 1649—1917. СПб., 1992.
- Любимов Д. Н.* Гапон и 9 января // Вопросы истории. М., 1965. № 8—9.
- Матюшенский А. И.* За кулисами гапоновщины. (Исповедь) // Красное знамя. Париж, 1906. № 2.
- Мительман М. И.* и др. История Путиловского завода. Л., 1960.
- Мосолов А. А.* При Дворе Императора. Рига, 1937.
- Мстиславский С. Д.* Смерть Гапона. М., 1928.
- Начало первой русской революции. Январь—март 1905 года. Документы и материалы. М., 1955.
- Никифоров (Без инициалов).* Правда о священнике Гапоне. М., 1906.
- Николай II.* Дневник. М., 2007.
- Ольгинские детские приюты трудолюбия. 1895—1910 гг. СПб., 1911.
- Павлов Д. Б.* Русско-японская война 1904—1905 гг. Секретные операции на суше и на море. М., 2004.
- Павлов И. И.* Из воспоминаний о «Рабочем Союзе» и священнике Гапоне // Минувшие годы. СПб., 1908. № 3—4.
- Пазин М. С.* Кровавое воскресенье. За кулисами трагедии. М., 2009.
- Первая боевая организация большевиков. 1905—1907 гг. М., 1934.
- Первая русская революция в Петербурге 1905 г. Л.; М., 1925.
- Перегудова З. И.* Политический сыск России (1880—1917). М., 2000.
- Петербургское общество попечения о бедных и больных детях. Отчет за 1901 год. СПб., 1903.
- Петербургское общество попечения о бедных и больных детях. Отчет за 1902 год. СПб., 1904.
- Петиция рабочих и жителей Санкт-Петербурга для подачи царю Николаю II // Красная летопись. 1926. № 2.
- Петров Н.* Гапон и граф Витте // Былое. Л., 1925. № 1.
- Петров Н. П.* Записки о Гапоне // Всемирный вестник. СПб., 1907. № 1—3.
- Петров Н. П.* Правда о Гапоне. СПб., 1906.
- Письма Азефа, 1893—1917. М., 1994.
- Письма Гапона // Русская мысль. М., 1907. № 5.
- П. И. Х. [Пичета И. Х.]* Еще о Гапоне и по поводу его // Мирный труд. Харьков, 1910. № 1.
- Пичета И. Х.* Факты и воспоминания из жизни герцеговинца на службе по духовно-учебному ведомству. Харьков, 1913.

- Поссе В. А.* Идеалы кооперации. М., 1911.
- Поссе В. А.* Мой жизненный путь. М., 1929.
- Поссе В. А.* Теория и практика пролетарского социализма. Женева, 1905.
- Потолов С. И.* Загадка «Д. С.». История одного поиска // История глазами историков. Межвузовский сборник. СПб., 2000.
- Потолов С. И.* Георгий Гапон и либералы (новые документы) // Россия в XIX—XX вв. Сборник статей к 70-летию со дня рождения Р. Ш. Ганелина. СПб., 1998.
- Потолов С. И.* Георгий Гапон и российские социал-демократы в 1905 году // Социал-демократия в российской и мировой истории. М., 2009.
- Прайсман Л. Г.* Террористы и революционеры, охранники и провокаторы. М., 2001.
- Резолюция рабочих об их насущных нуждах/9 января 1905 года // Всемирный вестник. СПб., 1905.
- Рутенберг П. М.* Убийство Гапона. Л., 1925.
- Савинков Б. В.* Воспоминания террориста. Харьков, 1928.
- Святловский В. В.* Профессиональное движение в России. СПб., 1907.
- Семенов Е. П.* В стране изгнания (Из записной книжки корреспондента). СПб., 1912.
- Сизов М. И.* Мои встречи с Георгием Гапоном // Исторический вестник. СПб., 1912.
- Симбирский Н. (Н. В. Насакин).* Правда о Гапоне и 9-м января. СПб., 1906.
- Соломин С. (С. Я. Стецкий).* Рясы // Мир. СПб., 1909. № 2.
- Спиридович А. И.* Записки жандарма. Харьков, 1928.
- Сухова Н. Ю.* Высшая духовная школа: проблемы и реформы. Вторая половина XIX века. М., 2006.
- Трегубов И. М.* Георгий Гапон и всеобщая стачка // Освобождение. Париж, 1905. № 66.
- Трегубов И. М.* Мои воспоминания о Гапоне // Новая Русь. СПб., 1909. № 8 (9 января).
- Третий съезд РСДРП. Апрель—май 1905 года: Протоколы. М., 1959.
- Феликс Г. А.* Гапон и его общественно-политическая роль. СПб., 1906.
- Филиппов А.* Странички минувшего. О Гапоне. СПб., 1913.
- Хазан В.* Пинхус Рутенберг: от террориста к сионисту: В 2 т. Иерусалим: Гешарим, 2008.
- Хлеб и воля. Орган группы анархистов-коммунистов. Т. 1. Париж, 1909.
- Чудинов А. В.* Об одном из участников суда над Гапоном // Вопросы истории. 2000. № 6.
- Шаховской М. Л.* Гапон и гапоновщина. Харьков, 1906.
- Шилов А. А.* К документальной истории петиции 9 января 1905 г. // Красная летопись. Л., 1925. № 2.
- Ювачёв И. П.* Могила Гапона // Исторический вестник. СПб., 1909. № 10.
- Кньш З.* Піп Гапон Торонто 1977 (на укр. языке).
- Гапон, das Schicksal einer russischen Revolutionärin: Bekenntnisse der Milda Chomse.* Berlin, 1919.
- Гапон G.* The story of my life. London, 1905.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	5
-------------------	---

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Залпы	8
Белики, Полтавщина, Малороссия	11
«Богослов»	14
Отец Георгий	24
Академия	27
«Мятущаяся душа»	32
Фабричные	35
«На колени все!»	41
Босяцкий прожект	44
Гапон и книжка	50
«Рузвельт» из охраны	55
Начало игры	66
Без Зубатова	73
Программа пяти	83
1904 год	89
Нарвская застава, далее везде	94
Свершения и замыслы	100
Чья жена конституция?	107
Сорвать ставку	114
Ставка: стачка	121
Поворот	127
Всем миром	133
По ту сторону	142
Седьмого и восьмого	147

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Дача в Озерках	162
9 января 1905 года, вечер	170
Умиротворение	180
Чужая сторона	194
Объединитель	206
Синдикалист	211
Снова проповедник	218
Шестнадцать тысяч ружей	227
Конец «Джона Графтона»	238
Съезд	247
Вторая попытка	258
Остановить движение	269
Матюшенский — Петров — Черемухин	280
Рачковский	292
Требую суда	302
Суд	313
Мартын	316
Эпилог	330
Основные даты жизни и деятельности Г. А. Гапона	336
Краткая библиография	342

Шубинский В. И.

Ш 95 Гапон / Валерий Шубинский. — М.: Молодая гвардия, 2014. — 345 [7] с.: ил. — (Жизнь замечательных людей: сер. биогр.; вып. 1461).

ISBN 978-5-235-03690-1

Про человека, вошедшего в историю России под именем «поп Гапон», мы знаем только одно: 9 января 1905 года он повел петербургских рабочих к Зимнему дворцу, чтобы вручить царю петицию о нуждах пролетариата. Мирное шествие было расстреляно на улицах Петербурга — и с этого дня, нареченного «Кровавым воскресеньем», началась первая русская революция. В последующих учебниках истории Георгий Гапон именовался не иначе как провокаторм.

Однако как же и почему этот человек, шагавший в самом первом ряду манифестантов и только чудом избежавший пули, сумел вывести на улицы столицы 150 тысяч человек, искренне ему доверявших? В чем была сила его притягательности, почему питерские пролетарии ему верили? Автор биографической книги пытается разобраться, кем же на самом деле был «поп Гапон», рассказывает о том, как сложилась трагическая судьба этого незаурядного человека, оказавшегося в самом центре борьбы различных политических сил, на самом острие почти забытых ныне событий начала XX столетия.

УДК 94(47)(092)“19”

ББК 63.3(2)531-421

знак информационной
продукции **16+**

Шубинский Валерий Игоревич
ГАПОН

Редактор **А. Ю. Бондаренко**
Художественный редактор **И. И. Суслов**
Технический редактор **В. В. Пилкова**
Корректоры **Л. С. Барышникова, Г. В. Платова**

Слано в набор 14.10.2013. Подписано в печать 15.01.2014. Формат 84x108/32.
Бумага офсетная № 1. Печать офсетная. Гарнитура «Newton». Усл. печ. л.
18,48+1,68 вкл. Тираж 4000 экз. Заказ № 1400440.

Издательство АО «Молодая гвардия». Адрес издательства: 127055, Москва,
Суцневская ул., 21. Internet: <http://gvardiya.ru>. E-mail: dse1@gvardiya.ru

arvato
япк

Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленного электронного оригинал-макета
в ОАО «Ярославский полиграфкомбинат»
150049, Ярославль, ул. Свободы, 97

ISBN 978-5-235-03690-1

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН

издательства

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Оформить заказ
можно на нашем сайте:

<http://gvardiya.ru/shop/>

или по телефону:

+7 (495) 787-95-59

(с 10-00 до 17-30 в будние дни)

Заказанные книги

можно получить по адресу:

г. Москва, ул. Сущевская, д.21, подъезд 1

или воспользоваться курьерской

и почтовой службой доставки

Наши книги
доступны всем регионам России!

СТАРЕЙШАЯ РОССИЙСКАЯ КНИЖНАЯ СЕРИЯ

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Уже изданы и готовятся к печати:

Л. Дубова, Г. Чернявский
«КЛАН КЕННЕДИ»

Д. Володихин
«РЮРИКОВИЧИ»

В. Галедин
«ЛЕВ ЯШИН»

В. Шубинский
«ГАПОН»

О. Волкогонова
«КОНСТАНТИН ЛЕОНТЬЕВ»

А. Карпов
«АНДРЕЙ БОГОЛЮБСКИЙ»

М. Черганов
«ДЮМА»



Телефоны для оптовых покупателей:
8(499) 978-21-59; 8(495) 787-63-75; 8(495) 787-63-64
<http://gvardiya.ru>, dset@gvardiya.ru

СТАРЕЙШАЯ РОССИЙСКАЯ КНИЖНАЯ СЕРИЯ

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Уже изданы и готовятся к печати:

А. Бенсуссан
«ГАРСИЯ ЛОРКА»

С. Михеенков
«ЛИДИЯ РУСЛАНОВА»

Н. Богомолов, Дж. Малмстад
«МИХАИЛ КУЗМИН»

В. Домитеева
«ВРУБЕЛЬ»

В. Березин
«ШКЛОВСКИЙ»

Л. Млечин
«КОЛЛОНТАЙ»

А. Готовцева, О. Киянская
«РЫЛЕЕВ»



Телефоны для оптовых покупателей:
8(499) 978-21-59; 8(495) 787-63-75; 8(495) 787-63-64
<http://gvardiya.ru>. dsel@gvardiya.ru

Что свидетельствует ныне о быте ушедших эпох? Как выглядели жившие в них люди? Как были одеты, причесаны, как развлекались и любили друг друга, чем украшали себя женщины, какие кушанья подавались к столу, что считалось приличным, а что возмутительным? На эти и множество подобных вопросов ответят книги новой серии

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ:

**ПОВСЕДНЕВНАЯ
ЖИЗНЬ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА**

Уже изданы и готовятся к печати:

А. Митрофанов

**ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
РУССКОГО ПРОВИНЦИАЛЬНОГО
ГОРОДА В XIX ВЕКЕ:
ПОРЕФОРМЕННЫЙ ПЕРИОД**

С. Шокарев

**ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
СРЕДНЕВЕКОВОЙ МОСКВЫ**

Л. Петрушенко

**ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЫ**

Е. Глаголева

**ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
МАСОНОВ В ЭПОХУ
ПРОСВЕЩЕНИЯ**

С. Яров

**ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА**

Телефоны для оптовых покупателей:

8(499) 978-21-59; 8(495) 787-63-75; 8(495) 787-63-64

<http://gvardiya.ru>. dsel@gvardiya.ru

Что свидетельствует ныне о быте ушедших эпох? Как выглядели жившие в них люди? Как были одеты, причесаны, как развлекались и любили друг друга, чем украшали себя женщины, какие кушанья подавались к столу, что считалось приличным, а что возмутительным? На эти и множество подобных вопросов ответят книги новой серии

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ:

**ПОВСЕДНЕВНАЯ
ЖИЗНЬ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА**

Уже изданы и готовятся к печати:

С. Эштут

**ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
РУССКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ ОТ ЭПОХИ
ВЕЛИКИХ РЕФОРМ ДО СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА**

Л. Черная

**ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
МОСКОВСКИХ ГОСУДАРЕЙ В XVII ВЕКЕ**

Е. Акельев

**ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
ВОРОВСКОГО МИРА МОСКВЫ
ВО ВРЕМЕНА ВАНЬКИ КАИНА**

О. Ковалик

**ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ БАЛЕРИН
РУССКОГО ИМПЕРАТОРСКОГО ТЕАТРА**

Б. Ковалев

**ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ В ПЕРИОД
НАЦИСТСКОЙ ОККУПАЦИИ**

Телефоны для оптовых покупателей:

8(499) 978-21-59; 8(495) 787-63-75; 8(495) 787-63-64

<http://gvardiya.ru>, dset@gvardiya.ru

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОПТОВЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ

*Склад
издательства «Молодая гвардия»
находится в центре Москвы
по адресу:
Сущевская ул., д. 21
ст. м. «Новослободская», «Менделеевская»*



**В отделе реализации действует
гибкая система скидок**



**Доставка книг по территории
Москвы и Московской области
БЕСПЛАТНО**

ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛА РЕАЛИЗАЦИИ

8(495) 787-64-20

8(495) 787-62-92

ТЕЛЕФОНЫ СКЛАДА

8(495) 787-65-39

8(495) 787-63-64